UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00276298 7

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

ПОСЛѢ ГОГОЛЯ

ЧТЕНІЯ, РѢЧИ И СТАТЬИ

ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ проф. **И. А. Шляпкина**

Одобрена спеціальной комиссіей Петрогр. Ком. Грамотности въ Систематическомъ обзорѣ русской народно-учебной литературы.
Признана необходимымъ пособіемъ Комиссіей по организаціи домашняго чтенія, состоящею при О-вѣ Распростр. Технич. Знаній.

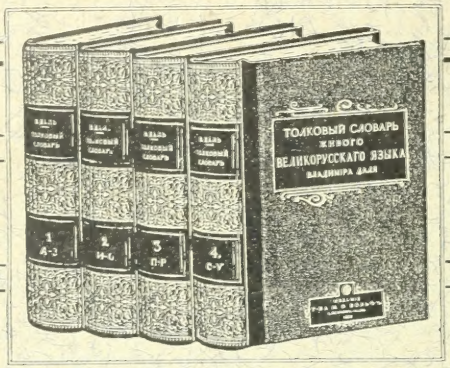
ТОМЪ II

И. А. ГОНЧАРОВЪ.—А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

Изданіе шестое

ИЗДАНІЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ
ПЕТРОГРАДЪ | МОСКВА
Гостин. Дв., 18 и Невскій, 13 | Кузнец. М., 12 и Тверская, 22

ЦѢНА ЭТОЙ КНИГИ
ПОВЫШЕНА НА 100%
Т-во М. О. ВОЛЬФЪ.



ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ЖИВОЙ РУССКОЙ РѢЧИ:

„ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ"

ЖИВОГО
ВЕЛИКОРУССКАГО ЯЗЫКА

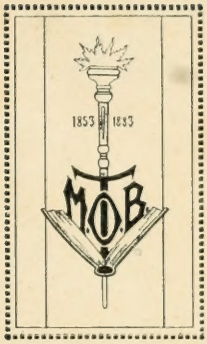
Владиміра Даля.

Четвертое исправленное и значительно дополненное изданіе, подъ редакціей
проф. СПБ. университета И. А. БОДУЭНА-де-КУРТЕНЕ.

4 большихъ тома, въ 6.8 д. л., напечатан. убористыми, но четкими шрифтами, на плотной глазкаров. бумагѣ. Ц. 25 руб., въ четырехъ библіотечн. перепл. Ц. 32 руб.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДАЛЯ УВѢНЧАНЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЙ НАУКЪ
ЛОМОНОСОВСКОЙ ПРЕМІЕЙ; ИМПЕРАТОРСКИМЪ РУССКИМЪ ГЕОГРАФИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ УДОСТОЕНЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МЕДАЛИ, совѣтомъ ИМПЕРАТОРСКАГО В. ДЕРПТСКАГО, НЫНѢ ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА НАГРАЖДЕНЪ ПОЛНОЙ ПРЕМІЕЙ имени Роберта Гейнбургера.

Представляя собою всю наличность словъ и оборотовъ родной рѣчи, со всѣми мѣстными особенностями и оттѣнками, „Словарь Даля", — по выраженію одного изъ критиковъ, — „это весь словесный капиталъ русскаго народа, расходуемый имъ по мелочамъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, на всемъ протяженіи земли русской, а въ трудѣ Даля явившійся стройнымъ цѣлымъ, составляющимъ неисчерпаемый источникъ для всевозможныхъ справокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ „Словарь Даля"—это необходимая, единственная въ своемъ родѣ и самая обширная энциклопедія русской рѣчи, охватывающая одновременно всѣ проявленія внутренней и внѣшней обиходной русской жизни и быта и объясняющая всевозможные грамматическіе и орографическіе вопросы."



Заказ № 2 Пор. № 7

Книга имеет: 448 стр. — иллюстр. —

табл. карт.

Примечания:

Расписка отв. за подгот. в перепл. . . . .

Тип. ГПБ з. 1317 — 25 000. 12-5-61

131
3-2

131
3-2

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

ПОСЛѢ ГОГОЛЯ

ЧТЕНІЯ, РѢЧИ И СТАТЬИ

ОРЕСТА МИЛЛЕРА

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ проф. **И. А. Шляпкина**

Одобрена спеціальной комиссіей Петрогр. Ком. Грамотности въ Систематическомъ обзорѣ русской народно-учебной литературы.
Признана необходимымъ пособіемъ Комиссіей по организаціи домашняго чтенія, состоящею при О-вѣ Распростр. Технич. Знаній.

ТОМЪ II

И. А. ГОНЧАРОВЪ.—А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

Изданіе шестое

ИЗДАНІЕ
Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ
ПЕТРОГРАДЪ Гостин. Дв., 18 и Невскій, 13 | МОСКВА Кузнец. М., 12 и Тверская, 22
1915

ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФІИ
Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ
Петроградъ. Бас. остр. 16 линія соб. домъ
1915

Гос. Публичная Библиотека в Ленинграде

РБ
3011
М52
т. 2

LIBRARY
AUG 17 1967
UNIVERSITY OF TORONTO

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Читатель замѣтитъ, что въ этой книгѣ такъ же много передѣланнаго и вновь написаннаго, какъ и въ предъидущей. Только обзоръ литературной дѣятельности И. А. Гончарова не распространенъ и перепечатанъ почти безъ измѣненій. Долгомъ считаемъ дать по этому поводу нѣкоторыя объясненія.

Мы попрежнему не включили въ обзоръ произведеній автора «Обломова» его «Фрегата Паллады», такъ какъ это высокоталантливое описаніе кругосвѣтнаго плаванія стоитъ совершенно особнякомъ среди всѣхъ тѣхъ произведеній, которыхъ мы касаемся въ настоящемъ трудѣ. Когда явилось новое изданіе «Фрегата Паллады», то это, по нашему мнѣнію, вмѣсто того, чтобы напомнить о Гончаровѣ, какъ путешественникѣ, должно было вызвать глубокое сожалѣніе о прекращеніи его дѣятельности въ области соціальнаго романа. Когда же появились одинъ за другимъ, а затѣмъ были отдѣльно изданы его «Четыре очерка», такія сожалѣнія должны были только усилиться. Всего три, хотя и большихъ, романа при такомъ крупномъ талантѣ въ теченіе цѣлаго многосодержательнаго періода, — это, какъ угодно, досадно. Въ очеркѣ, кото-

рымъ заканчивается изданіе сочиненій И. А. Гончарова. «Лучше поздно, чѣмъ никогда», авторъ своими объясненіями не столько въ этомъ отношеніи успокоиваетъ, сколько еще болѣе подзадориваетъ читателя. Съ другой стороны эти объясненія скорѣе укрѣпили въ насъ прежнее пониманіе его романовъ, чѣмъ подтолкнули насъ къ какой-нибудь передѣлкѣ нашихъ лекцій о нихъ 1874 г.

Позволяемъ себѣ однако воспользоваться кое-чѣмъ изъ самопризнаній любимаго писателя, какъ лучшимъ напутствіемъ для настоящей книги.

Говоря о той эпохѣ, къ литературнымъ свѣтиламъ которой принадлежитъ и онъ самъ, И. А. Гончаровъ прекрасно противополагаетъ ее эпохѣ предшествующей. «Не было, — говоритъ онъ объ этой послѣдней, — цѣлой рати пишущихъ, разсадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по угелкамъ. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдѣльными яркими звѣздами... Не было почвы, кружковъ, общества, которые жили бы безъ видовъ на карьеру и отличія. Не было частной иниціативы; самобытная русская художническая сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу. Такъ было до нашего времени, до нынѣшняго царствованія (авторъ набрасывалъ это еще въ 1870 г. въ видѣ предисловія къ отдѣльному изданію «Обрыва»). Гоголь, правда, явился прежде, но созданная имъ школа разрослась и утвердилась съ свободой печати... Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мановенія мощной руки, своихъ рамокъ, — мы всѣ остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій... Мы всѣ уперлись бы въ стѣну — и продолжали бы писать безсодержательные звучные стихи, или изображать одни и тѣ же явленія текущей, болѣе есте-

ственной, животной жизни... Къ счастью, русское общество охранилъ отъ гибели застоя спасительный переломъ. Изъ высшихъ сферъ правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились въ массу публики сначала тихія, потомъ явственныя слова о «свободѣ», предвѣстники конца крѣпостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открыла свѣтлую перспективу будущаго. Въ литературѣ стали раздаваться голоса представителей новыхъ идей».

И вотъ, прибавимъ мы отъ себя, едва успѣла завершиться характеризуемая тутъ пора, какъ уже литературные плоды ея оказываются признанными во всей Европѣ. «Русскій реализмъ» со всѣми его особенностями является любимою темою критической мысли на Западѣ. Съ разныхъ сторонъ, но все на основаніи нашихъ отечественныхъ писателей, тамъ положительно приходятъ къ тому же, что такъ глубокомысленно поэтически выразилъ въ томъ же очеркѣ И. А. Гончаровъ: «писать художественныя произведенія только умомъ—все равно, что требовать отъ солнца, чтобы оно давало лишь свѣтъ, но не играло лучами—въ воздухѣ, на деревьяхъ, на водахъ, не давало бы тѣхъ красокъ, тоновъ и переливовъ свѣта, которые сообщаютъ красоту и блескъ природѣ! Развѣ это реально?»

«Гр. Левъ Толстой,—толкуетъ онъ свою мысль примѣрами, и въ этомъ опять съ нимъ сходятся западноевропейскіе цѣнители нашей литературы,—безспорно великій реалистъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, пишетъ, конечно, съ натуры... Онъ по своему понялъ, о чемъ хлопочутъ новые реалисты, и, обладая тѣмъ, чего имъ недостаетъ, преподалъ манеру, какъ можно и нужно творчески, силою фантазіи, стать очень близко къ при-

родѣ и правдѣ. Какою нѣжною теплотой окружаетъ онъ нѣкоторыя свои лица...

Даже такіе особые, своеобразные таланты, какъ Достоевскій и Щедринъ, не могли бы, силою одного холоднаго анализа, находить правду жизни — одинъ въ глубокой, никому кромѣ его недостигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безобразій... Подъ мрачной скорбью одного и горячей злобой другого кипятъ свои «невидимыя слезы», прячется своя любовь, которая, вмѣстѣ съ другими силами творчества, лежитъ въ основѣ талантовъ всѣхъ этихъ звѣздъ первой величины».

Но та же, заключимъ мы, любовь къ человѣку, которою и по свидѣтельству иностранной критики озаряется «русскій реализмъ»,—та же любовь придаетъ настоящую прелѣсть и той особой звѣздѣ, какою только изъ скромности не считаетъ себя самъ И. А. Гончаровъ.

Начнемъ же эту часть съ него — съ разбора его, къ сожалѣнію, всего только трехъ романовъ.

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

И. А. ГОНЧАРОВЪ [1]).

I.

«Обыкновенная исторія».

Гончаровъ не такъ скоро подчиняется впечатлѣніямъ, какъ Тургеневъ и Достоевскій; онъ, такъ сказать, тяжелъ на подъемъ. Всякое свое произведеніе онъ тщательно обдумываетъ, отдѣлываетъ до мельчайшихъ подробностей, даетъ ему вылежаться въ столѣ, по старому Гораціеву правилу, потомъ, выпустивъ его въ свѣтъ, отдыхаетъ долго, долго — до тѣхъ поръ, пока не накопится болѣе новыхъ впечатлѣній, медленно пробуждающихъ его къ новому творчеству. При этомъ мы не находимъ у него такого разнообразія въ содержаніи, какое видимъ у Тургенева и Достоевскаго. «Обыкновенная исторія» и «Обломовъ», хотя и раздѣленные цѣлымъ десятилѣтіемъ, представляютъ много между собою общаго; только впослѣдствіи, въ «Обрывѣ», видны нѣсколько новые замыслы автора, стремленіе воспроизвести и совершенно иныя стороны нашей жизни.

Бѣлинскій считалъ Гончарова писателемъ вполнѣ объективнымъ, не мало ни выражающимъ въ своихъ произведеніяхъ самого себя: «у него нѣтъ ничего, кромѣ

[1]) Изъ публичныхъ лекцій 1874 г.

таланта: онъ больше, чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ художникъ», отзывался о немъ Бѣлинскій. Позже другіе критики высказались въ противоположномъ смыслѣ; они находили въ произведеніяхъ Гончарова выраженіе его личнаго взгляда и находили этотъ взглядъ крайне узкимъ, ограниченнымъ, тѣмъ, что называютъ у нѣмцевъ «филистерскимъ». Нѣкоторые изъ этихъ позднѣйшихъ критиковъ (Писаревъ), противопоставляя Гончарову Тургенева, находили, что Тургеневъ выказываетъ себя въ своихъ произведеніяхъ съ болѣе сочувственной стороны, обнаруживаетъ бо́льшую широту взгляда. Другіе, напротивъ того, (Алкандровъ-псевдонимъ), уподобляя, со стороны взгляда, Гончарова Тургеневу, у обоихъ находили «филистерство». Вѣрно-ли подобное мнѣніе? Для разрѣшенія этого вопроса надо вникнуть въ сущность того, что представляютъ наши писатели. Обращаюсь къ «Обыкновенной исторіи» Гончарова.

Главнымъ ея типомъ является, какъ извѣстно, молодой Адуевъ. Что же хотѣлъ выразить въ этомъ лицѣ Гончаровъ?

Онъ подробно разсказываетъ о томъ, какъ первоначально сложилась жизнь Александра Ѳедоровича. Она сложилась прежде всего въ деревнѣ, подъ вліяніемъ матери, которая внушала ему: «здѣсь ты одинъ всему господинъ»; матери, которая въ немъ воспитала привычку считать всѣхъ вокругъ него обязанными угадывать каждое его желаніе, жить какъ-бы только ему на угоду. «Нянька все пѣла ему въ колыбели, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя. Вообще о слезахъ и бѣдствіи онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ». [1]) Мать, развившая въ немъ эгоистическія наклонности, умѣла какъ-то распорядиться такъ, что и самая религіозность, которую она ему, по-

[1]) Тогда вѣдь и не существовало дѣтскихъ книжекъ изъ сочиненій Достоевскаго. Нѣкоторыми, впрочемъ, эти послѣднія и по сію пору считаются вредно дѣйствующими.

своему, проповѣдывала, способна была лишь поддерживать въ немъ ту-же эгоистическую закваску. При отправленіи его въ Петербургъ, говоря ему о Богѣ, о посѣщеніи церкви, она придаетъ этому значеніе какого-то исправнаго искательства высшей небесной протекціи; она пренаивно обѣщаетъ ему, что если-бы самъ онъ сталъ въ этомъ отношеніи лѣниться, то она ему вымолитъ у Бога и чиновъ, и крестовъ. Говоря о нищихъ, она соглашается, что надо, конечно, имъ помогать, потому что безъ этого не угодишь Богу, но что довольно, такъ сказать, только соблюдать обрядъ подаванія милостыни; вообще же много раздавать не слѣдуетъ,—надо копить для себя. Намекая на возможность выгодной женитьбы въ Петербургѣ, она прямо говоритъ, что Сонечку, которая его полюбила въ деревнѣ, можно и въ сторону; «что она, въ самомъ дѣлѣ, воображаетъ! развѣ ты лучшей партіи не найдешь?».

Послѣ всего этого, Бѣлинскій имѣлъ полное право назвать мать Адуева — «доброю внукой злой Простаковой», а ею воспитаннаго Александра Ѳедоровича мы съ не меньшею справедливостью можемъ назвать своего рода «Митрофаномъ». Для чего онъ ѣдетъ въ Петербургъ? Да онъ и самъ этого не знаетъ, онъ ѣдетъ искать *чего-то*. Не забудьте при этомъ, что онъ, однакоже, кончилъ курсъ въ университетѣ. Онъ открываетъ собою въ нашей литературѣ рядъ питомцевъ университета, вышедшихъ изъ стѣнъ его крайне мало подготовленными для настоящей жизненной дѣятельности, для дѣйствительно полезнаго служенія обществу. Гончаровъ объясняетъ это обстоятельство особымъ направленіемъ тѣхъ людей, которыхъ приходилось тогда слушать въ университетѣ. Молодому Адуеву профессора твердили, что онъ пойдетъ далеко, т.-е., разумѣется, они не лично къ нему это относили, но онъ это заключилъ изъ ихъ курсовъ; они ему рисовали такія мечтательно неопредѣленныя картины будущей дѣятельности, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія, легко могъ найти себѣ видное мѣсто. Это были картины дѣятельности чи-

сто злободневной, ради пользы и добра *вообще*, *какой-то* пользы и *какого-то* добра *для всего человѣчества*.

И вотъ онъ самолюбиво мечталъ о подобной пользѣ, въ сущности, только потѣшая этимъ и особеннымъ образомъ развивая свой доморощенный эгоизмъ, т.-е. онъ мечталъ, что выдвинется далеко изъ ряда какими-то особенно блистательными успѣхами и что на него будутъ съ уваженіемъ указывать пальцемъ. Когда онъ пріѣзжаетъ къ дядюшкѣ, и тотъ начинаетъ допытываться, ради чего онъ стремился въ столицу, А. Адуевъ говоритъ: «Меня влекло неодолимое стремленіе, надежда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить тѣ надежды, которыя толпились...» и т. д. Но онъ тутъ же и признается: «у насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ». Дядя переводитъ на обыкновенный языкъ эти вдохновенныя рѣчи профессора эстетики:

— «Сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести слова твои, ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуну?»

— «Да, дядюшка, карьеру», — совершенно искренно соглашается племянникъ.

Такимъ образомъ оказывается, что дядя сразу понялъ его, понялъ, что, въ сущности, племянникъ стремится къ тому же, къ чему и онъ самъ стремился всю свою жизнь; только племянникъ пока еще прикрываетъ эту цѣль грудой фразъ, заимствованныхъ изъ курса эстетики.

Но молодой Адуевъ ищетъ сначала литературной славы. Дѣло въ томъ, что славы на служебномъ поприщѣ на первыхъ порахъ не добьешься: если-бы можно было разомъ подняться повыше—тогда бы другое дѣло! Но вѣдь низшія приготовительныя ступени мало льстятъ самолюбію; между тѣмъ и литературная слава ему не дается; дядюшка даже прямо доказываетъ ему, что у него нѣтъ таланта, и тогда онъ весь уходитъ въ чувство любви къ дѣвушкѣ, съ которой случайно сошелся. Гончаровъ очень подробно описываетъ это воркованье

голубковъ, но сущность его заключается въ слѣдующемъ выразительномъ разговорѣ между А. Адуевымъ и Наденькой:

— «Ужели есть горе на свѣтѣ?—спрашиваетъ она.

— Говорятъ, есть, да я не вѣрю.

— Какое-же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ: бѣдность...

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того, что мы теперь? вотъ ужь они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того, нужно пить, ѣсть...

— Фи, ѣсть! дядюшка вамъ неправду говоритъ. Я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива...»

Въ этомъ миломъ разговорѣ выражается все міросозерцаніе этихъ праздныхъ мечтателей. Что она не знаетъ горя и выражается такъ наивно,—это не удивительно при томъ тепличномъ воспитаніи, которое получила она, подобно многимъ барышнямъ; но что онъ, кончившій курсъ въ университетѣ, держится такихъ-же дѣтскихъ воззрѣній,—вотъ что гораздо диковиннѣе, и объясняется только той безжизненностью, той отвлеченностью, которою такъ долго отличалась у насъ наука, потому-то и не бывшая въ состояніи исправлять недостатки домашняго барскаго воспитанія. Когда читаешь у Гончарова эти безконечныя сцены любви между А. Адуевымъ и Наденькой, то такъ и кажется, что они взялись разыграть роли того юноши и той дѣвицы изъ повѣсти А. Адуева, которые попали на какой-то необитаемый островъ и, живя на немъ, наслаждаются себѣ на просторѣ одной любовью. Искусственно уединившись отъ окружающаго ихъ многолюднаго міра, убаюкивая себя мечтою, что не существуетъ ни горя, ни слезъ, Александръ Ѳедоровичъ и Наденька только любуются другъ на друга, но читатель заранѣе чувствуетъ, что долго имъ такъ не прожить, что скоро ихъ одолѣетъ невыносимая скука. «Сердце Наденьки было занято, но умъ оставался празденъ: Александръ не позаботился дать ему пищи»,—и вотъ онъ мало-по-малу надоѣдаетъ ей, прежде чѣмъ она ему надоѣла, что, разумѣется, также

случилось-бы ранѣе или позже. Чтобы успокоить его оскорбленное самолюбіе, дядя помогаетъ ему завязать другой романъ: въ него влюбляется женщина, къ которой уже самъ онъ первый охладѣваетъ. Все это очень просто и понятно: самые неглубокіе люди не могутъ совершенно уйти въ одно только чувство любви; жизнь неизбѣжно дѣлается пуста и скучна, если у насъ не завязаны связи съ обществомъ, если намъ не досталась хотя-бы самая малая доля участія въ міровой работѣ. Но Александръ не понимаетъ настоящей причины своихъ неудачныхъ романовъ. Два раза разочаровавшись въ любви, онъ готовъ окончательно махнуть рукою на все, готовъ съ досады погрязнуть въ животной жизни. Сближаясь съ какимъ-то совершенно неразвитымъ человѣкомъ, онъ случайно завязываетъ, уже просто отъ скуки, третій романъ, который чуть-было не довелъ его до совершеннаго нравственнаго паденія. Послѣ всего этого, дядюшка оказывается правъ въ своемъ недовѣрчивомъ взглядѣ на тѣ выспреннія фразы, которыя такъ обильно расточались племянникомъ. Но хотѣлъ-ли Гончаровъ сказать этимъ, что собственное направленіе дядюшки совершенно вѣрно; хотѣлъ-ли онъ заоблачному мечтателю, пустозвонному идеалисту, Александру Федоровичу, противопоставить трезваго, практическаго дядю, какъ высокій жизненный идеалъ? вотъ вопросъ. Я думаю, что нашъ авторъ поставилъ дядюшку выше племянника только въ томъ смыслѣ, что первый, по крайней мѣрѣ, не обманываетъ себя и другихъ, что онъ искрененъ, что въ немъ нѣтъ ничего напускного, что онъ откровенно высказываетъ, къ чему стремится. «Цѣль моей жизни — успѣхъ, выгода, та-же, что у тебя, Александръ, но ты не сознаешься въ этомъ, а я сознаюсь», вотъ что, въ разныхъ видахъ, говоритъ онъ племяннику. Дядя не только прямѣе и, въ этомъ смыслѣ, честнѣе племянника; онъ и гораздо умнѣе его, сразу разгадывая и обнажая его передъ нимъ самимъ. Къ тому-же, при всемъ своемъ дѣловомъ эгоизмѣ, онъ менѣе эгоистъ, чѣмъ племянникъ; въ немъ есть извѣстная доброта и даже теплота, онъ совершенно искренно упрекаетъ А. Адуева

въ томъ, что, жалуясь на человѣчество, вслѣдствіе своихъ неудачъ въ любви, онъ забываетъ о нѣжной дружбѣ тетки, и, что еще непростительнѣе, оставляетъ безъ писемъ свою старушку мать, которая его безгранично любитъ. Тѣмъ не менѣе, Гончаровъ вовсе не хотѣлъ выставить дядюшку Петра Ивановича лицомъ образцовымъ; это ясно изъ того, что ему не удается доставить счастье своей женѣ. «Мужъ ея неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главною цѣлью его трудовъ? Трудился-ли онъ для общей человѣческой цѣли, для самого труда, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе»?— это оставалось для нея загадкою, а, между тѣмъ, она внутренно томилась чувствомъ нравственной неудовлетворенности. Петръ Ивановичъ, при своемъ умѣ, не могъ, наконецъ, не понять этого, и въ этомъ заключается его нравственная кара. Не ясно-ли изъ этого, что Гончаровъ представляетъ и дядю стоящимъ на ложной дорогѣ?

Но припомнимъ также мастерское описаніе присутственнаго мѣста, въ которое попадаетъ молодой Адуевъ въ началѣ романа. «Каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ бюрократическая машина работаетъ стройно, исправно, безъ отдыха, какъ будто нѣтъ людей: одни колеса, да пружины». А этотъ Юпитеръ-громовержецъ въ образѣ начальника отдѣленія: «откроетъ ротъ,—и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой—и десять рукъ тянутся принять ее». Можетъ-ли быть, чтобы, рисуя такого Юпитера, нашъ авторъ видѣлъ въ немъ свой идеалъ? Впрочемъ, Бѣлинскій еще вовсе не думалъ этого, а указывалъ на вполнѣ объективное отношеніе Гончарова ко всѣмъ его дѣйствующимъ лицамъ. Но странно, какимъ образомъ Бѣлинскій могъ находить неестественною развязку романа, какимъ образомъ могъ онъ думать, что, вмѣсто прозаическаго брака, какимъ кончаетъ Александръ Адуевъ, вѣрнѣе было-бы сдѣлать изъ него мистика, фанатика, сектанта. Едва-ли все это не явилось у Бѣлинскаго подъ вліяніемъ желанія сказать, что можно-бы было, нако-

нецъ, сдѣлать изъ Александра «славянофила», т.-е., съ точки зрѣнія Бѣлинскаго, заоблачнаго мечтателя особаго покроя. Въ такомъ приговорѣ нельзя не признать увлеченія. Едва-ли изъ основательнаго разбора личности А. Адуева можно вывести, чтобы онъ годился въ какіе-бы то ни было сектанты. Въ головѣ его, собственно говоря, даже вовсе и не было никакихъ идей, а былъ только напускной фразистый идеализмъ, подъ которымъ скрывались препошленькія эгоистическія наклонности, какъ это, впрочемъ, и указалъ Бѣлинскій въ первой половинѣ своей характеристики Александра Адуева. Чтобы покончить съ этимъ лицомъ, скажу, что въ немъ нельзя не видѣть прямого наслѣдника Пушкинскаго Ленскаго: а вспомните мнѣніе самого Пушкина, что если-бы Ленскій не былъ убитъ на дуэли, его-бы ожидала самая прозаическая, самая пошлая будущность. Такая-же точно будущность не могла не сдѣлаться прямымъ достояніемъ и А. Адуева. Въ заключеніе я, кажется, имѣю право вывести, что ни дядя, ни племянникъ не являются у нашего автора людьми идеальными, такими, за которыми слѣдовало-бы идти. Но чѣмъ-же объяснить появленіе въ нашей критикѣ мнѣнія, будто-бы Гончаровъ выразилъ въ Петрѣ Ивановичѣ свою собственную точку зрѣнія? Подобное мнѣніе высказано авторомъ статьи «О воспитательномъ значеніи повѣстей Тургенева и Гончарова [1]). Кромѣ обвиненія Гончарова въ крайнемъ сочувствіи Петру Ивановичу, тутъ обвиняется и Тургеневъ въ крайнемъ несочувствіи Рудину, въ умышленномъ развѣнчаніи этой будто-бы возвышенной личности. Но если еще можно понять оборону критикомъ, противъ самого автора, личности Рудина, все-таки представляющей много такого, что подкупаетъ въ его пользу, по крайней мѣрѣ, на первый взглядъ, то уже рѣшительно трудно понять ту оборону Александра Адуева противъ Гончарова, которая была предпринята Писаревымъ. Единственное объясненіе подобной странности развѣ то, что наша критика какъ-то опять начала заявлять

[1]) «Полярная Звѣзда», 1867 г. Подписано: *Александровъ* псевдонимъ).

идеальныя требованія, т.-е., что въ ней началось что-то въ родѣ черезчуръ уже быстрой реакціи противъ реализма, нечувствительной для самихъ критиковъ, считающихъ себя реалистами.

Продолжая постоянно встрѣчать у нашихъ писателей личности съ естественной смѣсью добра и зла, а иногда и всего съ «каплей меду въ бочкѣ дегтю», личности, на которыхъ нельзя успокоиться, за которыми нельзя идти, критика начинаетъ сердиться на самихъ писателей, начинаетъ увѣрять, будто они видятъ въ жизни только такихъ людей, потому что сами они таковы. На самомъ-же дѣлѣ, если-бы Гончаровъ и Тургеневъ выставили такихъ дѣятелей, какихъ отъ нихъ требовали нѣкоторые критики, они-бы должны были многое выдумывать, они должны-бы были вдаваться въ тотъ-же самый ложный идеализмъ, въ ту-же истаскапную маниловщину, конецъ которой положенъ у насъ Гоголемъ. Но вотъ за то, что Гончаровъ не впалъ въ нее, что онъ позволилъ себѣ, чрезъ посредство Петра Ивановича, совлечь съ Александра пышное мечтательное убранство и указать подъ этимъ убранствомъ ту-же эгоистическую и прежде всего комфортабельную натуру, — ему достался отъ даровитаго критика, а именно отъ Писарева, упрекъ, будто-бы этимъ романомъ онъ хотѣлъ сказать: «Ахъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія вдаль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей! Это все пустяки! фантазерство! Надѣньте вицмундиры», и т. д. Но дѣло въ томъ, что А. Адуевъ ни къ какимъ усовершенствованіямъ никогда не стремился, а былъ созданъ именно для того, чтобы, сбросивъ съ себя все нахватанное изъ заоблачныхъ курсовъ эстетики, дѣйствительно, въ концѣ-концовъ, надѣть вицмундиръ и въ соединеніи съ нимъ комфортѣ усмотрѣть конечную цѣль стремленій. Болѣе вѣрнымъ цѣнителемъ «Обыкновенной исторіи» остается такимъ образомъ первый цѣнитель ея — Бѣлинскій. Но онъ замѣчалъ въ свое время, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, типъ А. Адуева — типъ устарѣлый; самъ-же онъ находилъ, что подобные люди еще суще-

ствуютъ. Въ настоящее время типъ этотъ, конечно, уже окончательно устарѣлъ; Петры Ивановичи еще существуютъ, но Александры Адуевы, кажется, совершенно исчезли. Всего какихъ-нибудь двадцать семь лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ «Обыкновенной исторіи» [1]), а между тѣмъ, читая ее, мы какъ будто-бы переносимся въ совершенно другія времена, какъ-будто читаемъ историческій романъ. Думаю, что это служитъ наглядньмъ признакомъ той быстроты, съ какою подвигаемся мы впередъ. Обманывающіе себя и другихъ эгоисты-фантазеры, матеріалисты, замаскированные въ идеализмъ, уже окончательно у насъ сошли со сцены, — а вѣдь это что-нибудь да значитъ! И сколько-бы ни было въ появляющихся у насъ затѣмъ направленіяхъ ошибочнаго, недодуманнаго, — видно рѣшительное стремленіе къ правдѣ, къ искренности: положительно началось и все-еще продолжается ревностное исканіе, хотя-бы и ощупью, хотя-бы и съ преткновеніями, вѣрнаго жизненнаго пути.

II.

«Обломовъ».

Болѣе 10-ти лѣтъ отдѣляютъ «Обломова» отъ «Обыкновенной исторіи», а между тѣмъ, въ содержаніи обоихъ романовъ замѣчается нѣкоторое соотвѣтствіе. Съ другой стороны, и въ отношеніяхъ къ обоимъ произведеніямъ нашей критики оказывается много общаго.

«Обыкновенная исторія», какъ мы видѣли, была встрѣчена обстоятельной и вполнѣ справедливой критикой Бѣлинскаго. Затѣмъ, значительно позже, стали появляться критики другого рода, въ которыхъ высказывались взгляды на это произведеніе уже совершенно предвзятые, высказывалось недовольство героями произведенія, и слѣдствіе этого и недовольство самимъ авторомъ, ко-

[1] Напомнимъ, что это сказано было еще въ 1874 г.

тором странным образомъ приписывалось полное согласіе съ Петромъ Ивановичемъ.

Подобныя воззрѣнія критики составляютъ въ своемъ родѣ замѣчательное явленіе; они доказываютъ только, что «натуральная школа» своей жизненной правдой производила настоящее свое дѣйствіе. Видя передъ собой живыхъ людей, стали сторониться отъ этихъ людей, отъ ихъ нравственной неудовлетворительности, ихъ пошлости, той пошлости, которая скрывалась даже подъ ихъ идеализмомъ, и Гончаровъ имѣлъ-бы полное право напомнить своимъ позднѣйшимъ критикамъ, по примѣру Гоголя, народную пословицу: «на зеркало нечего пенять...»

Я сказалъ уже, что въ настоящее время «Обыкновенная исторія» не можетъ болѣе служить намъ зеркаломъ, потому что романъ этотъ отражаетъ уже пережитую нами эпоху. Едва-ли мы можемъ сказать то-же самое объ «Обломовѣ». Едва-ли совершенно перевелось въ нашей жизни то, что называется, со словъ Штольца, «обломовщиной?»

Когда появился романъ, многіе стали узнавать въ немъ знакомыя черты; поднялись со всѣхъ сторонъ толки о нашей «Обломовщинѣ», и краснорѣчивымъ истолкователемъ этихъ толковъ явился тотъ даровитый критикъ, который замѣнилъ собою Бѣлинскаго, но замѣнилъ, къ сожалѣнію, не надолго. Появилась въ высшей степени доказательная, справедливая, добросовѣстная критика «Обломова», принадлежащая Добролюбову. Къ сожалѣнію, позже стали появляться другія критики, настолько же несправедливыя относительно «Обломова», насколько несправедливы были нѣкоторыя критики относительно «Обыкновенной исторіи».

Добролюбовъ въ своей блистательной статьѣ уяснилъ, что Обломовъ Гончарова — лицо вовсе не отвлеченное лицо, непосредственно принадлежащее нашей русской жизни, самымъ неразрывнымъ образомъ съ нею связанное. Онъ положительно выяснилъ въ своей мастерской статьѣ, какимъ образомъ, подъ вліяніемъ барскаго воспи-

танія, возникали и еще долго будутъ возникать Обломовы. Можетъ быть, онъ съ недостаточной подробностью разсмотрѣлъ знаменитый «Сонъ Обломова», составляющій одинъ изъ перловъ нашей литературы, — сонъ, въ которомъ Обломову рисуется его дѣтство, его Обломовка, этотъ мирный уголокъ, представляющій нѣчто въ родѣ сказочнаго «соннаго царства». Замѣчу также, что, съ другой стороны, тому барскому воспитанію, которое раскрывается въ «Снѣ Обломова», можно-бы было противопоставить многія черты изъ дѣтства простыхъ людей, рисуемыя Тургеневымъ въ «Бѣжиномъ лугѣ». Крестьянскія дѣти, выведенныя въ этомъ произведеніи, лишены всякаго воспитанія, т.-е. всякаго ухода за ними; но вѣдь за то, предоставленныя самимъ себѣ, они рано дѣлаются самостоятельными, рано проявляютъ дѣятельность, на которую вызываетъ ихъ сама жизнь. Потребность помогать родителямъ, пасти стадо и при этомъ не бояться звѣрей, дѣлаетъ ихъ преждевременно взрослыми: трудовая доля, въ которую втянуты они съ самаго дѣтства, не даетъ молодымъ ихъ силамъ оставаться праздными,— и вотъ это-то и составляетъ для нихъ ту естественную воспитательную силу, воздѣйствія которой лишены дѣти, выросшія въ барствѣ. Широко понимая Обломова и объясняя его какъ произведеніе нашей барской среды, Добролюбовъ видѣлъ «обломовщину» и во многихъ другихъ типахъ нашей литературы; онъ видѣлъ Обломова не только въ Гоголевскомъ Тентетниковѣ, который дѣйствительно можетъ быть признанъ прямымъ родоначальникомъ Ильи Ильича, онъ видѣлъ Обломова и въ такихъ типахъ, которые съ перваго взгляда мало на него похожи, въ типахъ такихъ людей, которые, много толкуя о дѣлѣ, прямо и считаютъ себя дѣльцами, но, въ сущности, немного или совсѣмъ ничего не дѣлаютъ. Какъ извѣстно, Добролюбовъ находилъ «обломовщину» и въ Тургеневскомъ «Рудинѣ», и въ «Героѣ нашего времени» Лермонтова, и въ Пушкинскомъ «Онѣгинѣ». Добролюбовъ понималъ «обломовщину», какъ жизнь внѣ всякихъ связей съ обществомъ, какъ исключительное погруженіе

въ самого себя, при чисто-мечтательномъ, праздномъ сочувствіи общественнымъ интересамъ.

Если понимать «обломовщину» такимъ образомъ, то зачатки ея представляетъ у самого Гончарова Александръ Адуевъ, точно такъ же, какъ Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядюшка «Обыкновенной исторіи», представляетъ не мало общаго со Штольцемъ. Воспитаніе Александра Адуева и воспитаніе Обломова весьма сходно; оно связываетъ ихъ обоихъ, дѣтей XIX столѣтія, съ Фонвизинскимъ Митрофанушкой. Далѣе, однако-же, оба они слушали курсъ наукъ въ университетѣ. Но наша литература выставила не мало людей, не вынесшихъ почти ничего изъ университетскаго курса.

Въ «Обломовѣ» Гончаровъ подробно говоритъ объ этомъ обстоятельствѣ и довольно ясно истолковываетъ его. По выходѣ Обломова изъ университета, «голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ, политико-экономическихъ, математическихъ и другихъ истинъ, задачъ, положеній... у него между наукой и жизнью лежала цѣлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себѣ, а наука сама по себѣ».

Эта схоластическая мертвенность нашей университетской науки объясняется тѣмъ, что она долго оставалась у насъ только *прививною*—естественное неудобство нашей запоздалой образованности. Намъ приходилось на скорую руку только переносить къ себѣ готовое, усиленно повторять чужіе зады, прежде чѣмъ удалось наконецъ начать и самостоятельную работу. Весьма медленно становилась наша наука въ уровень съ требованіями нашей жизни, весьма неподатливо откликалась она на нихъ въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей, которымъ и доставалось-же за то отъ схоластиковъ: «помилуйте, да это вѣдь не наука; вы этимъ испортите молодежь» и т. п., тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, эта такъ-называемая «порча молодежи» могла только помѣшать ей окончательно погрузиться въ ту или другую «обломовщину».

Герой второго романа Гончарова, конечно, вынесъ изъ университетскихъ стѣнъ уже значительно болѣе, чѣмъ Александръ Адуевъ. Онъ вынесъ изъ нихъ довольно ясное пониманіе того, что должно называть настоящимъ «дѣломъ» и что «бездѣльемъ», только скрывающимся подъ личиною дѣла. Обломовъ въ своемъ сужденіи о другихъ высказываетъ весьма свѣтлые взгляды. Онъ не видитъ, напр., настоящаго дѣла въ простомъ составленіи себѣ карьеры, онъ не видитъ настоящаго дѣла и въ литературномъ подбираніи мелкаго житейскаго сора, въ ожесточенномъ ратованіи противъ пустяковъ, въ томъ, что позднѣйшимъ сатирикомъ названо было «*литературнымъ тыкосниматѣльствомъ*». Въ Обломовѣ есть желаніе дѣятельности, но дѣятельности не механической, а самостоятельной, творческой, только эта творческая дѣятельность проявляется у него въ *думахъ*: онъ многое создаетъ, лежа у себя на постели. Обломовъ способенъ отдавать справедливость чужому труду, но, на бѣду, труда въ настоящемъ смыслѣ онъ не замѣчаетъ вокругъ себя. А трудъ просто ради труда, безъ всякой другой высшей цѣли, ему непонятенъ; поэтому онъ готовъ-бы, пожалуй, хотя и не рѣшается этого высказать, видѣть своего рода бездѣлье и въ трудолюбіи Штольца. Но сознаніе важности и цѣнности настоящаго труда такъ и остается въ немъ только *сознаніемъ*; онъ слишкомъ тяжелъ на подъемъ для того, чтобы, приглядѣвшись къ явленіямъ жизни, высмотрѣть себѣ практическую цѣль и начать для нея трудиться. Какъ по своему свѣтлому уму, ясно понимающему наше *дѣловое бездѣлье*, такъ и по барской неразвитости въ немъ самомъ *силы воли*, необходимой для настоящаго труда, Обломовъ самымъ непосредственнымъ образомъ связанъ съ русскою жизнью. Нельзя не удивляться послѣ этого самой возможности появленія критической статьи Писарева, въ которой утверждалось, будто-бы «обломовщина» оказывается у Гончарова не явленіемъ общественнымъ, а простымъ результатомъ темперамента, несчастнаго тѣлосложенія героя романа.

Писаревъ, какъ извѣстно, дошелъ въ своей критикѣ

до того, что усмотрѣлъ въ Обломовѣ какую-то «клевету на русскую жизнь»; но вѣдь это нѣсколько отзывается тѣмъ направленіемъ, которое и въ Гоголевскихъ типахъ усматривало клевету!.. Вмѣстѣ съ тѣмъ Писаревъ какъ-будто обидѣлся нѣмецкимъ происхожденіемъ Штольца; по крайней мѣрѣ онъ вложилъ въ уста Гончарову слѣдующую обидную на насъ мораль: «россіяне, всѣ вы спите... всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна, что мнѣ, романисту, приходится, въ укоръ вамъ, брать своего положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя русской земли». И россіяне,—продолжаетъ уже самъ критикъ,—съ свойственною имъ однимъ добродушною наивностью, умиляются надъ геніальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до-нельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «да, да, вотъ наша язва», и т. д. Но Писаревъ правъ въ одномъ: Гончаровъ дѣйствительно видитъ образцовую личность въ Штольцѣ; въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Чтобы онъ сочувствовалъ Петру Ивановичу Адуеву, на это, какъ мы видѣли, нѣтъ доказательствъ, но въ Штольцѣ онъ хотѣлъ выставить нѣчто въ родѣ идеала; онъ хотѣлъ представить въ немъ сочетаніе дѣлового направленія съ тою сердечною теплотою, съ тѣми поэтическими наклонностями, которыхъ почти нѣтъ у Петра Ивановича; но это, надо признаться, вовсе не удалось нашему романисту.

Гончаровъ, очевидно, думалъ представить въ Штольцѣ гармоническое сліяніе двухъ стихій—нѣмецкой практичности съ русской «широкой натурой». Вышло-же только то, что Штольцъ тратитъ «по бюджету каждый день, какъ каждый рубль», что «въ организмѣ у него нѣтъ ничего лишняго», и что онъ наконецъ «ищетъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа». Но эти тонкія потребности духа выражаются у него собственно въ томъ, что онъ охотно и кейфствуетъ, слушая музыку и читая Шиллера, что составляетъ для

него извѣстную принадлежность того *комфорта*, стремленіе къ которому является, въ сущности, главною цѣлью Штольца. Въ чемъ выразилась у этого обрусѣлаго нѣмца такъ-называемая «широкая русская натура» — остается загадкой. Штольцъ—это, собственно говоря, «вѣчно двигающійся Обломовъ», Обломовъ въ томъ смыслѣ, что вся его дѣятельность, всѣ его усилія уходятъ на то, чтобы создать себѣ удобное и привольное положеніе въ жизни, а жизнь его въ сущности, сколько ни старается ее идеализировать Гончаровъ, жизнь пустая, лишенная всякихъ высшихъ цѣлей и въ этомъ смыслѣ *обломовская* (или даже ниже того, потому что Илья Ильичъ чувствуетъ пустоту своей жизни, а Штольцъ втянулся въ свою съ полнѣйшимъ самоуслажденіемъ).

Вообще попытка Гончарова выставить идеальнаго дѣлового человѣка кончилась почти такъ же печально, какъ и болѣе ранняя попытка въ этомъ родѣ Гоголя.

Вспомнимъ, что во второй части «Мертвыхъ душъ» онъ думалъ выставить образцовыхъ людей въ лицѣ такихъ пріобрѣтателей, какъ помѣщикъ Костанжогло и откупщикъ Муразовъ. Гончаровъ въ лицѣ Штольца хотѣлъ, повидимому, представить личность болѣе высокой пробы, которая, наживаясь, не забываетъ и высшихъ человѣческихъ стремленій; но на самомъ дѣлѣ вышелъ такой-же «пріобрѣтатель», человѣкъ, который скоро составляетъ себѣ состояніе, принимая участіе въ разныхъ компаніяхъ, безпрестанно разъѣзжая съ мѣста на мѣсто и такимъ образомъ постоянно, повидимому, оставаясь дѣятельнымъ — но, въ сущности, только ради собственнаго интереса. Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что Гончаровъ въ концѣ романа самъ почувствовалъ неудачность своего идеальнаго замысла, а потому и заставилъ Штольца испытать въ своей семейной жизни участь, отчасти напоминающую участь Петра Ивановича Адуева.

Та тоска, которая овладѣваетъ по временамъ Ольгой, несмотря на то, что она такъ счастлива со Штольцемъ, эта тоска доказываетъ, что и въ немъ она не нашла того, что ей нужно, тѣхъ высшихъ цѣлей, къ которымъ

она постоянно стремилась, сначала какъ-бы инстинктивно, потомъ совершенно сознательно. Ольга представляетъ намъ въ высшей степени художественно обрисованный образецъ женщины, которая не удовлетворяется однимъ личнымъ счастьемъ, однимъ личнымъ чувствомъ любви.

Это выражается уже въ одномъ изъ первыхъ разговоровъ ея съ Обломовымъ, когда онъ, подъ вліяніемъ только-что охватившаго его чувства, говоритъ ей:

— «Въ вашихъ глазахъ, въ улыбкѣ, въ этой вѣткѣ, въ casta diva—все здѣсь...

— Нѣтъ, не все—половина,—отвѣчаетъ Ольга.

— Гдѣ же другая? что послѣ этого еще?

— Ищите.

— Зачѣмъ?

— Чтобы не потерять первой».

Ей нужна другая, высшая половина счастья, т.-е. высшая жизненная цѣль. Только при этой высшей цѣли любовь можетъ быть постоянной, вѣчной; только такая любовь, которая соединяетъ людей во имя общаго служенія чему-то высшему, можетъ дать содержаніе цѣлой жизни; иначе, рано или поздно, она приведетъ къ той же скукѣ, къ какой привела Адуева съ Наденькой. Только предполагая эту, неистощимую въ своемъ содержаніи, лучшую половину жизни, Ольга спрашиваетъ Обломова: «ужели вы не шутя думаете, что можно разлюбить»? Оттого-то ее и поражаетъ вопросъ: пожертвовала-ли бы она ему тѣмъ, что всего дороже, честью— «Никогда; на этомъ пути впослѣдствіи всегда разстаются, а я... разстаться съ тобой»!.. Но разлука съ нимъ представляется ей невозможною только до тѣхъ поръ, пока она вѣритъ въ возможность воскресить его, пробудить въ немъ дѣятельное стремленіе къ высшей цѣли и этимъ стремленіемъ, какъ рычагомъ, поднять его на ноги. Но ей приходится страшно разочароваться. Въ своей послѣдней бесѣдѣ съ Обломовымъ она говоритъ: «ты нѣженъ, какъ голубь, ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей, да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ нужно

чего-то еще, а чего—я не знаю!» Она и сама вполнѣ ясно не сознаетъ, въ чемъ именно должна заключаться эта другая цѣль, но она ее страстно ищетъ.

Разочаровавшись въ Обломовѣ, Ольга поддержала себя вѣрою въ Штольца. Но когда она начала догадываться, что его дѣятельность—только кажущаяся, потому что въ ней никакой высшей цѣли нѣтъ,—поколебалась ея вѣра въ него, поколебалось и ея счастье. Это живое исканіе чего-то, дающаго широкое содержаніе жизни—черта дѣйствительно существующая въ человѣческой природѣ—такъ же вѣрно подмѣчена въ нашихъ женщинахъ Гончаровымъ, какъ и Тургеневымъ. Это составляетъ замѣчательную черту въ нашей литературѣ, что, постоянно терпя неудачу въ идеальныхъ мужскихъ характерахъ, она дала намъ нѣсколько совершенно удачныхъ идеальныхъ характеровъ женскихъ. Но если мы сопоставимъ Ольгу Гончарова со многими женскими личностями Тургенева, то увидимъ, что хотя послѣднія большею частью богаты силами, но у многихъ изъ нихъ эти силы уходятъ сполна на одну только личную привязанность; не удалась имъ любовь—и все пропало, вся жизнь испорчена. Таковы, напр., Маша въ «Затишьѣ», Вѣра въ «Фаустѣ», Лиза въ «Дворянскомъ гнѣздѣ». Много говорилось въ нашей критикѣ объ ошибочныхъ понятіяхъ этихъ лицъ (не о воспроизведеніи ихъ у Тургенева, совершенно вѣрномъ, вполнѣ художественномъ). Но ошибочность эта не въ томъ, что Вѣра не жертвуетъ своимъ долгомъ жены, что Лиза отступаетъ передъ правомъ другой, хотя и недостойной, женщины: ошибочность въ томъ, что, испытавъ несчастье въ любви, испытавъ необходимость разлуки съ тѣмъ, кого любишь,—онѣ затѣмъ никакой другой цѣли въ жизни не видятъ; въ томъ, что Вѣра въ «Фаустѣ» не находитъ поддержки себѣ въ долгѣ матери, что Лиза въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» умѣетъ только заживо схоронить себя въ монастырѣ. Стремленіе къ чему-то пошире одной личной любви замѣтно отчасти у Наташи въ повѣсти «Рудинъ». Но эти задатки высшихъ стремленій едва-ли не должны заглохнуть въ ней послѣ

брака съ такимъ лицомъ, какъ Волынцевъ. Совершенно уже ясное стремленіе къ высшему оказывается въ Тургеневской Асѣ. «Дни уходятъ, жизнь уйдетъ,—говоритъ она,—а что мы сдѣлали?» Или въ другой разъ: «Крылья у меня выросли—да летѣть некуда». Но мы не знаемъ, что постигло ее послѣ разлуки съ тѣмъ, кого она полюбила. Еще болѣе ясное стремленіе къ высшему видимъ мы у Тургенева въ «Наканунѣ». Вотъ съ Тургеневской Еленой и находится въ нравственномъ родствѣ Ольга у Гончарова; но судьба ихъ не одинакова: Елена нашла свой идеалъ въ болгарѣ Инсаровѣ, Ольга не нашла своего идеала и въ Штольцѣ. Елена, лишась преждевременно Инсарова, находитъ себѣ дальнѣйшій исходъ въ служеніи той идеѣ, для которой жилъ онъ и страстная преданность которой надорвала его здоровье. Какой же исходъ можетъ найти Ольга послѣ того, какъ пошатнулась ея вѣра въ Штольца? Добролюбовъ въ своей критикѣ предполагалъ, что, разувѣрившись въ Штольцѣ, она оставитъ и его, какъ оставила Обломова. Другой критикъ,—весьма даровитый, но нерѣдко высказывавшій взгляды парадоксальные,—Аполлонъ Григорьевъ, высказалъ слѣдующее сужденіе объ Ольгѣ, не предполагая, конечно, при этомъ, чтобы она бросила мужа: изъ нея современемъ «выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчной и безцѣльной нервной тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ Богъ знаетъ чего»... Но мнѣніе это, смѣю сказать, оригинально и только...

Что касается Добролюбова то въ отвѣтъ ему мы имѣемъ основаніе указать на то глубокое *семейное чувство*, которое такъ сильно развито въ Ольгѣ. У нея уже есть семья; къ семьѣ этой, какъ извѣстно, принадлежитъ и принятый на воспитаніе Штольцемъ сынъ умершаго Обломова. Ольга должна найти исходъ въ томъ, чтобы воспитательнымъ вліяніемъ своей личности не дать этому новому поколѣнію пойти по стопамъ Обломова или Штольца.

Чего не доставало, чтобы поднять на ноги залежав-

шагося Илью Ильича, чтобы придать высшее значеніе Штольцу? Штольцъ говоритъ, что «любовь съ силою Архимедова рычага движетъ міромъ», т.-е. онъ говоритъ это о личной любви; и что же? Этотъ рычагъ, который доставался Обломову въ лицѣ Ольги, однако-же не поднялъ его на ноги. Та же личная любовь, которая затѣмъ въ полной мѣрѣ досталась Штольцу, не сдѣлала его такимъ, чтобы не дать тоскѣ закрасться въ душу Ольги. Выходитъ, что настоящимъ рычагомъ можетъ служить только другого рода любовь, болѣе обнимающая, болѣе и дающая,—любовь къ другимъ людямъ, къ обществу, къ родинѣ. Вотъ тотъ жизненный выводъ, который приходится сдѣлать Ольгѣ. Она не станетъ воспитывать то юное поколѣніе, которое у нея на рукахъ, въ нравственномъ одиночествѣ, въ томъ барскомъ уединеніи, въ которомъ держали Обломова. Она будетъ умѣть завязать уже въ дѣтяхъ спасительныя для человѣка связи съ окружающимъ его міромъ. Она не станетъ откладывать ознакомленіе юнаго поколѣнія съ тѣмъ, что значитъ человѣческое горе и человѣческая нужда, а поэтому въ немъ пробудится рано и потребность приходить на помощь другимъ и только въ этомъ и видѣть настоящую, полную содержанія жизнь. Семья, среди которой будетъ дѣйствовать Ольга, послужитъ для нея, такъ сказать, мастерской, гдѣ, подъ теплымъ вліяніемъ ея любящей женской природы, подготовятся будущіе общественные дѣятели. Вотъ тѣ заключенія, которыя могутъ быть сдѣланы на основаніи Гончарова относительно воспитательныхъ мѣръ противъ нашей «обломовщины».

III

«Обрывъ».

Проходитъ болѣе 12 лѣтъ и, наконецъ, появляется третье произведеніе нашего романиста, — «Обрывъ», въ которомъ затрогиваются, повидимому, новыя стороны

жизни; но все-же, вглядываясь, мы замѣчаемъ и тутъ дальнѣйшее развитіе старой темы. Что такое Райскій? Это, чѣмъ и самъ онъ себя считаетъ, по преимуществу художникъ, но такой, который ни въ чемъ не можетъ достичь какихъ-нибудь удовлетворительныхъ результатовъ: это, какъ его очень мѣтко опредѣляетъ М. Волоховъ,—*неудачникъ*. Но если такъ, то что онъ такое, какъ не тотъ-же Обломовъ въ видѣ художника? Однако онъ уже не совершенно отрѣшенъ отъ общественныхъ симпатій; онъ считаетъ нужнымъ самъ пробуждать Бѣловодову къ жизни, говоря ей: «вы здѣсь наслаждаетесь всѣмъ, а подумали-ли вы о тѣхъ людяхъ, которые вамъ доставляютъ доходъ?» Но Бѣловодова имѣетъ полное право отвѣтить на это, что онъ и самъ имѣетъ такихъ-же подневольныхъ людей, а что же онъ для нихъ сдѣлалъ? Да, онъ только говоритъ о дѣятельности на пользу другимъ, настоящей же дѣятельной силы, въ немъ нѣтъ, нѣтъ и настоящей любви даже къ тому искусству, которому онъ хочетъ служить, иначе эта любовь довела-бы его до какихъ-нибудь болѣе удовлетворительныхъ результатовъ. Именно потому, что настоящей любви къ своему призванію въ немъ нѣтъ, онъ и остается всю свою жизнь неудачникомъ. Прямою, повидимому, противоположностью Райскаго представляется Аяновъ; это, собственно говоря, тотъ-же дядюшка Петръ Ивановичъ; но тутъ Гончаровъ уже окончательно намъ доказываетъ, что въ людяхъ подобнаго рода онъ не видитъ ничего сочувственнаго; онъ прямо говоритъ, что вся цѣль этого человѣка — «повыситься изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе, а подъ конецъ, за долговременную и полезную службу и «неусыпные» труды... въ тайные совѣтники и бросить якорь въ портѣ — въ какой-нибудь нетлѣнной комиссіи или комитетѣ съ сохраненіемъ окладовъ, а тамъ, — волнуйся себѣ человѣческій океанъ, мѣняйся вѣкъ, лети въ пучину судьба народовъ, царствъ,—все пролетитъ мимо его, пока апоплексическій или другой ударъ не остановитъ теченія его жизни». Словомъ, тутъ Гончаровъ совершенно ясно намъ обрисовываетъ, такъ сказать, *дѣловую обломовщину*

(хотя, по пріобрѣтательскимъ своимъ сторонамъ, она вмѣстѣ съ тѣмъ и *штольцовщина*). Лицомъ, вполнѣ исполненнымъ любви къ своему дѣлу, къ своему художническому призванію, является въ «Обрывѣ» Кирилловъ. Да, но, любя искусство, онъ отрѣшилъ его ото всего остального міра: онъ не живой человѣкъ, не художникъ-дѣятель,— онъ просто своего рода аскетъ, замкнувшійся въ художническую келью. Таковъ-же и товарищъ Райскаго, Козловъ: онъ дѣйствительно любитъ свой предметъ, но оторванъ отъ всего живого; съ дѣйствительнымъ міромъ связанъ онъ исключительно личною привязанностью къ женѣ: оставляетъ его эта женщина, — и вся прелесть, весь смыслъ жизни для него потеряны.

Лицомъ, въ своемъ родѣ дѣятельнымъ, любящимъ, является бабушка — эта сочувственнѣйшая личность изъ стараго поколѣнія «Обрыва». Да, но изъ той сферы, которую она обнимаетъ своимъ любящимъ сердцемъ, исключено очень многое: исключены ея крѣпостные люди, которыхъ она даже не считаетъ заслуживающими помощи доктора, а отсылаетъ къ старухѣ знахаркѣ. Наконецъ, ея во многихъ отношеніяхъ правдивое сердце долго не мѣшаетъ ей заискивать въ Нилѣ Андреевичѣ, о которомъ она сама говоритъ, что онъ достигъ своего положенія не совсѣмъ похвальными средствами.

Есть въ «Обрывѣ» одно лицо, принадлежащее молодому поколѣнію, которое называетъ себя «*грядущей силой*». Но Райскій находитъ однако возможнымъ спросить Марка Волохова, — «почему онъ ничего не дѣлаетъ», а Маркъ Волоховъ только и можетъ отвѣтить на это: «но и вы вѣдь ничего не дѣлаете». Впрочемъ въ бесѣдѣ съ Вѣрой Маркъ Волоховъ указываетъ на свое жизненное дѣло. «Это дѣло,—говоритъ онъ, — вспрыскивать живой водой человѣческіе мозги». Такое вспрыскиваніе живой водой, какъ онъ его понимаетъ, должно вести къ тому, чтобы смыть съ человѣческихъ мозговъ все напускное; но, смывая съ нихъ многое, слой за слоемъ, онъ наконецъ начинаетъ уже не смывать, а вытравливать и тѣ симпатическія стороны, которыя присущи человѣческой

природѣ, и касаться которыхъ значитъ ее уродовать. Онъ касается тѣхъ связей, которыя соединяютъ человѣка съ человѣкомъ; онъ относитъ и эти, во-вѣки нерасторжимыя связи къ числу искусственныхъ, напускныхъ явленій. Стремленіе Марка Волохова очистить человѣческій умъ ото всего, что онъ считаетъ *насильственно навязаннымъ*, даетъ ему, какъ конечное искомое, голое человѣческое *я*, предоставленное своимъ влеченіямъ, которыя должны быть всѣ, всѣ безъ изъятія, слѣпо удовлетворяемы.

Вотъ съ такимъ-то человѣкомъ встрѣчается дѣвушка, которая начинаетъ работать надъ нимъ, какъ Ольга работала надъ Обломовымъ. Многое ей представляется привлекательнымъ въ Маркѣ Волоховѣ. Онъ не уживается съ общепринятыми правилами, — она и сама не мирится съ ними во многомъ. Она ничего не принимаетъ на вѣру, она вѣритъ только тому, въ чемъ убѣждается (въ этомъ и отличіе ея отъ простодушной ея сестры — такъ живо обрисованной Гончаровымъ, Марѳиньки). Въ Маркѣ Волоховѣ привлекаютъ Вѣру свободныя отношенія ко всему установившемуся; она цѣнитъ въ немъ освободительныя стремленія, но ее отталкиваетъ то, къ чему приводятъ они Марка — это голое человѣческое *я*, предоставленное своимъ влеченіямъ. Въ этомъ, ничѣмъ не ограниченномъ *я* она видитъ только стихійную силу, а стихійная сила легко становится силой гнетущею. Чѣмъ внимательнѣе вглядывается Вѣра въ Марка, тѣмъ болѣе убѣждается въ томъ, что стремленіе освободить свое *я* отъ всякихъ сдерживающихъ началъ невольно переходитъ у него въ стремленіе подчинить этому *я* все окружающее. Въ Маркѣ такимъ образомъ все болѣе и болѣе выясняется передъ нею крайній деспотъ, но она долго, упорно вѣритъ въ возможность раскрыть передъ нимъ то внутреннее противорѣчіе, въ которое онъ безсознательно попадаетъ, остановить его освободительную работу на томъ рубежѣ, переходя за который свобода становится самовластіемъ. Она хочетъ заставить его признать нѣчто высшее, чему онъ долженъ сознательно и съ любовью подчиниться; но это такъ-же точно не удается

ей, какъ Ольгѣ не удается пробужденіе къ дѣятельности Обломова. Высшее начало, по понятію Вѣры, это то, что она (вышло совпаденіе съ ея именемъ) называетъ *вѣрой*, въ переводѣ-же на обыкновенный житейскій языкъ — вѣровать значитъ признавать что-то выше своего собственнаго *я* и его произвольныхъ влеченій. Одно время ей показалось, что она можетъ въ этомъ смыслѣ пробудить вѣру въ Маркѣ, и тогда она была счастлива, находилась въ томъ состояніи, которое Райскій назвалъ экстазомъ. Но послѣ рѣшительнаго свиданія съ Маркомъ, въ которомъ они должны были опредѣлить свои взаимныя отношенія, ей пришлось разочароваться въ своихъ надеждахъ. Короткія отношенія свои къ Марку она понимала не иначе, какъ при участіи того высшаго начала, которое въ данномъ случаѣ является мыслью о *семьѣ*. Вѣра, какъ и Ольга, твердо вѣритъ въ возможность постоянной любви со стороны нравственно здороваго, неиспорченнаго человѣка. Но Маркъ Волоховъ не хочетъ признавать естественной возможности подобнаго постоянства; въ постоянной любви онъ видитъ любовь по приказу, по правиламъ, видитъ «путы, надѣваемыя на ноги». «... Я останусь еще въ этомъ болотѣ,—говоритъ онъ,—не знаю, сколько времени, буду тратить силы вотъ тутъ, но не для васъ, а прежде всего для себя, потому что въ настоящее время это стало моей жизнью, и я буду жить, пока буду счастливъ, пока буду любить. А когда охладѣю—я скажу и уйду, куда поведетъ меня жизнь, не унося съ собой никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязанностей»; я всѣ ихъ оставлю тутъ, на днѣ обрыва! Видите, я не обманываю васъ—я высказываюсь весь: скажу и уйду! и вы имѣете право сдѣлать то-же. А вонъ тѣ мертвецы лгутъ себѣ и другимъ — и эту ложь называютъ «правилами». А сами потихоньку дѣлаютъ то-же самое».

Но Вѣрѣ не легче оттого, что онъ въ самомъ дѣлѣ не лицемѣритъ, а поступаетъ честно: ей становится страшно и холодно отъ подобной честности, потому что она усматриваетъ въ этомъ отсутствіе настоящей, глу-

бокой привязанности къ себѣ. При своемъ свѣтломъ умѣ она не можетъ не понимать, что Маркъ, со своею предвзятою мыслью о невозможности постоянной любви, когда-нибудь просто *вообразитъ*, что любви уже нѣтъ, и станетъ тогда безсознательно ломать свое чувство — ради проповѣдуемой имъ свободы чувства, просто, чтобъ доказать, что постояннаго чувства нѣтъ и не можетъ быть. Если-бы онъ дѣйствительно глубоко ее полюбилъ, должна она думать, онъ бы бросилъ свою предвзятую мысль, онъ бы увѣровалъ въ то же, во что вѣритъ она, въ начало семейное, которое должно освятить ихъ взаимныя отношенія. «Я говорила себѣ часто: сдѣлаю, что онъ будетъ дорожить жизнью... сначала для меня, а потомъ и для жизни, будетъ уважать... сначала опять меня, а потомъ и другое въ жизни, будетъ вѣрить мнѣ... а потомъ...»

— «Вы поймете жизнь, — говоритъ она Марку,—не будете блуждать въ-одиночку, со вредомъ для себя и безъ всякой пользы для другихъ... изъ васъ выйдетъ человѣкъ нужный, сильный...»

И во всемъ этомъ ей приходится окончательно разочароваться: онъ остается вѣренъ своему, правда, честно высказанному ученію о «влеченіяхъ» и «физическомъ процессѣ». По ея же взгляду, подчиняться только однимъ влеченіямъ, не ставя надъ ними рѣшительно ничего — значитъ не имѣть разумной точки опоры, того, что называетъ она корнемъ, значитъ уродовать человѣческую природу. Но если вся работа Вѣры надъ Маркомъ оказывается неудачной, если она должна, наконецъ, сознаться, что ей не пересоздать его, то, при ея характерѣ, при ея нравственномъ закалѣ, ей остается сдѣлать съ нимъ то же, что сдѣлала Ольга съ Обломовымъ. Вѣрѣ остается только разстаться съ Маркомъ. Одно изъ двухъ: или она должна признать его взглядъ и отказаться отъ своего собственнаго, какъ ложнаго,—и тогда она неминуемо пойдетъ съ нимъ на дно обрыва; или она должна устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, и тогда она не пойдетъ за нимъ—середины нѣтъ.

Нашъ авторъ, какъ будто не понялъ этого, а потому романъ его къ концу представляетъ сплошную фальшивую ноту. Давъ Вѣрѣ устоять въ своихъ убѣжденіяхъ, онъ однако-же заставляетъ ее спуститься съ обрыва, т.-е. теоретически она остается при своемъ ученіи, а практически, на дѣлѣ, она является какъ бы наглядными доказательствомъ несостоятельности его, примѣромъ, на который можетъ указать Маркъ въ подтвержденіе своей мысли, что сила влеченія—верховная сила. Высоко поднявъ любимое лицо своего романа, Гончаровъ, по какой-то странной прихоти, взялъ да и сбросилъ его съ высоты въ обрывъ. Чѣмъ же объяснить такое поразительное явленіе у писателя съ такимъ глубокимъ чутьемъ психолога и художника? Развѣ тѣмъ, что Гончаровъ въ своемъ послѣднемъ романѣ отчасти измѣнилъ той художественной объективности, которую такъ превозносилъ въ немъ Бѣлинскій. Онъ не выдержалъ ея тутъ, не удовлетворился безстрастнымъ воспроизведеніемъ жизненныхъ явленій въ той ихъ взаимной связи и цѣлостности, которыя уже сами по себѣ даютъ возможность читателю сдѣлать изъ нихъ подобающее заключеніе. Гончарову захотѣлось вложить въ свой романъ такую мораль, которая прямо бы била въ глаза, захотѣлось во всеуслышаніе провозгласить: «посмотрите, до чего можетъ дойти дѣвушка, хотя и чрезвычайно умная, но не бѣгающая, какъ отъ чумы, отъ различныхъ «Марковъ»; ему захотѣлось предостеречь русскихъ дѣвушекъ: «смотрите, подальше отъ нихъ, не то попадете на дно обрыва». И что же? Изъ прекрасно задуманнаго романа вышло подъ конецъ что-то въ родѣ той старинной «Кунигунды», которую бабушка, въ видахъ морали, заставляетъ читать вслухъ, и, какъ извѣстно, безъ малѣйшей пользы не только для Вѣры, но даже для Марѳиньки. Допустивъ преднамѣренную мораль, Гончаровъ невольно впалъ въ ту переполненность фальшивыми нотами, которою отличается 5-я часть романа. Все, что слѣдуетъ за «обрывомъ», — продолжительное хожденіе бабушки, это странное, ни къ чему не ведущее разыгрываніе ею роли какого-то

«Вѣчнаго жида», повинующагося постоянно звучащему надъ нимъ: «иди! иди!», странное покаяніе той же бабушки въ старомъ грѣхѣ, почти граничащее съ комизмомъ (хотя авторъ, разумѣется, не хотѣлъ этого), посредничество Тушина между Вѣрой и Маркомъ—все это такъ натянуто, все это своего рода tour de force, въ сущности, рѣшительно ни къ чему не ведущій. Замѣчу наконецъ вообще про этого Тушина, котораго назначеніе современемъ изгладить воспоминанія объ «обрывѣ», замѣчу, что ему кромѣ того предназначено въ романѣ осуществить опять идеалъ разумнаго практическаго дѣятеля. Но лицо это выходитъ уже совсѣмъ безжизненнымъ, блѣднымъ; о немъ только говорится, что онъ очень много и очень хорошо что-то дѣлаетъ, но существенный смыслъ его практической дѣятельности изъ его собственныхъ словъ и поступковъ мы едва-ли можемъ узнать.

Въ концѣ романа Райскій, какъ извѣстно, начинаетъ писать романъ подъ заглавіемъ «Вѣра», и высказываетъ при этомъ слѣдующія соображенія:

«Какъ я напишу драму Вѣры, да не сумѣю обставить пропастями ея паденіе, а русскія дѣвы примутъ ошибку за образецъ, да, какъ козы, одна за другой, пойдутъ скакать съ обрывовъ (!!!)».

Тутъ мораль доходитъ уже до оскорбленія здороваго нравственнаго чувства. Такъ и хочется сказать автору: вы не туда совсѣмъ бьете! Поддерживайте вѣру въ человѣческое достоинство, вѣру въ достоинство женщины, и тогда не будутъ страшны никакіе обрывы. А развязкой вашего романа вы, даровитый авторъ, сами поколебали такую вѣру...

Въ «Обрывѣ» женщины поставлены выше другихъ дѣйствующихъ лицъ: въ старомъ поколѣніи бабушка, въ молодомъ—Вѣра. Но идеальная высота этихъ двухъ женщинъ не выдержана до конца и не выдержана вовсе не ради опасенія погрѣшить противъ жизненной правды, а ради посторонней *моральной* цѣли. Это тѣмъ болѣе прискорбно, что Гончаровъ въ своихъ женскихъ типахъ во-

обще умѣлъ достигать соединенія идеальныхъ сторонъ съ жизненною правдою.

Но что же, въ концѣ-концовъ, этотъ Маркъ, надъ пересозданіемъ котораго такъ неудачно трудилась Вѣра? Типъ этотъ, по своимъ основнымъ чертамъ, не новъ: Маркъ, очевидно, предназначался служить дорисовкою типа, выставленнаго Тургеневымъ въ лицѣ Базарова. Но даетъ-ли намъ Гончаровъ что-нибудь такое, что бы болѣе выясняло этотъ типъ? Типъ Базарова, самъ по себѣ, типъ совершенно ясный, цѣльный, живой. Онъ тоже хочетъ освободить себя ото всего, что считаетъ онъ напускнымъ, и при этомъ невольно старается вырвать съ корнемъ и то, что составляетъ неотъемлемую принадлежность человѣческой природы. Не желая быть, какъ онъ выражается, *самоломаннымъ*, онъ безсознательно, на каждомъ шагу, ломаетъ себя, свою, въ сущности, вовсе не сухую и не холодную природу; но она въ немъ постоянно беретъ свое: мы видимъ, что онъ любитъ отца и мать, влюбляется въ Одинцову, наконецъ чувствуетъ себя близкимъ къ народу, несмотря на то, что говоритъ про себя: «я возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо?» Онъ съ презрѣніемъ, съ высоты своего безпредразсудочнаго величія, глядитъ на народъ, но все это—и презрѣніе, и самое это величіе — только слѣдствіе того, что онъ не умѣетъ, не хочетъ умѣть «*отдаться*» — хотя бы даже народу, мысли о народномъ благѣ. Онъ съ презрѣніемъ отталкиваетъ отъ себя эту мысль, тогда какъ въ сущности его такъ и тянетъ къ народу, и онъ съ положительнымъ удовольствіемъ говоритъ Павлу Петровичу Кирсанову: «спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ—въ васъ или во мнѣ—онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете...» Базаровъ—не ходячая теорія; онъ живой человѣкъ, именно живыми своими сторонами обличающій многое въ своей теоріи и въ то же время, несмотря

ни на что, возбуждающій къ себѣ участіе, растворенное даже уваженіемъ.

Что-же добавилъ къ этому типу Гончаровъ своимъ Маркомъ Волоховымъ, который занимается у него своимъ «вспрыскиваніемъ мозговъ» еще во время, предшествующее освобожденію крестьянъ, т.-е. тогда-же, когда Базаровъ занимался своимъ «рѣзаніемъ лягушекъ»? Маркъ Волоховъ знакомится съ Вѣрой, воруя яблоко изъ сада ея бабушки; онъ не знаетъ другой дороги, какъ черезъ заборъ или черезъ окно; онъ беретъ деньги взаймы, прямо говоря, что ихъ не отдастъ; онъ надѣваетъ чужое платье, чтобы оставить его за собою; поддѣлываясь подъ тонъ Вѣры, онъ, письмомъ отъ ея имени, выпрашиваетъ денегъ и платья у Райскаго; онъ вырываетъ страницы изъ книгъ и притомъ изъ такихъ, которыхъ не можетъ не считать полезными, и закуриваетъ ими папиросы. Вотъ, стало быть, цѣлое множество новыхъ чертъ,—но все это нагроможденіе ихъ приводитъ только къ тому, что Маркъ оказывается карикатурой, а не живымъ человѣкомъ. И между тѣмъ, до конца остается совершенно невыясненнымъ вопросъ, предложенный имъ самимъ Райскому: «отчего я такой? отвѣтьте, и тогда я, можетъ быть, вамъ отвѣчу, отчего я не буду ничего дѣлать» (т.-е. ничего кромѣ того *вспрыскиванія мозговъ*, которымъ онъ занимается). Правда, въ одномъ разговорѣ съ Вѣрой Маркъ объясняетъ ей, изъ какого рода людей онъ и ему подобные (эта «новая, грядущая сила») вербуютъ себѣ послѣдователей. Онъ говоритъ, во-первыхъ, о *семинаристахъ*: «ихъ держатъ въ потемкахъ, умы питаютъ мертвечиной и вдобавокъ порютъ нещадно: вотъ, кто позадорнѣе изъ нихъ, да еще изъ *кадетъ*—этихъ вовсе не питаютъ, а только порютъ—и падки на новое, рвутся изъ всѣхъ силъ изъ потемокъ къ свѣту... Народъ молодой, здоровый, свѣжій, проситъ воздуха и пищи, а намъ такихъ и надо».—«Кому *намъ?*»—спрашиваетъ Вѣра, и вотъ этотъ-то вопросъ все-таки такъ и остается вопросомъ и для читателя. Кто такіе *они*, эти вербующіе себѣ послѣдователей?.. Въ другомъ мѣстѣ авторъ говоритъ, что они «*не вѣсть откуда взялись*»;

но вѣдь этого не можетъ быть, вѣдь должна-же существовать *причина* ихъ появленія. У автора остается не разъясненнымъ и воспитаніе самого Марка. Дѣлаются намеки на то, что онъ былъ юнкеромъ, былъ, какъ будто, и въ университетѣ (хотя послѣднее возбуждаетъ сомнѣнье въ Козловѣ). Откуда-же онъ? Отчего онъ такой?

Отвѣта должно искать не у самого Гончарова, а у Достоевскаго. Отчасти отвѣтъ, можетъ быть, найдется и у Писемскаго.

А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ

(въ связи съ нѣкоторыми другими изъ современныхъ писателей).

Гос. Публичная Библиотека в Ленинграде

А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ [1]).

I.

Народные очерки.—Романы семейнаго содержанія.—«Тысяча Душъ».

Особенность литературныхъ пріемовъ отличала Писемскаго уже при первомъ появленіи его на поприщѣ писателя. У Писемскаго, какъ хорошо извѣстно всѣмъ, читавшимъ его внимательно, мы вовсе не находимъ того тонкаго психологическаго анализа, какимъ отличаются Гончаровъ и особенно Достоевскій; онъ не заглядываетъ глубоко въ душу человѣка, не обращаетъ вниманія на ту предварительную работу, которая происходитъ въ ней прежде, чѣмъ человѣкъ совершитъ тотъ или другой поступокъ. Писемскаго занимаетъ совершенно другое,—его занимаетъ собственно *міръ дѣяній* въ ихъ послѣдовательности, въ неразрывномъ сцѣпленіи причинъ и слѣдствій. Онъ можетъ быть названъ по преимуществу писателемъ «эпическимъ», т.-е. строго выдерживающимъ повѣствовательный характеръ. У него вы почти не встрѣтите монологовъ, въ которыхъ человѣкъ высказываетъ наединѣ съ самимъ собой все то, что происходитъ въ его сознаніи и въ его чувствованіяхъ. Какъ направленіе чисто эпиче-

[1] Изъ публичныхъ лекцій 1871 г. — съ нѣкоторыми дополненіями.

ское, направленіе Писемскаго вмѣстѣ съ тѣмъ есть и по преимуществу объективное. Правда, по временамъ попадаются у него вставки полулирическаго, полуфилософскаго свойства — въ родѣ тѣхъ, какія встрѣчаются и у Гоголя, но подобныя отклоненія отъ господствующаго пріема по большей части оказываются у Писемскаго неудачными.

По содержанію, произведенія Писемскаго находятся въ самой непосредственной связи съ Гоголемъ. Достоевскій, какъ видѣли мы, связанъ собственно съ нѣкоторыми изъ Гоголевскихъ произведеній,—съ тѣми, гдѣ Гоголь рисуетъ тѣхъ маленькихъ людей, которые возбуждаютъ не только смѣхъ, но и жалость. Писемскій находится въ кровномъ родствѣ съ самой сущностью большей части произведеній Гоголя. Если главную тему Гоголя составляла пошлость и грязь нашей жизни, то Писемскій продолжаетъ далѣе разрабатывать эту-же тему, пользуясь большимъ просторомъ, предоставленнымъ намъ въ новѣйшее время. Благодаря такому простору, онъ могъ значительно раздвинуть свои рамки. Гоголю приходилось дѣлать намеки на то, что такія личности, какъ городничій, Хлестаковъ, Чичиковъ и др., попадаются не только въ томъ провинціальномъ кругу, откуда ихъ взялъ Гоголь, но что они существуютъ и въ другихъ сферахъ. Писемскій прямо выдвигаетъ передъ нами цѣлый рядъ чисто-Гоголевскихъ личностей на высшихъ общественныхъ ступеняхъ—въ видѣ какихъ-нибудь губернаторовъ или многовліятельныхъ лицъ даже изъ петербургскаго *high life'a*.

Добираясь до высшихъ ступеней, Писемскій касается и самыхъ низшихъ—народа съ его бытомъ и его нравами, до котораго (за исключеніемъ «Вечеровъ на Хуторѣ») Гоголю было довольно мало дѣла (какъ и Гончарову, сходящемуся въ этомъ съ Гоголемъ). Народъ выставленъ у Писемскаго съ тѣмъ-же избыткомъ натурализма, какъ и все другое. Въ разсказѣ «Питерщикъ» выведена у него личность, которую тянетъ въ столицу и которой повезло въ Петербургѣ. Среда, его произведшая—промышленное, смѣтливое, находчивое крестьянское населеніе Костромской

губерніи. Впрочемъ, питерщику повезло въ Петербургѣ только въ первый разъ; во второй ему уже не повезло, но въ совершенно особомъ смыслѣ: онъ не избѣгъ развращающаго вліянія столичной широкой жизни, хотя и этого-бы съ нимъ не случилось, если-бы не особыя домашнія обстоятельства. Счастливый въ своемъ первомъ бракѣ, въ который онъ вступилъ по любви, питерщикъ является во второмъ жертвою приказа отца; вотъ онъ съ горя и ѣдетъ опять въ столицу, гдѣ спускаетъ рѣшительно все въ развеселомъ житьѣ; но здоровая натура беретъ опять верхъ, и онъ трудомъ наживаетъ себѣ новое состояніе. Такимъ образомъ, Писемскій въ этомъ типѣ умѣлъ съ различныхъ сторонъ отнестись къ нашей простонародной средѣ, оставшись одинаково далекимъ и отъ ложной идеализаціи, и отъ крайняго сгущенія мрачныхъ красокъ. Въ другомъ извѣстномъ его разсказѣ: «Батька» выставлена уже исключительно мрачная сторона жизни нашего простонародья, т.-е. собственно его семейныхъ нравовъ, рисуемыхъ тутъ въ ужасающемъ видѣ,—къ сожалѣнію, можетъ быть, не преувеличенномъ, хотя подобныя явленія, разумѣется, не являются заурядными (да Писемскій и не думаетъ выставлять ихъ такими). Въ «Плотничьей Артели» онъ показываетъ намъ, до какой степени извращеннымъ можетъ оказываться и такое превосходное бытовое учрежденіе, какъ эта *артель*: надъ ней господствуетъ тутъ «кулакъ» Пузичъ, хотя съ другой стороны на него оказываетъ умѣряющее вліяніе умная, дѣловитая личность Петра, вполнѣ сознающаго себя силою и относящагося даже къ барину съ тѣмъ неподобострастіемъ русскаго человѣка, которое удавалось ему сохранять и въ приниженія времена крѣпостного права.

Чтобы познакомиться съ народной артелью въ ея идеальномъ значеніи, надо, конечно, оставивъ Писемскаго, обратиться къ такому этнографу-беллетристу и этнографу-историку, какъ Мельниковъ. «Въ лѣсахъ» мы находимъ у него артель въ видѣ настоящей маленькой крѣпко сплоченной общины. Одинъ изъ представителей этой артели (Артемій) даетъ намъ заглянуть въ глубину

историческихъ воспоминаній, основанныхъ, конечно, не на чемъ иномъ, какъ на преданіяхъ и пѣсняхъ. Въ своемъ разговорѣ съ купцомъ, который попадаетъ въ эти лѣса, онъ даетъ почувствовать, что артель, которая такъ озлобляетъ купца своей стойкостью,—это обломокъ цѣлаго порядка вещей, когда-то господствовавшаго по Волгѣ. «Было золотое время, да по грѣхамъ нашимъ миновало... Сѣрые люди жили на всей вольной волюшкѣ, сладко ѣли, пьяно пили, цвѣтно платье носили; житье было разудалое, развеселое... Въ стары казачьи годы не купецкіе люди волжскимъ раздольемъ владали, а наша братья голытьба. Голытьба въ стары годы по нашимъ лѣсамъ жила, голытьба жила и промежъ полей...» Мало-по-малу обстоятельства измѣнили значеніе этой *голытьбы*, которая только послѣ такой перемѣны и могла получить это имя. «Кормиться стало нечѣмъ, хлѣба недородъ, подати большія, отъ бояръ да отъ приказныхъ людей утѣсненье... И побѣжала голытьба врозь, стали вольными казаками... Которая голытьба на Украину пошла,—та ляховъ да басурмановъ побивала, свою казацкую кровь за Христову вѣру проливала... Которая голытьба на Сибирь махнула, та сибирскія мѣста полонила и великому государю Сибирскимъ царствомъ поклонилась...»

Требовать отъ Писемскаго въ изображеніи народа того, что является «золотомъ въ грязи» (которое умѣлъ такъ хорошо всегда разглядѣть Достоевскій) или даже прямо золотомъ (за которымъ опять-таки надо идти къ Достоевскому, идти къ Тургеневу)—значитъ требовать того, что выходитъ за предѣлы его, такъ сказать, литературной спеціальности. Область Писемскаго—область будничности по преимуществу, будничности съ ея пошлостью. Болѣе идеалистомъ, чѣмъ Писемскій, является по отношенію къ народу, какъ это ни странно, даже Рѣшетниковъ съ его трезвою правдой (по выраженію Тургенева) и даже въ «Подлиповцахъ». Извѣстно, что этотъ бытовой очеркъ рисуетъ въ самомъ безотрадномъ свѣтѣ положеніе народа въ одномъ изъ наиболѣе глухихъ угловъ нашего отечества. Авторъ, конечно, не

безъ умысла выбралъ именно такую мѣстность, гдѣ, по самымъ климатическимъ условіямъ, человѣкъ поставленъ въ положеніе нечеловѣческое. «Пробовали, —сказываютъ подлиповцы,—за хлѣбушкомъ ходить, да все не въ толкъ; только начинаетъ созрѣвать хлѣбъ, — баско! — вдругъ дожди, заморозки, снѣгъ... попачешь, погорюешь, да и скосишь травку Божью, измелешь и ѣшь такъ съ горячей водой, либо настоящей мучки смѣшаешь или коры осиновой, либо липовой наскоблишь...» При такомъ состояніи постояннаго голоданія,—у жителей этой глухой мѣстности Чердынскаго уѣзда Пермской губерніи замѣтно, съ другой стороны, и полное отсутствіе духовнаго хлѣба. Еще недавно крещеные, они хотя-бы и съ дѣтства были крещены, все же были-бы только по имени христіанами. Священнику, получающему за требы ковригу хлѣба, выходитъ тутъ некогда думать о томъ, чтобы кормить духовной пищей свою паству. Сгущая мрачныя краски въ своей картинѣ безвыходнаго положенія подлиповцевъ, Рѣшетниковъ, между прочимъ, представляетъ намъ голодныхъ и окоченѣлыхъ дѣтей, которыхъ положили въ печь потому, что тамъ теплѣе, и которыхъ убиваетъ вывалившійся изъ внутренности печи камень. А родные и не чувствуютъ своей потери: напротивъ, они почти рады, что двумя ртами меньше. Авторъ идетъ еще дальше: онъ дѣлаетъ намеки на то, что и самая выдающаяся между подлиповцами личность—Пила какъ будто-бы просто не сознаетъ, что такое «дочь», а его сыновья нимало не сознаютъ, что такое «отецъ». Тутъ, разумѣется, авторъ, въ своемъ желаніи ярче обрисовать весь ужасъ нравственнаго отупѣнія людей, зашелъ уже слишкомъ далеко. Но его гуманная натура и его дарованіе удержали его отъ окончательнаго впаденія въ крайность, которую вѣрнѣе всего, какъ черту мало свойственную нашей литературѣ, обозначить французскимъ выраженіемъ—шаржъ. На повѣрку же и подлиповцы все-же оказываются у Рѣшетникова не вполнѣ отупѣлыми: человѣческая природа сказывается и тутъ въ томъ, что въ нихъ не угасло желаніе лучшаго, что они рвутся

изъ своей безвыходной обстановки. Пила подговариваетъ ихъ идти на Волгу бурлачить, и они легко поддаются надеждѣ на хорошіе заработки, которую онъ имъ выставляетъ на видъ. Надежда эта, конечно обманываетъ несчастныхъ подлиповцевъ: бичева, за которую они тянутъ суда, разрывается, и они, расшибаясь при паденіи, платятся жизнью за неудачную предпріимчивость, возбужденную въ нихъ Пилой. Такая ихъ гибель—черта, можетъ быть, опять нѣсколько изысканная, такъ какъ это все-таки лишь случайность. Съ другой стороны, можетъ быть, авторъ слишкомъ возвысилъ насчетъ остальныхъ собственно одного этого Пилу, который у него говоритъ: «вотъ, значитъ, я сила. Не я бы, такъ не то бы было съ вами». А вся его сила въ томъ, что онъ любящая душа, въ томъ же смыслѣ любящая душа, какъ Тургеневская Лукерья (въ «Живыхъ Мощахъ»). Но любящихъ душъ могло бы, можетъ быть, отыскаться и между подлиповцами поболѣе, такъ что авторъ едва-ли не попадаетъ въ ложное возвеличеніе отдѣльной личности, говоря: «Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понялъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался пріискать себѣ работу и сбыть ее, а главное услужить своимъ подлиповцамъ. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ собирать ради Христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами». Едва-ли есть достаточныя причины считать до такой степени исключительною эту естественную способность думать о другихъ, жить для нихъ, дѣлиться съ ними послѣднимъ,—ту способность, которую такъ любилъ подмѣчать Достоевскій въ своихъ забитыхъ, т.-е., стало быть, не совершенно забитыхъ людяхъ.

У Писемскаго ни въ изображеніи народныхъ нравовъ, ни въ изображеніи нравовъ общества не ищите ничего подобнаго. Въ этомъ отношеніи онъ гораздо односторонѣе общаго учителя—Гоголя. Онъ отмежевалъ себѣ изъ него именно область будничности и пошлости.

Извѣстно, что въ ряду различныхъ пошлыхъ явленій, накопившихся въ нашей жизни, Гоголь затронулъ и

ту пошлость, которая безобразитъ нашу семейную жизнь. Въ нѣсколько карикатурномъ видѣ онъ коснулся этой темы въ «Женитьбѣ». Здѣсь онъ показалъ, до какой степени грубо-легко рѣшается у насъ одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ—вопросъ о бракѣ. Писемскій на эту тему написалъ цѣлый рядъ произведеній; къ нимъ относится и то, которое обратило на него на первыхъ порахъ особое вниманіе публики, хотя ему предшествовало нѣсколько другихъ, также замѣчательныхъ: я разумѣю повѣсть «Тюфякъ», написанную именно на эту семейную тему. Къ сожалѣнію, герой повѣсти, Бешметевъ, не заблагоразсудилъ поступить такъ, какъ поступилъ Гоголевскій Подколесинъ,—онъ не выпрыгнулъ изъ окна, а преспокойно воспользовался невѣстою, которую высватали за него противъ ея воли. Дѣло въ томъ, что самъ-то онъ ее полюбилъ, т.-е. полюбилъ чисто-внѣшней любовью. До женитьбы онъ видѣлъ ее всего нѣсколько разъ, даже не говорилъ съ ней, и она ему издали понравилась. Подумать о томъ, какого она о немъ мнѣнія, по всей вѣроятности, ему помѣшалъ его странный характеръ, который и доставилъ Бешметеву прозвище «тюфяка». Характеръ этотъ въ повѣсти Писемскаго объясняется прежде всего темпераментомъ. Зависимость подобнаго рода характера отъ барской среды, по-моему, гораздо яснѣе показана въ «Обломовѣ» Гончарова, чѣмъ въ «Тюфякѣ» Писемскаго. Я совершенно несогласенъ въ этомъ отношеніи съ Писаревымъ, въ сужденіи котораго о «Тюфякѣ» и объ «Обломовѣ» должна быть, я думаю, сдѣлана перестановка: то, что говорится Писаревымъ объ Обломовѣ, должно быть отнесено къ Бешметеву, и наоборотъ. Только неограниченною властью надъ Бешметевымъ именно темперамента и можетъ быть объяснена та рѣшимость, съ какой соглашается онъ на бракъ съ Жюли. Бешметевъ—человѣкъ развитой, человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ—склоняется на торговую сдѣлку, придуманную разорившимся отцомъ невѣсты и поддерживаемую разными провинціальными барынями. Но жертвой этой сдѣлки, по крайней мѣрѣ, является дѣвушка

довольно пустая, а потому и не возбуждающая особеннаго сострадания, хотя Писемскій, раскрывая передъ нами всѣ послѣдствія ея насильнаго брака, заставляетъ насъ наконецъ страдать вмѣстѣ съ нею. Гораздо большее сострадание возбуждаетъ другая личность—въ повѣсти, написанной ранѣе, а именно въ «Боярщинѣ». Тамъ лицо нѣжное, симпатичное становится спутницей жизни такого человѣка, который ни въ какомъ смыслѣ не подходитъ къ ней,—совершенно грубаго, чисто животнаго Задоръ-Мановскаго. Извѣстно, какова была судьба ея съ нимъ.

Въ произведеніяхъ перваго періода литературной дѣятельности Писемскаго (сюда-же относятся «Бракъ по страсти», «Богатый женихъ») мы постоянно встрѣчаемъ женщину, совершившую, въ особомъ, конечно, смыслѣ, – «подвигъ» Сонечки Мармеладовой. Вспомните, что говоритъ Раскольниковъ про сестру, когда узнаетъ, что она должна выйти замужъ за Лужина: «да вѣдь тутъ и отъ Сонечкина жребія не далеко! Сонечка,—вѣчная Сонечка! пока міръ стоитъ...» И дѣйствительно, эта «Сонечка» повторяется въ цѣломъ рядѣ произведеній Писемскаго. Понятно, какова должна быть семья, когда служащій ей основою бракъ является просто сдѣлкой. Налегая на это явленіе, Писемскій раскрываетъ одну изъ глубокихъ язвъ нашей жизни: онъ указываетъ на то, что въ свою очередь отравляетъ и нашу общественную среду, потому что вѣдь въ семьѣ подготовляются общественные дѣятели, а что могутъ они вынести изъ нея, если она основана на торговой сдѣлкѣ? [1])

Но въ повѣстяхъ и романахъ Писемскаго не одна только женщина, выходя замужъ, является Сонечкой Мармеладовой: онъ представляетъ намъ и мужчину, разыгрывающаго ту же роль. Такимъ оказывается Кали-

[1]) Въ послѣднее время у насъ особенно полюбили вставать на защиту семьи и плакаться о ея разрушеніи такъ-называемымъ «женскимъ вопросомъ», даже самымъ высшимъ женскимъ образованіемъ. Заглянули бы къ нашимъ писателямъ и увѣрились бы, что настоящей семьи въ нашемъ обществѣ, пожалуй, и нѣтъ. Для созданія ея могло бы, пожалуй, и пригодиться именно высшее женское образованіе.

новичъ, герой «Тысячи Душъ», который,—въ томъ и сущность романа,—женится на этой тысячѣ душъ, приносимой ему въ приданое кривобокой Полиной. Что-же заставляетъ его поступить такимъ образомъ? Нашъ авторъ разъясняетъ это довольно подробно: «...Болѣе всего произвелъ на него впечатлѣніе комфортъ, который онъ видѣлъ всюду въ домѣ генеральши. Надобно сказать, что комфортъ въ умѣ моего героя всегда имѣлъ огромное значеніе: и для кого-же, впрочемъ, изъ солидныхъ, благоразумныхъ и образованныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ онъ этого значенія? Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хотя-бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную артерію и кровью изойти, но только близехонько, на подножіи нашего золотого тельца. Для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ наконецъ преступленія...»

У Достоевскаго мы видимъ человѣка, который дошелъ до ужаснаго преступленія,—до убійства, но онъ дошелъ до него не потому, чтобы желалъ комфорта, а потому, что у него и у многихъ вокругъ него не хватало самаго необходимаго, самаго существеннаго и на него вслѣдствіе этого сильно подѣйствовали особыя прочитанныя имъ книги. Калиновичъ у Писемскаго ради комфорта совершаетъ цѣлый систематическій рядъ преступленій, но не такихъ, за которыя ссылаютъ на каторгу. Онъ сумѣлъ не дойти и до того, до чего дошелъ Гоголевскій Чичиковъ,—до тѣхъ поступковъ, вслѣдствіе которыхъ Павелъ Ивановичъ угодилъ наконецъ въ острогъ. Преступленія Калиновича совершенно другого рода. Это преступленія не уголовнаго свойства; онъ только, какъ извѣстно, другихъ подводитъ, и даже очень искусно, подъ уголовщину. Его преступленія свойства чисто-нравственнаго: тѣмъ не менѣе, онъ остается Чичиковымъ въ новомъ вкусѣ, Чичиковымъ съ университетскимъ образованіемъ.

Писемскій не говоритъ такъ подробно о воспитаніи своего героя, какъ Гоголь о воспитаніи Павла Ивано-

нимъ, но онъ ясно указываетъ на то, что Калиновичу, какъ и Чичикову, пришлось самому пробивать себѣ дорогу, и что въ дѣтствѣ онъ испыталъ сильный отцовскій гнетъ, подъ вліяніемъ чего и проявилось въ немъ желаніе добиться наконецъ довольства и свободнаго положенія въ жизни. Но неужели Калиновичъ не вынесъ уже рѣшительно ничего изъ тѣхъ «святыхъ стѣнъ университета», о которыхъ онъ упоминаетъ впослѣдствіи, въ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ подчиненныхъ, также бывшимъ студентомъ? Изъ стѣнъ университета онъ вынесъ до нѣкоторой степени, какъ это ни грустно, *утонченное* понятіе о комфортѣ. Въ понятіе о комфортѣ вошла у Калиновича потребность почета, потребность играть роль, выдвинуть себя поступками, заслуживающими почтенія, потребность власти, и, при помощи этой власти, проведенія, какъ онъ ихъ называетъ, «святыхъ убѣжденій». Но эти «святыя убѣжденія» нужны Калиновичу для того, чтобы *выказаться* при помощи ихъ. Если онъ впослѣдствіи, достигнувъ своей цѣли, т.-е. довольно значительнаго положенія, становится слишкомъ осторожнымъ и вслѣдствіе того попадаетъ въ бѣду, то тутъ съ его стороны вовсе нѣтъ благороднаго увлеченія честными убѣжденіями,—онъ увлекается только своимъ властолюбіемъ. Представьте себѣ Калиновича сознающимъ, что, проводя «святыя убѣжденія», онъ рискуетъ потерять свое видное положеніе, а съ нимъ и комфортъ—и вы не усомнитесь сказать, что онъ въ такомъ случаѣ не подорожитъ убѣжденіями. Правда, Писемскій нѣсколько облагородилъ Калиновича тѣмъ, что далъ ему сознаніе черноты своихъ поступковъ, такое сознаніе, котораго у Чичикова нѣтъ; Чичиковъ того мнѣнія, что все, совершаемое имъ, совершенно въ порядкѣ вещей; недаромъ отецъ еще въ дѣтствѣ ему внушалъ, что стремленіе къ наживѣ—верховный двигатель. Но вѣдь и Калиновичъ, хотя онъ и сознаетъ черноту своихъ поступковъ, вовсе не удерживается такимъ сознаніемъ отъ дальнѣйшихъ поступковъ такого-же рода. Онъ сходится съ Чичиковымъ въ томъ, что, по его мнѣнію, «безъ этого вѣдь нельзя». Вспомните

письмо, написанное имъ изъ Петербурга къ Настенькѣ, которой онъ далъ при прощаньи, надъ могилою ея матери, клятву вернуться, чтобы жениться на ней, но, давая клятву, заранѣе зналъ, что ее нарушитъ. Въ письмѣ изъ Петербурга онъ говоритъ ей: «дѣлаясь лжецомъ и обманщикомъ, я поступалъ не какъ вѣтреный и пустой мальчишка, а какъ человѣкъ, глубоко-сознающій всю черноту своего поступка, который омывалъ его кровавыми слезами, но поступить иначе не могъ». Далѣе, говоря уже совершенно прямо, что онъ все-таки на ней не женится, онъ тѣмъ не менѣе проситъ, чтобы она пріѣхала къ нему, и она дѣйствительно пріѣзжаетъ—въ силу той привязанности, которую Писемскій, съ обычною незатѣйливостью своихъ выраженій, называетъ *собачьей*. (Есть, дѣйствительно, что-то нечеловѣческое въ такой личной привязанности, несмотря ни на что). А Калиновичъ, послѣ новаго рѣшительнаго шага съ ея стороны (вспомните, что это сводитъ въ могилу ея добраго отца), совершаетъ у нея на глазахъ цѣлый рядъ новыхъ подлостей! Литературный трудъ, на который разсчитывалъ онъ въ Петербургѣ, оказывается плохою опорой; рекомендательное письмо князя къ директору департамента, на которое онъ не менѣе возлагалъ надеждъ, также не приводитъ ни къ чему положительному. Надежды рушатся, а жажда комфорта, въ виду столичныхъ соблазновъ, все болѣе и болѣе овладѣваетъ Калиновичемъ. Расхаживая по Петербургу, онъ не можетъ отдѣлаться отъ мысли, какъ бы добиться того, чтобы и ему можно было жить припѣваючи, какъ другіе. Подъ неотразимымъ вліяніемъ этой мысли онъ пользуется неожиданной встрѣчей съ княземъ, и уже самъ напрашивается на то, отъ чего когда-то рѣшительно отказался—на бракъ съ кривобокой Полиной. Чтобы достигнуть цѣли, онъ добровольно подвергаетъ себя цѣлому ряду нравственныхъ униженій. Вспомните, какъ князь, пользуясь выгодою своего положенія, даетъ ему почувствовать, что надо было раньше объ этомъ подумать, что теперь уже, можетъ быть, поздно. При этомъ князь съ такимъ язвительно-самодо-

ходьнымъ многословіемъ говоритъ о томъ, какъ трудно жить литературнымъ трудомъ, и какое ребячество на него разсчитывать. И Калиновичъ долженъ все это выслушать, самымъ заискивающимъ образомъ обращаясь съ княземъ, который наконецъ берется-таки быть посредникомъ между нимъ и Полиной. Но тутъ начинается новый рядъ еще болѣе низкихъ поступковъ. Вспомните, что Калиновичъ выдаетъ князю вексель на 50 тысячъ въ счетъ тѣхъ благъ, которыя получитъ онъ отъ Полины. Вспомните, что, когда Полина его разспрашиваетъ объ его отношеніяхъ къ Настенькѣ, онъ, не колеблясь, выдумываетъ про эту беззавѣтно отдавшуюся ему дѣвушку, будто-бы она ему измѣнила. Далѣе Настенькѣ, въ видѣ вознагражденія, посылается 25 тысячъ рублей, которыхъ она, разумѣется, не беретъ. Затѣмъ дается взятка баронессѣ, черезъ которую Калиновичъ надѣется получить мѣсто, и баронесса, разумѣется, беретъ эту взятку. Столь-же благополучно, на вечерѣ у той-же баронессы, другая взятка, въ видѣ проигрыша, дается графу. Послѣ всего этого Калиновичъ имѣетъ полное право сказать: «а мы съ вами, князь, ужаснѣйшіе мошенники!» Князь совершенно съ этимъ согласенъ, удивляясь только наивности Калиновича: «... Все зло,—говоритъ онъ,—лежитъ въ вашемъ глупомъ университетскомъ воспитаніи, гдѣ набиваютъ голову всякаго рода великолѣпными чувствительными идейками, которыя никогда и нигдѣ въ жизни не приложимы...» Но, видно, университетское зло не очень глубоко въѣлось въ Калиновича. Чувствуя нравственное паденіе своего героя, авторъ старается указать на то, что многіе люди, способные его упрекнуть, въ сущности нисколько не лучше его. Слѣдуетъ большая лирическая или лирико-сатирическая тирада, которая оканчивается словами: «... А васъ, старцы, любящіе только героевъ добродѣтельныхъ, я не беру въ присяжные: вонъ изъ судилища! Вся жизнь ваша была запятнана еще худшимъ! Всѣ ваши мечты были направлены на пріобрѣтеніе, какимъ-бы то ни было путемъ, благоустроенныхъ имѣній, каменныхъ домовъ и очаровательныхъ

ныхъ дачъ. Вы и теперь о томъ только молите Бога, чтобы для дѣтей вашихъ вышла такая-же линія!» И авторъ, разумѣется, правъ въ томъ, что грязныя качества Калиновича — качества чрезвычайно распространенныя, что его дрянность есть общественная наша дрянность. Публика, повидимому, поняла это: Гоголь уже пріучилъ ее къ пословицѣ: «на зеркало нечего пенять...» Она отнеслась къ роману съ полнѣйшимъ сочувствіемъ; критика отозвалась о немъ, по большей части, съ тѣмъ-же сочувствіемъ. Только, если не ошибаюсь, въ «Русской Бесѣдѣ» появилась статья, въ которой указано было на нѣкоторыя слабыя стороны романа. Съ другой стороны, весьма знаменательно, что такой критикъ, какъ Добролюбовъ, не посвятилъ этому роману подробнаго разбора, а затронулъ его только вскользь въ своемъ превосходномъ разборѣ Тургеневской повѣсти «Наканунѣ». Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, Добролюбовъ совершенно разошелся съ Писаревымъ, который отнесся къ «Тысячѣ Душъ» съ полнѣйшимъ сочувствіемъ. Вспомнимъ, что сказалъ Добролюбовъ про романъ Писемскаго: «О «Тысячѣ Душъ» мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво...» [1])

Съ основою этого приговора, быть можетъ, нельзя согласиться, но спрашивается, что-же могло вызвать у такого критика, какъ Добролюбовъ, подобнаго рода приговоръ? Мнѣ думается, что честная, гуманная натура Добро-

---

[1]) Противъ «Тысячи Душъ» были тогда и мы, но написанная нами тогда статья нигдѣ не была принята, потому что пресса оставалась подъ вліяніемъ постигшаго насъ тогда, благодаря Добролюбову, остракизма. Между тѣмъ, относительно «Тысячи Душъ» мы тогда прямо сошлись съ Добролюбовымъ.

любовь почувствовала въ нѣкоторыхъ мѣстахъ романа извѣстнаго рода фальшивыя ноты. Авторъ, напримѣръ, указывая на то, что герой его сознаетъ черноту своихъ поступковъ, не разъ увѣряетъ, будто-бы его постоянно и страшно мучитъ совѣсть. Такъ она, будто-бы, его мучитъ послѣ того, какъ онъ ложно поклялся Настенькѣ; но, несмотря на то, онъ, предъ прощаньемъ съ ней, «въ послѣдній разъ», увѣряетъ авторъ, блаженствуетъ и «блаженству, казалось, не было конца». Но вѣдь одно изъ двухъ—или блаженство, и тогда нѣтъ угрызеній совѣсти, или угрызенія совѣсти, и тогда, т.-е. одновременно съ ними, не можетъ быть блаженства. А Калиновичъ, все еще продолжая мучиться совѣстью и помня послѣднее свое блаженство съ Настенькой, по пріѣздѣ въ Петербургъ создаетъ себѣ новый Магометовъ рай у Амальхенъ. За то послѣ свадьбы съ кривобокой Полиной его ожидаетъ такое «блаженство», что онъ кидается на пожарище и изъ пламени выноситъ женщину: но онъ спасаетъ ее случайно,—въ виду у него было—погибнуть на этомъ пожарѣ. Тутъ уже желаніе искупить грѣхи своего героя его нравственными страданіями доводитъ нашего автора до того, чего бы, казалось, отъ него-то и нельзя было ждать, — до положительной мелодрамы. Далѣе, послѣ 10 лѣтъ брачной жизни съ Полиной, послѣ того, какъ Калиновичу удалось посадить въ острогъ устроителя своего счастья—князя, къ нему снова является, какъ извѣстно, Настенька—уже провинціальной актрисой. Что-же долженъ при этомъ чувствовать человѣкъ, которому она вполнѣ отдалась и которую онъ, любя, оклеветалъ, которой швырнулъ деньги, добытыя продажею имъ себя Полинѣ, человѣкъ, совершившій затѣмъ рядъ другихъ величайшихъ гнусностей—все изъ-за комфорта и изъ-за власти? Авторъ думаетъ, что неожиданный пріѣздъ Настеньки дастъ ему на время забыть всю тяжесть служебной борьбы и дѣятельности. «Боже!—говоритъ Калиновичъ, — благодарю Тебя, что Ты посылаешь мнѣ этого ангела-хранителя!»—«Какъ-бы посреди холодной и мертвящей вьюги,—замѣчаетъ уже самъ Писемскій,—вдругъ на него пахнуло весной. Десятилѣтней

отвратительной семейной жизни и суровыхъ служебныхъ хлопотъ какъ-будто-бы и не бывало...». Какъ, послѣ той длинной цѣпи низкихъ поступковъ, какою опуталъ себя Калиновичъ, возможна еще эта весна, будто-бы на него пахнувшая?! Готовя читателя къ сценѣ свиданія Калиновича съ Настенькой, авторъ говоритъ: «Я съ полной радостью и любовью обращаю умственное око въ грядущую перспективу событій, гдѣ мелькнетъ, хоть не на долго, для моего героя въ его суровой жизни такое полное, искреннее и молодое счастье...»

Казалось-бы, молодость чувствъ можетъ быть сохранена до старости только при жизни, остающейся нравственно-молодою; если-же молодость рано запятнана грязью поступковъ, то едва-ли она можетъ вернуться къ той прежней своей чистотѣ, безъ которой невозможно и настоящее молодое счастье. Самая сцена съ Настенькой, какъ мнѣ кажется, заключаетъ въ себѣ много невѣрныхъ нотъ: едва-ли можно такъ легко, такъ полушутливо встрѣтиться съ женщиной, которую мы столько разъ обманывали, едва-ли и сама она можетъ такъ легко отнестись къ тому, кто ее обманывалъ. Вотъ эти-то фальшивыя ноты, думается мнѣ, и вызвали у Добролюбова вышеприведенный приговоръ, слишкомъ сжатый, а потому и не довольно точный, но отзывающійся несомнѣннымъ нерасположеніемъ къ «Тысячѣ душъ». Всѣ-же эти фальшивыя ноты произошли у Писемскаго отъ того, что онъ измѣнилъ тутъ своей объективности, которую такъ превознесъ въ немъ Писаревъ, измѣнилъ ей не менѣе, чѣмъ Гончаровъ въ «Обрывѣ». Автору захотѣлось опоэтизировать своего окончательно помятаго прозою жизни героя,—и отсюда явилась фальшь, которая нарушаетъ стройное гармоническое впечатлѣніе, производимое цѣлымъ. Нѣкоторые критики нашли нужнымъ напасть на Писемскаго въ другомъ отношеніи: высказано было мнѣніе, что онъ будто-бы оскорбилъ московскій университетъ тѣмъ, что вывелъ изъ него такого запятнаннаго героя. Совершенно вѣрно замѣтилъ на это Дружининъ, что ни московскій, ни другіе университеты не могутъ-же считать свои стѣны непремѣнно оберегаю-

щими *всякаго*, проведшаго въ нихъ узаконенное число лѣтъ, отъ нравственной порчи.

Но нашему обществу все-же не мѣшало-бы задуматься надъ тѣмъ, что и въ другихъ повѣстяхъ Писемскаго, а также и во многихъ произведеніяхъ другихъ отечественныхъ писателей, являются, какъ мы уже видѣли, личности, для которыхъ ихъ университетскіе годы проходятъ почти совершенно даромъ. Бешметевъ въ «Тюфякѣ»,—тоже студентъ московскаго университета, а это не мѣшаетъ ему, какъ мы знаемъ, жениться, не справясь съ тѣмъ, любитъ-ли его невѣста, а потомъ тиранить ее за то, чему онъ самъ причиной. Эльчаниновъ въ «Боярщинѣ» тоже бывшій студентъ, а какъ поступаетъ онъ съ той несчастной женщиной, которая только у него и могла-бы найти спасенье отъ двухъ ей грозящихъ чудовищъ: отъ грубаго звѣря—мужа и утонченнаго, съ лапами въ бархатѣ, но все-таки звѣря—графа? Если мы возвратимся къ Достоевскому, то изъ университета-же выведенъ у него «игрокъ»—личность не безъ добрыхъ стремленій, но безъ твердаго нравственнаго закала, а потому и становящаяся жертвой игры. Изъ университета-же, какъ мы знаемъ, и убійца, хотя и особаго покроя, но все-же убійца Раскольниковъ. А у Гончарова? Праздношатающійся, при всѣхъ своихъ талантахъ, Райскій; весьма умный, но постоянно ничего не дѣлающій Обломовъ; вѣчно суетящійся, но исключительно для одной наживы, Штольцъ,—все это люди, которые не стали болѣе дѣльными отъ университетскаго образованія. А Александръ Адуевъ, этотъ заоблачный мечтатель «Обыкновенной Исторіи», у котораго подъ мечтаніями скрывается только стремленіе къ карьерѣ и фортунѣ? А у Тургенева Рудинъ, чѣкоторыми изъ нашихъ критиковъ поднятый, правда, на пьедесталъ, но въ сущности весь состоящій только изъ прекрасныхъ думъ и желаній; потомъ Лаврецкій, малодушно опускающій руки и уже не видящій никакой цѣли въ жизни вслѣдствіе того, что личное счастье ему измѣнило—развѣ всѣ они не студенты университета? Второстепенныя личности у Тургенева, взятыя также

изъ студенчества, въ родѣ Михалевича или Берсенева, значительно выше, но и въ нихъ вѣдь настоящей жизненной силы не много. Если посравнить да пообдумать, то едва-ли не лучшими изъ всѣхъ упомянутыхъ лицъ придется признать Илью Ильича Обломова и Раскольникова. Обломовъ, правда, ничего не дѣлаетъ, но за то *онъ очень вѣрно понимаетъ, что дѣловая жизнь многихъ, его окружающихъ, въ сущности — то-же бездѣлье.* Раскольниковъ совершаетъ страшное преступленіе, но за то *онъ ясно сознаетъ, что вокругъ него постоянно и систематически совершается множество преступленій, которыя только преступленіями не считаются.*

Дѣйствительно, есть надъ чѣмъ призадуматься: это вѣдь очень плохой признакъ состоянія общества, если и высшее образованіе не исключаетъ возможности цѣлаго множества такихъ типовъ, какіе выведены въ нашей литературѣ. Вѣдь университетское образованіе заключаетъ въ себѣ такія начала, которыя, повидимому, должны-бы были дѣйствовать вполнѣ воспитательно. Въ немъ прежде всего нѣтъ той сословной исключительности, того духа привилегіи, который въ воспитательномъ смыслѣ дѣйствуетъ всегда крайне дурно. А высокій научный уровень? Развѣ онъ въ свою очередь не долженъ-бы былъ и нравственно возвышать людей? Да, но нашимъ университетамъ такъ долго не доставало того, что составляетъ *душу живу*— непосредственной связи съ жизнью и свободы внутренняго строя. Не оттого-ли и оставались долго столь мало удовлетворяющими плоды нашего университетскаго образованія, если судить о нихъ по личностямъ, рядъ которыхъ выведенъ въ нашей литературѣ? Не оттого-ли нашей университетской наукѣ и не удавалось совладать съ дурною закваской, пріобрѣтаемой нами дома, въ семьѣ, которая, какъ показываетъ Писемскій во многихъ своихъ романахъ, стоитъ у насъ такъ не высоко.

II.

«Взбаламученное Море» и «Въ Водоворотѣ» въ связи съ другими произведеніями на тѣ же темы. — «Мѣщане». — «Масоны».

Въ «Взбаламученномъ Морѣ» Писемскій выводитъ опять студента — въ лицѣ Бакланова, который такимъ образомъ описываетъ свои университетскіе годы: «на первомъ курсѣ я занятъ былъ глупой любовью къ кокеткѣ-дѣвочкѣ, потомъ, съ горя отъ неудачи въ этой любви, на второмъ и на третьемъ курсахъ пьянствовалъ и, наконецъ, этотъ годъ—глупѣйшаго ужь и вообразить нельзя — что дѣлалъ? клакеромъ былъ...» Далѣе онъ сваливаетъ всю вину на свое домашнее воспитаніе: «у меня, бывало, матушка только и говоритъ: «Сашенька, батюшка, не учись, болѣнъ будешь!.. Сашенька, батюшка, покушай! Сашенька, поколоти дворового мальчишку: что это онъ тебѣ грубіянитъ». — вотъ и вышяньчили себѣ на шею». При этомъ Баклановъ, баричъ-студентъ, не безъ зависти указываетъ на товарища своего Проскрипскаго: «...онъ идетъ, куда слѣдуетъ, знаетъ до пяти языковъ, пропасть научныхъ свѣдѣній имѣетъ, а отчего? Оттого, что семинаристъ; его и дома, можетъ быть, и въ пхней тамъ семинаріи въ дугу гнули, характеръ по крайней мѣрѣ въ человѣкѣ выработали и трудиться пріучили». Въ другой разъ онъ указываетъ на другого своего товарища: «или Варегинъ вонъ у насъ — совсѣмъ настоящій человѣкъ: уменъ, трудолюбивъ, добръ, куда хочешь поверни, а только отчего?—уличнымъ мальчишкой выросъ».

И такъ, барская закваска домашняго воспитанія,— вотъ еще что мѣшало падать на добрую почву тѣмъ сѣменамъ, которыми все-же должна насъ надѣлять, хотя-бы и не вполнѣ свободная, университетская наука. Этой барской закваски незамѣтно у Разумихина въ романѣ Достоевскаго (хотя и не видно, чтобъ онъ былъ именно семинаристъ), оттого-то онъ такой дѣловой, прямой, че-

стный человѣкъ. Да, но если внимательно посмотрѣть и на превозносимое, какъ-бы не безъ зависти, барчукомъ Баклановымъ семинарское «гнутье въ дугу», то развѣ оно не приводитъ съ другой стороны очень многихъ къ жесточайшему озлобленію?

По части старой бурсы (не особенно даже старой, а дореформенной) мы имѣемъ особаго беллетриста — Помяловскаго. Вникая въ тѣ явленія, которыя онъ рисуетъ въ своихъ «Очеркахъ Бурсы», нельзя не убѣдиться въ томъ, что если оттуда выходили и такіе крѣпыши, которые находились на всякой дорогѣ, не пропали нигдѣ, то съ другой стороны, во многихъ личностяхъ послѣ такого воспитанія, должно было развиваться нѣчто совершенно другое, а именно — сильнѣйшее озлобленіе. Счастливыя натуры выносили этотъ тяжелый искусъ, не ожесточаясь и не падая духомъ; другіе совершенно тупѣли или пошлѣли; третьи, наконецъ, ожесточались. Писаревъ въ одной изъ своихъ лучшихъ статей сравнилъ, какъ извѣстно, «Очерки Бурсы» Помяловскаго съ «Записками изъ Мертваго Дома» Достоевскаго и сравненіе проведено имъ убійственно вѣрно. Критикъ доказываетъ, между прочимъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ старая бурса, этотъ мертвый домъ, куда попадали дѣти, чтобы въ немъ, въ этомъ *мертвомъ* домѣ, подготовиться къ *жизни*, — что она оказывалась еще болѣе сдавливающею, чѣмъ острогъ: «Тамъ, — говоритъ онъ про послѣдній,—не толкутъ воды; тамъ все-таки возможно работать». Между тѣмъ, долбня, которая такъ долго господствовала въ бурсѣ, представлялась дѣйствительно для свѣжихъ молодыхъ способностей своего рода «толченіемъ воды», а за то, что эта долбня не нравилась—доставалась страшнѣйшая порка. Я нахожу совершенно лишнимъ указывать на подробности, — кто не читалъ «Очерковъ Бурсы»? Вспомните еще другую сторону, чрезвычайно ярко выставленную у Помяловскаго,— именно, что эти самые бурсаки, которыхъ заставляли только долбить, которыхъ такъ безпощадно пороли, въ которыхъ, съ одной стороны, все притуплялось, съ другой—являлась упорная ожесточенность и одичалость,—

что они еще въ стѣнахъ бурсы изъ положенія школьниковъ попадали въ положеніе жениховъ.

Какая отталкивающая сцена, когда къ инспектору бурсы является вдова священника съ дочерью и приноситъ ему убогіе подарки, въ томъ числѣ цѣлковый, слезно прося достать жениха ея дочери, за которою закрѣплено отцовское мѣсто. «У насъ на Руси не рѣдкость,—замѣчаетъ Помяловскій.—что бракъ устраивается потому, что женихъ получитъ повышеніе по службѣ и приданое, а невѣста пристроится, получитъ имя жениха и чинъ его». Не мало сходныхъ явленій видимъ мы и въ повѣстяхъ Писемскаго, но Помяловскій прибавляетъ: «нигдѣ святость брака не была такъ попрана, какъ въ сферѣ бурсацкихъ типовъ. Здѣсь нарушеніе брака, извращеніе его узаконено и освящено обычаемъ...» «Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ.—большею частью оскорбляется женщина: но въ бурсацкихъ и женщина, и мужчина. Въ свѣтскихъ—мужчина говоритъ:—«я сытъ и есть у меня имя, иди за меня—ты будешь сыта и получишь имя»; въ бурсацкихъ-же не то:—женихъ кричитъ:—«ѣсть нечего»: невѣста кричитъ:—«съ голоду умираю»—и исходъ одинъ:—соединиться обѣимъ сторонамъ». Объясняя это поражающее явленіе, которое держалось у насъ такъ долго и посѣяло столько зла,—авторъ продолжаетъ: — «Русскіе священники, діаконы, причетники—представители православнаго пролетаріата, у нихъ нѣтъ собственности... До поступленія на мѣсто, всякій попъ нашъ гладенъ и хладенъ, при поступленіи — приходъ его кормитъ... Вотъ это-то пролетаріатство духовенства, безземельность, необезпеченность извратили всю его жизнь». — «Чтобы не дати умереть съ голоду осиротѣвшимъ семействамъ духовныхъ лицъ, рѣшились пожертвовать однимъ изъ высочайшихъ учрежденій человѣческихъ—бракомъ. Мѣсто *закрѣпляютъ*,—техническое, замѣтьте, чуть не оффиціальное выраженіе». Словомъ, то широко понимаемое положеніе Сонечки Мармеладовой,—о которомъ говоритъ Достоевскій—оказывалось постояннымъ, какъ-бы узаконен-

нымъ явленіемъ въ жизни нашего духовенства! Въ настоящее время явленіе это уже не считается узаконеннымъ,—оно, напротивъ, осуждено новѣйшими мѣропріятіями. Но много еще пройдетъ времени, прежде чѣмъ потеряютъ силу тѣ замѣчанія Помяловскаго, которыя относятся вообще къ пролетаріатству нашего духовнаго класса со всѣми его послѣдствіями. Противъ этого зла вообще настоящія мѣры вѣдь еще и не приняты, а потому и бракъ по-неволѣ *на дьлъ* еще останется нерѣдкимъ явленіемъ въ жизни нашего духовенства.

Какова-же должна быть семейная жизнь послѣ подобнаго брака? Понятно, что тѣ человѣческія отношенія, которыя существуютъ у Стебницкаго въ «Соборянахъ» между протопопомъ Туберозовымъ и его женой—не могутъ быть господствующимъ явленіемъ. Такимъ явленіемъ скорѣе должно быть признано то, что рисуетъ намъ другой писатель на ту-же тему, Рѣшетниковъ, въ своемъ «Ставленникѣ». Да, заурядною скорѣе должна быть признана та—не только холодность, но почти ненависть, какую питаетъ тутъ мужъ-ставленникъ къ доставшейся ему по расчету женѣ. А каково должно быть при такой обстановкѣ воспитаніе дѣтей! И послѣ такого-то семейнаго воспитанія эти дѣти попадали въ бурсу, гдѣ ихъ воспитывали такъ, какъ это описано Помяловскимъ, съ тѣмъ, чтобы нерѣдко уже въ стѣнахъ той-же бурсы они заранѣе обрекали себя на ту-же насильную брачную жизнь, которая давала существованіе новому поколѣнію, обреченному, разумѣется, опять на такое-же воспитаніе, опять на такую-же дальнѣйшую участь, и т. д. и т. д. изъ поколѣнія въ поколѣніе! Понятно, что при подобныхъ порядкахъ не часто могли выходить изъ стѣнъ бурсы Туберозовы и Проскипитскіе, а нерѣдко должны были выходить Базаровы. Если въ чемъ-нибудь можетъ быть сдѣланъ упрекъ Тургеневу, то собственно въ томъ, что онъ не объяснилъ всѣхъ особенностей этого типа — тою средою, въ которой Базаровъ родился и долженъ былъ получить первоначальное, до-университетское воспитаніе и образованіе. Но Тургеневъ, какъ извѣстно, отнесся къ

Базарову безъ малѣйшей злобы: другіе-же послѣ него обращались къ этого рода типу съ пѣною у рта, тогда какъ надо было не злиться (этому могла-бы научить хотя-бы даже *эстетика* со своею теоріею спокойнаго и успокаивающаго творчества), а удовлетворительно разъяснить происхожденіе типа. Надо было писать такъ, чтобы вышелъ наружу важный источникъ такъ-называемаго *нигилизма*—различныя наши общественныя неустройства, въ томъ числѣ и пролетаріатство духовенства... Вмѣсто того, чтобы говорить: «у насъ нѣтъ пролетаріата, у насъ его быть не можетъ», надо было понять и доказать другимъ, что хотя оно должно-бы быть такъ по всѣмъ нашимъ даннымъ,—пролетаріатъ и у насъ все-же есть, но только въ особомъ видѣ...

Къ числу писателей, вѣрно и честно указывавшихъ настоящую причину болѣзней преимущественно бурсацкой среды, принадлежитъ, вслѣдъ за Помяловскимъ, и столь-же рано умершій Рѣшетниковъ. Оба они не даромъ испытали на самихъ себѣ гнетущее вліяніе этой среды, изъ которой, какъ вѣрно показываютъ ихъ сочиненія, рвались и не могли не рваться даровитыя силы. Выходитъ, что Баклановъ у Писемскаго совершенно напрасно завидуетъ бурсацкому воспитательному закалу.

По выходѣ изъ университета Баклановъ поступаетъ на службу—такъ, машинально, и на первыхъ порахъ приходитъ въ величайшій конфузъ отъ своей неумѣлости, поставляемой ему на видъ необразованными, но болѣе его опытными чиновниками, тогда какъ было-бы не мудрено понять, что вся ихъ опытность заключается въ одномъ пустомъ формализмѣ. Но Баклановъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, продолжаетъ заниматься и тѣми сердечными дѣлами, на которыя ушли первые годы его университетской жизни: мало того, покончивъ со службой, онъ участвуетъ въ неизглаголанныхъ оргіяхъ Іоны Цинника,—этой отвратительной, но къ несчастью, не невозможной личности Писемскаго. Преждевременно разсоривъ свои чувства, Баклановъ рѣшается на женитьбу, но ошибается въ выборѣ, — не сходится, какъ онъ старается

себѣ объяснить, съ женой въ характерѣ. Въ сущности-же, размѣнявшись на мелкія и грязненькія ухаживанія за женщинами, онъ уже не въ состояніи любить постоянно. Мимоходомъ удовлетворяя своей жаждѣ разнообразія, онъ доводитъ до смерти старую знакомку свою, Казиміру. Разстроивъ свое состояніе и состояніе своихъ дѣтей, онъ спѣшитъ, какъ-бы съ отчаянія, за границу вмѣстѣ съ прежнимъ предметомъ своей страсти, Софи, и въ такомъ-то положеніи застаетъ его великая, начавшаяся у насъ на глазахъ, пора преобразованій. Сначала, прослышавъ о крестьянской реформѣ, онъ съ практической точки зрѣнія промотавшагося помѣщика спрашиваетъ: «но что-же намъ дадутъ? заплатятъ-ли, по крайней мѣрѣ?» А нѣкоторое время спустя, тотъ-же самый человѣкъ рѣшается провозить самыя красныя прокламаціи. (Такъ оно и бывало на самомъ дѣлѣ). Не зная, за что схватиться, онъ кидается, очертя голову, въ ту политическую агитацію, которая и является у Писемскаго «взбаламученностью моря». За эту послѣднюю часть романа, за то, что пора нашего возрожденія выставлена тутъ съ самыхъ слабыхъ, съ самыхъ больныхъ ея сторонъ, на Писемскаго обрушились ожесточеннѣйшія нападки. Публика, а еще болѣе критика, превознесшая его за «Тысячу Душъ», охладѣла къ нему послѣ «Взбаламученнаго Моря». Но мнѣ кажется, что Писемскій въ этомъ случаѣ далеко не заслуживаетъ упрека, скорѣе слѣдующаго другимъ, бравшимся за ту-же тему: онъ показалъ себя болѣе безпристрастнымъ, чѣмъ многіе изъ нихъ. Во-первыхъ, онъ указалъ очень ясно, въ томъ-же самомъ романѣ, въ прежнемъ поколѣніи, въ прежнихъ порядкахъ—множество явленій, гораздо болѣе отталкивающихъ, нежели тѣ, которыя рисуетъ онъ въ концѣ романа. Вспомните, напримѣръ, сцену *дворянскихъ выборовъ*, личность стараго сановника, мистика-ловеласа Ливанова и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сумѣлъ прагматической связью своего разсказа показать, что отъ тѣхъ порядковъ и отъ того поколѣнія должны были неминуемо произойти именно *такія* новыя явленія, именно *такое*

новое поколѣніе, со всѣми болѣзненными ихъ уродливостями.

«Въ обществѣ, не привыкшемъ къ самомышленію, что уже начиналось,—говоритъ Писемскій,—послѣ рабскаго повиновенія властямъ и преданіямъ, такое же насильственное и безотчетное подчиненіе модными идейкамъ». Если съ этими идейками стали соединяться и грязненькіе инстинкты, то и это получаетъ свое объясненіе у Писемскаго: «При нахлынувшемъ со всѣхъ сторонъ болѣе свободномъ воздухѣ, въ комъ какіе были инстинкты, тѣ и начали заявлять себя...» Накопились же эти грязненькіе инстинкты мало-по-малу, въ прежнюю «благодатную» пору; теперь же появилось только стремленіе создать изъ нихъ цѣлую теорію. «...То, что мы дѣлали, крадучись, чему потихоньку симпатизировали,— говоритъ Варегинъ, — они возвели въ принципъ, въ систему; это наши собственныя сѣмена, только распустившіяся въ букетъ». Если-же авторъ затронулъ исключительно пошленькую сторону эпохи преобразованій, то вѣдь самое свойство его таланта таково, что онъ по преимуществу склоненъ изображать именно ее.

Въ другомъ своемъ романѣ, «Люди сороковыхъ годовъ», онъ пытался затронуть и другую сторону той же многознаменательной эпохи, которая наступаетъ въ концѣ романа, послѣ давшей ему заглавіе эпохи сороковыхъ годовъ. Но задача оказалась не по средствамъ автора, и романъ этотъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ у него къ числу самыхъ слабыхъ. По заглавію можно было ожидать, что «людьми сороковыхъ годовъ» окажутся тутъ не только пустозвонные фразеры, но и тѣ честные дѣятели той поры, которые многое намъ подготовили. Между тѣмъ, кого мы тутъ видимъ? На первомъ планѣ тутъ-вышедшій опять-таки изъ университетскихъ стѣнъ, но вынесшій изъ нихъ, въ свою очередь, крайне мало. Вихровъ, главная спеціальность котораго — все тѣ-же сердечныя дѣла. Правда, онъ кидается, наконецъ, на литературное поприще, но первый его шагъ на немъ остается и послѣднимъ: повѣсть его, затрогивающая кре-

стьянскій вопросъ, оказывается неудобною для печати, а его самого посылаютъ на исправительную службу въ провинцію подъ начальство къ губернатору, проводящему время на вечерахъ у г-жи Николовой, и прикрывающему своимъ авторитетомъ разныя, сомнительнаго свойства, дѣлишки. Въ видахъ радикальнаго излѣченія отъ вольнодумства, Вихрову предписываютъ закрыть раскольничью молельню, и что же? Человѣкъ, написавшій такую повѣсть и, стало быть, подававшій надежды на что-то лучшее, безпрекословно исполняетъ возложенное на него дѣло, хотя его обезпеченное положеніе давало ему полную возможность не бояться исключенія изъ службы. Видно и онъ не вынесъ изъ университетскихъ стѣнъ настоящей любви къ народу, которая, стало быть, проглянула у него только мелькомъ въ повѣсти изъ крѣпостного права. Будь въ немъ хоть капля этой настоящей любви, — и ни за какія блага вселенной у него не поднялась бы рука на то, что составляетъ для народа святыню. Въ этомъ отношеніи прямую противоположность съ университетскимъ питомцемъ Вихровымъ представляетъ намъ у Стебницкаго бурсакъ, т.-е. воспитанникъ бурсы, протоіерей Туберозовъ. При всей трудности своего положенія, онъ пытается дѣйствовать самостоятельно, не казенно.

Онъ попадаетъ на такое мѣсто, гдѣ, съ одной стороны, встрѣчается съ *расколомъ*, а съ другой, съ *католическою пропагандой*. Ему хочется живымъ, гуманнымъ образомъ отнестись къ раскольникамъ: «Представлялъ репортомъ,— пишетъ онъ — о дозволеніи имѣть на Пасхѣ словопреніе съ раскольниками, въ чемъ и отказано...» Вмѣсто словопренія нужно совсѣмъ другое: у него добиваются, отчего онъ не дѣлаетъ никакихъ *донесеній* о раскольникахъ. Въ отвѣтъ на это, какъ значится въ его дневникѣ, онъ «добавилъ... въ репортѣ, что нанглавнѣе всего, что церковное духовенство находится въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой слабости, не противодѣйственно подкупамъ, и даже само не мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія.

пріемля даянія раскольниковъ. Заключилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самого духовенства изъ-подъ тяжкой зависимости...» Послѣ такого смѣлаго замѣчанія, что у насъ не съ того конца начинаютъ, онъ «вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе и вызванъ къ личному объясненію». Далѣе ему наставнически замѣтили, «что и самъ Господь нашъ не имѣлъ гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ...» Совѣтовали читать книгу «О подражаніи Христу». Вслѣдъ за тѣмъ въ дневникѣ Туберозова описывается «зрѣлище страшное, непристойное и поистинѣ возмутительное» (это то самое зрѣлище, которое у Писемскаго достается на долю Вихрову—разрушеніе раскольничьей молельни). Онъ думалъ дѣйствовать проповѣдью, а пришлось, чтобы не ослушаться начальства (а ослушаться было бы для него несравненно труднѣе, чѣмъ для Вихрова),—пришлось оскорблять религіозное чувство раскольниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свое собственное.

Подъ 25-мъ августа Туберозовъ заноситъ въ дневникъ слѣдующія строки: «Какая огромная радость! Ксендзы по Литвѣ учредили общество трезвости: они проповѣдуютъ противъ пьянства, и пьянство престаетъ, и народъ остепеняется, а откупщики-кровопійцы лопаются. Ахъ, какъ бы хотѣлось въ семъ родѣ проповѣдничать!» Нѣсколько же далѣе мы читаемъ: «Въ нѣкоторыхъ православныхъ обществахъ заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово. Говорилъ бы по мысли Кирилла Бѣлозерскаго: како крестьяне ся пропиваютъ, а души гибнутъ!» Но что можно было во время оно Кириллу Бѣлозерскому, того нельзя протопопу Туберозову. Вотъ что отмѣтилъ онъ въ своемъ дневникѣ о самомъ выступленіи своемъ на пастырское поприще: «Проповѣдывалъ впервые въ соборѣ послѣ архіерейскаго служенія. Темой проповѣди избралъ текстъ притчи о сыновьяхъ вертоградаря... Свелъ сіе ко благимъ дѣйствіямъ и благимъ намѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые намеки на служащихъ, присягающихъ и о присягѣ своей небре-

тущихъ, давая самъ тонкіе намеки чиноначаліямъ и властямъ... Владыка одобрили сію мою пробу пера. Однако же впослѣдствіи его преосвященство призывалъ меня къ себѣ и, одобряя мое слово вообще, въ частности указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямого отклоненія къ жизни дѣлать опасался, особливо же на счетъ чиновниковъ...»

Относительно же затрудненій съ обществомъ трезвости онъ замѣчаетъ: «...Какъ проповѣдывать безъ цензуры не смѣю, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что дѣлать? За неволю и патеру Игнатію Лойолѣ слѣдовать станешь, когда прямой дорогою хода нѣтъ». Вскорѣ Туберозову приходится пойти по дорогѣ сдѣлокъ со своею совѣстью и еще далѣе: «Поляки у насъ, — пишетъ онъ, — словно господами нашими дѣлаются... Чего съ роду не хотѣлъ сдѣлать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ на нихъ порядочный доносъ». Но этотъ послѣдній поступокъ остается въ романѣ недостаточно выясненнымъ психологически: точно-ли обстоятельства должны были непремѣнно привести къ нему Туберозова, или же это только навязано ему авторомъ подъ вліяніемъ взглядовъ извѣстнаго лагеря, по которымъ въ борьбѣ съ врагами будто бы и нельзя обойтись безъ доносовъ? Что протопопъ Туберозовъ, съ другой стороны, впадаетъ въ апатію, что онъ начинаетъ находить удовольствіе въ томъ, чтобы выпить, получше поѣсть и подольше поспать, потому что живая дѣятельность стала для него плодомъ запретнымъ,—все это, конечно, совершенно понятно, полно психологической правды. Во всякомъ случаѣ, онъ пытался по-человѣчески относиться къ дѣлу, а Вихровъ, по отношенію къ полицейскому преслѣдованію раскольниковъ, прямо и сразу сдался.

Позже Вихрову, это правда, все-таки приходится рѣшиться на смѣлый шагъ и тѣмъ вооружить противъ себя начальника, но вотъ тутъ-то и начинается совершенно неожиданно преобразовательное движеніе конца пятидесятыхъ годовъ, начинается новая жизнь, и Вихрову открывается полнѣйшій просторъ печатать свои произведенія.

Только именно эти годы, уже не сороковые, а пятидесятые и слѣдующіе за ними, именно они-то и нарисованы въ романѣ особенно слабо. Мы не видимъ тутъ всесторонняго воспроизведенія той смѣси добра и зла, отрадныхъ и печальныхъ явленій—той смѣси, которою неизбѣжно характеризуется всякая переходная эпоха; все это у Писемскаго скомкано въ одну, слишкомъ слегка набросанную картину. Но все-таки, сопоставляя этотъ, хотя и слабый, романъ со «Взбаламученнымъ моремъ», т.-е. сопоставляя воспроизведенный въ первомъ переходъ отъ сороковыхъ годовъ къ исходу пятидесятыхъ, съ воспроизведенными во второмъ болѣзненными явленіями шестидесятыхъ годовъ, мы можемъ сдѣлать выводъ такого рода, что эти болѣзненныя явленія, какъ и однородныя съ ними, затронутыя Гончаровымъ въ «Обрывѣ» и Достоевскимъ въ «Бѣсахъ», составляютъ внутренній, давно у насъ крывшійся и вышедшій, наконецъ, наружу недугъ. Внимательно прочитавъ лѣтопись нашей внутренней жизни за послѣднія десятилѣтія, представляемую намъ Писемскимъ, мы невольно припоминаемъ слова великаго германскаго поэта: «свѣта, больше свѣта!» Да, и побольше свѣжаго, вольнаго воздуха, — тогда только выздоровѣетъ больной!

Въ «Водоворотѣ» затронутъ у Писемскаго также и такъ-называемый женскій вопросъ. Для того, чтобы понять тѣ явленія, которыя рисуетъ онъ тутъ, явленія, сводимыя главнымъ образомъ къ практическому протесту противъ ограниченія круга дѣятельности женщины одною семьей, надо припомнить ту картину нашей издавней семейной пустоты и безнравственности, которую нарисовалъ тотъ же Писемскій въ своихъ прежнихъ произведеніяхъ; одно является естественнымъ слѣдствіемъ другого. Но мы могли бы все-же быть спокойны за начало семейное: какъ бы ни было оно у насъ издавна поворно извращено, до какого бы крайняго озлобленія ни доходилъ вслѣдствіе того протестъ противъ этого начала,—оно въ основѣ своей устоитъ, уцѣлѣетъ, потому что оно вѣдь въ природѣ человѣка. Несомнѣнно уцѣ-

лѣютъ и основные, изъ самой природы вытекающіе, а потому и неустранимые нравственные оттѣнки, отличающіе женщину отъ мужчины. Вслѣдствіе того, что «женственность» долгое время усматривалась только въ стремленіи къ нарядамъ, къ веселостямъ, къ блеску и т. п., явилось, изъ презрѣнія къ такому понятію о женственности, ревностное стремленіе совершенно ее уничтожить, сдѣлать женщину не только *равноправною* (требованіе вполнѣ законное и которое рано или поздно будетъ удовлетворено), а просто *равною*, т.-е. *тожественною* съ мужчиной. Но мы могли бы и въ этомъ отношеніи быть совершенно спокойны: женственность, какъ естественное слѣдствіе совокупности извѣстныхъ физіологическихъ и психическихъ особенностей женской природы, не только сохранится, но и будетъ далѣе развиваться по мѣрѣ общаго развитія человѣчества, потому что она составляетъ въ немъ одну изъ такихъ стихій, безъ которыхъ его жизнь должна-бы остаться односторонней и неполной.

Елену въ «Водоворотѣ» можно сопоставить съ Базаровымъ: оба они стараются совершенно освободиться отъ всего напускного, доставшагося по преданію. Но, зарываясь въ этомъ стремленіи сбросить съ себя все лишнее, они сбрасываютъ и то, чего окончательно сбросить нельзя: они начинаютъ подавлять свои естественныя свойства. Базаровъ хочетъ совершенно вытравить въ себѣ всякое поэтическое чувство, всякую симпатическую наклонность, связывающую его съ другими людьми — тогда какъ они составляютъ принадлежность его богатой природы. Елена, вооружаясь противъ семейнаго гнета, готова совершенно отвергнуть семью; а между тѣмъ, чувства *жены* и *матери* такъ и сказываются въ ней, отвергающей *женственность*. Но про нее, какъ и про Базарова, мы во всякомъ случаѣ должны сказать, что это типы сильные, стойкіе въ своихъ правилахъ, и въ этомъ смыслѣ цѣльные. Въ концѣ романа замѣчено про Елену, что «она говорила и поступала такъ, какъ думала и чувствовала». Здоровая сторона въ ней, при всѣхъ ея крайностяхъ,—это стрем-

ланіе къ труду, дающему возможность нравственной независимости и вносящему въ жизнь женщины ту высшую цѣль, которая должна воспитательно дѣйствовать и на подрастающее вокругъ нея поколѣніе. Появленіе такихъ личностей, несмотря на всѣ угловатыя ихъ увлеченія, важно уже какъ несомнѣнный признакъ того, что наступилъ конецъ «женской обломовщинѣ». Сколько-бы ни было тутъ невѣрныхъ шаговъ, но, при искренности стремленія, и женщина отыщетъ-же наконецъ свою прямую жизненную задачу.

«Ищите и найдете» сказано вѣдь не даромъ.

Есть у насъ еще произведенія на тему, напоминающую «Взбаламученное море» и «Въ водоворотѣ»; это «Некуда» Стебницкаго, «Марево» Клюшникова и «Панургово стадо» Всеволода Крестовскаго. Что касается перваго, то противоположность между двумя главными женскими его типами, Дженни и Лизой,—проведена чрезвычайно послѣдовательно. Дженни можно отнести къ разряду тѣхъ типовъ, которые на нѣсколько условномъ, но въ своемъ родѣ мѣтко-своеобразномъ языкѣ Анп. Григорьева, назывались типами «*смирными*»; Лизу-же къ тѣмъ, которые онъ называлъ «*хищными*». Авторъ говоритъ про Дженни, что желаніе ея было: «пусть всѣмъ хорошо будетъ...» «Жить каждому въ своемъ домикѣ»—такъ рѣшила она въ своей незамысловатой программѣ. «Она только не знала, что нельзя всѣмъ построить собственные домики и безмятежно жить въ нихъ, пока двужильный старикъ Захватъ Ивановичъ сидитъ на больной коробьѣ да похваляется, а свободная человѣческая душа ему молится: научи, молъ, меня, батюшка Захватъ Ивановичъ, какъ самому мнѣ Захватомъ стать». Впослѣдствіи Дженни должна была убѣдиться въ томъ, что на свѣтѣ живется не такъ легко, какъ ей думалось; но, узнавъ это, она, повидимому, безъ труда помирилась съ такимъ порядкомъ вещей: вѣдь натура у нея была «смирная». Лиза, со своей «хищной» натурой, не могла примириться съ тѣмъ, что представлялось ей ненормальнымъ. Но, попавъ въ тотъ новый кругъ, въ которомъ она

ищетъ исхода изъ прежняго своего положенія, она, при своей прямой, правдивой натурѣ и своемъ проницательномъ умѣ, сейчасъ-же узнаетъ въ главномъ заправщикѣ круга, Бѣлоярцевѣ, человѣка, вполнѣ способнаго молиться Захвату Ивановичу, чтобы тотъ «научилъ его — Захватомъ стать». Разгадавъ настоящаго хозяина того новоявленнаго «дома», въ который она перешла, она охладѣваетъ и къ его населенію, слишкомъ уже беззавѣтно довѣрившемуся этому хозяину, и находитъ пріютъ для своихъ вѣрованій въ личности вполнѣ чистой, являющейся искреннимъ представителемъ свободнаго направленія—въ этомъ полу-швейцарцѣ, полу-русскомъ Райнерѣ. Въ немъ она находитъ въ настоящемъ видѣ то, что такъ извращено и опошлено Бѣлоярцевымъ.

Блужданія Лизы, исканіе ею чего-то иного, лучшаго вполнѣ объясняется у автора тѣмъ, что ея прежняя среда не отвѣчала на тѣ запросы, которые такъ рано въ ней пробудились. «Семья не поняла ея чистыхъ порывовъ, люди ихъ перетолковывали; друзья старались ихъ усыпить; мать кошекъ чесала, отецъ младенчествовалъ. Все обрывалось: некуда было дѣться». И это не только *сказано*, но и съ достаточною явностью *показано* въ романѣ. Но въ концѣ его авторъ говоритъ также и про мужскія свои личности: «некуда было идти силамъ, онѣ и пошли въ кривость». Но вотъ это такъ и осталось у него только *сказаннымъ*, а вовсе не *показаннымъ* въ самомъ дѣйствіи романа. Мужскія лица Стебницкаго вѣдь не оставались въ томъ замкнутомъ кругу, въ которомъ томилась Лиза; они съ дѣтства жили за предѣлами семьи, воспитывались въ общественныхъ заведеніяхъ, испытывали различныя жизненныя вліянія; почему-же все это привело къ тому, что и имъ некуда было дѣться? Это остается у автора совершенно невыясненнымъ.

По Стебницкій затронулъ и такъ-называемую «польскую пропаганду», съ ея такъ-называемыми «русскими жертвами». Писемскій, въ лицѣ князя Григорова въ «Водоворотѣ», выставилъ человѣка, который нисколько не поддается этой пропагандѣ; вполнѣ ею увлекается въ

«Водоворотѣ» только Елена, сама на половину полька. Она вѣрится Жуквичу, выдающему себя за дѣятеля польской справы, на самомъ-же дѣлѣ оказывающемуся просто обманщикомъ, но сама она дѣйствуетъ съ искреннимъ увлеченіемъ новообращенной. Въ лицѣ Елены мы видимъ примѣръ женщины, которая изъ состоянія ищущей, подобно Лизѣ, *чего-то* иного, лучшаго—вдругъ переходитъ въ состояніе успокоившейся на *готовой* почвѣ народности, и рѣшающейся съ этихъ поръ самоотверженно дѣйствовать въ ея лонѣ. Въ этомъ отношеніи личность Елены оттѣняетъ многіе русскіе женскіе типы, остающіеся, повидимому, внѣ какой-либо народности.

Въ «Маревѣ» Клюшникова мы видимъ *русскую* женщину, которая увлекается *польскимъ* патріотизмомъ (подобно тому, какъ Елена у Тургенева увлекается патріотизмомъ *болгарскимъ*). Г. Крестовскій въ «Панургговомъ стадѣ» выводитъ нѣсколько русскихъ мужчинъ, которые становятся польскими патріотами. Вотъ эта-то податливость русскихъ людей и представляется ему такимъ состояніемъ, которое онъ думаетъ опредѣлить словами: «Панургово стадо»—отсюда и заглавіе романа. Но сущность этого явленія такова, что въ него слѣдовало-бы вникнуть глубже; относиться къ нему такъ слегка, поверхностно, какъ отнеслись упомянутые писатели, едвали дѣльно. Вѣдь вся наша ошибка въ томъ, что въ этомъ польскомъ патріотизмѣ, которымъ у насъ увлекались, не замѣчали большого пробѣла—не замѣчали отсутствія того, безъ чего немыслима никакая народность—отсутствія самого народа, оставшагося позабытымъ у большинства польскихъ патріотовъ. Но наши беллетристы и публицисты напали собственно не на это: имъ представлялась легкомысліемъ и малодушіемъ наша способность сознавать свои «историческія вины». А между тѣмъ вѣдь подобная способность—хотя-бы даже вины эти понимались нами невѣрно, хотя-бы мы ихъ преувеличивали и старались загладить ихъ уже слишкомъ очертя голову,—есть такая черта въ нашемъ народномъ характерѣ, которую надо умѣть цѣнить. Нашимъ беллетристамъ и

публицистамъ извѣстной школы хотѣлось-бы, во что-бы ни стало, навязать намъ національную нетерпимость и исключительность! Но это не въ нашей натурѣ: добровольно, со смакомъ, мы никогда не будемъ Захватъ Ивановичами.

Съ другой-же стороны, безпрерывно говорить о томъ, что наше умственное броженіе, со всѣми его крайностями и уродливостями, есть *только* результатъ чужой пропаганды, что мы тутъ только стадо, что внутреннихъ глубокихъ причинъ такого броженія у насъ нѣтъ,— вѣдь это значитъ систематически мѣшать намъ взглянуть, такъ сказать, прямо въ глаза окружающимъ насъ явленіямъ. Правда, и г. Крестовскій въ одномъ мѣстѣ своего романа говоритъ о томъ броженіи, которое онъ рисуетъ: «это было прямое и естественное слѣдствіе причинъ историческихъ, начиная съ гатчиновщины, аракчеевщины и кончая долговременнымъ гробовымъ молчаніемъ, это была расплата за прошлое». Если-бы все это дѣйствительно было въ романѣ *показано*, если-бы мы видѣли, какимъ образомъ бичуемыя авторомъ явленія вытекли изъ тѣхъ историческихъ причинъ, о которыхъ онъ говоритъ, тогда-бы романъ этотъ имѣлъ большое значеніе; но дѣло въ томъ, что все это въ немъ только *сказано*, а ничего не *показано*. Мы видимъ рядъ безобразій, уродливостей, страшную неурядицу, берущуюся Богъ знаетъ откуда. Кромѣ того — какія преувеличенія, какая карикатурность—ради тенденціи! Вотъ, напримѣръ, учитель полякъ, который высказывается въ пользу исключенія изъ гимназіи ученика за непозволительное чтеніе въ публичномъ мѣстѣ. Учитель русскій возстаетъ противъ подобнаго исключенія, какъ противъ мѣры безчеловѣчной, и сгоряча называетъ поляка подлецомъ. Между ними должна произойти дуэль, но полякъ вдругъ отказывается отъ нея, говоря, что русскій — шпіонъ, а съ такими людьми на дуэль не выходятъ. И что-же? Всѣ, начиная отъ гимназистовъ и кончая учителями, вѣрятъ клеветѣ поляка и отворачиваются отъ русскаго, стоявшаго въ педагогическомъ совѣтѣ за вполнѣ гуманное отноше-

ніе къ ученику, до того, видите-ли, забористъ дурманъ, подосланный намъ польскою пропагандой! А привязанность Лубяновской къ Полуярову, въ своемъ родѣ напоминающая *собачью* привязанность Настеньки къ Калиновичу? Правдоподобна-ли такая привязанность у г. Крестовскаго? И что такое этотъ Полуяровъ, далеко превосходящій карикатурностью Марка Волохова? Въ Полуяровѣ какъ-бы собралъ авторъ все, что есть самаго нехорошаго въ человѣческой натурѣ, и все это смазалъ радикализмомъ. Нахалъ, когда-то замаравшійся объ откупа, а потомъ доходящій до того, что пишетъ самъ себѣ письма отъ эмигрантовъ, самъ на себя доноситъ, чтобы прославиться, а потомъ самъ-же и труситъ, — вотъ Полуяровъ. Есть-ли въ подобной личности хоть одна черта, которая могла-бы возбудить къ нему страсть такой дѣвушки, какъ Лубяновская? Привязанность Вѣры къ Марку Волохову объясняется тѣмъ, что ей хочется надъ нимъ поработать, что она надѣется его пересоздать, между тѣмъ, какъ героиня г. Крестовскаго поддается Полуярову вполнѣ беззавѣтно, съ какимъ-то опьяненіемъ раболѣпствуя передъ этимъ деспотомъ-пошлякомъ. Очевидно, всѣ подобныя несообразности нагромождены только для того, чтобы сказать: «посмотрите, что у насъ творится!» Романъ, наконецъ, совершенно перестаетъ быть романомъ: онъ обращается просто въ реляцію о студенческой исторіи, о петербургскихъ пожарахъ; дальнѣйшее развитіе характеровъ совершенно прекращается и забывается, — словомъ, мы получаемъ полнѣйшій образчикъ той литературы, которая, по деликатному выраженію нѣкоторыхъ, признана только «докладывающею».

Пальма первенства между беллетристами этой школы безспорно принадлежитъ Всев. В. Крестовскому, утратившему, благодаря ей, многіе признаки дарованія, которые у него несомнѣнно были.

Такою-же точно утратою дарованія, къ сожалѣнію, поплатился и покойный Б. М. Маркевичъ, поплатился за слишкомъ зависимыя свои отношенія къ той редакціи, съ которой всегда была связана его беллетристическая

дѣятельность. Между тѣмъ, дарованія у покойнаго Маркевича было никакъ не менѣе, а пожалуй болѣе, чѣмъ у Вс. В. Крестовскаго, хотя оно и въ лучшихъ своихъ проявленіяхъ нѣсколько терпѣло отъ тѣхъ великосвѣтскихъ традицій, которыми всегда былъ смущаемъ покойный. Съ особенною силою дарованіе его сказалось въ романѣ «Четверть вѣка назадъ». Тутъ и большой свѣтъ мало въ чемъ попуталъ, да и диктовки Страстного бульвара почти еще не замѣтно. Въ лицѣ Гундурова и княжны Анны, привязавшейся къ нему не стихійно только, но и изъ-за его ума и души, слышно теплое сочувствіе автора тому, что было лучшаго въ нашей жизни конца пятидесятыхъ годовъ. Самъ, несомнѣнно умный и также сочувственный автору, князь Ларіонъ далеко не поклонникъ предшествующей поры, а скорѣе очень строгій ея судья. «Припомните мое слово,—говоритъ онъ,—здоровую мысль они теперь въ подземную трубу гонятъ; въ слѣдующемъ поколѣніи она у нихъ или взрывомъ, или гнильемъ выйдетъ» [1]). Этихъ словъ своего князя Ларіона, къ сожалѣнію, не захотѣлъ вспоминать самъ авторъ,—не захотѣлъ уже въ «Переломѣ»; въ послѣднемъ-же отдѣлѣ его трилогіи, въ «Безднѣ», и слѣдъ этихъ словъ у него простылъ. Дѣло въ томъ, что, по собственному признанію его въ письмѣ къ покойному П. К. Щебальскому, «Бездна» ему была заказана, ее требовалъ отъ него «Русскій Вѣстникъ». «И даже,—пояснялъ онъ въ томъ-же письмѣ,—заглавіе придумали: *надъ безною*, т.-е. la dégringolade нашего общества въ послѣдніе годы прошлаго царствованія, эпоней «диктатуры сердца» и 1-е марта pour la clôture. Задача, съ которою, даже предвидѣть не могу, какъ справлюсь» [2]). Тутъ уже, разумѣется, нельзя было, вмѣстѣ съ кн. Ларіономъ, объяснять гоненіемъ здоровой мысли тотъ «взрывъ ея и гнилье въ слѣдующемъ поколѣніи», которое разрѣшилось наконецъ такимъ ужасомъ и такимъ позоромъ. Тутъ пришлось уже за все отвѣ-

---

[1] Соч. Б. М. Маркевича, т. IV, стр. 196.
[2] Тамъ же, т. X, стр 289.

чать великимъ реформамъ прошлаго, такъ неблагодарно нами попираемаго, царствованія. Какою нелюбовью къ нему, подъ напоромъ Страстного бульвара, возгорѣлъ покойный Маркевичъ, это видно изъ того-же его письма къ Щебальскому: «кто-же,—спрашивалъ онъ въ немъ,—кромѣ все тѣхъ-же могиканъ дворянскаго прошлаго... кто симпатиченъ въ этой новой, созданной прошлымъ царствованіемъ, жизни... Знаменитыя реформы смололи русскую жизнь въ какую-то безобразную и вонючую муку, ни на какую потребу негодную» (X. 282).

Понятно, что при подобномъ взглядѣ не приходилось уже представляться особенно симпатичнымъ и Гундурову, въ которомъ многое несомнѣнно напоминаетъ Ю. Ѳ. Самарина (за выключеніемъ, конечно, именно Гундуровскаго *романа*). Уже въ «Переломѣ» онъ даже и является не надолго, а изъ «Бездны» авторъ и совершенно его убралъ, не заикаясь, однако, объ его смерти (что бы вполнѣ соотвѣтствовало смерти въ ту пору Самарина). Гундуровъ является въ «Переломѣ» уже съ «очерствѣвшимъ сердцемъ»—слѣдствіемъ той горькой утраты, которую онъ понесъ въ первой части трилогіи. Психологически у такого хорошаго человѣка, какимъ былъ выставленъ въ ней Гундуровъ, должно-бы было выйти такъ, что сердце его, наполовину отданное Линѣ, всецѣло отдалось-бы со смертью ея тому русскому народу, который она такъ любила заодно съ нимъ. Но авторъ въ «Переломѣ», такъ какъ тутъ вѣдь и въ немъ самомъ произошелъ окончательный *переломъ*, заблагоразсудилъ распорядиться такъ, что, вмѣстѣ съ отлетѣвшей у Лины душой, у Гундурова упраздняется сердце, и онъ живетъ уже исключительно сухимъ теоретическимъ разсудкомъ. «Сердце его,—увѣряетъ насъ авторъ,—очерствѣло... одна голова его, словно безпощадный жерновъ, размалываетъ теперь неустанно сложныя задачи предстоящаго отечеству его новаго строя жизни. Онъ глубоко вѣритъ въ дѣло, которому онъ служитъ, все тою-же своей одиноко работающей головой: замкнувшееся сердце не допускаетъ сожалѣнія о всемъ томъ завѣтномъ прошлаго, что раз-

вѣтъ на вѣки, размететъ безвозвратно по лицу русской земли это дѣло» (VI, 404).

Новый судъ надъ Гундуровымъ произносится, правда, дѣйствующими лицами, но такими, къ которымъ авторъ относится съ несомнѣннымъ сочувствіемъ. Предводитель дворянства, старый севастополецъ, Юшковъ, по поводу «неизбѣжнаго вѣчно демократизма» Гундурова замѣчаетъ: «это вѣдь камертонъ нынѣшней музыки: все старое омерзительно, все прежнее ненавистно... Одна мужичья сермяга достойна довѣрія, нѣжности и баловства». И при этомъ почтенный дворянинъ севастополецъ,—одинъ изъ тѣхъ русскихъ людей, про которыхъ замѣчено было покойнымъ И. С. Аксаковымъ, «что они умѣютъ умирать и не умѣютъ жить»,—почтенный севастополецъ не понимаетъ (какъ не понималъ или не хотѣлъ понять это и самъ авторъ), что подобными разсужденіями онъ-то, между прочимъ, и толкаетъ своего юношу-сына «въ бездну». Когда старикъ узнаетъ, что его сынъ попался, то патетически говоритъ о бѣднягѣ: «если онъ въ отцовскомъ домѣ не выучился до сихъ поръ мыслить здраво и чувствовать чѣстно, по-русски и по-христіански чувствовать, такъ пусть въ иной школѣ, ссылкѣ да въ нуждѣ, этому научится». Да развѣ тотъ же самый сынъ не могъ бы просить отца: а будто это христіанское чувство, когда обижаешься за сермягу, что наконецъ-то и объ ней подумали, будто это христіанское чувство, когда вмѣсто того, чтобы помнить свои вѣковые грѣхи противъ этой сермяги, себя-же и воображаютъ оклеветанною невинностью, какими-то ни съ того, ни съ сего «униженными и оскорбленными».

Мѣстами, впрочемъ, и въ «Переломѣ», даже въ «Безднѣ» несомнѣнный художественный талантъ автора наводитъ его на правду. Такъ своего излюбленнаго Троекурова, этого могучаго стоятеля и оберегателя продиктованныхъ автору преданій чистокровности и опирающейся на нихъ святыни семейнаго и общественнаго долга, онъ, однако же, волей-неволею заставляетъ исповѣдываться такимъ образомъ:

«Мы-то сами, лучшіе изъ предшествовавшихъ нынѣшнему поколѣнію, сами-то мы *что?* Эстетики мы были... Вы вѣрили въ «красоту», мы «страсть» возводили въ культъ и во имя ихъ все дозволяли, все извиняли: подъ ихъ флагами, убранные въ ихъ цвѣта, дерзко выступала у насъ всякая разнузданность, всякій преступный капризъ безудержной фантазіи ... Чего ждать отъ дѣтей такихъ отцовъ, какъ мы?...» (VI. 428—29).

Такъ, съ другой стороны, не менѣе, разумѣется, безсознательно, авторъ влагаетъ въ уста одному изъ своихъ воинствующихъ нигилистовъ, Ипнарху Овцыну:

«Помню, какъ неповинныя тысячи сыновъ народа водили съ палками вмѣсто ружей на убой дальнострѣльныхъ англофранцузскихъ винтовокъ, а ваша либеральная братія радовалась, что ихъ бьютъ, какъ побѣдѣ цивилизаціи—вашей *буржуазной* цивилизаціи—надъ варварствомъ» (228). Вѣдь и дѣйствительно въ свое время радовались даже севастопольскому погрому, радовались тѣ самые люди, которые потомъ стали диктовать покойному Маркевичу его Троекуровскія рѣчи о такъ-называемой «сильной власти», т.-е. власти по образцу той поры, которая именно и увѣнчалась севастопольскимъ погромомъ; стали диктовать ему Троекуровскія ламентаціи о томъ, что въ наступившія затѣмъ реформенныя времена «дворянство упразднили», что «его двойная традиціонная связь съ престоломъ и народомъ порвана, самое значеніе его, какъ класса передового по образованію, злобно отрицается нынѣшнимъ повсюду воцарившимся разночинцемъ» (X, 216).

Изъ всего, написаннаго на одну тему съ «Взбаламученнымъ Моремъ» и «Водоротомъ» Писемскаго, наиболѣе заслуживающею вниманія, по широтѣ плана и по несомнѣнному дарованію автора, представляется трилогія Маркевича, но она же въ своихъ двухъ послѣднихъ частяхъ представляется и наиболѣе тенденціозною въ смыслѣ извѣстной партіи. Чисто тенденціозно тутъ и стараніе всячески показать, что Юшковы и Троекуровы, при всемъ своемъ отвращеніи къ тому, что предста-

вляется имъ культомъ «сермяги», что они-то и являются единственными истинными друзьями, друзьями не на словахъ, а на дѣлѣ. Если Гундуровъ говоритъ, что раздѣляющая верховную власть и народъ «промежуточная среда, лишенная всякихъ корней въ народѣ и въ продолженіе вѣковъ цѣплявшаяся за верхушку, начинаетъ храбриться и начинаетъ подыматься на дыбы подъ рукою этой своей настоящей, своей *единственной* опоры» (VII, 197), то вѣдь на то онъ и Гундуровъ, этотъ безсердечный теоретикъ-демократъ. На самомъ дѣлѣ, эта среда имѣетъ будто бы корни въ народѣ и вовсе не думаетъ становиться на дыбы противъ власти, которой она будто бы никогда и не противодѣйствовала во всѣхъ ея начинаніяхъ на пользу народа. Передъ народомъ, если вѣрить автору, эта промежуточная среда никогда и ни въ чемъ не была виновата, а виновата только передъ самою собой,—виновата въ неумѣніи постоять за себя, поддержать свое значеніе, виновата въ этомъ отношеніи до того, что авторъ восклицаетъ даже: «тѣни бояръ Буйносовыхъ! благодарите попавшаго къ вамъ въ родство мужика за то, что могилъ вашихъ не топчутъ болѣе коровы копыта» (X, 85). Это относится къ тому купцу Сусальцеву, который женится на княжнѣ Буйносовой и возстановляетъ заброшенные памятники на ихъ могильномъ кладбищѣ. Странная иронія рока надъ авторомъ! Этотъ при всемъ своемъ богатствѣ плохо обтесанный Сусальцевъ, право, вышелъ у него значительно симпатичнѣе его излюбленныхъ Троекуровыхъ et tutti quanti, и вышелъ такимъ, Богъ вѣсть почему. На самомъ дѣлѣ россійскій кандидатъ въ *буржуа*, такъ гордо усѣвшійся на развалинахъ крѣпостного барства,—конечно, одно изъ тѣхъ новыхъ явленій, которыя по-истинѣ способны вызывать ужасъ и омерзѣніе. На этого «Колупаева-Разуваева» недаромъ и обратила особенное вниманіе новѣйшая наша литература.

Его, этого новоявленнаго, но уже достаточно окрѣпшаго, русскаго «буржуа» избралъ себѣ темой и Писемскій въ своемъ предпослѣднемъ романѣ «Мѣщане»

(1878 г.). Глубокою ненавистью къ нимъ и къ ихъ новымъ порядкамъ проникнутъ герой романа—очевидно сознательный Писемскому Бѣгушевъ. «Бога на землю!—восклицаетъ онъ,—пусть сойдетъ снова Христосъ и обновитъ души, а иначе въ человѣкѣ все порядочное изчахнетъ отъ смрада вашихъ матеріальныхъ благъ». Бѣгство на время въ Европу нимало не помогло Бѣгушеву. «Всякій европейскій человѣкъ ему казался лавочникомъ» и онъ съ клятвою увѣрялъ, что отъ каждаго изъ нихъ носомъ даже чувствовалъ запахъ мѣдныхъ пятаковъ». Когда началась восточная война, онъ за нее ухватился, какъ за якорь спасенія! «Меня въ этой войнѣ одно радуетъ,—говорилъ онъ,—что пусть хоть на время рыцарь проснется, и мѣщанинъ позатихнетъ». И вотъ онъ умножилъ собою число тѣхъ русскихъ людей, которые «такъ умѣютъ умирать, вовсе не умѣя жить». Увы! не самъ ли Писемскій правдиво доказываетъ своимъ романомъ, что этотъ, зовущій Бога на землю, его герой, такъ боящійся смрада матеріальныхъ благъ на землѣ, очень близко съ ними знакомъ—не только по чужому, *мѣщанскому*, но и по своему, *дворянскому* опыту. При всѣхъ своихъ добрыхъ порывахъ, не приходится ли ему у автора исповѣдываться: «Задумалъ я дѣлать чего совсѣмъ не умѣю; захотѣлъ вдругъ полюбить человѣчество, тогда какъ всю жизнь никого не любилъ, кромѣ самого себя».

Въ своемъ послѣднемъ романѣ «Масоны» (1880 г.) Писемскій точно будто-бы вызываетъ на борьбу съ мѣщанствомъ и его порядками этихъ представителей ученія, бывшаго своего рода исторической силой еще въ первой половинѣ настоящаго вѣка, а затѣмъ окончательно у насъ заглохшаго. Недаромъ одинъ изъ масоновъ у Писемскаго говоритъ про другого, главнаго, послѣ его смерти: «Онъ справедливо предсказывалъ, что у насъ не Христосъ выгонитъ изъ храма мытарей, а мытари выгонятъ рыбарей, что масонство на долгіе годы должно умереть, и возсіяетъ во всемъ своемъ величіи откупщицкая и кабацкая сила». Это говорится про Марѳина, главное

дѣйствующее лицо романа, несомнѣнно удавшееся Писемскому на закатѣ его дней, несмотря на то, что, по своему идеальному пошибу, оно, повидимому, вовсе не соотвѣтствовало реалистической и даже грубо реалистической натурѣ Писемскаго. Въ лицѣ этого Марѳина мы дѣйствительно знакомимся съ тѣми нравственными устоями, какіе на время представляло масонство въ отпоръ укоренившемуся въ нашихъ нравахъ безудержу. По рядомъ съ цѣльнымъ, вполнѣ выдерживающимъ въ своемъ масонствѣ Марѳинымъ, Писемскій, съ обычнымъ своимъ натурализмомъ, показываетъ намъ и полнѣйшее крушеніе масонскихъ идеаловъ передъ страстью къ женщинѣ, и самой ничтожной женщинѣ, въ лицѣ симпатичнаго, впрочемъ, во многихъ отношеньяхъ Аггея Никитича. Такихъ крушеній, конечно, было на самомъ дѣлѣ немало, но надо думать, что за нихъ однако не дешево платились люди, самая натура которыхъ представляла немало добрыхъ задатковъ, какъ оно оказывается и у Аггея Никитича. Между тѣмъ, у Писемскаго такое нравственное крушеніе обходится крайне дешево, и тутъ сказалась та самая фальшь, которою отличился одинъ изъ раннихъ и главныхъ героевъ Писемскаго — Калиновичъ. Весь свой вѣкъ, такъ сказать, стихійно честный, затѣмъ, наконецъ, подъ вліяніемъ масонства, возводящій честность въ руководящее начало, Аггей Никитичъ подъ старость, ради какой-нибудь г-жи Вибель, сдается на взятки, и авторъ не только не знакомитъ насъ съ тѣми внутренними муками, которыя должны были быть слѣдствіемъ его паденія, не только не заставляетъ его почувствовать наконецъ отвращеніе къ своей соблазнительницѣ, къ тому-же еще и ему измѣняющей, но, напротивъ того, увѣряетъ насъ, будто она-то и остается для него до конца, если не единственною уцѣлѣвшею въ его жизни святынею, то все-же уцѣлѣвшимъ для него земнымъ раемъ. «Въ масонствѣ я былъ дуракъ, — сознается самъ Аггей Никитичъ,—миссіонерство мнѣ не удалось, и теперь я членъ одного изъ сибирскихъ управленій... я въ Сибири встрѣтилъ пани Вибель, пріѣхавшую туда съ однимъ барономъ

Рамешевымъ, который теперь сталъ сибирскимъ откупщикомъ. Онъ, какъ аристократъ великій, окружилъ ее блестящею роскошью, но она—какая игра судьбы—встрѣтившись со мною въ Иркутскѣ, рванулась ко мнѣ всей душой, наплевала на своего магната и живетъ теперь со мной на моей маленькой квартиркѣ». На откровенныхъ словахъ сего простого, но все-таки поэтическаго человѣка я и кончаю мой романъ!» заключаетъ авторъ, т.-е. заключаетъ одною изъ тѣхъ громко фальшивыхъ нотъ, которыя вообще встрѣчаются у этого крайняго реалиста и которыми оправдывается обращеніе къ художнику Гоголя: «Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душой». Вотъ этой-то *чистоты* вообще не доставало Писемскому, и потому его изображенія жизненной грязи такъ рѣзко отличаются отъ подобныхъ изображеній у Достоевскаго. Невольно опять вспоминаются слова того-же великаго реалиста — Гоголя: «почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣтѣ—и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія: напротивъ, кажется, какъ будто-бы наслаждался, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя? И почему-же та-же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочимъ, онъ также былъ вѣренъ природѣ. Но нѣтъ, нѣтъ въ ней чего-то озаряющаго». Вотъ этого-то чего-то *озаряющаго* и не оказывается очень часто у Писемскаго, между тѣмъ какъ оно постоянно имѣется у Достоевскаго—имѣется даже и въ самыхъ глубокихъ и темныхъ изъ тѣхъ трущобъ, въ которыя ведетъ онъ за собою читателя.

М. Е. САЛТЫКОВЪ

(Щедринъ).

М. Е. САЛТЫКОВЪ. [1]).

I.

«Губернскіе очерки». — «Сатиры въ прозѣ». — «Невинные разсказы».

Большинство читателей еще вовсе не знало, кто скрывается подъ именемъ Щедрина, а уже «Губернскіе очерки» обратили на себя вниманіе публики. Они находятся въ самой тѣсной связи съ гоголевскими картинами провинціальной жизни; но Салтыковъ въ значительной мѣрѣ раздвинулъ гоголевскую рамку, включивъ въ свои «Губернскіе очерки» также и личности изъ народа и посмотрѣвъ на нихъ не съ той только внѣшней стороны, съ какой смотрѣлъ на нихъ Гоголь, а сумѣвъ заглянуть имъ глубоко въ душу (въ этомъ отношеніи Салтыковъ пошелъ по стопамъ другихъ писателей, появившихся послѣ Гоголя и въ этомъ смыслѣ далеко опередившихъ своего родоначальника). Остальные салтыковскіе типы представляютъ очень много общаго съ типами Гоголя, но они взяты изъ эпохи болѣе поздней, а потому и не могутъ не отличаться нѣкоторыми видоизмѣненіями. Хотя провинціальная наша жизнь развивалась медленно, но и въ провинцію отчасти

[1]) Изъ лекцій, читанныхъ въ 1874 г., съ присоединеніемъ особыхъ главъ о томъ, что написано было сатирикомъ позже.

уже зачинилось вѣяніе кое-чего иного. Правда, пора, которую отстаиваетъ Салтыковъ въ своихъ «Очеркахъ», это еще пора до-реформенная, — но это, такъ сказать, самый финалъ до-реформенной поры: провинція какъ будто-бы уже почуяла страхъ грядущихъ вдали реформъ, этихъ новыхъ, еще неизвѣданныхъ, «ревизоровъ». Щедринъ въ своихъ «очеркахъ» пытается какъ-бы подвести окончательные итоги нашей провинціальной жизни, всего, что она приготовила или, лучше сказать, что въ ней безсознательно накопилось къ началу эпохи преобразованій.

Увы, оказалось, что итоги, подведенные Щедринымъ, не очень-то далеко ушли отъ гоголевскихъ. Въ провинціальномъ мірѣ все еще не оказывается никакого понятія о человѣкѣ, *какъ человѣкѣ*: самъ по себѣ, какъ *личность*, онъ ничего не значитъ. Онъ получаетъ значеніе, и часто весьма большое, только смотря по тому, на какомъ онъ мѣстѣ сидитъ, или въ какомъ состояніи его карманъ: вотъ единственныя два мѣрила достоинства человѣка. Ловкость въ пролѣзаніи впередъ и въ составленіи себѣ фортуны, зависящая не отъ ума, не отъ трудолюбія, а главнымъ образомъ отъ такъ-называемаго «усердія», вотъ единственно нужная добродѣтель. Во всѣхъ этихъ Фейерахъ, Живоглотахъ, Порфиріяхъ Петровичахъ, и т. д., мы видимъ лишь нѣсколько подновленныхъ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Держиморднъ и Чичиковыхъ. Только одинъ изъ гоголевскихъ типовъ является въ значительной степени подновленнымъ въ «Губернскихъ Очеркахъ». Типъ этотъ тутъ принимаетъ уже совершенно другой отпечатокъ, — его уже коснулось то вѣяніе, которое предвѣщало такъ много новаго, — а именно оно коснулось хлестаковскаго типа. Салтыковъ понялъ въ широкомъ смыслѣ, что вносится въ провинціальную жизнь заѣзжимъ столичнымъ чиновничествомъ. Его представители у Салтыкова не оказываются уже такими пустыми, какъ Хлестаковъ, только со страху и принятый за ревизора; у салтыковскихъ *заѣзжихъ* чиновниковъ уже есть содержаніе или, лучше

сказать, начинка. Они плотно набиты разными взглядами, разными болѣе или менѣе благими намѣреніями, но они оказываются по большей части людьми неумѣлыми. Г. Салтыковъ такъ ихъ и называетъ въ особой главѣ. Одинъ человѣкъ стараго покроя, далеко не лишенный смысла, говоритъ у него объ одномъ изъ такихъ чиновниковъ:

«Живого матеріалу они, сударь, не понимаютъ; имъ бы все вотъ за книжкой, али еще пуще за разговоромъ, — это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобы пеньки считать, — у него вишь и ноженьки заболѣли!»

Кромѣ того, оказывается, что столичные просвѣтители провинціи, какъ замѣчаютъ люди стараго покроя, чрезчуръ чистоплотны и брезгливы: «вишь ручки у тебя больно бѣлы, въ перчаткахъ ходишь, да носъ-отъ высоко задираешь,—ну и ходи въ перчаткахъ». Но этобы еще ничего, а то нѣкоторые изъ этихъ людей въ своихъ бѣлыхъ перчаткахъ гнутъ преисправно другихъ въ дугу, перестраивая окружающее по своимъ кабинетнымъ соображеніямъ. «Совсѣмъ не съ того конца начинаете,—взываетъ къ нимъ тотъ-же старый провинціальный дѣлецъ.—По верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. А то пріѣдетъ это весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью и благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ—слова нѣтъ!—да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то вѣдь намъ и тошно, пожалуй, будетъ. Ты вотъ лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то, — можетъ она и пошла-бы, машина-то!»

Эта сторона новаго типа особенно развита въ главѣ «*озорники*», — т.-е. сторона «ломающая»». Но представители ея связаны со старымъ провинціальнымъ поколѣніемъ нѣкоторыми практическими стремленіями, напримѣръ, стремленіемъ къ удовольствіямъ жизни; на практикѣ эти люди—эпикурейцы. При такой практикѣ въ соединеніи съ такою теоріею трудно обойтись безъ нѣкоторыхъ посторонннхъ пособій; взятокъ, однако, они

не берутъ. «Моя обязанность, — говоритъ одинъ изъ нихъ, — только исчислить статьи: гоньба тамъ что-ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter... Онъ только держится основного правила, что «долженъ дѣятель мзды своея», — а они-ли еще не дѣлатели?!

«Оглянись кругомъ себя,—говоритъ одинъ изъ нихъ,— все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія—плодъ администраціи, община—плодъ администраціи, торговля — плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи...»

И какую борьбу приходится выносить этой общей благодѣтельницѣ съ тупой массой, съ грубымъ мужичьемъ: «ils sont encore bien loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation»—говоритъ о народѣ одинъ изъ такихъ провинціальныхъ администраторовъ.

Но надворный совѣтникъ Щедринъ отъ этихъ просвѣтителей въ бѣлыхъ перчаткахъ обращается прямо къ этимъ простымъ людямъ, не дозрѣвшимъ до цивилизаціи. Онъ рѣшается даже прямо изъ губернскаго салона перевести насъ въ губернскій острогъ. Тутъ мы у него видимъ въ сущности тѣ-же черты, которыя развиты у Достоевскаго въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Оба они судили на основаніи опыта: только Достоевскій, конечно, могъ еще глубже судить, потому что дольше и ближе могъ наблюдать. Но у г. Салтыкова эти сцены въ острогѣ имѣютъ особенное значеніе именно потому, что онъ переводитъ туда читателя прямо изъ губернскихъ салоновъ. Оказывается, что многіе попадаютъ въ острогъ просто по недоразумѣнію; другіе — вслѣдствіе преступленій, объясняемыхъ тою нравственною и умственною неразвитостью, при которой человѣкъ, долго забиваемый, можетъ вдругъ, въ одну минуту, потерять терпѣніе и дать просторъ своей силѣ уже безъ всякаго удержу. Возможность такого быстраго перехода человѣка неразвитого и неблагопріятно-поставленнаго въ жизни къ величайшимъ преступленіямъ одинаково ясно показана у Достоевскаго и у Салтыкова; но у послѣд-

нято особенно поражаетъ то, что усматриваемые имъ, какъ и Достоевскимъ, остатки человѣческихъ чувствъ въ этихъ людяхъ самымъ выгоднымъ для нихъ образомъ могутъ быть сопоставлены съ нравственными качествами Живоглотовъ, Фейеровъ и Порфиріевъ Петровичей... Въ этихъ послѣднихъ, которые такъ благополучно преуспѣваютъ на служебно-пріобрѣтательскомъ и просто пріобрѣтательскомъ поприщѣ (и всѣ пожимаютъ имъ руки, потому что они отличаются такою степенною благовидностью),—въ нихъ человѣческаго сохранилось гораздо менѣе. Подъ эгидою порядка, подъ красивой личиной благонамѣренности, люди эти систематически совершаютъ такіе поступки, которые своею сплошною безнравственностью едва-ли не оставляютъ далеко за собою многихъ острожниковъ съ ихъ часто только случайными преступленіями. И такъ, вотъ какое значеніе получаетъ у г. Салтыкова этотъ переходъ съ читателемъ изъ салона въ острогъ.

Въ числѣ острожнаго населенія попадаются у него и люди «стараго благочестія»; авторъ посвящаетъ имъ даже особыя главы. Въ этихъ главахъ много интереснаго, но время не позволяетъ на нихъ останавливаться. Замѣчу только мимоходомъ, что, по отношенію къ этому предмету, наши писатели часто забываютъ о безотвѣтности тѣхъ людей, которыхъ они тутъ выводятъ на сцену. Людямъ «стараго благочестія» было-бы трудно открыто и всенародно имъ отвѣчать. Что касается г. Салтыкова, то онъ выставляетъ множество безнравственныхъ явленій, вѣдрившихся въ жизнь людей «стараго благочестія», — но тутъ мы находимъ у него одинъ реализмъ, не обнаруживающій—откуда все это взялось; къ тому-же опускаются изъ виду сочувственныя *бытовыя* черты, которыя несомнѣнно встрѣчаются въ той-же раскольничьей средѣ.

Г. Салтыковъ затѣмъ переходитъ прямо къ народной массѣ и выдѣляетъ изъ нея цѣлый рядъ своеобразныхъ личностей — въ главѣ: «Богомольцы и странники». Особенно ярко обрисована у него личность отставного сол-

дата Пименова, который заканчиваетъ свою жизнь, совершая не первое уже путешествіе ко святымъ мѣстамъ. Какъ сочувственно отличается эта личность, напримѣръ, отъ того писаря, который такъ пошло смѣется надъ невѣжествомъ Пименова! Но отставной солдатъ г. Салтыкова не менѣе рѣзко отличается и ото всѣхъ вообще представителей провинціальнаго «образованнаго» класса— тѣмъ, что у него мы видимъ цѣлое, вполнѣ сложившееся, хотя и простодушное, міросозерцаніе, тогда какъ у нихъ, по вѣрному замѣчанію Добролюбова, мы въ сущности не находимъ никакихъ основныхъ воззрѣній. Своеобразное міросозерцаніе Пименова сложилось изъ особыхъ условій народной жизни, составляя какъ-бы ея особаго рода идеализацію [1]. Въ томъ, что составляетъ на самомъ дѣлѣ тяготу этой жизни, народъ готовъ видѣть ея преимущество. Мы знаемъ, что народъ бѣденъ, но эта-то самая бѣдность и является съ извѣстной точки зрѣнія большимъ преимуществомъ,—заслугою передъ Богомъ. Народъ и въ другомъ смыслѣ бѣденъ—онъ нищъ духомъ, — но это опять только новое преимущество: именно нищихъ духомъ и возвеличиваетъ Господь, имъ-то и открываетъ Онъ то, что скрыто Имъ отъ мудрыхъ. Народъ сознаетъ и то, какъ легко онъ доходитъ до преступленія: но даже и въ этомъ готовъ онъ найти едва-ли опять не существенное преимущество. Люди, впадающіе въ преступленія, — они вѣдь «несчастные», а такихъ несчастныхъ особенно взыскиваетъ Божіе милосердіе: стоитъ только покаяться—и изъ преступниковъ они могутъ съ тою-же быстротой, съ какою дошли они до этого состоянія, обратиться въ подвижниковъ. «Извѣстно, что наказаніе разбойнику слѣдуетъ, — говоритъ Пименовъ, — однако, если человѣкъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ наврядъ и палачъ его столько наказать можетъ, сколько онъ самъ себя изну-

---

[1] Само по себѣ *странничество* было у насъ явленіемъ прививнымъ, заповѣднымъ, но, по особымъ бытовымъ обстоятельствамъ, оно крѣпко къ намъ привилось и *обнародилось*.

ритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ». (Совсѣмъ какъ у Достоевскаго).

Едва-ли бы что-нибудь подобное была въ состояніи высказать провинціальная важная дама, Дарья Михайловна, для прохода которой расталкиваютъ толпу въ церкви, или же тотъ, весь ушедшій въ свой туго набитый карманъ, откупщикъ Хрептюгинъ, для серебрянаго самовара котораго отнимаютъ воду у бѣдныхъ странницъ, раздѣляющихъ воззрѣніе Пименова. Если у г. Хрептюгина и есть какое-нибудь міросозерцаніе, то оно состоитъ развѣ въ томъ, что онъ, со своими милліонами, могъ-бы взять на откупъ и царство небесное; такъ точно, какъ если у генеральши Дарьи Михайловны и есть какая-нибудь религіозность, то она состоитъ развѣ въ томъ, чтобы по праздникамъ, въ модномъ своемъ нарядѣ, дѣлать форменные визиты и самому Господу! На такого рода различіе въ понятіяхъ губернскихъ тузовъ съ одной, и простыхъ богомольцевъ съ другой стороны, первый обратилъ вниманіе Добролюбовъ въ своей статьѣ о «Губернскихъ Очеркахъ». Вспомнимъ, что онъ тутъ говоритъ вообще объ отношеніяхъ г. Салтыкова къ народу:

«Сочувствіе къ неиспорченному простому классу народа, какъ и ко всему свѣжему, здоровому въ Россіи, выражается у Щедрина чрезвычайно живо... Мы думаемъ, что самый эстетическій, самый восторженный человѣкъ можетъ отдохнуть на общей картинѣ богомольцевъ и странниковъ, ожидающихъ на соборной площади появленія святыхъ иконъ. Тутъ нѣтъ сентиментальничанья и ложной идеализаціи: народъ является, какъ есть, со своими недостатками, грубостью, неразвитостью... Какъ ровно, безпорывисто, но за то какъ беззавѣтно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вѣра этого народа, и выражается не въ восклицаніяхъ, а на дѣлѣ... Масса не любитъ много говорить, не щеголяетъ своими страданіями и печалями и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужь за то

если пойметъ что-нибудь этотъ «міръ» толковый и дѣльный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вышедшее слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что [illegible]ндалъ».

Говоря это, Добролюбовъ противополагалъ людей изъ народа,—не мастеровъ на *слова*,—тѣмъ людямъ, у которыхъ все состоитъ въ одномъ говореніи, въ одномъ сплетеніи красивыхъ фразъ—съ цѣлью нарисоваться. Такіе люди *слова*, а не *дѣла* являются у г. Салтыкова въ особой главѣ, озаглавленной «*Талантливыя натуры*»; но всѣ эти Лузгины, Кореновы, Горехвастовы,—все это только видоизмѣненіе уже не разъ намъ встрѣчавшагося типа *лишнихъ людей*; это тѣ-же Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины и Обломовы. — Обломовы въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понималъ этотъ типъ тотъ-же критикъ. Г. Салтыковъ называетъ ихъ людьми *талантливыми*, но вся ихъ талантливость состоитъ въ томъ, что они стремятся къ широкимъ задачамъ, — эта талантливость главнымъ образомъ существуетъ въ ихъ воображеніи. Они рвутся къ чему-то высокому, но въ результатѣ оказывается, что, не будучи въ силахъ достигнуть его и гнушаясь близкимъ и малымъ, они въ концѣ-концовъ ничего не дѣлаютъ или же впадаютъ въ безобразный разгулъ. Эти талантливыя натуры, выведенныя г. Салтыковымъ, подробно разобраны Добролюбовымъ, а потому намъ и незачѣмъ на нихъ останавливаться: но почему этотъ типъ такъ часто появляется у нашихъ писателей? Многіе объясняли его той *барской средой*, въ которой выросли эти господа и которая, не пріучивъ ихъ къ работѣ, заставляетъ ихъ отлынивать отъ *прямого* дѣла ради *воображаемаго*. Но однимъ этимъ нельзя всего объяснить, тѣмъ болѣе, что такъ-называемыя *талантливыя натуры* — онѣ-же и *лишніе люди*—выходятъ и не изъ барской среды. Не объясняются-ли онѣ отчасти и той широтой нашей натуры, о которой такъ много было говорено, но которая остается чѣмъ-то неопредѣленнымъ? Можетъ быть, нѣкоторые изъ этихъ людей дѣйствительно потому облѣниваются или прокучиваются, что

имъ бы хотѣлось дѣйствовать на широкомъ просторѣ, а жизнь ихъ связываетъ по рукамъ и по ногамъ?

Въ этнографическомъ романѣ Печерскаго — «Въ лѣсахъ» мы видимъ удовлетворительное объясненіе стараго историческаго явленія — перехода въ казачество столькихъ людей изъ народа: не свыкаясь со стѣсненіями приказной поры, они видѣли въ казацкомъ житьѣ-бытьѣ вѣрное убѣжище для своихъ свободныхъ привычекъ. Не уходятъ-ли и наши новѣйшія *талантливыя натуры*, за неимѣніемъ уже на лицо готовой свободной среды, въ воображаемую, подъ вліяніемъ присущаго, можетъ быть, нашей природѣ желанія развернуться пошире; но, усматривая наконецъ безплодность своей мечтательной дѣятельности, впадаютъ въ разгулъ или въ праздность — съ отчаянія?

Но у насъ однако-же наступила пора, приближеніе которой только чувствуется въ «Губернскихъ Очеркахъ», а уже осязательно проявляется въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ г. Салтыкова — пора преобразованій, и вотъ тутъ-то, казалось-бы, этимъ широкимъ натурамъ представлялась возможность проявить свои силы. Но что-же мы видимъ у нашего автора? Выставляетъ-ли онъ свои *талантливыя натуры* принимающимися за ту болѣе или менѣе широкую дѣятельность, которая стала въ эту эпоху возможною до извѣстной степени? Нѣтъ, онъ не перенесъ этого типа изъ «Губернскихъ Очерковъ» въ свои позднѣйшія произведенія, стало быть не нашелъ возможности выставить его въ обновленномъ видѣ. Мало того, въ своихъ «Сатирахъ въ прозѣ» онъ даже прямо говоритъ: «мнѣ всегда казалось, что истиннымъ насадителемъ конфуза былъ почтенный нашъ писатель И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковыхъ годахъ предрекалъ его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровскаго уѣзда». Подъ «конфузомъ», какъ извѣстно, у Щедрина разумѣется извѣстная сторона нашей эпохи возрожденія: она *сконфузила* многихъ, рѣшительно неготовыхъ къ ней, застигнутыхъ ею врасплохъ. И эта-то эпоха конфуза, по мнѣнію г. Салтыкова, была предсказана

Тургеневскимъ предвѣстниками конфуза являлись Рудины и Гаврилы Щигровскаго уѣзда, т.-е. г. Салтыковъ находитъ, что и подобнымъ талантливымъ натурамъ пришлось-бы *сконфузиться*, на настоящее дѣло ихъ-бы никакъ не хватило.

Но мы должны вообще обратить вниманіе на дальнѣйшія отношенія г. Салтыкова къ эпохѣ нашего возрожденія, въ которой онъ главнымъ образомъ видитъ именно только *конфузъ*. Конечно, какъ сатирикъ по преимуществу, онъ имѣетъ право налегать преимущественно на уродливыя стороны современныхъ явленій. Но едва-ли и сатирику позволительно почти вовсе не видѣть другой стороны, — не замѣчать того, что кое-что однако-же у насъ принялось — стало быть, не было-же у насъ окончательнаго безлюдья. Между тѣмъ, г. Салтыковъ исключительно занятъ тѣмъ, что «глуповцамъ» вдругъ пришлось превращаться въ «умновцевъ», а это, разумѣется, трудно. За то *эта* именно сторона эпохи нашего возрожденія выставлена имъ мастерски. Какъ смѣшонъ у него конфузъ, сказавшійся въ помѣщичьемъ классѣ. Озабоченные крѣпостники вывѣдывали, узнавали, дѣйствительно-ли вѣренъ слухъ, — скоро-ли это будетъ? «Ну, да не скоро, Улита ѣдетъ, когда-то будетъ», — утѣшали они себя. Улита однако-же пріѣхала и конфузъ сдѣлался окончательнымъ. Госпожѣ Надейковой (Сатиры въ прозѣ) съ одной стороны, Кондратію Трифоновичу (Невинные разсказы) съ другой — представляется, что окружающіе ихъ слуги и служанки уже чуютъ пріѣздъ Улиты и потому на каждомъ шагу дѣлаютъ имъ непріятныя демонстраціи. Но Кондратій Трифоновичъ находитъ въ этомъ нѣкоторое препровожденіе времени, это нѣсколько наполняетъ обычную пустоту его барскаго житья сложа руки.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочиталъ въ газетѣ, что есть на свѣтѣ какой-то «сословный антагонизмъ», эта мысль не даетъ ему покоя. «Онъ вообразилъ себѣ, что онъ одна сторона, а слуги его — другая, и что они должны бороться». «Съ тѣхъ поръ, какъ завелось превосходство вольнонаемнаго труда надъ обязательнымъ, съ тѣхъ поръ,

какъ, съ другой стороны, онекунскій совѣтъ заперъ свои гостепріимныя двери. — глуповскія веси уныли и запустѣли». Идея антагонизма ихъ нѣсколько подняла, разбудила Вскорѣ затѣмъ они нашли и другой, болѣе широкій жизненный интересъ, — пошли толки объ англійскомъ «Selfgovernment», а затѣмъ—о возможности соединить его съ «libre initiative des poméschiks». Въ этомъ видѣли вознагражденіе за свои утраты. Вотъ какимъ благопріятнымъ образомъ наконецъ разрѣшился конфузъ въ помѣщичьей сферѣ. Но не менѣе ясно сказался онъ и въ другой, — въ сферѣ городничихъ и другихъ имъ подобныхъ служебныхъ лицъ. Долгъ службы, расчетъ на награды заставилъ всѣхъ этихъ людей, почуявшихъ въ воздухѣ новое вѣяніе, выставить себя съ либерально-преобразовательской стороны; этимъ можно было выслужиться, за это можно было получить награду. И вотъ различные глуповскіе городничіе и исправники начинаютъ прикидываться передовыми людьми. Вслѣдствіе этого совершается въ самыхъ широкихъ размѣрахъ возрожденіе Гоголевскаго Хлестакова. «Россіяне,—говоритъ г. Салтыковъ,—такъ изолгались въ какія-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя было понять въ этой всеобщей хлестаковщинѣ». Но новымъ Хлестаковымъ по-временамъ однако-же становилось жутко,—трудно было выдерживать непривычную для нихъ роль. «Ma chère,—не разъ говаривалъ генералъ Зубатовъ своей супругѣ,—это возрожденіе—чортъ его знаетъ, что это такое».—«Pourvu que tu conserves ta place, mon ami»,—благодушно и успокоительно отвѣтствовала ему Анна Ивановна. Но для сбереженія себѣ мѣста нужно было продолжать такимъ образомъ хлестаковствовать! Щедринъ разсказываетъ объ этомъ подробно въ особомъ разсказѣ: «Генералъ Зубатовъ» (Невинные разсказы). Этотъ почтенный администраторъ, строя различные проекты для благоденствія своего города, сходитъ на нихъ съ ума. Другіе, напротивъ, выходятъ изъ конфуза такъ-же благополучно, какъ и помѣщики. Они догадываются, что прежде всего «нужно поспѣшить заявленіемъ своей готовности, а потомъ... а

потомъ можно будетъ оставить все попрежнему». И вотъ, слѣдя за «Губернскими Очерками», за «Сатирами въ прозѣ» и за «Невинными разсказами», мы все болѣе и болѣе убѣждаемся въ томъ, что глуповскіе заправители окончательно успокаиваются и торжественно поютъ хоромъ: «возродимся! возродимся!» Но рѣчи либеральнаго свойства говорятся ими попрежнему, только въ хвостикѣ появляются слова въ родѣ: постепенность, осторожность, такъ-что кончикъ рѣчи уничтожаетъ ся начало, а говорить продолжаютъ, и говорятъ долго. Говорятъ смѣло и либерально даже Ноздревы! «Ты-ли это, mon cher, — спрашиваетъ надворный совѣтникъ Щедринъ одного изъ нихъ, — если это ты, то почему ты смотришь такимъ Іафайэтомъ?.. Или, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, тебѣ выгоднѣе быть Іафайэтомъ, нежели прежнимъ сорви-головой Ноздревымъ?» Но далѣе является и объясненіе: «всѣ эти рекламы либерализма не больше, какъ ярлыки, которыми разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе». И такъ, заведенная разъ либеральная *говорильня* продолжаетъ дѣйствовать. «Нѣтъ возможности, — замѣчаетъ авторъ, — предпринять самое простое дѣйствіе — сшить себѣ новое платье, купить фунтъ икры и т. п., чтобы дѣйствія этого не подсмотрѣлъ мѣстный бардъ и тутъ-же безцеремонно не выразилъ, что «чѣмъ икру-то пожирать, лучше-бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать».

Но не замѣчаете-ли вы, что тутъ уже тонъ г. Салтыкова начинаетъ переходить въ тотъ тонъ, который мы слышали во «Взбаламученномъ Морѣ», или даже въ «Некуда?» Однако-же далѣе нашъ сатирикъ обнаруживаетъ отличіе своего взгляда, успокоивая, кого слѣдуетъ, тѣмъ, что эти либеральныя говорильни совершенно благонамѣренны. Говорить разрѣшено, — отсюда умозаключеніе: говорить велѣно. Сущность взгляда, выраженнаго въ «Сатирахъ въ прозѣ» и въ «Невинныхъ разсказахъ», та, что преобразованія вдругъ какъ-будто упали къ намъ съ неба, что общество было застигнуто ими врасплохъ, и отсюда и либеральная ложь. Гр. Л. Н. Толстой въ

своей хроникѣ «Война и Миръ» выставляетъ насъ неготовыми къ великимъ событіямъ 12-го года. Салтыковъ обнаруживаетъ такую-же нашу неподготовленность въ другую замѣчательную эпоху,—въ ту эпоху, когда мы, послѣ несчастной восточной войны, почувствовали, что многое должно быть у насъ перестроено. Но гр. Толстой въ своей хроникѣ,—можно принимать его объясненіе или нѣтъ,—по-своему умѣлъ показать, что однако-же вывезло насъ въ 12-мъ году. Салтыковъ въ тѣхъ произведеніяхъ, о которыхъ я теперь говорю, какъ-бы вовсе не обращаетъ вниманія на то, что великія преобразованія: крестьянское, земское и судебное однако-же совершались, что многое принялось,—такъ-ли прочно и вѣрно, какъ надо, другой вопросъ!—но все-таки принялось: значитъ могло приняться, значитъ — были-же у насъ кое-какіе дѣятели. Эту дѣльную сторону нашего возрожденія онъ оставляетъ почти безъ вниманія, опредѣляя эту эпоху однимъ «конфузомъ». Но въ такомъ случаѣ нельзя не сознаться, что сатира у него получаетъ характеръ просто трагическій. Если въ самомъ дѣлѣ у насъ оказалась такая окончательная несостоятельность, то есть чего ужаснуться! Послѣ этого странною представляется статья Писарева о Щедринѣ, носящая названіе: «Цвѣты невиннаго юмора». Въ этой статьѣ, какъ видно уже по заглавію, сатира Щедрина характеризуется какъ *смѣхъ ради смѣха*. Критикъ въ пылу увлеченія доходитъ до того, что совѣтуетъ автору совершенно бросить сатиру и сдѣлаться популяризаторомъ естествознанія. Но какъ это ни странно, въ той-же самой статьѣ Писарева встрѣчается одно чрезвычайно вѣрное и глубокое замѣчаніе по поводу одного мѣста въ Щедринскихъ «Сатирахъ въ прозѣ», а именно того эпизода изъ политической исторіи Глупова, когда его осчастливливаетъ посѣщеніе благодѣтельной богини Минервы.

«Созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: «скажите, дескать, мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ засѣла?» Но глуповцы кланялись и потѣли; самый, что называется, горланъ ихній хотѣлъ-было сказать, что глу-

[illegible] корбны, но не осмѣлился, а только взо-[illegible] пуще прочихъ. «Скажите, что-жъ вы желали-[illegible] — настаивала Минерва, но глуповцы продолжали [illegible] и потѣть. Тогда, Богъ вѣсть откуда, раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: «лихо-бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась: даже глуповцы не выдержали и засмѣялись тѣмъ нутрянымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачокъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ и не тревожили глуповцевъ вопросами».

Критикъ совершенно вѣрно, какъ я понимаю, выводитъ изъ этой сказочки Щедрина особую философію исторіи, популярно имъ изложенную. Эта Щедринская философія исторіи, по мнѣнію критика, приводится къ слѣдующимъ двумъ пунктамъ: «1) вся мудрость заключалась въ головѣ Минервы, а глуповцы всегда умѣли только потѣть, кланяться и смѣяться нутрянымъ смѣхомъ... 2) Минерва отличалась безконечною благостью и отъ души готова была даровать глуповцамъ рѣшительно все, чего-бы они ни попросили, и, слѣдовательно, глуповцы сами во всемъ виноваты».

Съ такой философіей исторіи, нельзя не сознаться, можно зайти въ препорядочную глушь. По другой философіи исторіи дѣло можетъ представиться совершенно иначе. Она можетъ быть иносказательно выражена слѣдующей сказочкой.

Минерва обратилась къ глуповцамъ, разсчитывая на то, что они окончательно *глуповцы*; но глуповцы могли оказаться болѣе *умновцами*, чѣмъ она предполагала, они могли найтись сказать, что имъ нужно, потому что въ самомъ дѣлѣ нужно быть уже очень глупыми, чтобы вовсе не понимать этого. Минерва увидѣла, что она ошиблась въ глуповцахъ и, руководимая своей миѳологической завистью къ людскому благополучію (извѣстно, что боги древнихъ отличались подобнаго рода завистью, неохотно что-либо удѣляли людямъ), могла отказать имъ въ удовлетвореніи ихъ желанія: «слишкомъ, молъ, многаго захотѣли!» Мы не настаиваемъ на такой философіи исто-

ріи, но думаемъ, что слишкомъ много говорить о сплошной глупости того идеальнаго города, который рисуетъ Щедринъ, едва-ли полезно. Вѣдь это можетъ, пожалуй, привести къ выводу: «да не махнуть-ли рукой на Глуповъ?» А при такомъ выводѣ, всякаго, кто-бы захотѣлъ что-нибудь учинить въ пользу Глупова, пришлось-бы остановить: «полно тебѣ попусту хлопотать—поставь поскорѣе точку!»

Съ огульнымъ осужденіемъ цѣлаго Глупова трудно такъ-то помирить нѣкоторыя теплыя страницы, попадающіяся въ «Невинныхъ разсказахъ». Тутъ авторъ, между прочимъ, обращается къ глуповскимъ Иванушкамъ (понимая подъ ними личности изъ *народа*). Надо замѣтить, что эти теплые разсказы вовсе не оцѣнены Писаревымъ; напротивъ, они имъ осмѣяны. Этой участи не избѣгъ и прелестный разсказъ: «Миша и Ваня», въ которомъ съ такою глубокою психологическою правдою выставлены два мальчика, доведенные до отчаянія обращеніемъ съ ними помѣщицы. Писаревъ находилъ излишнимъ нападать на то, что уже было упразднено (разсказъ написанъ всего два года спустя послѣ 19 февраля 1861 г.), но онъ забылъ, что слѣды крѣпостного права еще оставались, да и теперь еще остаются, въ нашихъ *нравахъ*. На всякаго, приступающаго къ чтенію этого разсказа безъ заранѣе составившагося взгляда, самое сильное дѣйствіе производитъ мастерское описаніе психическаго состоянія этихъ двухъ мальчиковъ, которые одни, далеко за-полночь, ждутъ возвращенія съ бала своей злой барыни: воображеніе все болѣе и болѣе разыгрывается у нихъ, особливо у одного, одареннаго артистическимъ темпераментомъ, и мало-по-малу приводитъ *дѣтей* къ вопросу о томъ, какую смерть выбрать? Впрочемъ, какую ни выбирай, а исходъ одинъ: «бить не будутъ! Возьмутъ твою душу ангелы и понесутъ къ престолу Божьему!— А Богъ — ничего? — А Богъ спроситъ: зачѣмъ вы, рабы Божіи, предѣла не дождались? Зачѣмъ, скажетъ, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажемъ!..» Странное дѣло! Писаревъ находитъ эту тему

устарѣлою. А развѣ газеты не приносятъ намъ и теперь извѣстій о самоубійствѣ дѣтей? Такъ не значитъ-ли это, что и безъ крѣпостного права возможно даже для нихъ положеніе, до того не хорошее, что и теперешнимъ мальчикамъ, какъ Мишѣ и Ванѣ, приходитъ охота рѣзаться или топиться. Крѣпостного права уже нѣтъ, но есть *нужда*, есть... мало-ли что еще есть, дѣлающее человѣка чуть-чуть что не крѣпостнымъ. Писаревъ, можетъ быть, правъ только относительно двухъ заключительныхъ обращеній автора къ барынѣ Миши и Вани и къ «землѣ-матери»: въ этихъ обращеніяхъ, особливо въ послѣднемъ, дѣйствительно нѣсколько проглядываетъ риторика. Въ цѣломъ-же разсказъ проникнутъ самою неподдѣльною теплотой. Тѣмъ-же отличается въ той-же книгѣ и другой разсказъ—«Святочный», въ которомъ выводится только-что попавшій въ рекруты Петруня (онъ напоминаетъ Матюшу въ «Губернскихъ Очеркахъ»), въ послѣдній разъ справляющій праздничный рождественскій пиръ въ своей семьѣ. Здѣсь рѣшительно не узнаешь сатирика,—онъ исчезаетъ въ разсказѣ, исполненномъ такого нѣжнаго участія къ семейному горю этихъ простыхъ людей. Сатиризмъ, повидимому, снова сказывается при появленіи на сцену, въ видѣ контраста, шутника Абессаломова, но и тутъ самъ авторъ намъ говоритъ: «Несмотря на грубокомическій колоритъ разсказа (т.-е. разсказа Абессаломова), видно было, что весь тонъ его фальшивый и что за нимъ слышится нѣчто до того похожее на страданіе, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью... День мой былъ окончательно испорченъ».

Въ «Развеселомъ Житьѣ» Салтыковъ съ участіемъ рисуетъ картину жизни бѣглыхъ людей (въ кругъ которыхъ долженъ попасть и Петруня) и рисуетъ такъ, что изъ этого мы можемъ вывести заключеніе противъ самого автора, заключеніе такого рода, что не всѣ глуповцы—«Иванушки», что не всѣ они тупо «смирные»,—есть между ними и «хищные» (употребляемъ терминологію Ап. Григорьева). Съ такими разсказами трудно

примирить то, что говоритъ Щедринъ о какомъ-то сплошномъ отупѣніи, сплошномъ молчаніи всего Глупова. А какое сочувствіе народу слышится въ слѣдующихъ словахъ автора въ концѣ разсказа о рекрутѣ Петрунѣ: «Казалось-бы, что общаго между мной и этой случайно встрѣченной мною семьей; какое тайное звено можетъ соединить насъ другъ съ другомъ? И между тѣмъ я несомнѣнно сознавалъ присутствіе этой связи, я несомнѣнно ощущалъ, что въ сердцѣ моемъ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для меня самого, пріобщаетъ меня къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни». Какъ примирить подобное мѣсто съ тѣми мѣстами въ «Сатирахъ въ прозѣ», гдѣ *меньшіе* глуповцы являются «Иванушками», т.-е. очевидно «Иванушками-*дурачками*»,—гдѣ говорится съ такой желчью объ этой «грубой *толпѣ*, которая изъ-за куска насущнаго хлѣба потѣла и выбивалась изъ силъ, вскидывая вилами навозъ на телѣги и потомъ раскидывая его по полямъ?» Или, можетъ быть, слово «Глуповъ» не слѣдуетъ принимать въ такомъ значеніи, какъ его принимаютъ многіе? Можетъ быть это просто какая-нибудь провинціальная глушь, или просто нѣсколько провинціальныхъ мѣстъ, сведенныхъ въ одно? А «Исторія одного города?» Ее, къ сожалѣнію, никакъ уже нельзя отнести къ одному какому-нибудь глухому мѣсту; она, очевидно, претендуетъ на значеніе весьма широкое. Но «Исторія одного города» у насъ еще впереди; она принадлежитъ ко второму періоду Салтыковской сатиры. Въ этомъ второмъ періодѣ мы увидимъ у него сатирическое воспроизведеніе той поры, когда различнаго рода Зубатовы и имъ подобные стали употреблять удесятеренныя усилія, чтобы возродить въ новомъ видѣ прежнія времена. Этотъ второй періодъ, безъ сомнѣнія, особенно важный у Щедрина, какъ сатирика. Въ первомъ періодѣ у него особенно хороши очерки изъ народнаго быта, имѣя-же въ виду собственно сатирическую сторону, нельзя окончательно не сказать, что тутъ слишкомъ большое значеніе придается «конфузу», если сатирикъ дѣйствительно думаетъ обнять

этимъ терминомъ главныя явленія эпохи нашего *возрожденія*.

Некрасовъ, въ одномъ изъ своихъ произведеній позднѣйшей поры, отнесся къ этой эпохѣ глубже, многосторонніе. Я разумѣю стихотвореніе «Недавнее время», относящееся къ 1871 году. Вспомните, какъ онъ обращается тутъ къ этому недавнему прошлому:

«Благодатное время надежд!
Да, прошедшимъ и ты уже стал!
Къ удовольствію дикихъ невѣжд
Ты обломокъ своихъ не сдержал...

Подъ вліяніемъ скорби о томъ, что не всѣ обѣты сдержаны, тутъ и Некрасовъ какъ-бы готовъ впасть въ безнадежный тонъ Щедрина, какъ-будто позабывая, что многаго изъ *прежней*, давнишней поры назадъ уже вовсе не вернуть никакими усиліями никакихъ невѣждъ. За то далѣе поэтъ прямо уже возвращается къ сочувственной сторонѣ той недавней поры:

«Но шумя и куда-то спѣша
И какъ-будто оковы сбивая,
Русь! была ты тогда хороша!
. . . . . .
Какъ невольникъ, почувствовавъ зарю,
Разгибается, вольно вздыхаетъ
И, не вѣря себѣ самому,
Богатырскую мощь ощущаетъ,—
Ты казалась сильна, молода,
Къ правдѣ, къ свѣту, къ свободѣ стремилась,
Въ прегрѣшеніяхъ тяжкихъ тогда,
Какъ блудница, ты громко винилась,
И, казалось намъ въ первые дни,—
Повториться не могутъ они...
Приводя наше прошлое въ ясность,
Проклиная безправье, безгласность,
Произволъ и господство бича,
Далеко мы зашли сгоряча».

Да, намъ казалось, что со всѣмъ этимъ будетъ такъ легко расправиться, что расправа пойдетъ какъ по маслу! А вотъ и образчики того, какъ мы себя обли-

«Посмотрите на насъ: мы обжоры,
Мы ходячіе трупы, гробы,
Казнокрады, народные воры,
Угнетатели, трусы, рабы!
Походя на толпу сумасшедшихъ,
На самихъ себя вѣющихъ бичи,
Сознаваться въ недугахъ прошедшихъ
Были мы до того горячи,
Что ни выснли всякую мѣру...
Крылось что-то неладное тутъ,
Но не вдругъ потеряли мы вѣру...»

Далѣе Некрасовъ начинаетъ опять вторить Щедрину, указывая на мишурную сторону той поры, и они оба, конечно, правы—эта сторона была и не могла не быть. Но сколько-бы ни было пустыхъ фразъ въ нашемъ тогдашнемъ движеніи, сколько-бы ни было тутъ людей, которые, вслѣдствіе обличая себя, продолжали дѣлать то же, что и прежде, — сколько было съ другой стороны и искренности въ добрыхъ стремленіяхъ (эта искренность и оцѣнена Некрасовымъ въ только-что приведенныхъ мною стихахъ). А были и дѣйствительно увлеченные *дѣломъ* люди! И не одною-же аффектаціей объясняется тотъ негодующій взрывъ, который былъ вызванъ въ то время неосторожно произнесенными словами: «мы еще не созрѣли». Огульно принижать эту пору мы не имѣемъ никакого права. Одной сатирой, относящейся къ явленіямъ «конфуза», который дѣйствительно былъ, потому что вино новое больше приходилось вливать въ старые мѣхи, — одной сатирой, обличающей собственно этотъ *конфузъ*, нельзя исчерпать значенія той поры. Въ ней было и другое, и наша лирическая поэзія могла-бы, пожалуй, еще и съ большимъ жаромъ, чѣмъ у Некрасова, отзываться на благодатныя ея стороны. Но окончательную оцѣнку этой поры произнесетъ не сатирикъ, не лирикъ, а всеобщій великій судья—исторія.

II.

«Признаки Времени».—«Письма о Провинціи».—«Дневникъ Провинціала въ Петербургѣ».—«Ташкентцы».—«Исторія одного Города».

Очень важный періодъ сатирической дѣятельности Щедрина,—какъ мы уже сказали—это, конечно, періодъ второй, относящійся ко тому времени, когда наша общественная жизнь перешла опять въ новый фазисъ: тѣ-же самые глуповскіе городничіе, квартальные и становые, которые сначала считали нужнымъ принимать новый, непривычный для нихъ тонъ, потомъ окончательно догадались, что все дѣйствительно можетъ, пожалуй, оставаться по-старому. Поэтому и они считали нужнымъ прикидываться либералами, это было болѣе смѣшно, чѣмъ печально; дѣятели честные могли при этомъ дѣйствовать прямо и открыто. Но мало-по-малу у глуповскихъ городничихъ, квартальныхъ и становыхъ развивается рѣшимость сдерживать стремленія новыхъ людей, честно преданныхъ новымъ идеямъ; вотъ тутъ-то и наступаетъ пора уже болѣе печальная, чѣмъ смѣшная. Выработалось стремленіе къ тому, что на языкѣ этихъ провинціальныхъ... въ своемъ родѣ агитаторовъ называется «подтягиваніемъ». «Трудно себѣ представить,—говоритъ Щедринъ въ своихъ «Признакахъ Времени».—что-нибудь болѣе уродливое, нежели жизнь, составленную изъ однихъ *подтягиваній*. Трудно выдумать нигилизмъ болѣе безсодержательный, нежели этотъ диковинный, подтягивательный нигилизмъ!» И такъ, обвиненіе въ *нигилизмѣ* сваливается обратно на голову тѣмъ, кто такъ любитъ корить имъ молодое поколѣніе. Нигилистическіе подтягиватели вовсе не имѣютъ опредѣленнаго понятія о томъ, во имя чего имъ надо подтягивать. Правда, они говорятъ о принципахъ и даже «великихъ принципахъ», но когда у нихъ

спросятъ: что-же это за принципы?» они отвѣчаютъ: «это принципы!»—Что за великіе принципы?—«Это великіе принципы!» Вотъ все толкованіе, котораго вы добьетесь въ отвѣтъ на ваши запросы [1]). Указаніе на то, что настоящіе нигилисты вовсе не тамъ, гдѣ ихъ обыкновенно ищутъ, что они скорѣе оказываются въ собственной средѣ *ищущихъ*, можно найти и у И. С. Тургенева въ «Дымѣ», гдѣ буквально «нигилистическимъ» оказывается наше Баденъ-Баденское фрондерствующее барство. Въ сущности эти люди—такіе-же точно, только въ бѣлыхъ перчаткахъ, «подтягивали», какъ и Щедринскіе провинціальные администраторы-нигилисты. Это въ свое время не помѣшало появленію «Дыма» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», хотя редакція этого журнала съ нѣкоторыхъ поръ особенно озлобленно относится къ *отыскиваемымъ*, къ такъ-называемымъ нигилистамъ молодого поколѣнія, вовсе не замѣчая нигилизма въ *ищущихъ*, въ поколѣніи старомъ, котораго такъ не называемыхъ нигилистовъ прекрасно понималъ еще Гоголь, а потомъ чудесно опредѣлилъ Ю. Ѳ. Самаринъ.

Щедринъ не даромъ замѣчаетъ въ одной изъ статей тѣхъ-же самыхъ «Признаковъ Времени», что и литература въ нѣкоторыхъ своихъ углахъ мало-по-малу начала «подтягивать», т.-е. въ свою очередь вторить глуповскимъ городничимъ, квартальнымъ и становымъ. «Мальчишки!» стонетъ на всѣ лады одинъ; «нигилисты!» подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣло ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серьезные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ». Надо однако замѣтить, что слово *благонамѣренный* на языкѣ Щедрина вообще принимается въ такомъ-же не прямомъ смыслѣ, въ какомъ принималось оно еще Гоголемъ (извѣстно, что Чичиковъ, по мнѣнію губернатора, былъ вполнѣ благонамѣренный человѣкъ). Нашъ совре-

[1]) «Признаки Времени». Статья: «Легковѣсные».

менный сатирикъ спрашиваетъ: «что такое человѣкъ благонамѣренный?»—Онъ долженъ имѣть хорошій образъ мыслей. Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. Невинность-же съ своей стороны есть отсутствіе всякаго образа мыслей. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока — вотъ кодексъ... которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ... («Сеничкинъ Ядъ»).

Но какимъ-же это образомъ вышло, что «изъ загнанной и трепещущей, по словамъ Щедрина, литература (т.-е. извѣстная ея часть) вдругъ превратилась въ торжествующую и ликующую... изъ заподозрѣнной—въ благонамѣренную и достойную довѣрія?» Къ несчастью, по мнѣнію нашего сатирика, дѣло объясняется очень просто: «всему причиной *четвертакъ*»,—говоритъ онъ.

То-же самое было замѣчено и Некрасовымъ въ одной изъ его сатиръ: «Газетная» (1865 г.). Вотъ какіе тутъ раздаются отзывы:

«До того расходилась печать,
Что явилась потребность *субсидій*;
Экъ, хватила куда, исполать!»

Да это вѣдь служитъ къ чести литературы, — значитъ она «сила», значитъ на нее обращаютъ вниманіе! Но вотъ что слѣдуетъ далѣе:

«Таксы нѣтъ на гражданскія слезы,
Но и такъ онѣ льются рѣкой.
Образцы изумительной прозы
Замѣчаются въ прессѣ родной:
Тотъ добился успѣха во многомъ
И удачно враговъ обуздалъ,
Кто идею свободы съ поджогомъ,
Съ грабежомъ и убійствомъ мѣшалъ...»

Очень ясный намекъ на нѣкоторыя беллетристическія произведенія, а также и на многія публицистическія статьи:

«Тотъ прославился другомъ народа
И мечтаетъ, что пользу принесъ,
Кто на тему «вино» и «свобода»
На народъ напечаталъ доносъ.»

И на подобнаго рода литературу большой запросъ; она имѣетъ свою благоговѣйно внимающую сей публику, отъ лица которой и говоритъ Некрасовъ въ одной изъ своихъ «Пѣсенъ о Свободномъ Словѣ» (1865 г.):

«Боже, пошли намъ терпѣнье
Или, цензура, воспрянь!
Всюду одно осужденье,
Всюду пахальная брань!
Въ цивилизованномъ классѣ
Будто растлѣнье одно.
Бѣдность безмѣрная въ массѣ
(Гдѣ же берутъ на вино?)
Въ каждомъ нажиться старанье,
Въ каждомъ продажная ч с.ь,
Только подъ шубой бараньей
Сердце хорошее есть...»

Чѣмъ-же объясняется вся эта, долго копившаяся и вдругъ прорвавшаяся наружу злоба? Она объясняется тѣмъ рядомъ преобразованій, которыя обновили нашу жизнь, время которыхъ и называется временемъ нашего возрожденія. Въ «Дневникѣ Провинціала въ Петербургѣ» Щедринъ указываетъ на слѣдующее, сдѣланное провинціалу приглашеніе:

— «Не хотите-ли я васъ сегодня вечеромъ представлю? Сегодня въ одномъ мѣстѣ проектъ объ уничтоженіи читать будутъ».—«Объ уничтоженіи чего-же?». — «Ну... чего... разумѣется всего. И мировые суды чтобъ уничтожить, и окружные суды по боку, и земство по шапкѣ. Словомъ сказать, чтобъ ширь да высь — и больше ничего».—«Что вы, да вѣдь это цѣлая революція!»—«А вы какъ объ насъ полагали? Мы вѣдь не нѣмцы, помаленьку не любимъ».

Въ томъ-же «Дневникѣ» приводится и нѣсколько другихъ, болѣе опредѣленныхъ проектовъ. Проектъ объ уничтоженіи всего черезчуръ уже далеко хватилъ, а потому и не особенно опасенъ. Но вотъ другой проектецъ «о необходимости децентрализаціи», составленный отставнымъ корнетомъ Петромъ Толстолобовымъ. Децентрализація! —Какъ видите, терминъ очень широкій, либераль-

ный; составитель какъ будто-бы еще чувствуетъ то, что чувствовали во время «конфуза», чувствуетъ необходимость прикинуться либераломъ; на самомъ-же дѣлѣ мы сейчасъ увидимъ, что онъ понимаетъ подъ словомъ «децентрализація». Централизація, какъ оно выходитъ по силу его толкованій, это такой порядокъ вещей, при которомъ все сводится къ одному центру, къ тому спасительному центру, который признается во всѣхъ благоустроенныхъ обществахъ—къ закону. Децентрализація—это, напротивъ, такой порядокъ вещей, при которомъ каждому городничему, квартальному и становому предоставляется распоряжаться по своему усмотрѣнію. Извѣстно, что провинціалу, по прочтеніи этого проекта, представилась великолѣпная картина того, что могло-бы быть, если-бы проектъ этотъ осуществился. Ему какъ-бы въ видѣніи представилось, что уже не «было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій, словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ. Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ, потомъ на-скоро подкрѣпляютъ силы холоднымъ закускамъ и водкой, и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ».

Другой проектъ—свойства подготовительнаго: надо вѣдь заранѣе дѣйствовать на подрастающее поколѣніе. Это проектъ «о необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ», составленный бывшимъ штатнымъ смотрителемъ Чухломскихъ училищъ, титулярнымъ совѣтникомъ Филоверитовымъ. Въ этомъ проектѣ проводится такой взглядъ, что «если пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ, или-же занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Тотъ, то... получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое, и не только не пренятствующее знакамъ преподанія, но дѣятельно на постановку ихъ согласное», т.-е. главнымъ образомъ согласное на постановку *точекъ*, этого выразительнѣйшаго

изъ знаковъ препинанія. Наконецъ третій проектъ, съ которымъ долженъ познакомиться провинціалъ, относится до высшихъ ученыхъ учрежденій: они, конечно, нужны, но надо придать имъ особое значеніе, и вотъ съ этою-же цѣлью и составленъ проектъ «о переформированіи десіянсъ академіи». «Пунктъ 1—чтобы науки наши противъ всѣхъ прочихъ были превосходнѣе, 2-й — чтобы оныя подлинно распространяли свѣтъ, а не тьму. Но здѣсь представляется весьма щекотливый вопросъ: какъ сего достигнуть? На сіе отвѣчаю кратко: посредствомъ заведенія такихъ учрежденій, которыя имѣли-бы въ предметѣ не распространеніе наукъ, но тщательное оныхъ разсмотрѣніе», т.-е. такое разсмотрѣніе наукъ, которое-бы почти равнялось ихъ упраздненію. Г. Салтыковъ, разумѣется, считаетъ совершенно лишнимъ указывать на то, что всѣ эти проекты остались безъ осуществленія; знаменательна уже самая возможность появленія ихъ, хотя-бы только въ головѣ какихъ-нибудь Толстолобовыхъ и Филоверитовыхъ

Я уже упомянулъ о томъ, что́ оказывается основною причиной той злобы, которою вызвана на свѣтъ Божій вся эта гасительская дѣятельность. Настоящій же *корень* всего, какъ совершенно вѣрно понимаетъ Щедринъ, заключается въ величайшемъ изъ преобразованій нашей эпохи—въ освобожденіи крестьянъ. Объ этомъ особенно подробно говоритъ нашъ сатирикъ въ своихъ «Письмахъ о Провинціи», относящихся къ числу самыхъ сильныхъ его произведеній. Тутъ авторъ изъ обычнаго сатирическаго тона переходитъ мѣстами въ негодующій пафосъ: «Цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ,—говоритъ онъ,—рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества—со спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19 февраля!..» Рыскаютъ себѣ да рыскаютъ эти, въ наибуквальнѣйшемъ смыслѣ нигилисты, и нахально сваливаютъ обвиненіе въ нигилизмѣ на головы тѣхъ людей, которые приводили въ исполненіе великую реформу!

«Нельзя себѣ представить, —продолжаетъ Щедринъ,—

того настроенія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ ненавистное ему дѣло. Прослышитъ-ли онъ, что народъ бѣднѣетъ—онъ ликуетъ; вычитаетъ-ли, что въ дѣлахъ застой—онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ-ли до него, что города и села опустошаются пожарами — нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19-му февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ числомъ».

Но ненавистникъ на этомъ не останавливается,—онъ не только радуется бѣдствіямъ, посылаемымъ природою, не только пользуется ими въ видѣ доказательствъ противъ 19 февраля, онъ готовъ самъ создавать для народа бѣдствія, чтобы потомъ приписать ихъ опять тому же непереваримому для него числу. «Вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью—пускай дескать знаютъ поганцы, какова сладка хваленая ихъ свобода! И хоть, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ!» Да, дѣятели 19 февраля съ точки зрѣнія этихъ людей — коммунисты и соціалисты, т.-е., по-ихнему, то же, что́ нигилисты. А все дѣло въ томъ, что «намѣренія этого великаго дня», какъ вѣрно объясняетъ Щедринъ, «пали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста ни для опасеній, ни тѣмъ болѣе для нелѣпыхъ разсказовъ» (т.-е. разсказовъ о какихъ-то «отставныхъ солдатахъ и разночинцахъ», будто-бы дѣйствительно могущихъ посѣять сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ). «Какъ-бы мы ни были взыскательны,— продолжаетъ Щедринъ, — мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна огнистскаго цѣлыя массы людей... разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи, — такое дѣло способно

вдохнуть энтузіазмъ самый безпредѣльный. Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія». И вотъ этой-то работѣ организаціи, которая должна окончательно водворить реформу,—этой работѣ ненавистники-шелопаи не хотятъ дать совершиться въ спокойной послѣдовательности, вотъ ей-то и хотятъ они помѣшать. Такимъ образомъ въ этихъ «Письмахъ о Провинціи» Щедринъ вполнѣ признаетъ и важную, доводящую его до восторга, сторону нашего «возрожденія», ту сторону, которая не могла же отзываться «конфузомъ», если пала на такую благодарную почву, если представляется нашему автору *настоящимъ подвигомъ*. Но въ такомъ случаѣ, признавая благодарною почву, мы должны также признать и то, что русская земля была готова къ великому дню. И дѣйствительно, она ожидала его давно. Въ дѣлѣ подготовленія принимала живое участіе и наша литература, — въ немъ принималъ въ свое время участіе самъ Салтыковъ, принимали Тургеневъ, Некрасовъ и другіе, обличавшіе крѣпостное право. Но всѣ они вѣдь только поддерживали литературныя преданія прежней поры, въ сущности вовсе не прерывавшіяся въ нашей литературѣ. Некрасовъ въ своемъ «Дѣдушкѣ» выводитъ человѣка, который въ первой четверти нашего вѣка былъ уже полонъ сочувствія дѣлу освобожденія, но этому *дѣду* предшествовали нѣкоторые *прадѣды*, стоявшіе за освобожденіе крестьянъ еще при Екатеринѣ II. И этимъ «прадѣдамъ» тѣмъ болѣе чести, что они могли-бы даже у самого Ж. Ж. Руссо вычитывать (нѣкоторые и вычитывали) цѣлыя рацеи о томъ, что не надобно торопиться, что надо прежде освободить *души* (т.-е. просвѣтить народъ), а потомъ уже освободить *тѣла* (т.-е. уничтожить крѣпостное право). Если на литературномъ поприщѣ были люди, которые, между прочимъ ссылаясь и на Руссо, задерживали великое дѣло освобожденія, то были и другіе, всѣми мѣрами старавшіеся подвинуть его впе-

родъ, всегда вѣрившій въ возможность свободы для роднаго народа. А Екатерининская комиссія, труды которой печатаются Историческимъ обществомъ? Если со стороны большинства дворянъ и слышались тутъ хриплые голоса въ пользу того, чтобы все оставалось по-старому, то порою раздавались и изъ этой среды такіе, которые были благопріятны улучшенію участи народа. Наконецъ тутъ же, по нѣкоторымъ поводамъ, уже слышались и рѣчи представителей самого крестьянства или же людей, очень близко стоящихъ къ нему, рѣчи, обнаруживающія полнѣйшее пониманіе народомъ своихъ вопіющихъ нуждъ. Словомъ, по прекраснымъ матеріаламъ Историческаго общества мы окончательно убѣждаемся въ томъ, что императрица, созвавшая эту комиссію, нашла въ представителяхъ своего народа и настоящихъ «умновцевъ», а вовсе не сплошь и въ ряду тѣхъ «глуповцевъ», которыхъ такъ любитъ рисовать Щедринъ. Да, Екатерининская комиссія вполнѣ подтвердила вѣрность того, что еще Посошковъ, въ своей знаменитой книгѣ, говорилъ Петру Великому о «*народовсвѣтіи*»; и если эта комиссія была разнуздана, то вовсе не потому, чтобы дѣятели ея оказались тогда неспособными,—какъ это полагалъ когда-то даже Сперанскій, а нѣкоторые полагаютъ и до сихъ поръ, — а на то нашлись другія причины. Послѣ всего этого «великій подвигъ» 19 февраля, какъ выражается Щедринъ, уже представляется намъ не какимъ-то необъяснимымъ чудомъ, а естественнымъ слѣдствіемъ того, что почва давно была подготовлена. Но если крѣпостное право отмѣнено и никакимъ усиліямъ «дикихъ невѣжъ» никогда не удастся возстановить его, то слѣды крѣпостного права остались. «Тѣ, которые говорятъ: «зачѣмъ напоминать о крѣпостномъ правѣ, котораго уже нѣтъ? зачѣмъ нападать на лежачаго?» — говорятъ это единственно по легкомыслію», замѣчаетъ г. Салтыковъ (имѣя можетъ быть въ виду и извѣстную статью Писарева). «Оно, т.-е. крѣпостное право, живетъ въ нашемъ темпераментѣ, въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ нашихъ поступкахъ... Хищниче-

ство—вотъ наслѣдіе, завѣщанное намъ крѣпостнымъ правомъ» [1]). И Щедринъ цѣлымъ рядомъ сатиръ рисуетъ намъ различныя видоизмѣненія этого сквернаго наслѣдія. Хищничество—это принадлежность «ветхаго человѣка», но тотъ *старый* ветхій человѣкъ, котораго рисовалъ Гоголь, возродился въ *новомъ* ветхомъ человѣкѣ, являющемся во множествѣ различныхъ видоизмѣненій, въ числѣ которыхъ оказывается и то, что называется у нашего сатирика «ташкентствомъ».

Типъ «ташкентца» постепенно развивается у Щедрина: онъ намекаетъ на него цѣлымъ рядомъ типовъ, изъ которыхъ наконецъ вырабатывается типъ, выведенный въ книгѣ: «Господа Ташкентцы». Первый набросокъ этого типа находимъ мы въ «Легковѣсныхъ» («Признаки Времени»). Объ этихъ «легковѣсныхъ» можно сказать то, что одинъ изъ нихъ разсказываетъ про знакомаго ему нѣмца, когда у него спросили, при встрѣчѣ, о его мысляхъ — «мой мизль? нѣтъ мизль» — отвѣчалъ онъ; а Щедринъ замѣчаетъ, что про всѣхъ легковѣсныхъ можно сказать, что у нихъ «нѣтъ мизль». Единственный ихъ руководитель—это виднѣющійся гдѣ-то вдали сытный кусокъ [2]). Въ сущности тотъ-же типъ, только съ нѣсколько другимъ оттѣнкомъ, рисуетъ намъ авторъ въ сатирѣ: «Нашъ Savoir-Vivre». «Экономическая наука людей этого рода—нахальство, нестѣсняемость, развязность и... и опять постоянно неуклонное стремленіе къ куску». Къ тому-же разряду авторъ совершенно справедливо относитъ и «гуляющихъ русскихъ людей за границей», про которыхъ можно сказать, что у нихъ тоже «нѣтъ мизль» и которые, будучи одарены способностью «самоотплеванія», предаются ей всласть за границей, гдѣ просвѣщаются исключительно въ баль-мабиляхъ. Чтобы удержать этихъ людей въ Россіи, надо, по замѣчанію Щед-

[1]) Это наслѣдіе, впрочемъ, оказывается не только у насъ. *Хищничество* въ разнообразно-широкомъ смыслѣ есть и на Западѣ, есть, какъ извѣстно, да еще какое—въ Америкѣ.

[2]) *Кусокъ*, очевидно, значитъ то же, что въ другомъ мѣстѣ у Щедрина *четвертакъ*, а впослѣдствіи—*пирогъ*.

рина, «какую-нибудь новую реформу сочинить или какую-нибудь старую уничтожить... самое лучшее выдумать-бы ѣду какую-нибудь необыкновенную или вотъ если-бы всю Россію можно было превратить въ сплошной танцкласс».

Но наша жизнь наконецъ выработала нѣчто такое, въ чемъ эти люди дѣйствительно могутъ найти для себя исходъ и затѣмъ уже не странствовать за моремъ, а оставаться у себя дома: этотъ исходъ они обрѣли въ «ташкентствѣ». Нашъ сатирикъ понимаетъ слово Ташкентъ, разумѣется, не въ буквальномъ смыслѣ. «Тѣ, которые думаютъ, — говоритъ онъ, — что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ». Онъ понимаетъ дѣло гораздо шире, — это люди, которые и вообще способны воспользоваться прогонами — куда-бы-то ни было, т.-е. взяться за все, что случится, только была-бы при этомъ нажива, только-бы виднѣлся вдали *кусокъ* и возможность прикрасить добываніе его высокими современными задачами. «Ташкенецъ — это просвѣтитель... просвѣтитель свободный отъ наукъ, но не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія». Онъ просвѣтитель — въ легковѣсномъ смыслѣ водворителя такъ-называемаго «*порядка*». Опредѣливъ такъ широко *ташкентцевъ*, авторъ не менѣе широко опредѣляетъ и самый *Ташкентъ*. «Ташкентъ, — говоритъ онъ, — это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ готовы и послѣ оголенія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой... «Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣютъ право гражданственности преданія о Макарѣ, телятъ не гонявшемъ». Такая страна, разумѣется, чистый кладъ для того, кто хочетъ только *жрать* (незатѣйливое и широко понимаемое выраженіе нашего сатирика). Отправляясь въ эту страну, достаточно знать, что «есть штука, называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣн-

кихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ».

У ташкентцевъ не только нѣтъ *мысли*, у нихъ даже вовсе нѣтъ *головы*; вмѣсто нея у нихъ — «порожняя бутылка... ея обязанность — наполняться той жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты» — потому что только подходящее ко вкусамъ минуты сулитъ впереди—кусокъ. Подходятъ-ли ко вкусу минуты либеральныя фразы — они и ими себя начинятъ; подходитъ-ли то, что называется у извѣстныхъ людей «порядкомъ»,—они и этимъ набьютъ себя; войдетъ-ли, наконецъ, въ моду такъ-называемое *подтягиванье* — они станутъ бредить только имъ однимъ. Впослѣдствіи изъ типа ташкентцевъ выработался у Щедрина тотъ видоизмѣненный типъ, который получилъ у него названіе «помпадура».

Разсадникомъ ташкентства оказываются наши привилегированныя заведенія; не именно одно изъ нихъ, какъ это понимаютъ иные, но всѣ вообще привилегированныя заведенія и подготовляющее къ нимъ домашнее привилегированное воспитаніе. «Судебная реформа произвела необыкновенное, почти отумани вающее дѣйствіе» въ одномъ изъ этихъ заведеній (куда былъ отданъ одинъ изъ щедринскихъ кандидатовъ ташкентства), — особливо съ той минуты, когда «на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ и ученики увидѣли ихъ лицомъ къ лицу... Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, составляющихся съ цѣлью наиноснѣйшаго ободранія кліентовъ», и ташкентцы заранѣе облизывались при этихъ слухахъ. А вотъ какой разговоръ между ними, т.-е. уже между ташкентцами взрослыми, окончившими курсъ, переданъ нашимъ сатирикомъ далѣе:

— Ты что получилъ за такое-то дѣло?

— Да что! всего пять тысячъ,—не стоило рукъ марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть. Наработаю тысячъ двѣсти-триста,—и на боковую!

Но ихъ манитъ не одна только большая нажива,—даже «рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать!» — «Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! разожми! я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару». «Дальше рубля,—поясняетъ Щедринъ,—взоръ ничего не видитъ; все сосредоточилось, замкнулось, закленалось въ одномъ словѣ—*жрать*!»

Въ сторонѣ отъ домашняго и общественнаго *привилегированнаго* воспитанія понятнымъ образомъ остается у нашего сатирика воспитаніе университетское — онъ его не затрагиваетъ. По мнѣнію ташкентцевъ, этихъ нигилистовъ въ буквальномъ смыслѣ слова, университетское образованіе является разсадникомъ тѣхъ людей, которыхъ называютъ одни «нигилистами», другіе-же «новыми людьми». Въ утѣшеніе ташкентцамъ можно было-бы напомнить о тѣхъ литературныхъ типахъ, которые наглядно доказываютъ, что и университетское образованіе, къ несчастью, не служитъ вполнѣ вѣрнымъ оберегомъ отъ пріобрѣтательскихъ поползновеній. Но ташкентцы отвѣтили-бы на это, что, конечно, изъ университетовъ выходятъ и *дѣльныя* личности, но за то вѣдь выходитъ не мало и этихъ пропащихъ «новыхъ людей». Гнѣвъ ташкентцевъ и всего ташкентствующаго лагеря въ нашей литературѣ противъ этихъ людей и забавенъ, и печаленъ въ одно и то же время. Г. Салтыковъ и самъ говоритъ о нихъ, о тѣхъ, которыхъ называютъ «нигилистами», и которые сами называютъ себя «новыми людьми»; ему достовѣрно извѣстно, по его словамъ, что это «не манекены съ наклеенными этикетами, а живые люди, которые въ этомъ качествѣ имѣютъ свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродѣтели». «Я могъ-бы, конечно,—продолжаетъ онъ,—не хуже любого изъ современныхъ беллетристовъ, лавреатовъ и не лавреатовъ, указать на темныя стороны, которыя встрѣчаются въ этой немноголюдной и во всякомъ случаѣ не пользующейся матеріальною силою корпораціи. Эти темныя стороны настолько уже изучены и разрекламированы, что мнѣ ничего не стоило-бы возбудить въ

читателѣ. по поводу «новыхъ людей», то смѣхъ, то ненависть, то спасительный страхъ...» «Но ежели я захочу,—поясняетъ онъ,—смѣяться и пугать вилотную, то не найдусь-ли я вынужденнымъ прежде всего подвергнуть осмѣянію самыя причины, породившія тѣ факты, которые возбуждаютъ во мнѣ смѣхъ или ужасъ?» [1]) О добрыхъ сторонахъ типа Щедринъ находитъ также неудобнымъ распространяться... Но, по мнѣнію представителей хищничества, добрыхъ сторонъ въ этомъ типѣ и вовсе нѣтъ. «Ташкентство», этотъ самоновѣйшій видъ хищничества, вовсе не пугаетъ ветерановъ въ родѣ Петра Ивановича Дракина; напротивъ, этотъ типъ ему по душѣ, его пугаютъ тѣ «новые люди», которые какія-то утопіи тамъ выдумываютъ.

Насчетъ этихъ утопій нашъ сатирикъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрное и въ психологическомъ, и въ педагогическомъ смыслѣ замѣчаніе: «Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать».

Да, утопіи принадлежатъ къ неотъемлемымъ свойствамъ молодости: молодость безъ утопій не есть молодость, и воспитаніе, которое совершенно уничтожаетъ способность вдаваться въ утопіи, есть воспитаніе, преждевременно обезцвѣчивающее. Не утопій надо бояться: безсмертный, постоянно, какъ фениксъ изъ пепла, возрождающійся Павелъ Ивановичъ Чичиковъ — вотъ, что ужасно! Молодежь, способная не глушаться этимъ типомъ, какъ-бы не узнавая его въ новѣйшихъ утонченныхъ его видоизмѣненіяхъ, была-бы дѣйствительно совершенно растлѣнною молодежью; а пока ее увлекаютъ утопіи, она еще здоровая молодежь! Но вѣчное возрожденіе Чичикова, этого *стараго* ветхаго человѣка, возрожденіе его въ видѣ *новыхъ* ветхихъ людей, страшно особенно потому, что отъ этого-то всего болѣе и терпитъ «чело-

[1]) Къ сожалѣнію, вынужденными на это не почувствовали себя многіе изъ нашихъ беллетристовъ.

вѣкъ, питающійся лебедой», подъ которымъ, очевидно, Щедринъ разумѣетъ народъ.

Но тутъ мы опять натыкаемся у нашего сатирика на странное противорѣчіе: любя и жалѣя этого «человѣка, питающагося лебедой», онъ часто становится къ нему несправедливымъ, представляя его себѣ слишкомъ уже отупѣлымъ, приведеннымъ въ состояніе полуживотной обезсмысленности. Въ этихъ-же самыхъ «Письмахъ о Провинціи», принадлежащихъ къ числу его лучшихъ произведеній, онъ рисуетъ намъ, напримѣръ, бѣдную вдову, лишенную своего участка, по опредѣленію міра, при чемъ въ ея пользу не раздается ни одного голоса. «Вотъ,—говоритъ авторъ,—истинная истина изъ жизни полудикой толпы: есть-ли поводъ плакаться надъ чужою бѣдой, когда завтра та-же бѣда можетъ стрястись надъ нами самими?» Но, во-первыхъ, мы часто видимъ въ народѣ примѣры другого рода, когда именно сознаніе того, что бѣда можетъ завтра стрястись и надъ нами, заставляетъ протянуть руку бѣдствующему, а во-вторыхъ, *развѣ примѣры такого безсердечія при видѣ чужого горя и чужой бѣды не встрѣчаются сплошь и къ ряду и въ жизни образованнаго класса?* Далѣе сатирикъ нашъ говоритъ: «Имѣемъ-ли мы поводъ удивляться тому, что толпа до сихъ поръ сумѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы? Несмотря на вѣковѣчное существованіе, масса успѣла выработать въ себѣ только раболѣпное тяготѣніе къ силѣ, да еще безсознательно-равнодушное отношеніе не только къ общимъ интересамъ, но даже и къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ затрагиваютъ ея собственную жизнь...» «Мы не можемъ,—продолжаетъ онъ въ тонѣ того-же царствующаго либерализма.—считать себя вполнѣ погруженными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла... Что можемъ мы сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ, одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ вопитъ ликующая безсознательность?» Народъ, види-

то-ли, даже *ликуетъ* въ своемъ состояніи «изъятаго изъ міра законности...» Но не значитъ-ли это невольно попасть въ тонъ одного изъ тѣхъ столичныхъ благодѣтелей провинціи, которыхъ, какъ мы видѣли, тотъ-же г. Салтыковъ заставляетъ жаловаться на массу: «ils sont encore bien loin de jouir des bienfaits de la civilisation»?

Некрасовъ смотрѣлъ на это иначе, смотрѣлъ не либеральнымъ чиновникомъ, а человѣкомъ, когда желалъ доброй ночи тому,

> Чьи работаютъ грубыя руки,
> Предоставивъ почтительно намъ
> Погружаться въ искусства, въ науки,
> Предаваться мечтамъ и страстямъ.

Но особенно замѣчательно у г. Салтыкова мнѣніе, что народъ нашъ даже не чувствуетъ своей бѣдности: «невозможно ни на минуту усомниться, — говоритъ онъ и говоритъ совершенно справедливо, — что русскій мужикъ бѣденъ, бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и, что всего хуже, бѣденъ сознаніемъ своей бѣдности»; — вотъ съ этимъ уже мудрено согласиться. Что народъ не имѣетъ понятія о многихъ удобствахъ, а потому и не чувствуетъ будто потребности во многихъ вещахъ, безъ которыхъ мы жить не можемъ, — это совершенно вѣрно; но чтобы онъ вовсе не сознавалъ своей бѣдности, *не желалъ лучшаго*, и чтобы это служило однимъ изъ существенныхъ объясненій его незавиднаго состоянія, — это уже выдумка кабинетныхъ людей. Эта выдумка не нова, она такъ и пахнетъ XVIII вѣкомъ, которому, при всемъ его стремленіи къ свободѣ, было такъ трудно перестать быть *барщемъ*. Вспомните относящійся къ началу царствованія императрицы Екатерины II проектецъ освобожденія крестьянъ, составленный французомъ Беарде де l'Abbaye! Какихъ только либеральныхъ фразъ не нагромождено тамъ въ началѣ — и какой скудный, ничего не дающій выводъ! Народъ, видите-ли, до такой степени тупъ, что въ немъ еще надобно пробудить и самую потребность свободы, а дѣло этого пробужденія должно быть возло-

жено ихъ помѣщиковъ, какъ на людей образованныхъ, которымъ совѣтовалось съ этою цѣлью—освобождая постепенно, по нѣскольку человѣкъ за-разъ (Руссо, какъ извѣстно, совѣтовалъ польскимъ помѣщикамъ дѣлать то же въ видѣ награды за хорошее поведеніе), *давать освобожденнымъ особую одежду, чтобы этой ея особенностью пробуждать желанье свободы и въ остальныхъ!* Подобный взглядъ совершенно понятенъ въ XVIII в. (недаромъ отъ него не могъ совершенно освободиться и такой радикальный умъ, какъ Ж. Ж. Руссо), но возвращаться къ нему въ наше время уже нѣсколько странно! Между тѣмъ, утверждать, что народъ *живетъ* въ своей безсознательности, что онъ не чувствуетъ своей бѣдности, не стремится къ лучшему—не значитъ-ли это невольно впадать въ тонъ какого-нибудь Беарде де-л'Аббея?!

А вѣдь тонъ этотъ очень сродни и той *ветхой деньми* философіи исторіи, которая такъ остроумно была вычитана у нашего сатирика Писаревымъ (изъ анекдота о Минервѣ и глуповцахъ). Впрочемъ, нашъ сатирикъ и самъ себя опровергаетъ. Вспомните у него хотя бы это міросозерцаніе отставного солдата Пименова, ходящаго по святымъ мѣстамъ... А сколько въ народѣ такого рода *туристовъ*, ищущихъ въ своихъ странствованіяхъ исхода изъ тяжелыхъ условій своей будничной жизни, благо эти странствованія, съ другой стороны, по ихъ религіозному міросозерцанію, прямо ведутъ ихъ къ вѣчному празднику въ той странѣ, гдѣ послѣдніе будутъ первыми, куда такъ трудно будетъ попасть богатымъ! А Щедринскій разсказъ о «Ванѣ и Минѣ», объ этихъ дѣтяхъ, ищущихъ исхода въ самоубійствѣ и вполнѣ увѣренныхъ въ томъ, что ангелы отнесутъ ихъ прямехонько къ Богу, и что они ему все, все разскажутъ?.. Или самая эта иллюминація, которую они зажигаютъ незадолго до пріѣзда барыни:—не выказываетъ-ли и она желанія выйти изъ-подъ гнетущаго вліянія темноты,—создать себѣ, хотя бы на одну минуту, веселую обстановку — передъ тѣмъ переходомъ въ страну вѣчнаго веселья и вѣчнаго свѣта, на который рѣшились они?

А Щедринскіе кандидаты въ рекруты — этотъ Матюша, которому его незавидная доля мила единственно потому, что ожидающая его впереди солдатская представляется ему еще менѣе завидною, или этотъ Петруня, не выносящій условій тогдашней солдатской жизни и рѣшающійся бѣжать! Значитъ-ли все это, что народъ отупѣлъ до несознаванія своего положенія, что онъ «ликуетъ въ своей безсознательности?» А та характеристика быта бѣглыхъ, которую представляетъ г. Салтыковъ въ своемъ «Развеселомъ житьѣ?» Наконецъ, всѣ эти побѣги сами по себѣ [1]),—что же это, какъ не слѣдствіе недовольства своей долей, какъ не желаніе лучшаго! Или выставляемое Некрасовымъ народное любопытство узнать: «Кому на Руси жить хорошо?» А романъ Рѣшетникова изъ народнаго же вѣдь быта: «Гдѣ лучше» — съ этимъ многозначущимъ его заглавіемъ? Но мы видѣли, что даже подлиповцы, эти совершенно забитые люди, идутъ на Волгу, чтобы попытаться: не лучше-ли будетъ тамъ? А то, что рисуетъ намъ Мельниковъ въ своихъ «Лѣсахъ», эти живучія воспоминанія о вольномъ житьѣ, это сочувственное свидѣтельство о постоянномъ уходѣ въ казацкую вольницу, не доказываетъ-ли все это, что народъ не ужился со своей долей, что онъ такъ и рвался на широкій просторъ? А цѣлый рядъ историческихъ народныхъ протестовъ противъ угнетенія, которые можно, вслѣдъ за Пушкинымъ, называть «безсмысленными», но которые во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ вовсе не о томъ, чтобы народъ не искалъ исхода изъ своего положенія.

Другой вопросъ—почему все это ни къ чему не приводило, почему народъ, остававшійся такъ долго свободнымъ, становится крѣпостнымъ, почему положеніе его все болѣе и болѣе ухудшается, пока, наконецъ, не наступаетъ поворотная точка въ его судьбѣ — великое 19-е февраля 1861 г.? Но это вопросъ историческій—са-

---

[1]) Включая сюда и странничество по святымъ мѣстамъ, названное у насъ выше *хроническимъ бѣгствомъ*.

тиры это не рѣшитъ. Щедринъ выходитъ за предѣлы, предписанные ему спеціальностью его таланта, когда выступаетъ на историческое поприще въ «Исторіи одного города». Относительно этого произведенія многимъ, конечно, памятна та теплая и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣльная статья, которая появилась въ апрѣльской книгѣ «Вѣстника Европы» 1871 г., подписанная не полнымъ псевдонимомъ и озаглавленная: «Историческая сатира». Выводъ статьи, какъ извѣстно, тотъ, что историческая сатира не можетъ быть признана хорошимъ литературнымъ родомъ. Впрочемъ, сатирику тутъ указываютъ и на историческія черты, которыя гораздо болѣе заслуживали бы сатирическаго бича, чѣмъ черты, имъ подхваченныя. Главная же сила статьи въ томъ, что въ ней указываются такія черты въ «Иванушкахъ», надъ которыми никакъ уже не слѣдовало бы глумиться.

Критикъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что въ «Исторіи одного города» сатирика не отличитъ отъ того архиваріуса, отъ имени котораго онъ ведетъ свою лѣтопись, ведетъ тономъ, какъ выражается критикъ,—«бюрократическаго презрѣнія къ народу». Къ тому, что сказано въ этой прекрасной статьѣ, мнѣ остается только прибавить указаніе еще на два мѣста въ «Исторіи одного города». Въ одномъ изъ нихъ надворный совѣтникъ Щедринъ разсказываетъ, что послѣ разныхъ безчинствъ, такъ долго производившихся въ Глуповѣ разными бабами-поганками, присвоившими себѣ надъ нимъ власть и нарисованными у сатирика такими грязными красками, — чувство какого-то негодованія какъ будто-бы пробудилось въ глуповцахъ.

«Рѣшили дѣйствовать единодушно и прежде всего списаться съ пригородами... Пригороды одинъ за другимъ слали въ Глуповъ самыя утѣшительныя отписки. Всѣ единодушно соглашались, что крамолу слѣдуетъ вырвать съ корнемъ, и для начала прежде всего очистить самихъ себя: «точію, братіе, себе прилежно испытуйте...» Когда читалась эта отписка, въ толпѣ раздавались рыданія, а посадская женка Аксинья-гунявая, воспалившись

ревностію великою, тутъ же высыпала изъ кошеля два двугривенныхъ и положила основаніе капиталу, для поимки Дуньки предназначенному». Неужели это народія на «смутное время», на грамоты, которыя тогда разсылались земствомъ, на жертвы для общаго дѣла, которыя приносилъ народъ?!

Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ-архиваріусъ приписываетъ глуповцамъ слѣдующее откровенное заявленіе своего смиренномудрія: «ежели насъ теперича всѣхъ въ кучу сложить и съ четырехъ концовъ запалить — мы и тогда противнаго слова не молвимъ». Далѣе однако же онъ заставляетъ ихъ выбрать ходока Евсеича, который долженъ отправиться къ градоначальнику Фердыщенкѣ и высказать ему, что глуповцамъ невтерпежъ. Попытка не удается,—Евсеича схватываютъ, и онъ, передъ ожидающимъ его наказаніемъ, обращается къ народу со слѣдующими словами:—«Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидѣлъ, и ежели передъ кѣмъ согрѣшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всѣ простите!» — «Богъ проститъ!» слышалось въ отвѣтъ; и Евсеичъ исчезъ безъ остатка, какъ умѣютъ исчезать только «старатели» русской земли...

Но если ея *ходоки* такъ мало имѣютъ успѣха, — можно объяснять это какъ угодно, но развѣ можно надъ этимъ глумиться? Если неудачный радѣтель родной земли, по обычаю народному, считаетъ нужнымъ просить у нея прощенія, ясно сознавая, что послѣ каждой неудачной попытки въ пользу народа участь его можетъ только ухудшиться, — то и надъ подобной чертой развѣ можно глумиться?

По прочтеніи «Исторіи одного города», въ которой, съ другой стороны, есть и великолѣпныя страницы (о переходѣ Грустилова отъ прегрѣшеній къ покаянію, объ ужасающей цѣльности взглядовъ и нрава Угрюмъ-Бурчеева и т. п.), — выносится общее впечатлѣніе такого рода, что невольно вспоминаешь въ «Медвѣжьей Охотѣ» Некрасова извѣстный разговоръ князя съ барономъ:

КН. ВОЕХОТСКІЙ.

Теперь, баронъ, вы видѣли природу,
Вы видѣли народъ нашъ?

БАРОНЪ.

И не могъ
Не заключить, что этому народу
Пути къ развитью заградилъ самъ Богъ.

КН. ВОЕХОТСКІЙ.

Да, да, непобѣдимыя условья!
Но, къ счастію, народъ не выше ихъ.
Невѣжество, безчувственность воловья
Понятны при условіяхъ такихъ...
Его удѣлъ—безграмотство, безпутство,
Убожество и чувствомъ, и умомъ,
Его узда — налоги, трудъ, рекрутство,
Его утѣха — водка съ дурманомъ.

БАРОНЪ.

[illegible]...

Но что у Некрасова является ѣдкой сатирой на баронско-княжескія воззрѣнія, то въ «Исторіи одного города» получаетъ характеръ серьезнаго мнѣнія самого сатирика-архиваріуса, совмѣщающаго въ себѣ и барона, и князя.

А глуповскіе градоначальники, если бы они прочли эту лѣтопись своего града, могли-бы по праву сказать: «ну, значитъ, мы распоряжались, какъ слѣдуетъ — по Сенькѣ и шапка»; а затѣмъ поощрительно обратиться къ архиваріусу со словами: «побольше, побольше такихъ произведеній, мой милый». Можно, конечно, до извѣстной степени психологически объяснить появленіе «Исторіи одного города». Любя кого-нибудь сильно, мы часто бываемъ способны и ненавидѣть его въ то же время. Желая человѣку добра, сожалѣя о томъ, что оно ему не дается, что онъ позволяетъ дурно обращаться съ собою другимъ, мы накидываемся на него съ ожесточенною бранью. То же самое до нѣкоторой степени можетъ

происходить и въ нашихъ отношеніяхъ къ родной странѣ — только этимъ и можно хотя сколько-нибудь объяснить то желчное глумленіе надъ глуповцами, которое позволяетъ себѣ Щедринъ въ «Исторіи одного города». Не надо возвращаться къ Маниловщинѣ, не надо сладко лгать, пошло льстить своему народу, но не надобно также и доходить до «самооплеванія». Предоставимъ это милое занятіе тѣмъ «гуляющимъ русскимъ людямъ за границей», которыхъ такъ удачно и такъ справедливо выставилъ на позоръ тотъ же самый сатирикъ.

III.

«Помпадуры и Помпадурши». — «Благонамѣренныя рѣчи». — «Въ области умѣренности и аккуратности».

Если нарицательными именами стали у насъ Хлестаковы, Рудины, Обломовы, Карамазовы и мало ли кто еще, то такая же участь досталась на долю и чужому, скандалёзно-историческому имени «помпадуръ». Имѣя въ виду историческое происхожденіе, надо бы поставить на первый планъ *помпадуршу*. Но у нашего автора ея значительно отодвигаетъ назадъ имъ же и созданный, съ переложеніемъ на наши нравы, мужской родъ этой важной общественной функціи. Если настоящая помпадурша и ея племя берутъ красотой, граціей и даже особаго рода, но все же умомъ, то тѣ *случайные люди*, которые выставляются у г. Салтыкова подъ именемъ помпадуровъ, только дѣлаютъ видъ, что у нихъ въ запасѣ «цѣлое гнѣздо идей», въ сущности же у нихъ просто — «нѣтъ мизли». Кличка — помпадуры — такая же иносказательная, какъ «ташкентцы». Но она точно также пошла у насъ въ ходъ и стала общепонятною.

Если «Помпадуры и Помпадурши» отличаются такимъ же символизмомъ, какъ «Господа ташкентцы», то они, конечно, не уступятъ послѣднимъ и въ карикатурности.

Выразимся такимъ образомъ, считаемъ, однако, необходимымъ привести по этому поводу многозначительныя соображенія самого автора: «Прочитавъ мой разсказъ, читатель упрекнетъ меня въ преувеличеніи... Очевидно, что онъ ставитъ на первый планъ форму разсказа, а не сущность его, что онъ называетъ преувеличеніемъ то, что, въ сущности, есть только иносказаніе... Литературному изслѣдованію подлежатъ не тѣ только поступки, которые человѣкъ безпрепятственно совершаетъ, но и тѣ, которые онъ несомнѣнно совершилъ бы, если-бъ умѣлъ или смѣлъ. И не тѣ одни рѣчи, которыя человѣкъ говоритъ, но и тѣ, которыя онъ не выговариваетъ, но думаетъ... Вы скажете: какое намъ дѣло до того, волею или неволею воздерживается извѣстный субъектъ отъ извѣстныхъ дѣйствій; для насъ достаточно и того, что онъ не совершаетъ ихъ... Но берегитесь! *сегодня* онъ дѣйствительно воздерживается, *но завтра* обстоятельства поблагопріятствуютъ ему, и онъ *непремѣнно* совершитъ все, что когда-нибудь лелѣяла тайная его мысль... Многое потому только кажется намъ преувеличеніемъ, что мы безъ должнаго вниманія относимся къ тому, что дѣлается вокругъ насъ... На самомъ дѣлѣ, небывальщина гораздо чаще встрѣчается въ дѣйствительности, нежели въ литературѣ... Иносказатели! карикатуристы! возглашаютъ близорукіе люди. Но пускай же они укажутъ предѣлы глупаго и пошлаго, до которыхъ не доходила бы дѣйствительность; пусть хоть разъ въ жизни сумѣютъ понять и оцѣнить то, что на каждомъ шагу слышитъ ихъ ухо и видитъ ихъ взоръ».

Но постараемся выдѣлить то, что и по формѣ едва ли можетъ показаться преувеличеніемъ. «Дюссо, Борель, минеральныя воды, театръ Берга, — говоритъ авторъ, — все это школа слишкомъ недостаточная». Это, выходитъ, та же школа, черезъ которую прошли и *ташкентцы*, относящіеся къ *помпадурамъ*, какъ родъ къ виду. «Если-бъ они знали, напримѣръ, исторію,—продолжаетъ авторъ,—то помнили бы анекдотъ о персидскомъ царѣ, который, ограждая свои права, вылѣзъ море, но и за всѣмъ тѣмъ не могъ побѣ-

дить горсти храбрыхъ грековъ. Если-бъ они знали статистику и политическую экономію, то поняли бы, что обывательская спина не всегда служитъ вѣрнымъ обезпеченіемъ для наполненія казны кредитными билетами... Да, какъ это ни тяжело, но надо сознаться, что даже для взысканія недоимокъ науки не безполезная вещь. Онѣ учатъ человѣка, что жизнь пережить не поле перейти, онѣ заставляютъ его вникать въ смыслъ его поступковъ и даютъ ему нѣкоторыя хорошія привычки. Вотъ чего не достаетъ нашимъ помпадурамъ, и вотъ почему они считаютъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ другихъ административныхъ задачъ, кромѣ огражденія присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ». Сводя всю свою задачу собственно на это, они и могутъ додумываться до предположенія, что «законъ есть не что иное, какъ дифирамбъ, сочиненный на пользу и въ поощреніе помпадурамъ», или же до толкованія децентрализаціи въ смыслѣ полнѣйшей carte blanche для каждаго помпадура—въ предѣлахъ его помпадурства.

Какъ совершенно свободные отъ груза науки, Митиньки Козелковы, Ѳединьки Крутиковы с tutti quanti, выходящіе въ люди въ силу неумирающаго фамусовскаго принципа, не могли не представиться автору «шалунами возрождающейся Россіи». Къ такимъ «шалунамъ» принадлежитъ и тотъ бѣдный старецъ, который никакъ не могъ взять въ толкъ, за что это его смѣнили. «Если новое начальство,—говорилъ онъ по секрету,—новые виды имѣетъ, то стоило только приказать—я готовъ». Но дѣло въ томъ, что въ этой области всегда есть въ запасѣ готовый на смѣну, такъ что вѣсть объ увольненіи одного невольно вызываетъ успокоительный кличъ: «новый будетъ, новый будетъ!» (le roi est mort — vive le roi! въ передѣлкѣ на наши нравы). Этимъ, конечно, не упраздняются выраженія благодарности старому, лишь бы таковыя не доходили до излишества и новый не завидовалъ имъ, а только думалъ: «и тебѣ тоже современемъ будетъ». Спичъ, сказанный на прощаніе одному, можетъ при довольно частой смѣнѣ помпадуровъ пригодиться и

для другого. «На вашихъ глазахъ,—говорили смѣненному старцу,—совершился ужаснѣйшій переворотъ, которому когда-либо былъ свидѣтелемъ изумленный міръ. Передъ вашимъ превосходительствомъ были двѣ стороны, но вы не склонились ни на ту, ни на другую». Втихомолку, однако, имъ составлены были «три лекціи о строгости»; но такъ какъ первая изъ нихъ была читана въ полномъ собраніи исправниковъ и городничихъ, то дѣло не могло же не огласиться. «За сіе-то именно и былъ уволенъ нашъ добрый начальникъ отъ должности», значится въ повѣсти о немъ. Но и уволенный онъ сумѣлъ постоять за свое и оказалъ, въ этомъ смыслѣ, рѣшительное вліяніе на своего преемника, котораго только на первыхъ порахъ называлъ «безразсуднымъ молодымъ человѣкомъ». Но если такимъ образомъ и сошлись въ концѣ-концовъ старый да малый, то, конечно, не ради принципа, а потому, что обоимъ, должно быть, былъ не по нраву совершившійся у нихъ на глазахъ «ужаснѣйшій переворотъ».

Да, возрождающаяся Россія требовала государственныхъ людей и общественныхъ дѣятелей, а минувшая пора идеобоязни наготовила намъ разнаго возраста «шалуновъ»—или, по другому выраженію того бы сатирика,—«шалопаевъ». Мы знакомимся въ книгѣ о помпадурахъ съ различными провинціальными партіями, состоящими въ оппозиціи со своимъ помпадуромъ, но въ сущности тутъ «своя своихъ не познаша». Если какъ «крѣпкоголовые» (партія завзятыхъ крѣпостниковъ), такъ и «стригуны» (радикалы дворянскаго пошиба) сторонились отъ помпадура, какъ отъ «бюрократа», то въ душѣ, конечно, и этотъ послѣдній «на Россію взиралъ съ сострадательнымъ сожалѣніемъ, а въ крестьянской реформѣ, подобно г. Н. Безобразову, видѣлъ «попытку прекрасную!» [1]), но въ то же время утверждалъ, что «если-бъ отъ нихъ зависѣло, то, конечно, дѣло устроилось бы гораздо прочнѣе».

---

[1]) [illegible] напраслина на Н. Безобразова: [illegible] взгляду [illegible] [illegible], а просто [illegible].

Мы сказали, что и помпадуръ, конечно, такъ думалъ *въ душѣ*, но авторъ имѣлъ-бы полное право конфисковать у насъ это слово. У героевъ его, какъ и у Гоголевскаго прокурора, нѣтъ и въ заводѣ души. Г. Салтыковъ, по крайней мѣрѣ, говоритъ о «сомнѣвающемся» помпадурѣ: «это простой смертный, предпринявшій ревизію своей души, а такъ какъ мѣстопребываніе послѣдней неизвѣстно, то и выходитъ пустое дѣло».

Не особенно долго тянулась пора, когда помпадуры должны были держаться того, что авторъ называетъ «преданнымъ фрондерствомъ». Подъ фрондерствомъ *преданнымъ* онъ, конечно, разумѣлъ тутъ негласное, затаенное. Но, когда писались «Помпадуры и Помпадурши», оно уже все болѣе и болѣе переходило въ открытую, гласную оппозицію такъ-называемому «злу», т.-е. «ужасному».—а на иномъ языкѣ—великому историческому перевороту. Изъ новоявленной области этого *зла* стали исключать то, что принято было у насъ, какъ вездѣ, издавна считать зломъ, напримѣръ, *взятки*,—взятки, конечно, не въ буквальномъ, прадѣдовскомъ, а въ углубленномъ и распространенномъ значеніи. «Что-же можетъ быть покладистѣе, уживчивѣе и готовнѣе хорошаго, добраго взяточника? — спрашиваетъ сатирикъ, становясь въ данномъ случаѣ на высоту помпадурскихъ воззрѣній.— Ради возможности стянуть лишнюю конѣечку, онъ готовъ ужиться съ какою угодно внутренней политикой, увѣровать въ какого угодно бога. Сегодня, напяливъ мундиръ, онъ направляется въ соборъ поклониться Богу истинному, а завтра—только прикажите!—въ томъ-же мундирѣ выйдетъ на лобное мѣсто и будетъ кричать: «распни! распни его!»

Гонителемъ зла въ его новоявленномъ смыслѣ является Single Кротиковъ въ качествѣ «помпадура борьбы» (онъ прочелъ въ газетахъ извѣстіе, что въ Версальскомъ національномъ собраніи образовалась партія, которая на развалинахъ любезнаго отечества водрузила знамя «борьбы», и это его поощрило). Дружину рьяныхъ сподвижниковъ грозный питомецъ Дюссо себѣ подобралъ изъ

Рудиныхъ и Лаврецкихъ, какъ благоразумно раскаявшихся, попеленивъ свою дружину Поздневыми, Скотиниными и Держиморданы, которымъ и каяться было незачѣмъ.

Такъ, солидно вооружась, Ѳединька увѣрялъ, что имѣетъ въ виду сокрушить тѣхъ, «qui d'un seul coup demandent vent mille têtes à couper», а выставленная имъ, въ качествѣ Іоанны д'Аркъ, дѣвица Волшебнова стала всѣхъ призывать къ покаянію и къ войнѣ противъ матерьялизма. «Нельзя, впрочемъ, умолчать,—поясняетъ сатирикъ,—что успѣху ея проповѣди не мало содѣйствовали частные пристава, которые употребляли всѣ мѣры кротости, дабы обыватели Навознаго не погрязали въ матерьялизмѣ, но наполняли храмы Божіи. Учтиво брали они прохожаго за шиворотъ и говорили: «ну, сдѣлай ты хоть примѣръ! ну, не молись, а только примѣръ сдѣлай!»

Тутъ, конечно, со стороны сатирика — самая убійственная иронія. Такими «кроткими поощреніями—сдѣлать примѣръ», какъ и вовсе не кроткимъ «вколачиваніемъ вѣры розгой» — пропаганды матерьялизма, конечно, не подорвешь. Но она, эта пропаганда, разумѣется, не миражъ, не призракъ разстроеннаго воображенія, не Донъ-Кихотовскія вѣтряныя мельницы. О ней слишкомъ явно свидѣтельствуетъ та безшабашность стремленій къ *куску* или къ *пирогу*, которою, по свидѣтельству самого Щедрина, оказались одержимыми не одни невѣжественные Колупаевы, но и всякіе культурные люди съ соціализмомъ на языкѣ и буржуазнымъ комфортомъ въ обстановкѣ, — оказались одержимыми какъ разъ въ эпоху «ужаснаго», т.-е. великаго историческаго переворота, когда особенно нужно было, по замѣчанію Ю. Ѳ. Самарина, именно самоотверженіе, а у насъ его тутъ-то какъ разъ объявили *приниженіемъ личности*. Нашъ, доводящій теперь до отчаянія, неуспѣхъ въ великую историческую годину и объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что система идеебоязни съ ея замѣною совѣсти страхомъ породила усиленную деморализацію, нашедшую себѣ только поощреніе въ томъ кривостѣ идеи, которымъ наконецъ

разрѣшился ея продолжительный гнетъ. Вырвавшись, наконецъ, на свободу, она, какъ рабыня, остервенѣло рвущая свои цѣпи, огласила глуповскіе грады и веси кличемъ, что *все позволено*, выдавая эту старую, промозглую ложь, издавна ликовавшую подъ надежнымъ флагомъ религіознаго лицемѣрія, за какое-то новое слово, только уже не нуждающееся въ этомъ флагѣ, т.-е. искреннее, и благодѣтельно распространяющее ту-же оскотинивающую привилегію *на всѣхъ*, тогда какъ народъ до сихъ поръ, съ отвращеніемъ замѣчая ее на одной сторонѣ, говоритъ: «паны, якъ дурни, що хотятъ, то и роблять». То, что съ точки зрѣнія той жизненной философіи, которая скрывается въ народныхъ пословицахъ, представляется глупостью (а по другимъ народнымъ пословицамъ — подлостью), то стало откровенно выдаваться, но подъ условіемъ *общаго для всѣхъ правила*, за единую настоящую мудрость. Понятно, что, съ другой стороны, тотъ излюбленный народомъ Иванушка, который представляется глупымъ только старшимъ братьямъ—практикамъ (т.-е. живущимъ себѣ на умѣ), долженъ былъ послѣ этого представиться лишь продуктомъ рабьей народной косности, т.-е. вовсе не благимъ примѣромъ для старшихъ, а неизбѣжно имѣющимъ, напротивъ того, соблазниться ихъ умнымъ примѣромъ. Дѣло, такимъ образомъ, выходило на престарую почву bellі omnium contra omnes въ подновленной формѣ безоговорочно распространенной на человѣческій міръ теоріи «борьбы за существованіе», а отсюда уже было не далеко и до «cent mille têtes à couper d'un seul coup» (конечно при помощи уже не одного разсудка, но и въ своемъ родѣ поэтически разыгравшагося воображенія).

Повторяю, то, на что ссылались различные помпадуры, не миражъ, не вздутыя или невинныя шалости, но ссылались-то они на нихъ ради удобнаго предлога, ухитряясь объяснить это все «ужаснымъ переворотомъ», т.-е. великими реформами, и при сей вѣрной оказіи подкопаться подъ эти послѣднія. «Невинныя шалости» оказали тутъ настоящую медвѣжью услугу, и вотъ это-то

надо, наконецъ, признать, а не выдавать ихъ съ наивностью, становившеюся все болѣе и болѣе неумѣстною, за «невинныя шалости».

Въ концѣ книги нашего сатирика, одинъ изъ тѣхъ иностранцевъ, которые описываютъ у него помпадуровъ, сообщаетъ про одного изъ сихъ почтенныхъ мужей: «онъ только и дѣлаетъ, что усмиряетъ бунты, при чемъ назвалъ мнѣ и имена главныхъ бунтовщиковъ: предсѣдателей окружного суда и мѣстной земской управы». Иностранцу, разумѣется, невдогадъ, что на самомъ дѣлѣ помпадуръ и не думаетъ считать ихъ бунтовщиками, а онъ только пользуется удобнымъ поводомъ напакостить въ лицѣ ихъ и подобныхъ имъ—и новому суду, и земству, и всему «ужасному перевороту».

Помпадуры постоянно и умышленно все переносятъ у насъ съ больной головы на здоровую, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы вовсе не было «больной головы». Она несомнѣнно есть, и не признавать этого значило-бы уподобляться тому «единственному» изъ помпадуровъ, который говоритъ у нашего сатирика: «Нѣтъ революціи и я не бывало! Вы думаете, что было во Франціи въ 1789 году? революція-съ? Отнюдь-съ! Просто на просто умные люди объ умныхъ предметахъ промежду себя разговоры хотѣли имѣть, а господамъ французскимъ квартальнымъ показалось, что какія-то революціи затѣваются-съ!»

Такія разсужденія въ духѣ «единственнаго» вѣдь обидны даже для тѣхъ, кто занимается «невинными шалостями».

Но тотъ-же «единственный» несомнѣнно правъ, утверждая: «вы говорите—во всемъ виноваты умники... Но ежели мы теперича всѣхъ умниковъ изведемъ, то, какъ вы полагаете, великъ-ли мы авантажъ получимъ, ежели съ одними дураками останемся?»

Вѣдь этакъ въ самомъ дѣлѣ дойдешь до того, что вѣрными окажутся наблюденія восточнаго путешественника: «народъ нѣтъ, помпадуръ есть».

За сказаніями о помпадурахъ довольно скоро послѣдо-

вали «Благонамѣренныя рѣчи». Объясненіемъ заглавія служитъ замѣчаніе Филоѳея Промптова, что «жить у насъ всякому можно, и даже сатирами заниматься никто не препятствуетъ; — вотъ только касаться — этого дѣйствительно нельзя». Авторъ выводитъ отсюда поучительное заключеніе: «будь сатирикомъ, но только не касайся», хотя «афоризмъ, какъ онъ выражается, вырвался у глыбы (т.-е. Филоѳея Промптова) изъ глотки «такъ», безъ пониманія и даже безъ малѣйшихъ претензій на дальнѣйшее развитіе; онъ представлялъ собою одну изъ тѣхъ «благонамѣренныхъ рѣчей», которыми такъ изобилуетъ среда рыбарей». Понятно, что *благонамѣренность* понимается тутъ опять-таки въ томъ самомъ смыслѣ, въ какомъ призналъ ее Гоголевскій помпадуръ въ самомъ Павлѣ Ивановичѣ Чичиковѣ. Задаваясь такою благонамѣренностью, сатирикъ, конечно, взваливаетъ себѣ на плечи непосильное бремя. Это видно уже по начальному его обращенію къ читателю. «Принципъ обузданія,—говоритъ онъ тутъ,—продолжаетъ стоять незыблемый, неизслѣдованный. Онъ написанъ во всѣхъ азбукахъ, на всѣхъ фронтисписахъ, на всѣхъ лбахъ. Онъ до того незыблемъ, что даже говорить о немъ не всегда удобно. Не потому-ли, спрашивается, онъ такъ живучъ, не потому-ли о немъ неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся цѣлыя арміи лгуновъ?» Сатирикъ отличаетъ между ними *лицемѣрныхъ отъ искренних*. «Лицемѣрные лгуны,—поясняетъ онъ,—суть истинные дѣльцы современности. Они лгутъ, какъ говорилось когда-то при крѣпостномъ правѣ, «пуръ ле жансъ», нимало не отрицая ненужности принципа обузданія въ отношеніи къ себѣ и людямъ своего круга. Они забрасываютъ васъ всевозможными краеугольными камнями, они загромождаютъ вашу мысль всякими «основами» и тутъ-же, на вашихъ глазахъ, на камни наскудятъ и на основы плюютъ». И все-таки сатирикъ предпочитаетъ ихъ лгунамъ искреннимъ. Эти послѣдніе, по его опредѣленію, суть тѣ утописты «обузданія», передъ которыми содрогается даже современная, освоившаяся съ лганьемъ дѣйствительность... Всегда во-

оружіемъ, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только передъ насиліемъ, но и передъ пустотою. «Если въ результатѣ нашихъ усилій оказывается только пустота, говорятъ они, то слѣдовательно оно не можетъ иначе быть...» Лично каждый изъ этихъ господъ можетъ вызвать лишь изумленье передъ безграничностью человѣческаго тупоумія... Въ самомъ дѣлѣ, даже не ради подслуживанія старшимъ, а именно *по тупоумію*, они просто не замѣчаютъ, что принципъ обузданія вовсе не распространенъ на тѣхъ, съ кого слѣдовало-бы начать, какъ съ такихъ, которые сами никогда и ни въ чемъ себя внутренно не обуздываютъ. Такое тупоуміе культа насильственнаго обузданія en masse вызываетъ ревность и зависть къ монополистамъ нравственной необузданности, оно-то и воротитъ съ корнемъ тотъ принципъ *самообузданія*, при которомъ только и можно повторять съ Тургеневскимъ Инсаровымъ: «не *я* хочу, *то* хочетъ». Да, тупоумные исповѣдники того подмѣна приказомъ да указомъ совѣсти, который въ дореформенную пору прямо даже предписывался педагогическими инструкціями, они-то, только обмершіе въ свое время и не забитые осиновымъ коломъ въ своихъ могилахъ, снова изъ нихъ возстаютъ на ужасъ всему живому, они-то и потрудились и трудятся надъ упроченіемъ того безвыходнаго порядка вещей, который вызываетъ у нашего сатирика страшный вопросъ: «и такъ изреченіе: «не пойманъ—не воръ» какъ замѣна гражданскаго кодекса, и французская болѣзнь, какъ замѣна кодекса нравственнаго... неужели это и есть та таинственная подоплека, то искомое «новое слово», по поводу которыхъ въ свое время было писано и читано столько умильныхъ рѣчей? Гдѣ-же основы и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огородъ и стоятъ тамъ въ видѣ пугалъ... для вдураковъ»? Григорій Александрычъ обездоливаетъ крестьянъ. Хрисанка обездоливаетъ Григорія Александрыча: пропоецъ изъ-за рюмки водки обездоливаетъ цѣлую деревню: мѣщанинъ-мясникъ изъ-за грошоваго барыша обездоливаетъ цѣлую палестину... Никому ничего не жаль,

никто не заглядываетъ впередъ, всякій ищетъ какъ-бы сорвать сейчасъ, сію минуту, а потомъ... потомъ и самому, пожалуй, вылетѣть въ трубу». Авторъ указываетъ, правда, на то, что нѣкоторые видятъ въ этомъ «войну незванныхъ противъ званныхъ, глухой протестъ обдѣленныхъ противъ общественной несправедливости». Но самъ онъ не согласенъ съ этимъ. «Еслибъ въ область запретнаго, — говоритъ онъ, — врывались одни обдѣленные, тогда еще можно-бы было хоть съ натяжкою сказать: «да это протестъ!» Но вѣдь сплошь и рядомъ званные-то еще ходчѣе въ эту область заглядываютъ... Да и какъ, наконецъ, опредѣлить, кто обдѣленъ, кто не обдѣленъ? Конечно, сытому воровать стыднѣе, нежели голодному, и Софронъ Матвѣичъ, я знаю, первый упрекнетъ сытаго: «не стыдно-ли тебѣ, скажетъ, добро-бы у тебя своего куска не было». А Хрисашка ему въ отвѣтъ: «а ты мой аппетитъ знаешь? мѣрялъ-ты мой аппетитъ?»

Но это пока еще только Софроны Матвѣичи да Хрисашки, выползшіе хоть и новымъ способомъ, но все изъ того же стараго «темнаго царства». Но сатирикъ тутъ же выводитъ передъ нами—нате, любуйтесь!—и совсѣмъ уже новыхъ людей, исповѣдующихся во всеуслышаніе со всѣмъ невозмутимѣйшимъ мѣднолобіемъ откровенности Сумароковскаго Чужехвата: «когда мнѣ поручаютъ веденіе процесса, я не имѣю никакой надобности заглядывать въ совѣсть моего довѣрителя. Я говорю себѣ: онъ начинаетъ дѣло—стало быть самъ онъ искренно думаетъ, что онъ правъ... Я ставлю вопросъ гораздо проще: я спрашиваю себя: можетъ ли поручаемый мнѣ процессъ быть выигранъ или нѣтъ?—и только. И согласно съ тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ этого вопроса, принимаю веденіе процесса, или не принимаю его». Что касается адвокатскаго гонорара, то онъ разсуждаетъ такимъ образомъ: «размѣръ его исключительно обусловливается высшимъ или низшимъ уровнемъ юридическаго развитія общества. Высокое вознагражденіе за адвокатскую услугу есть налогъ на юридическое невѣжество общества—и ничего болѣе».

Благодаря намъ въ тѣхъ очеркахъ, которые вошли въ составъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», не одного Деруновa Осипа Ивановича, а въ сущности нѣсколькихъ и разнаго покроя Деруновыхъ, сатирикъ приводитъ по поводу подвиговъ этой плеяды вырвавшееся у кого-то изъ дѣйствующихъ лицъ восклицаніе: «Да вѣдь это уголовщина!» — «А вы думали какъ?—отвѣчаетъ кто-то другой.—Вы, можетъ быть, думали, что милліонеръ изъ безпортошника такъ самъ собой и дѣлается?...—Да, я слыхалъ и про такіе случаи... Вотъ, напримѣръ, былъ одинъ мальчишка, спичками торговалъ, а потомъ четырехъэтажный домъ выстроилъ.—«И я отъ матушки покойницы слыхивалъ, что она меня не родила, а подъ капустнымъ листомъ нашла».

Это уже рѣшительная поправка къ Гоголю—къ извѣстному діалогу между Чичиковымъ и Костанжогло по поводу откупщика Морозова. «Скоро половина Россіи будетъ въ его рукахъ»,—утверждаетъ Костанжогло. «Вѣдь это, разумѣется, сначалѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?»—замѣчаетъ поискусившійся въ пріобрѣтательскихъ дѣлишкахъ Павелъ Ивановичъ.—«Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедливыми средствами.»—«Не повѣрю! не вѣроятно! Если-бы тысячи, но милліоны!..»—«Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются легко. Мильонщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ...» Но то было во 2-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», куда незамѣтно вкралась изъ «переписки съ друзьями» такъ убійственно обличенная Гоголемъ, а затѣмъ, увы! попутавшая и его самого, *маниловщина*. Вотъ ея-то и малѣйшаго даже слѣда у Щедрина не отыщется...

Не всѣ очерки въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» одинаковаго достоинства. На нѣкоторыхъ едва-ли не оправдывается замѣчаніе Писарева о помиканіяхъ гнусной памяти крѣпостного права—*въ этой формѣ* едва-ли въ самомъ дѣлѣ нужныхъ. Въ нѣкоторыхъ очеркахъ процессъ перехода дворянской собственности къ какому-нибудь Антошкѣ описывается, разумѣется, интересно, но такъ,

что въ этомъ Щедрину, пожалуй, и не уступить кое-что соотвѣтственное у г. Атавы. Разсказъ въ формѣ переписки между маменькой и сыномъ-офицеромъ, по своей заурядности, долженъ быть отнесенъ къ тѣмъ «отдыхамъ пера», которые такъ нерѣдко случались и у такого колосса, какъ Гёте. У нашего сатирика это и подобное въ другихъ его сборникахъ объясняется, можетъ быть, и умысломъ дать отдохнуть утомленнымъ очамъ того вѣдомства, въ тяжелое положеніе котораго входилъ въ свое время и Пушкинъ. Другая переписка—между маменькой и сыномъ—молодымъ прокуроромъ—несравненно уже интереснѣе, хотя насчитываемыя этимъ послѣднимъ «восемьдесятъ три жертвы злоумышленнаго «общества для предвкушенія гармоній будущаго» съ развѣтвленіями въ Тетюшахъ, да въ Елабугѣ, свидѣтельствующими о томъ, что вся Россія пропитана ядомъ предвкушеній»—это конекъ, слишкомъ уже заѣзживаемый нашимъ сатирикомъ. Нѣкоторые разсказы какъ будто разсчитаны на то, чтобы отбить у читателя охоту поселиться въ своемъ родномъ «Чемезовѣ», для борьбы, по мѣрѣ средствъ, съ Деруновыми,—отбить охоту на томъ основаніи, что въ любой деревнѣ «цѣлая стѣна сердцевѣдцевъ образовалась» и при помощи ихъ тотъ же Деруновъ можетъ, во имя основъ, учинить вамъ какую-нибудь пакость. Учинилъ же таковую самъ деревенскій батюшка, посредствомъ подбитыхъ имъ на то мужиковъ, господину Анпетову, весь «ядъ» котораго заключался въ томъ, что онъ рѣдко появлялся въ церкви, но вмѣстѣ съ крестьянами работалъ въ полѣ, предупреждая такимъ образомъ гр. Л. Н. Толстого. Мужики, послушавшись батюшки, оказались неблагодарными относительно г. Анпетова, а г. Анпетовъ, обозлившись на нихъ изъ-за батюшки, назвавшаго его въ проповѣди «человѣко-адомъ», [1]) рѣшилъ отнять отъ нихъ свою руку, хотя въ сущности не видно, чтобы работа г. Анпетова въ полѣ, какъ и позднѣйшая такого рода

[1]) Не скомпоновано ли это слово въ видѣ пародіи на *«человѣка-бога»* въ «Бѣсахъ» Достоевскаго?

работа Л. Н. Толстого, послужила особеннымъ подспорьемъ для мужика. Какъ-бы то ни было, удерживающіе отъ деревни ради того, что въ ней, кромѣ всякихъ неудобствъ, завелись еще и «сердцевѣдцы»,—это какъ-то отзывается тою же барскою немочью, какъ и гадливость къ деревенскому трактиру съ «поучительностью» происходящихъ въ немъ бесѣдъ о томъ, что «нынче слободно... нынѣче батюшка царь всѣмъ волю далъ; нынче, коли ты хочешь сидѣть, сиди! и ты сиди, и мужикъ сиди, всѣмъ сидѣть дозволено».

Къ лучшимъ очеркамъ въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» относятся, по художественной выдержанности главнаго типа, «Кузина Машенька» и служащій ей продолженіемъ «Непочтительный Коронатъ». Авторъ начинаетъ издалека свои воспоминанія о кузинѣ. «Я говорилъ ей,—сообщаетъ онъ намъ,—что истина вѣчна, красота вѣчна, духъ вѣченъ, добро вѣчно... Я помню, какъ она съ недоумѣньемъ вслушивалась въ мои слова, какъ глаза ея начинали свѣтиться сугубымъ горемъ «ни о чемъ», и какъ она вдругъ, въ самомъ патетическомъ мѣстѣ, пугливо прерывала меня: «голубчикъ! ....Я знаю, ты будешь смѣяться надо мной, но что же мнѣ дѣлать: мысль о вѣчности пугаетъ меня!» И эта-то, по самому внѣшнему своему виду совсѣмъ неземная, маленькая, воздушная, едва прикасающаяся къ полу, нѣжно звучащая Машенька—оказывается такою практичною, такою скопидомкою, что за поясъ, пожалуй, заткнетъ и самого Дерунова. Не даромъ же старый Лукьянычъ говоритъ объ ней: «прежде хоть землей торговала, все не такъ было зазорно, а нынче ужъ кабаками торговать стала. Восемь кабаковъ на округѣ подъ чужими именами держитъ; а сколько она черезъ это крестьянамъ обиды дѣлаетъ—кажется, никакими слезами ей того не замолить». А слезы у нея за то всегда наготовѣ. Онѣ постоянно, съ первымъ ударомъ колокола къ «Достойной» выступаютъ у нея на глазахъ, а кончикъ носа неизмѣнно краснѣетъ, хотя при этомъ она считаетъ вполнѣ позволительнымъ думать: «а что, кабы у крестьянъ пустошь «Клинцы»

перебить, да потомъ имъ же перепродать?» Въ отношеніи къ своимъ дѣтямъ Машенька стоитъ любого изъ самодуровъ Островскаго. Кое-что въ ней самой и въ семейной ея обстановкѣ является уже наброскомъ того, что было впослѣдствіи доразвито и широко выполнено въ величайшемъ изъ произведеній М. Е. Салтыкова—«Господахъ Головлевыхъ».

Послѣдніе очерки занимающаго насъ сборника—это не столько уже сатиры, сколько публицистическіе трактаты. Правда, отчасти они тутъ въ лицахъ; на то и выведены у автора пріятели разныхъ лагерей—Тебеньковъ и Плѣшивцевъ—наброскомъ карикатуры на заурядное западничество и заурядное славянофильство, окончательно выполненной нашимъ авторомъ только позже. Очеркъ «Въ погонѣ за идеалами» совсѣмъ уже отвлеченно трактуетъ о слабомъ развитіи понятія о государствѣ не только у насъ, но и на Западѣ. Едва-ли можно согласиться съ авторомъ, что при болѣе сильномъ развитіи этого понятія, собственно при немъ и вслѣдствіе именно этого, хищничество менѣе бы процвѣтало. Не самъ ли онъ намъ рисуетъ культурныхъ хищниковъ, очень хорошо понимающихъ, что такое государство въ настоящемъ смыслѣ, и вовсе не имѣющихъ резоновъ вымещать что-либо на государствѣ, когда оно далеко отъ этого настоящаго смысла, т.-е. не умѣетъ или даже не особенно и старается расправляться съ хищниками. Совершенно другое дѣло,—оставивъ въ сторонѣ хищниковъ,—ими же кишитъ и Америка—то равнодушіе къ государству, къ его задачамъ и видамъ, къ его такъ называемому «престижу», которое зорко замѣчается авторомъ *повсемѣстно* въ *массахъ* и глубокомысленно толкуется у него такимъ образомъ: «трактаты пишутся, но читаются лишь самымъ незамѣтнымъ меньшинствомъ, законоположенія издаются, но не проникаютъ внутрь ядра, а лишь скользятъ по его поверхности. И вотъ старуха Дома наполняетъ воздухъ своимъ воемъ и антигосударственными причитаніями». У насъ Дома, а за моремъ какая-нибудь Клементина. Дѣло въ томъ, что и

во Франціи, напримѣръ, по словамъ нашего автора, государство и все, что до него относится, находится, такъ сказать, на откупу у буржуазіи. Что же касается до массъ, то онѣ коснѣютъ въ полномъ невѣдѣніи чувства государственности и въ совершенномъ равнодушіи къ тѣмъ политическимъ прекаціямъ, которыя волнуютъ буржуазію..... «Надъ массами тяготѣютъ два закона: надъ городскими пролетаріями законъ отчаянія, надъ обывателями деревень—законъ безсознательности. Отъ этого первые, при удобномъ случаѣ, легко ударились въ коммуну, отъ этого вторые, во время Прусской войны, массами бѣжали съ поля сраженія. Первые не понимали, что они разрушаютъ, вторые—что имъ предстоитъ защищать. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ увѣренность, что формы правленія безразличны и что всѣ онѣ имѣютъ въ виду только вящшее утучнѣніе и безъ того тучнаго буржуа, увѣренность печальная и даже неосновательная, но, тѣмъ не менѣе, сообщающая самому акту всеобщей подачи голосовъ характеръ чистой случайности».

Все это, конечно, совершенно вѣрно, и надъ этимъ, къ несчастію, все еще слишкомъ мало себѣ ломаютъ голову тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Вѣдь въ этомъ случаѣ, пожалуй, какого-то стихійнаго *чутья* своей связи съ великимъ цѣлымъ, несмотря ни на что, оказется даже нѣсколько болѣе у русскаго «человѣка лебеды»—загадка, надъ которой тоже стоило бы позадуматься.

Послѣ «Благонамѣренныхъ рѣчей» сатирикъ совершенно логически очутился «Въ средѣ умѣренности и аккуратности» (1878 г.), подъ сѣнью которой, по его выраженію, «зиждется человѣческое благополучіе, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блескомъ апоѳеозъ, но, взамѣнъ того, вполнѣ удовлетворившееся и успокоившееся въ самомъ себѣ». Тутъ, въ этой благополучной средѣ, мы встрѣчаемся съ такими старыми знакомыми, какъ милѣйшій Молчалинъ. Нашъ авторъ, чисто по шекспировски, выводитъ передъ нами это вполнѣ комическое лицо въ чисто трагическомъ положеніи. «Я видѣлъ однажды,—говоритъ онъ,—Молча-

лина, который, возвратившись домой съ обагреннымъ безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.—Алексѣй Степанычъ! — воскликнулъ я въ ужасѣ,—вспомните, вѣдь у васъ руки....—Я вымылъ-съ. —отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ. Это я вымылъ-съ. — прибавляетъ иронически сатирикъ,—чѣмъ оно хуже знаменитаго «qu' il mourût?»

Остроумно, но намъ изъ-за этихъ окровавленныхъ рукъ Молчалина невольно видятся другія окровавленныя руки, владѣльцы которыхъ, когда имъ на это указываютъ, говорятъ: «мы вымоемъ-съ!» Вымоемъ, хотятъ они насъ увѣрить, и затѣмъ уже чистыми руками будемъ разрѣзывать тотъ большой пирогъ, которымъ насытится человѣчество. Но хотя бы мы и повѣрили, что при этомъ не протянутся руки, готовыя опять пролить кровь, чтобы только выхватить побольше на свою долю,— пока, на свой пай, мы дождались только того, что Молчалинъ опять въ авантажѣ, что въ гору полѣзли опять Дмухановскій и Держиморда.

«Авантажъ» Молчалина связанъ по-прежнему съ извѣстными стихами, что «въ наши лѣта не должно смѣть свое сужденіе имѣть». Съ этой неумирающей философіей остается только «обозрѣть умственнымъ окомъ базаръ житейской суеты, прислушаться къ его говору и сообразить, на какой изъ видовъ бродяжнической безсодержательности существуетъ, въ данную минуту, наибольшій запросъ». Молчалинъ высмотритъ себѣ какого-нибудь «бродягу» (онъ же и «неметная сума»), находящагося «въ случаѣ», да къ нему и пристроится. Высмотрѣнный имъ субъектъ, опьянѣвшій отъ постигшаго его счастья, говоритъ: «я бродяга—и всемогущъ; я никогда не выхожу изъ своей норы—и вездѣсущъ, я ничего не знаю—и всевѣдущъ! И ты, и всѣ прочіе Молчалины можете думать обо мнѣ, что угодно, но обязываетесь непрестанно взывать ко мнѣ: о всемогущій! о вездѣсущій! о всевѣдущій!» И Молчалины такъ и дѣ-

лаютъ. Подобно Гоголевскому прокурору, въ которомъ никто не подозрѣвалъ души, пока не пришлось служить по немъ панихиды, Молчалины даже и сами «не подозрѣваютъ, что носятъ на себѣ образъ и подобіе Божье». А то они видятъ на себѣ образъ и подобіе взыскивающаго ихъ субъекта «въ случаѣ», и творятъ не свою волю, а волю ихъ посылающаго—того же могущественнаго «бродяги» или «переметной сумы».

Но нашъ сатирикъ, воспроизводя передъ нами Молчалина, сводитъ съ нимъ и другого стараго знакомаго—Чацкаго. Оказывается, что когда-то его ревновавъ къ Софьѣ, Александръ Андреевичъ самъ же теперь его и взялъ къ себѣ помощникомъ экзекутора—въ департаментъ «Государственныхъ умопомраченій», имъ же для себя и проектированный.

Чего ради понадобилось г. Салтыкову сдѣлать Чацкаго директоромъ подобнаго департамента? А не ради-ли его извѣстной рѣчи «противъ фрака» и «за Китай», дающей основательный поводъ его сопричислить къ славянофиламъ? Успѣлъ уже затронуть этихъ послѣднихъ въ лицѣ Плѣшивцева, нашъ сатирикъ, устами Молчалина 2-го, знакомитъ насъ съ проектомъ передовой статьи, направленной противъ «Брѣющаго шила». Тутъ уже прямая пародія на борьбу славянофильской прессы съ тою, съ которою ее у насъ часто смѣшивали — и основательно, какъ хотѣлъ-бы намъ доказать сатирикъ. «Брѣющее шило» исходною точкою для своихъ разглагольствій, читаетъ Молчалинъ 2-й, совѣтуясь съ Молчалинымъ 1-мъ, исходною точкой для своихъ разглагольствій ставитъ нагое единоначаліе; мы-же, какъ читателямъ это достаточно извѣстно, не имѣя ничего противъ единоначалія какъ принципа дисциплинирующаго и дающаго нашей жизни правильный устой, съ своей стороны, въ видѣ корректива, присовокупляемъ къ нему взлюбленное и вполнѣ почтительное народосодѣйствіе...» «Какъ ни непререкаемъ принципъ единоначалія, какія-бы заслуги онъ ни считалъ за собой въ прошедшемъ и настоящемъ, тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что, отрѣшенный отъ народосодѣйствія,

онъ скоро извращаетъ свой благодѣтельный характеръ, и, въ самомъ даже благопріятномъ случаѣ, является какъ-бы вращающимся въ пустотѣ. Лишенный здоровой извѣстительной пищи, которою только народосодѣйствіе и можетъ снабжать его, онъ скоро не будетъ знать и самъ, надъ чѣмъ ему единоначальствовать предстоитъ...» Въ этой народіи, остроумной, конечно, какъ и все у нашего автора, слышатся отзвуки «Исторіи одного города». Слово «народосодѣйствіе» передѣлано, очевидно, изъ «народосовѣтія», о которомъ напоминалъ Петру Великому извѣстный крестьянинъ Посошковъ въ своей книгѣ «о скудости и богатствѣ», проводя въ ней вообще традиціонный народный взглядъ на верховную власть— какъ на *средство*, а не *цѣль*, какъ на *прикладную*, а не *самодовлѣющую* силу. Вполнѣ цѣня то, что въ рукахъ Петра она, при всей своей кровавой грозѣ, вовсе не оказывалась самодовлѣющею (*самодовольные* съ его аттрибутами осмѣяно было самимъ Петромъ въ лицѣ кесаря Ромодановскаго), а именно прикладною въ самомъ *страдномъ*, самомъ труженическомъ смыслѣ, самоучка-простецъ, бесѣдуя съ царемъ-работникомъ совсѣмъ «по-душѣ» и совсѣмъ за-просто, жалѣлъ о томъ, что «великій нашъ монархъ въ гору самъ-десять тянетъ, а подъ гору милліоны тянутъ». Вотъ онъ и пытался растолковать Петру, что при «народосовѣтіи» милліоны-бы стали заодно съ царемъ «тянуть въ гору». Народосовѣтіе (оно-же, конечно, и «народосодѣйствіе»), что тамъ ни говори, все-же порядочный коррективъ къ возобладавшему въ нашей жизни «просвѣщенному деспотизму». При народосовѣтіи, какъ понималъ его Посошковъ, барамъ не удалось-бы такъ долго ограничивать верховную власть въ ея давнишнихъ поползновеніяхъ на уничтоженіе крѣпостного права. При народосовѣтіи самое упраздненіе его, въ силу вещей наконецъ состоявшееся, увѣнчалось-бы большимъ успѣхомъ. При народосовѣтіи и по упраздненіи его барамъ не удалось-бы составить противъ него комплотъ, портить великое дѣло въ его выполненіи и, радуясь успѣхамъ «чумазаго», говорить: «пусть узнаютъ поганцы

какова сладка хваленая ихъ свобода». При народосовѣтіи и за непрошенныхъ народомъ радѣтелей съ окровавленными руками не пришлось-бы расплачиваться мирнымъ гражданамъ, а Молчалину съ Дмухановскимъ и Держимордой оказаться опять въ авантажѣ.

Выставлять Посошковское «народосовѣтіе» (оно-же, повторяю, и «народосодѣйствіе»), о которомъ «Брѣющее шило», смазурничавъ, донесло, какъ о «народоправствѣ», выставлять его просто «плёвымъ дѣломъ», можно только при слѣпой вѣрѣ въ тотъ буржуазный парламентаризмъ, который, однако, далеко не удовлетворяетъ нашего сатирика. Говоря о равнодушіи къ нему массъ, не самъ-ли онъ выставляетъ эту, по мнѣнію другихъ, панацею своего рода «выѣденнымъ яйцомъ» или тѣмъ-же «плёвымъ дѣломъ?»

Въ «Отголоскахъ», помѣщенныхъ въ видѣ приложенія къ книгѣ объ «умѣренности и аккуратности», нашъ сатирикъ по-своему отозвался на тѣ событія 1876 г., которыми вызвано было у насъ сперва добровольческое движеніе въ Сербію, а затѣмъ и открытая война за освобожденіе славянъ. «Это было утромъ,—говоритъ онъ тутъ,—я сидѣлъ за чаемъ и читалъ только-что принесенную газету. Ужасъ, что тамъ было... дѣтей бросаютъ вверхъ и принимаютъ на штыки. Я закрылъ глаза, какъ будто это ужасное зрѣлище произошло передо мной въявѣ. Я видѣлъ этого ребенка, я чувствовалъ себя отцомъ его... *Мой* ребенокъ, въ моихъ глазахъ... Тотъ самый, на котораго я не зналъ какъ налюбоваться... Еще моментъ, и я готовъ былъ метаться, безсильно, безнадежно, какъ мечутся люди въ предсмертной тоскѣ...» Но тутъ-же, какъ нарочно, выростаетъ передъ нимъ его пріятель Глумовъ, отчасти напоминающій того *гостя*, который такъ потѣшается надъ Иваномъ Карамазовымъ, сознающимъ, что это какой-то его двойникъ, противный ему, но тщетно имъ прогоняемый.

«Коли тебя такъ мутитъ, такъ пошли въ «дамскій кружокъ» три цѣлковыхъ—можетъ и полегчитъ»,—говоритъ Глумовъ. «Вѣдь и во время самарскаго голода,—

добавляетъ онъ въ отвѣтъ на воспоминаніе пріятеля объ этой старой бѣдѣ,—я точно также тебѣ совѣтывалъ: «живи въ свое удовольствіе».

Тошно отъ такихъ внушеній, но Глумову удается таки затащить пріятеля къ Борелю. Тамъ они застаютъ, къ удовольствію Глумова, назначеннаго въ Семиозерскъ Лёвушку Колѣнцова (разумѣется — помпадура). «Мегзавцы», грассируетъ Лёвушка (что ужасно къ нему идетъ), относя это, разумѣется, къ туркамъ, а, пожалуй, и къ англичанамъ или даже ко всей Европѣ. «Меня такъ и ожгло, — говоритъ сатирикъ.—Я не знаю, пойметъ-ли меня читатель, но мнѣ показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости, и вынеслось оттуда слово, о которомъ тамъ совсѣмъ и въ поминѣ не должно быть». Одно къ другому: еще по пути къ Борелю, ему встрѣтился поручикъ Живновскій. «И тотъ, чего ужъ отнѣтѣе: «писатель!—кричитъ,—либерра-алъ!» (предполагая, конечно, что онъ не сочувствуетъ добровольческому движенію). А тутъ-же еще и другая встрѣча: «Булгаринъ изъ гроба всталъ—на потомковъ,—говоритъ,—полюбоваться пришелъ» (поощряетъ, стало быть, добровольчество). Выходитъ, что придя въ такое негодованіе отъ турецкихъ звѣрствъ и европейскаго имъ потаканія, сатирикъ очутился въ дурной компаніи. «Вся мразь,—говоритъ онъ,—все отнѣтое вдругъ оживаетъ и, пользуясь симъ случаемъ, принимается старые счеты сводить». Понятно, что Глумовъ торжествуетъ.

Правда, нѣкоторое сомнѣніе на его счетъ, т.-е. насчетъ своего-же, воплотившагося въ немъ, *сомнѣнья* является у сатирика. «Надѣвать на себя маску ментора, — говоритъ онъ, — подсмѣиваться надъ безшабашностью русской культуры, указывать на три цѣлковыхъ, какъ на единственный ясный результатъ общекультурнаго возбужденія, и, въ то-же время, самому погрязать въ той-же безшабашности, хихикая исподтишка, вынимать такіе-же три цѣлковыхъ для отправленія въ дамскій кружокъ—развѣ это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумовъ!.. и ты—рабъ съ головы

до [illegible] рабъ, выполняющій свое рабское дѣло съ безупречной исправностью и въ то же время старающійся, съ помощью цѣлой системы показываемыхъ въ карманѣ кукишей, обратить свое рабство въ шутку!»

А съ другой стороны, — вотъ добродушная Поликсена Ивановна, говорящая безъ лукаваго мудрствованія: «сколько на свѣтѣ маленькихъ людей есть, у которыхъ просто безъ идей сердце болитъ — такъ неужто-жъ вся ихъ роль въ томъ только и состоять должна, чтобъ сложа руки сидѣть или фыркать?» — «Смѣхъ — это форма, дается ей въ отвѣтъ на это. — Хорошо и благородно болѣть сердцемъ, какъ вы болѣете, да вѣдь и способность разсуждать не Богъ знаетъ какъ провинилась, чтобъ ее въ ссылку ссылать».

Послѣ добровольчества наступила наконецъ настоящая, исторически неизбѣжная для насъ война. Справедливо сохраняя и тутъ «способность разсуждать», нашъ сатирикъ, переходя, какъ это часто случается съ нимъ, прямо въ моралиста, замѣчаетъ: «Когда передо мною мечется и плещетъ руками толпа, я знаю, что она находится подъ тяготѣніемъ могущественнаго инстинкта, который даетъ ей силу нѣчто совершить. Очень возможно, что это инстинктъ неясный и даже невѣрный, но онъ можетъ заключать въ себѣ зерно самоотверженности, можетъ развиться въ подвигъ, и этого одного достаточно, чтобы не относиться къ нему легко. Толпа имѣетъ право заблуждаться въ своихъ увлеченіяхъ, потому что она-же несетъ на своихъ плечахъ и всѣ послѣдствія этихъ увлеченій. Совсѣмъ другое дѣло — ликованіе культурное. Въ культурныхъ сферахъ источникомъ побуждающей силы предполагаются уже не инстинкты, не смутныя чаянія, а ясное сознаніе цѣли и средствъ къ ея достиженію. Это въ значительной степени осложняетъ поводы для ликованія... Сверхъ того, есть и еще причина для воздержанія: культурный слой стоитъ въ сторонѣ отъ русла народной жизни и, слѣдовательно, лишь въ слабой степени чувствуетъ на себѣ отраженіе ея трудностей и невзгодъ...» Онъ, однако, принялъ участіе въ добровольчествѣ — въ

лицѣ не только своихъ безшабашныхъ подонковъ (какъ утверждали иные), но также и въ лицѣ самой свѣжей и чистой молодежи. Сатирикъ, впрочемъ, совершенно правъ, говоря: «въ данномъ случаѣ мои подстрекательства или сдерживанія не только не необходимы, но и не совсѣмъ умѣстны...» Никакія подстрекательства и не были нужны для добровольчества; и культурный юноша, и мужикъ, сами приходили и слезно просили, чтобъ ихъ отправили. Нѣкоторые журналы не признавали этого, а увѣряли, что тутъ *вербовка*; другіе хлестаковски воображали, что они въ самомъ дѣлѣ вербуютъ своими передовыми. Тѣ и другіе одинаково заблуждались—и вводили въ заблужденіе читателей.

Несмотря на расхолаживающее вліяніе «способности разсуждать»,—сатирикъ даже своего ментора Глумова приводитъ къ такимъ заключеніямъ о томъ, чей подвигъ раздѣляла у насъ на глазахъ и часть культурной молодежи—*о народѣ*. «Онъ всякую тяжесть выдержитъ на своихъ плечахъ,—говоритъ Глумовъ,—изъ всякой бѣды грудью вынесетъ! Теперь мы и сами готовы признать, что народъ, въ самомъ дѣлѣ, есть нѣчто, имѣющее собственную физіономію, а не просто объектъ для экономическихъ и административныхъ построеній». Ну, это уже поправка къ «Исторіи одного города». Но почему-же тогда смѣшонъ Посошковъ со своимъ «народосодѣйствіемъ?»

Благодарнымъ матеріаломъ, конечно, для расхолаживающей «способности разсуждать» является у нашего автора г. Балалайкинъ съ его проектомъ поставленія для арміи тухлыхъ килекъ. Поучительно самое происхожденіе Балалайкина. Его, тогда еще мальчишку, привелъ къ автору Удушьевъ, Ипполитъ Маркелычъ, сочинитель «Взгляда» и «Нѣчто» и пріятель Ренетилова. «Балалайкинъ,—сказалъ онъ,—преклони колѣна! Запомни черты этого многообѣщающаго юноши (нашего автора), ибо онъ—мой продолжатель. А вы,—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ (разсказывать въ первомъ лицѣ угодно самому сатирику),—рукоположите въ свою очередь этого

строкъ. Онъ будетъ *вашимъ* подражателемъ». Когда открыты были новые суды, Балалайкинъ попалъ въ адвокаты. «Онъ—Репетилова сынъ побочный, стали о немъ говорить: да его не понять—не то онъ выжига, не то пустословъ» (хорошъ оказался у него и товарищъ по адвокатурѣ — Подковырянинъ-Клещъ Иванъ Павлычъ, Павла Иваныча Чичикова сынъ). «Дѣло адвоката—дѣло нелегкое-съ,—поговаривалъ Балалайкинъ,—надобно походить около тѣхъ двадцати-пяти-тридцати тысячъ, которыя составляютъ мой годовой бюджетъ! Ихъ надобно достать-съ». Наслышавъ такія рѣчи отъ бывшаго своего (навязаннаго Удушьевымъ) протежé, авторъ «какъ-то инстинктивно приложилъ руку къ лѣвой сторонѣ сюртука, какъ-бы ощупывая, тутъ-ли бумажникъ». Вотъ этотъ-то Балалайкинъ во время войны и выступилъ на службу отечеству со своими килъками. О дальнѣйшихъ перипетіяхъ его скандалезной хроники не будемъ напоминать. Приведемъ только слѣдующую, проводимую у автора, по поводу ея, параллель между Глумовымъ-русскимъ и Глумовымъ-нѣмцемъ: «явился Балалайкинъ-нѣмецъ къ Глумову-нѣмцу съ предложеніемъ о килькѣ.—Глумовъ повернулся къ нему спиной—и дѣло съ концомъ. А у насъ, словно на днѣ запущеннаго пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть желѣзный ломъ въ ходъ пускай—и тѣмъ не раздерешь. Пришелъ Балалайкинъ «посидѣть»—и будетъ сидѣть, сколько ему Богъ на душу положитъ. Ни за городовымъ послать, ни отвернуться отъ него—даже въ голову не придетъ. А почему такъ?—да потому именно, что тутъ есть невообразимое сплетеніе. Сзади есть Удушьевъ, есть Репетиловъ—все люди, которые и изъ могилъ кричатъ: «плоть отъ плоти, кость отъ костей!» И кричатъ не только Балалайкину, но и мнѣ, и Глумову, и всѣмъ». Это, право, вѣдь стоитъ неумолимѣйшихъ строкъ Достоевскаго.

Завершеніемъ «Отголосковъ» вполнѣ гармонически послужили «Дворянскія мелодіи». «Я принадлежу къ поколѣнію,—уже помимо всякой сатиры исповѣдуется

тутъ авторъ,—которое воспитывалось на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности. Конечно,—припоминаетъ онъ,—и мы не всегда оставались вѣрными чисто эстетическимъ традиціямъ, но по временамъ дѣлали набѣги на область дѣйствительности... нѣтъ, впрочемъ, не туда, а скорѣе въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ». «Но, подъ прикрытіемъ обезпеченности, эти набѣги производились словно во снѣ, безъ строгой послѣдовательности, порывами, которые столь-же быстро потухали, какъ и зажигались...» «Мы наслаждались, но ничего не защищали, мы срывали цвѣты удовольствія, но въ битвахъ не бывали. Молчаливое признаніе, что утопія можетъ вѣчно витать въ пространствѣ, не обнаруживая ни на чемъ своихъ прикладныхъ свойствъ,—вотъ основа всѣхъ нашихъ порывовъ и устремленій. Утопія для утопіи — развѣ это не одно изъ «пріятствъ» жизни? Исповѣдующійся находитъ однако, что экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ не прошли для него даромъ. Онѣ населили его существо извѣстными предрасположеніями, которыя нѣсколько разъ пыталась растоптать жизнь, но къ которымъ онъ все-таки возвращался — не жалѣя объ этихъ возвратахъ, но даже гордясь ими. «Но въ томъ-то и дѣло,—прибавляетъ онъ,—что прошлое составлено изъ обрывковъ, и въ результатѣ даетъ только обрывки. Сейчасъ—горжусь, и сейчасъ—презираю. По наружности жить такимъ образомъ (т.-е. безъ усилій переходя отъ самовозвеличенія къ самобичеванію) кажется очень легко; но вглядитесь попристальнѣе—право, вѣдь это цѣлая мученическая эпопея! Иногда мнѣ даже думается, что если-бъ я передѣлалъ свой жизненный девизъ наоборотъ, и вмѣсто: «хочу, но не могу», написалъ на своемъ знаменіи: «могу, но не хочу»—мнѣ жилось-бы лучше. По крайней мѣрѣ, тогда я былъ-бы уже совсѣмъ скотиною».—И это опять, право, стоитъ самопризнанія человѣка сороковыхъ годовъ у Ѳ. М. Достоевскаго: «ни горячъ, ни холоденъ, а только тепелъ... ужъ лучше-бы прямо холоденъ».

«Мелодіи эти раздаются и понынѣ, — продолжаетъ

сатирикъ, уже окончательно переходящій тутъ въ моралиста.—Правда, что въ большинствѣ случаевъ дворянскія мелодіи довольно свободно превратились въ дворянскія-же мычанія, но все-таки существуютъ разсѣянныя по лицу земли стыдливыя единицы, которыя упорствуютъ и доднесь. Только мнѣ кажется, что, со времени упраздненія крѣпостного права, мелодіи эти сдѣлались еще тоскливѣе». Не оттого-ли, что далеко еще неудовлетворительные результаты упраздненія все болѣе и болѣе наводятъ на мысль, что оно скорѣе у насъ запоздало, чѣмъ пришло преждевременно, а это тѣмъ болѣе шевелитъ совѣсть: вѣдь мы-то и тормозили, вѣдь мы-то—со своими «утоніями для утоній»—все откладывали да откладывали «освобожденіе тѣлъ»—ради предварительнаго «освобожденія душъ», въ сущности, не освобождая и ихъ, а только по-прежнему *владѣя душами*.

Однако, въ концѣ-концовъ, авторъ со своимъ пріятелемъ Глумовымъ приходитъ къ тому, что они все-таки подобны сравнительно крѣпкимъ листьямъ, срубленнымъ на оголенномъ осеннемъ деревѣ. «Вся наша жизнь,—начинаетъ онъ вдругъ утверждать,—была сплошнымъ уклоненіемъ отъ жизни, настойчивымъ отказомъ отъ ея ликованій и торжествъ! Было-же, стало-быть, что-нибудь, что побуждало насъ не сходить со стези воздержанія... было, было, было!» Т.-е. это значитъ, что онъ призналъ, наконецъ, законность и необходимость для настоящей человѣческой жизни подобнаго побужденія. Но не онъ-ли совѣтовалъ въ свое время: «Отдай три рубля и иди къ Борелю!»—«Отдай и живи въ свое удовольствіе!»

«Были экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ,—робко подсказываетъ пріятелю авторъ,—можетъ-быть, въ нихъ-то и заключается главный стимулъ нашего воздержанія». Было-ли въ самомъ дѣлѣ, или только успокоительно вообразилось это послѣднее, но и одинъ «экскурсіи» въ самомъ дѣлѣ что-нибудь да значатъ! Только что-же было тогда расхолаживаться при событіяхъ 1876 года какой-то тѣнью Булгарина и какими-то возгласами Живновскаго? Можно-бы было на нихъ не смо-

трѣть при той несомнѣнно хорошей компаніи, какую представляли тогда и всякіе новохоперскіе и нижнедѣвицкіе мужики, и увлеченные однимъ съ ними чувствомъ культурные юноши, и не думавшіе стыдиться своихъ слезъ въ три ручья...

IV.

Разсказы и очерки новѣйшей поры.—«Дворянская хандра». — «Круглый годъ». — «Убѣжище Монрепо».

Съ «Очерковъ», какъ мы знаемъ, началось литературное поприще М. Е. Салтыкова. Какъ въ нихъ (знаменитыхъ «губернскихъ»), такъ и въ различныхъ разсказахъ его первой поры несомнѣнно сказывалось творчество—въ смыслѣ созданія живыхъ типовъ, заимствованныхъ какъ изъ той чиновничьей среды, съ которою по преимуществу имѣлъ дѣло Гоголь, такъ и изъ среды народной. Въ воспроизведеніи типовъ изъ этой послѣдней замѣчался у г. Салтыкова привлекательно-теплый колоритъ. Позже нашъ авторъ все болѣе и болѣе становился сатирикомъ—уже не въ творчески-объективномъ, а въ лично-поучительномъ смыслѣ. Сатира его, исполненная самой ѣдкой ироніи, становилась также и иносказательною, символическою—въ силу обстоятельствъ, имъ отчасти, быть можетъ, и преувеличиваемыхъ. Нерѣдко онъ старался самъ объяснить этотъ свой «эзоповскій, рабій языкъ» — объяснить въ томъ смыслѣ, что кое-кому, конечно, очень хотѣлось-бы, устыдивъ его этимъ рабьимъ языкомъ, довести дѣло до того, что ему-бы совсѣмъ пришлось смолкнуть. Мы не изъ тѣхъ, которые добивались-бы этого: вмѣстѣ съ тѣмъ, внимательнѣе въ него вчитываясь, мы не могли не убѣдиться, что, такъ-сказать, *по совокупности*, онъ все-таки достаточно ясенъ—но ясенъ не сразу и не для всѣхъ. Какъ-бы то ни было, мы полагаемъ, что

именно обстоятельства все болѣе и болѣе требовали и требуютъ у насъ и отъ насъ языка не иносказательнаго, а прямого, не оставляющаго ничего недосказаннымъ. Мы даже позволяемъ себѣ думать, что въ силу того «благорастворенія воздуха», которое, что тамъ ни говори, сказалось, и не мгновенно, не безслѣдно исчезнувъ, послѣ 1855 г., это даже болѣе возможно, чѣмъ оно постоянно казалось автору. Во всякомъ случаѣ, мы живемъ въ такую пору, когда все болѣе и болѣе нужно говорить не обинякомъ, а прямо — чего-бы это ни стоило намъ или нашимъ читателямъ. Вѣдь иногда сказать разъ значитъ болѣе, чѣмъ говорить постоянно.

Очень можетъ быть, что мы ошибаемся. Но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что усвоенная себѣ Щедринымъ манера — въ связи съ неизбѣжными неудобствами срочной журнальной работы — причиняла рѣшительный ущербъ его творческой силѣ. По временамъ она снова въ немъ просыпалась — пока онъ не собралъ ее окончательно и не надѣлилъ нашу литературу такимъ великимъ произведеніемъ, какъ «Господа Головлевы». Но это произведеніе еще впереди.

Ему предшествовали очерки въ родѣ «Похоронъ» (типъ литературнаго труженика съ закваской сороковыхъ годовъ), «Старческаго горя» (типъ чего-то въ родѣ сановника съ «либеральнымъ» пошибомъ, остающагося вдругъ не у дѣлъ и постепенно обращающагося въ искателя чужихъ обѣдовъ), «Больного мѣста» (заключающагося въ томъ, что болѣе или менѣе такой-же старецъ, но не столько «либеральный», сколько «благонамѣренный», не переваривая перемѣны положенія, скорбя о печальной развязкѣ своего «благонадежнаго» поприща, вдругъ замѣчаетъ цѣлую пропасть, образовавшуюся между нимъ и его юнымъ сыномъ, не признающимъ никакихъ сдѣлокъ). Совершенно особаго рода разсказомъ является «Сонъ въ лѣтнюю ночь», раскрывающій передъ нами картину, только во снѣ и возможную, — вызванную, однако-же, аналогіей съ тѣмъ, что существуетъ, и даже не въ видѣ исключенія, въ дѣйствительности. Если справляются юби-

лей маститыхъ, но часто только благополучно подвигавшихся по обычной лѣстницѣ, болѣе или менѣе крупныхъ чиновниковъ, то почему-же не справить и юбилея закаленнаго въ вѣчномъ трудѣ и во всякомъ смыслѣ безукоризненнаго старика крестьянина? Особенно выдаются въ разсказѣ: деревенскій батюшка, участвовавшій въ замыслѣ крестьянскаго юбилея, но благоразумно ступевавшійся при его выполненіи, и сельскій учитель, не позволившій себѣ ступеваться «ради іудейскаго страха» и даже произносящій на юбилеѣ семинарски-витіеватый, но все-таки теплый спичъ—о крестьянской долѣ вообще, о трудовой и всегда горемычной долѣ крестьянской жены и матери, о крестьянскихъ дѣтяхъ. «Древле Авраамъ,— говоритъ ораторъ, — по слову Господню, готовился принести въ жертву сына своего Исаака, и ангелъ Господень остановилъ руку его. Русское крестьянство каждый день приноситъ эту жертву, и увы! останавливающій руку ангелъ не прилетаетъ къ нему! Древле пророкъ, оплакивая судьбы святого города, восклицалъ въ смятеніи души своей: «да будетъ забвенна рука моя, аще забуду тебе, Іерусалиме!» Нынѣ я, какъ учитель дѣтей крестьянскихъ, проведшій сладчайшія минуты жизни своей въ общеніи съ ними, во всеуслышаніе восклицаю: дѣти! русскія дѣти! Да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные съ вами».

Кромѣ разсказовъ, изъ-подъ пера нашего сатирика выходятъ и сказки, которымъ по пріемамъ и направленію приходятся очень сродни новѣйшія сказки гр. Л. Н. Толстого. Такова у Щедрина сказка о двухъ замѣчательныхъ генералахъ, неожиданно очутившихся въ одинъ прекрасный день на необитаемомъ островѣ и совершенно уже негодящихся въ Робинзоны. Къ счастью, на островѣ оказался, въ качествѣ Пятницы, здоровенный русскій мужикъ, котораго они, по старой привычкѣ, обругали «лежебокомъ», жалуясь при этомъ: «небось и ухомъ не ведешь, что тутъ два генерала вторыя сутки съ голода умираютъ! Сейчасъ маршъ работать!» И вотъ дикарь сейчасъ-же и оказывается настоящимъ Робинзономъ. «По-

лѣзъ «сверха-на-перво на дерево и нарвалъ генераламъ по десятку самыхъ спѣлыхъ яблоковъ, а себѣ взялъ одно гнилое. Потомъ покопался въ землѣ — и добылъ оттуда картофелю; потомъ взялъ два куска дерева, потеръ ихъ другъ объ дружку—и извлекъ огонь. Потомъ изъ собственныхъ волосъ сдѣлалъ силокъ и поймалъ рябчика». Мало того — самъ на себя свилъ веревку, а генералы, чтобъ не убѣгъ, этою-же веревкою привязавши мужичину къ дереву, улеглись спать. Мужичина-же, въ довершенье всего, выстроилъ такую посудину, въ которой доставилъ ихъ черезъ океанъ-море въ Подъяческую, наслушавшись отъ нихъ по пути во время вѣтровъ и бурь немало всякой ругани за свое «тунеядство». Впрочемъ, отдохнувъ и отъѣвшись и получивъ изъ казначейства денегъ, генералы не забыли о мужикѣ: «выслали ему рюмку водки да пятакъ серебра».

Другая сказка Щедрина—о *«дикомъ* или, вѣрнѣе сказать, *одичавшемъ* помѣщикѣ». А случилось ему одичать по особой иронiи надъ нимъ рока. Не могъ онъ переварить, что «очень ужъ много развелось въ нашемъ царствѣ мужика». И вотъ—по молитвамъ его вдругъ исчезъ «посконный», такъ что вездѣ у помѣщика чистый воздухъ сталъ, за то ни подать руки вымыть, ни кушанья помѣщику изготовить некому. «Много-ли, мало-ли времени прошло, только видитъ помѣщикъ, что въ саду у него дорожки репейникомъ поросли, въ кустахъ змѣи да гады всякiе кишмя-кишатъ, а въ паркѣ звѣри дикiе воютъ». И вотъ онъ одичалъ... «Выйдетъ онъ въ свой паркъ... прибѣжитъ это заяцъ, встанетъ на заднiя лапки и прислушивается, нѣтъ-ли откуда опасности, а онъ ужъ тутъ какъ тутъ. Словно стрѣла соскочитъ съ дерева, вцѣпится въ свою добычу, разорветъ ее ногтями, да такъ со всѣми внутренностями, даже со шкурой, и съѣстъ». Словомъ—своего рода превращенiе Навуходоносора въ звѣря. Но такъ какъ съ исчезновенiемъ мужика перестали поступать въ казну подати, то попечительнымъ начальствомъ и рѣшено было: мужика изловить и на прежнее мѣсто водворить. Одновременно съ мужикомъ изловленъ былъ

и дикій помѣщикъ. «Онъ живъ и доныне. Раскладываетъ гранъ-пасьянсъ, тоскуетъ по прежней своей жизни въ лѣсахъ, умывается лишь по принужденію и по временамъ мычитъ».

Такіе разсказы выходятъ совсѣмъ не въ тонъ съ «Исторіей одного города», гдѣ глуповцами оказываются всѣ — и самые послѣдніе, основные люди. О пресловутой «исторіи» напоминаютъ нѣкія страницы въ «Дѣтяхъ Москвы»: тутъ въ самомъ началѣ дается намъ небольшое резюме «исторіи». Но тутъ же авторъ объясняетъ и происхожденіе своего «Глупова», а отчасти даже и извиняется въ немъ. Въ отрочествѣ и юности, старается онъ намъ объяснить, онъ былъ восторженнымъ патріотомъ чуть-ли не въ карамзинскомъ вкусѣ. Къ событіямъ, наступившимъ у насъ послѣ 1855 г., отнесся онъ съ тѣмъ же, съ раннихъ лѣтъ привычнымъ ему, восторгомъ. «Въ увлеченіи своемъ, — поясняетъ онъ, — я даже того не понималъ, что мои новые восторги служатъ косвеннымъ укоромъ моимъ старымъ восторгамъ». Но, мало-по-малу, обрадовавшись наступившей возможности говорить безъ стѣсненія, онъ договорился, — додумался до того, что «началъ изображать» «прежнюю славу» въ нѣсколько смѣшномъ видѣ. Не у всѣхъ, какъ извѣстно, «восторги новые» обязательно связывались съ уличеніемъ исторической старины въ сплошной и огульной глупости. Раздался даже и такой привѣтъ виновнику «новыхъ восторговъ»: «въ новизнахъ твоего царствованія намъ старина наша слышится». Говорившіе такъ, конечно, не переваривали «Исторіи одного города». За то сказки нашего автора на народную тему объ «Иванушкѣ дурачкѣ» (умъ совсѣмъ не глуповцѣ) должны бы имъ придтись по нраву.

Но вотъ наконецъ завелась у нашего сатирика и *легенда*. Такъ можно назвать у него то, что носитъ заглавіе «Пропала совѣсть». Постоянно выводя передъ нами людей съ пропащей совѣстью, онъ, наконецъ, захотѣлъ олицетворить ее въ видѣ негодной, валяющейся по дорогѣ ветоши, случайно подбираемой тѣмъ или другимъ

и причиняющей подобравшему такую боль и тревогу, что онъ старается поскорѣе подбросить ее кому попало. Отъ пропойцы она попадаетъ къ кабатчику, отъ кабатчика къ квартальному надзирателю, отъ квартальнаго надзирателя къ отставному откупщику и желѣзнодорожному изобрѣтателю, и каждому страшно мѣшаетъ въ его обычной профессіи.

«И долго такимъ образомъ шаталась бѣдная, изгнанная совѣсть по бѣлу свѣту и перебывала она у многихъ тысячъ людей. Но никто не хотѣлъ ее пріютить, а всякій, напротивъ того, только о томъ и думалъ, какъ бы отдѣлаться отъ нея...» «Что же я съ тобой буду дѣлать, сударыня совѣсть, коли ты никому не нужна?» спросилъ ее послѣдній ея содержатель—какой-то бѣдный мѣщанинишка.—«А вотъ что,—отвѣчала совѣсть,—отыщи ты мнѣ маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня въ немъ! авось онъ меня, неповинный младенецъ, пріютитъ и выхолитъ, авось онъ меня въ мѣру возраста своего произведетъ, да и въ люди потомъ со мной выйдетъ — не погнушается». И сдѣлалъ по указу ея мѣщанинишка. Растетъ маленькое дитя, а вмѣстѣ съ нимъ растетъ въ немъ и совѣсть. И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнутъ тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама».

Не съ этимъ-ли самымъ дитятею въ возрастѣ дѣвушки сводитъ насъ г. Салтыковъ въ концѣ самаго тяжелаго, самаго безотраднаго изъ своихъ произведеній — «Дворянской хандры»?

Прилагательное «дворянская» поставлено тутъ не даромъ. Это все та же «барская немочь», о которой такъ часто намъ повѣствуетъ нашъ авторъ и, по какому-то странному капризу, такъ часто повѣствуетъ въ первомъ лицѣ. На этотъ разъ, мы видимъ барина пріѣзжающимъ въ деревню, чтобы заживо въ ней умереть. «Надоѣло «слоняться», «соваться»,—говоритъ онъ,—и вообще производить свойственныя досужему человѣку дѣйствія—взялъ

юркнулъ въ свой собственный гробъ и пропалъ въ немъ». А у другихъ, у «недосужихъ», и этого нѣтъ, сознается онъ. «Досужіе» — это, конечно, дворяне; «недосужіе» — это мужики. «Вотъ *онъ* ѣдетъ зимникомъ по рѣкѣ, передъ самыми окнами моего дома, съ возомъ на мельницу — онъ и радъ бы юркнуть, да недосужно ему». Невольно вспоминается пушкинскій мужичокъ съ дѣтскимъ гробикомъ въ рукахъ, торопящій попенка идти за отцомъ:

Зови! ждать некогда — давно-бъ ужь схоронилъ!

Недосугъ хоронить, тосковать, недосугъ и ублажать себя сладострастіемъ смерти заживо. «И у него, пожалуй,—продолжаетъ хандрящій дворянинъ про мужика,— есть свой собственный гробъ тамъ на селѣ; но это такой гробъ, въ которомъ не постепенно умирать, а ежемгновенно и безъ отдыха жить надо. Во-первыхъ, потому, что онъ, обитатель этого гроба—ревизская душа, а во-вторыхъ, потому, что жизнь сама по себѣ, помимо его воли, помимо разумѣнія, даже помимо инстинктовъ самосохраненія, впилась да и не отпускаетъ его!»

Безъ наслажденья онъ живетъ,
Безъ сожалѣнья умираетъ,

не даромъ замѣтилъ о мужикѣ Некрасовъ. «Всегда онъ завидовалъ моей тоскѣ,—прибавляетъ Щедринъ,—и моимъ изныванiямъ, называлъ ихъ жировыми и говорилъ: хоть бы недѣльку такъ-то пожить!» Между тѣмъ, барину его, завидный крестьянину, «гробъ» представляется съ другой стороны «одиночнымъ заключеніемъ» — разумѣется, — прибавляетъ онъ,—«смягченнымъ амфиладою комнатъ и возможностью во всякое время нарушить обрядъ молчанія».

Мы видѣли, что въ «Дѣтяхъ Москвы» авторъ самъ вспоминаетъ о наступленіи той поры, когда возможнымъ сдѣлалось «говорить». Да вѣдь и тутъ, въ своей «Хандрѣ», онъ не отрицаетъ продолжающейся возможности «нарушать молчаніе». И въ «Хандрѣ» вмѣстѣ съ тѣмъ воз-

вращается онъ и къ воспоминанію о томъ моментѣ, «когда всѣхъ освѣтило солнце откровенія, когда представилось, что чаша горечи переполнилась до краевъ, и что заплечный мастеръ задохнулся въ ней...» Переходя собственно къ себѣ, онъ вспоминаетъ и о томъ, что съ самаго же начала благоразумно говорилъ о постепенности, о томъ, что «нельзя же вдругъ»,—но съ тѣмъ же энтузіазмомъ кричалъ: «да здравствуетъ обновленіе». Но все это уже — такъ недавно, а точно будто давно прошедшее! Онъ выводитъ передъ нами въ своей «Хандрѣ» и такого же бывшаго энтузіаста, какъ самъ онъ, уже дряхлаго старика, давно точно такъ же разочаровавшагося и все не могущаго умереть подъ гнетомъ своего разочарованія. «Какъ начиналось и чѣмъ кончилось!» — вмѣстѣ причитаютъ они. Но у старика вдругъ навертывается вопросъ: «да начиналось-ли?» Тутъ же, однако, какъ-бы самъ обрадовавшись опорѣ, онъ указываетъ на внучку: «она, впрочемъ, умная-то моя, не сомнѣвается. Не только «начиналось», а началось, говоритъ, и не вчера, а отъ начала вѣковъ. И придетъ, несомнѣнно придетъ! Юля? вѣдь такъ?»—Такъ, дѣдушка, придетъ.—«Она и на насъ, — поясняетъ онъ,—стыдящихся (стыдящихся, разумѣется, не только за все окружающее, но и за себя, *за самихъ себя)* какъ-то особенно смотритъ. Нѣчто въ родѣ Закхеевой смоковницы въ насъ видитъ». Не вѣрнѣе-ли было-бы сказать: въ родѣ той безплодной смоковницы, которая, по слову Христа, въ наказаніе изсохла? Вѣдь къ Закхею, забравшемуся на смоковницу, чтобъ увидѣть съ нея Спасителя, не даромъ затѣмъ пришелъ Христосъ. Онъ вѣдь вызвалъ у Закхея обѣтъ: «Се полъ имѣнія моего, Господи, дамъ нищимъ». Закхей сталъ способенъ на дѣятельный подвигъ, а они—этотъ старшій да младшій изъ улетшихся съ горя въ свой барскій гробъ и всѣ въ немъ не умирающихъ? Они очень вѣрно судятъ: «отъ мысли, что заправскій узелъ все-таки тамъ, на посёлкѣ, никакъ не уйдешь... тамъ настоящій пупъ земли, тамъ — разгадка всѣхъ жизненныхъ задачъ, тамъ — ключъ къ разумѣнію не только прошедшаго и настоящаго, но и

будущаго. И нужно пройти туда... но какъ-же туда пройти, коль скоро тамъ только одно слово и произносится внятно: стегать?!» Это — по поводу тутъ-же разсказанной экзекуціи по рѣшенію волостного правленія — за «возмутительныя» рѣчи одного мужика, въ сущности, затрогивающія только Разуваева. При мысли объ этомъ «стеганіи» по волостному приговору, въ совѣсти нашихъ старцевъ шевелится, разумѣется, память о прежнемъ «стеганіи» на всей на ихъ барской волѣ или о томъ, какъ, слушая Грановскаго, они вслѣдъ затѣмъ прибѣгали къ продажѣ той или другой имъ принадлежавшей души (заимствую это у нашего же сатирика). Но что же сдѣлано ими, давно несомнѣнно раскаявшимися, чтобы *загладить* «стеганіе» свое или своихъ отцовъ? Какую жертву, сколько-нибудь равносильную жертвѣ Закхея, приносятъ они для посёлка? Они только струсили «станового»—и удрали изъ своихъ палестинъ. Или же—также со страху?—притворились умершими въ своихъ палестинахъ. Но за то она, эта внучка, — она потому-то и вѣруетъ, непоколебимо вѣруетъ не только въ *зарю*, но и въ *солнце*, что совѣсть у нея спокойна, что она — изъ тѣхъ «чистыхъ сердцемъ, которые Бога узрятъ». Она откажется отъ всего, она пойдетъ искать знанія, чтобы самой себѣ зарабатывать хлѣбъ, а потомъ его понести и другимъ; учась, она не доѣстъ, не доспитъ, будетъ жить своимъ подвигомъ, — даже и подвигомъ тѣхъ, про кого сказано: «блажени есте, егда поносятъ вамъ и изженутъ и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще мене ради».

Нашъ авторъ не даромъ же написалъ свою легенду о пропавшей совѣсти и о томъ, что ей предстоитъ возродиться въ дѣтяхъ, имѣющихъ современемъ стать большими. «Нашъ недугъ общій,—читаемъ мы у него же,— только онъ не для всѣхъ и не всегда ясенъ, и въ большинствѣ случаевъ онъ выражается лишь въ смутномъ сознаніи, что человѣка какъ будто не прибываетъ, а убываетъ». Это замѣтилъ тотъ-же М. Е. Салтыковъ подъ 1-мъ октября въ одномъ изъ тѣхъ ежемѣсячныхъ

фельетоновъ, которые писались имъ въ 1879 г. и изданы подъ заглавіемъ «Круглый годъ».

Въ другомъ изъ этихъ фельетоновъ, подъ 1-мъ мая, онъ же, съ другой стороны, признаетъ: «въ послѣднія двадцать, двадцать пять лѣтъ чувство человѣчности сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ обществѣ—это фактъ, который оспорить нельзя». И на томъ спасибо,—могла бы отвѣтить одна, такъ мало у насъ оцѣненная, до сихъ поръ нами оскорбляемая, тѣнь!» «Забылось,—продолжаетъ нашъ авторъ,—или почти забылось крѣпостное право (внѣшнія его формы даже возстановить дѣлается съ каждымъ годомъ труднѣе и труднѣе), стали забываться келейный судъ и патріархальная кулачная полицейская расправа, начали проявляться попытки самодѣятельности; однимъ словомъ, періодъ одичанія казался близкимъ къ концу». Но тутъ-то, въ эту пору гласнаго, явно допущеннаго запроса на человѣчность, «человѣка,—по замѣчанію того-же автора,—не прибывало, а убывало», конечно, въ силу всего того, что посѣяно было въ предыдущую пору. Не этимъ-ли, главнымъ образомъ, и объясняется тотъ опять крутой поворотъ, о которомъ говорится у сатирика далѣе: «вдругъ это самое чувство человѣчности, о которомъ думалось, что оно уже сдѣлалось лозунгомъ жизни, является преступленіемъ. Не человѣчность нужна, ненависть! оскаливая зубы, печатно воютъ доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукавицъ!» Да, съ самыхъ разныхъ концовъ не человѣчность, а ненависть! Да, съ самыхъ разныхъ концовъ и «бараній рогъ», и «ежовыя рукавицы».

Строки эти относятся къ 1879 г., предпослѣднему году той поры, которая началась въ 1855 г.

Къ тому-же году относится и «Убѣжище Монрепо»—эта распространенная редакція «Дворянской хандры» съ ея *гробомъ* въ деревнѣ. Не даромъ же и Монрепо въ одной изъ главъ называется «усыпальницей». Нашлось бы, конечно, въ деревнѣ дѣло и кромѣ сладострастнаго умиранія заживо. «Дать человѣку (т.-е. темному человѣку) возможность различать справедливое отъ неспра-

ведливаго,—для достиженія этого одного можно душу свою погубить....» Но нѣтъ, «просвѣтительная дорога не наша дорога. Это—дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: блюдите да опасно ходите. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла и, подобно раскольникамъ-бѣгунамъ, идти впередъ, *вышняго града взыскуя*». Но, если такъ, то къ чему-же сваливать все на одного становаго, на пособничество ему сельскаго батюшки и на поддержку съ его стороны Разуваеву?

Встревожившись мыслью о томъ, что, въ довершенье всего, самая резиденція станового скоро очутится въ ближайшемъ сосѣдствѣ, владѣлецъ Монрепо себя спрашиваетъ: «почему-же прежде этого никогда со мной не бывало? почему я *прежде* не сомнѣвался въ себѣ, а *теперь* сомнѣваюсь? почему я *прежде* не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь*—не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?» Но «зрѣломъ размышленіи», онъ долженъ былъ дать такой отвѣтъ: «потому, что прежде не было раздѣленья людей на благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ, на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ. Понятій такихъ не было, а потому и лицъ, которымъ удобно было взвалить на плечи качества, соединенныя съ этими понятіями, не существовало. Была одна маршировка». Сколько ни урезонивалъ его батюшка, онъ безпокойно скитался по аллеямъ парка и сравнивалъ. «Сравнивалъ,—говоритъ онъ,—прошедшее съ настоящимъ, маршировку съ сердцевѣдѣніемъ. И дошелъ, наконецъ, до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки».

Но до такого-же точно «абсурда» доходилъ и самъ авторъ, когда въ своемъ разсказѣ о «похоронахъ» говорилъ про будочниковъ прежняго времени, что они «ничего не знали ни о подрываніи авторитетовъ, ни о потрясеніи основъ, о чемъ нынче всякій подчасокъ безъ малѣйшаго затрудненія на бобахъ разведетъ. О, будочники и всѣхъ сортовъ квартальные добраго стараго времени! Да оскудѣетъ рука моя, если она напишетъ не-

доброе слово о васъ!» Такъ восклицалъ по этому поводу самъ надворный совѣтникъ Щедринъ.

А все-таки это—«абсурдъ!» Не даромъ такіе-же вздохи о добромъ старомъ времени, когда «только маршировали» (т.-е. и сквозь строй прогоняли и мало-ли что еще) раздаются въ той, совсѣмъ уже не хорошей, компаніи, которая спитъ—и видитъ, строчитъ и кричитъ—все то же да то же о «доброй старой порѣ», о желанности ея возвращенія!

Но владѣлецъ Монрепо, чтобы доказать свой, весьма спорный тезисъ, выставляетъ передъ нами самый процессъ сердцеиспытыванія, недоступный прежнему будочнику. «Обидѣли, обидѣли въ ту пору дворянъ!»—чувствительничаетъ становой, чтобы вызвать своего собесѣдника на излишнюю откровенность. «Увы! при этомъ воспоминаніи я чуть не выдалъ себя,—говоритъ г. Монрепо. Есть у меня зіяющая рана, прикосновеніе къ которой всегда находитъ меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана—воспоминаніе о дворянской обидѣ!..» «Обидѣли,—восклицалъ я,—такъ обидѣли, что даже въ исторіи не бывало примѣровъ болѣе горькой обиды... Затѣмъ я закусывалъ удила и начиналъ доказывать. Доказывалъ горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, насъ не спросили; во-вторыхъ, насъ не вознаградили за самое главное наше право! въ-третьихъ, насъ поставили на одну доску...—съ кѣмъ!!!» Словомъ, отъ избытка сердца уста говорили, а становой, казалось, былъ исполненъ такого живого участія, какъ вдругъ взялъ да и поставилъ ребромъ вопросъ: «а что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?» «Никогда,—отвѣтилъ я рѣшительно и холодно,—разсказываетъ намъ г. Монрепо.—Во-первыхъ, протестъ несочувственъ для меня лично, а во-вторыхъ—онъ не согласенъ съ нашими традиціями». Словомъ, онъ во-время спохватился, что, при всей кажущейся сердечности вопросителя, все это только одна «система вопрошенія». Во-время вернувшаяся къ вопрошаемому осторожность его спасла. «Я съ притворнымъ участіемъ,—сознался, наконецъ, самъ

становой.—отнесся къ дворянской обидѣ, а вы, хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали такую беззавѣтную покорность судьбѣ, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиленія.»

Когда мы перечитывали «Монрепо» теперь, чтобы написать эту главу, намъ невольно представилась комбинація такого рода. А что, еслибъ вопрошаемый ошибся, вообразивъ, что передъ нимъ такой становой, передъ которымъ надобно отпираться отъ чувства дворянской обиды? Что, если бы у становыхъ завелась такая замашка, чтобы именно на этомъ-то чувствѣ дворянской обиды и основывать свое мнѣніе о «благонамѣренности» заявляющаго объ ономъ? Развѣ не можетъ явиться у становыхъ своя особая система созиданія на этомъ «чувствѣ обиды» и справедливомъ ея заглаженіи новой эры для прежнихъ обиженныхъ, возстановляемыхъ въ ихъ значеніи «столповъ?» Вѣдь такая «становая» система несомнѣнно нашла бы себѣ поддержку въ той прессѣ, которая стоитъ за будочниковъ «прежняго добраго времени», когда «только маршировали», и такъ послѣдовательно изливаетъ свои помои на то, чѣмъ смѣнилось это «доброе старое время»! Мы желали бы выразиться яснѣе, но мы невольно заразились у надворнаго совѣтника Щедрина его расчетомъ на чтеніе между строкъ.

Самъ онъ, между тѣмъ, заявляетъ, что утомился говорить притчами и что самое лучшее—«разомъ прекратить доступъ для всего, что напоминаетъ о книгопечатаніи и сопряженныхъ съ нимъ учрежденіяхъ». Ну, это вѣдь и значило-бы возвратиться къ тому «доброму старому времени», когда «только маршировали». Но тогда и за «притчи» пришлось-бы, пожалуй, испытать то, о чемъ напоминала И. И. Новикову его, скрывавшаяся за «Всякое всячиной», совопросница, остроумно сближавшая передъ нимъ «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій». Вѣдь и та пресса, которая нынѣ такъ невозбранно изливаетъ свои помои на недавно минувшій вѣкъ, не посмѣла-бы разглагольствовать, еслибъ вѣкъ этотъ не наступалъ, а все продолжался тотъ, когда «только маршировали».

Выдержавъ благополучно экзаменъ у станового, г. Монрепо, подобно какому-нибудь Степану Трофимовичу Верховенскому, все-же воображаетъ, что онъ въ глазахъ станового лицо опасное, и тотъ именно ради устраненія его и совѣтуетъ ему продать свою «усыпальницу» Разуваеву. Тѣмъ не менѣе, онъ ее продастъ, потому что въ ней, какъ и въ прежнемъ имѣніи, дѣло у него не спорится. Онъ впрочемъ и сознается въ этомъ и, читая наставленія Разуваеву, не щадитъ и свою братію — дворянъ, какъ выходитъ у него теперь, не совсѣмъ безвинно обиженныхъ.

Наставленія Разуваеву за его классическое: «іонъ достанитъ» (про высасываемаго имъ мужика) отнесены, главнымъ образомъ, въ заключительное «предостереженіе», написанное отъ имени «отставного корнета Прогорѣлова, нѣкогда крѣпостныхъ дѣлъ мастера, впослѣдствіи оголтѣлаго землевладѣльца, а нынѣ пропащаго человѣка».

«По всей веселой Руси, — провозглашаетъ онъ,— отъ Мѣщанскихъ до Кунавина включительно, раздается одинъ кличъ: «идетъ чумазый!» Идетъ, и на вопросъ: что есть истина?—твердо и неукоснительно отвѣтитъ: «распивочно и на вынось!» Съ этимъ своимъ краеугольнымъ камнемъ, чумазый является тѣмъ новымъ столпомъ, водруженьемъ котораго завершился у насъ краткій періодъ неподобающаго безстолбія. «Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера,—поясняетъ Прогорѣловъ,—не могли уже быть столпами, потому что людей, однажды уже ославленныхъ, въ качествѣ выслужившихъ срокъ, было-бы странно вновь привлекать къ дѣятельному столпослуженію!» Почему-же нѣтъ? такъ и хотѣлось-бы его спросить. Авось найдутся такіе становые, которые, вдохновленные особаго рода публицистами, васъ-же опять къ тому и привлекутъ, заодно, разумѣется, съ Разуваевыми. Вѣдь открывали-же нѣкоторые изъ васъ (да хоть-бы пределикатнѣйшая кузина Машенька) тѣ-же кабаки; вотъ и прецедентъ для того, чтобы столпамъ старымъ быть заодно со столпами новыми, т.-е. уже совмѣстно «проводить принципъ уми-

ротворенія посредствомъ обездоленія»,—какъ выражается Прогорѣловъ собственно про Разуваевыхъ. Напрасно Прогорѣловъ увѣряетъ, что онъ только временно представлялъ изъ себя «невинно падшаго» и «подъ вліяніемъ свѣже-нанесенной обиды, ехидствовалъ». Не напрасно за то заботитъ его одно въ его новомъ положеніи: «сумѣетъ-ли онъ настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться во-истину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ, т.-е. человѣкомъ долга, добра, чести и труда?» Разумѣется, не сумѣетъ, а попытаться опять сдѣлаться человѣкомъ власти, только-бы представился къ тому случай, разумѣется, не откажется.

«Знаетъ-ли онъ, что такое отечество?—спрашиваетъ Прогорѣловъ про Разуваева,—слыхалъ-ли онъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему-то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка—вотъ какое значеніе имѣетъ это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственныхъ дѣлъ мастерамъ». Да одинъ-ли Разуваевъ такъ думаетъ? Не самъ-ли надворный совѣтникъ Щедринъ недавно усовѣщивалъ своего племянника Ѳединьку: «допустимъ, что Россія—пирогъ и только пирогъ. Ну и ѣшьте-же его втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ Божьимъ даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ, ѣшьте, какъ при крѣпостномъ правѣ ѣдали умные ѣдоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обгладывать до костей. (Такъ-таки всѣ и понимали, г. надворный совѣтникъ? Ну, а если у нихъ наслѣдниковъ не было и «après nous le déluge?» Но не въ этомъ теперь дѣло). Поѣшьте и сдѣлайте роздыхъ, займитесь пищеваренiемъ» [1]).

Прогорѣловъ, какъ интеллигентъ, когда-то слушавшій даже Грановскаго, хочетъ растолковать Разуваеву, что̀ такое отечество и что̀ государство. «Отечество отъ

[1]) «Круглый годъ», 1-е февраля.

Бога,—формулируетъ онъ,—государство—дѣло изобрѣтательности человѣческаго ума...» Потому-то въ отечествѣ, лишь данномъ отъ Бога, «гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: не суйся, не лѣзь впередъ! не твое дѣло! Пускай говорятъ! Ты все-таки всѣмъ существомъ твоимъ сознаешь, что дѣла у тебя по горло и что еслибъ ты даже желалъ послѣдовать совѣту о несованіи носа, никакъ этого невозможно выполнить, потому что дѣло само такъ и подступаетъ къ твоему носу». Самъ Прогорѣловъ, однако, какъ оказывается далѣе изъ его-же словъ, дѣлалъ именно то, «что́ невозможно». «Съ перваго окрика,—говоритъ онъ,—мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось ясно, что дѣйствительно я съ жиру бѣшусь... и что въ сущности для меня даже выгоднѣе не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не сунетъ. И, заручившись этою столповою мудростью, я ни за себя, ни за другихъ, ни за кого пальцемъ не шевельнулъ». «А въ тоже время умилялся и восклицалъ: «отечество—святыня».

Онъ и теперь только умиляется и восклицаетъ. Хоть онъ и не совѣтуетъ Разуваеву слѣдовать своему примѣру, но все это только жалкія слова. Разуваевъ, разумѣется, его не послушается и онъ хорошо это знаетъ, и самъ-же пускаетъ Разуваева въ огородъ, только ораторствуя въ напутствіе Разуваеву языкомъ фонвизинскаго Стародума.

Но послѣ всего, что онъ наговорилъ въ своемъ наѣздѣ о себѣ и о своихъ, не имѣетъ-ли Разуваевъ права его спросить: да почему же вы, вашество, говорите о «вырожденіи гнусности меньшей въ гнусность сугубую?» Если я—сугубая, то и вы, послушать васъ только, никакъ не меньшая».

Воля ваша, г. надворный совѣтникъ Щедринъ,—скажемъ и мы отъ себя,—а вы надѣлили вашего Прогорѣлова *вашею* любовью къ отечеству, которая, разумѣется, несомнѣнна. Вы, безъ всякаго краснорѣчія, просто и ясно желаете видѣть свое отечество «не столько славнымъ, сколько счастливымъ». Всякій добрый русскій съ вами въ этомъ согласится. «Что нужно нашей дорогой родинѣ, спрашиваете вы, чтобъ быть счастливой? На

мой взглядъ, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужикъ русскій, говоря стихами Державина: «ѣлъ добры щи и пиво пилъ». Этого можетъ-быть и мало, но это непремѣнно должно быть достигнуто. «Если это есть,— справедливо замѣчаете вы, — значитъ казна государева ломится подъ тяжесть серебра и злата... Если это есть— значитъ у мужика есть досугъ, значитъ онъ ведетъ не прекратительную жизнь подъяремнаго животнаго, а здоровое существованіе разумнаго существа... Если это есть—значитъ правда и милость царствуютъ въ судахъ... Если это есть—значитъ монополія не впивается когтями въ беззащитную жертву и не рветъ ея внутренностей. Если это есть—значитъ государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процвѣтаетъ. Если это есть—значитъ рубль равенъ рублю».

Къ тому-же самому, какъ извѣстно, пришелъ въ предсмертномъ своемъ «Дневникѣ» и Ѳ. М. Достоевскій, замѣтивъ: «было-бы земледѣліе, будутъ и финансы».

Но надворный совѣтникъ Щедринъ, желая всѣмъ всего добраго, говоритъ: «чиновнику—чиновъ и крестовъ съ надписью «за отдохновеніе»; купцу — хорошихъ торговъ и медалей; культурному человѣку — бутылку шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидѣтельство; мужику—«добрыхъ щей». И при этомъ, какъ человѣкъ, одаренный художественными инстинктами,—поясняетъ онъ,—я такъ живо представлялъ себѣ благополучіе этихъ людей, что они металисъ передъ моими глазами, какъ живые. Всѣ были поперекъ себя толще, у всѣхъ лица лоснились подъ вліяніемъ хорошаго житья и внутренняго ликованія. Но въ особенности хорошъ былъ мужикъ, такъ хорошъ, что я по цѣлымъ часамъ велъ съ нимъ мысленную бесѣду». Воображенье у г. Щедрина, очевидно, настроено было такъ же, какъ у В. Гюго, когда онъ, гдѣ-то въ своихъ «Misérables», воскликнулъ: «пусть сохраняются богатства, но пусть не будетъ болѣе бѣдныхъ». У Достоевскаго, также не лишеннаго «художественныхъ инстинктовъ», воображеніе настраивалось нѣсколько иначе — можетъ быть подъ вліяніемъ «постнаго

масла» и народныхъ пословицъ. Ему не мерещились, какъ нѣчто желанное, идеальное, «люди поперекъ себя толще и съ лоснящимися лицами». Это претило какъ его художественному, такъ и нравственному чутью. Ему постоянно сдавалось, что гдѣ только заведутся лоснящіяся морды и рыла, тамъ неминуемо заведется вокругъ нихъ и бѣднота. Чтобы не было бѣдноты, онъ готовъ-бы былъ оставить культурнаго человѣка безъ необходимой для него бутылки шампанскаго. Не даромъ его Макаръ Алексѣевичъ даже стыдился курить табакъ, когда у другихъ нѣтъ хлѣба, а его Зосима, этотъ для насъ «устарѣлый» Зосима, «отсѣкалъ отъ себя потребности лишнія и ненужныя».

V.

Господа Головлевы.

«Горе,—думается мнѣ,—тому граду, въ которомъ и улица, и кабаки безнадежно скулятъ о томъ, что собственность священна! Навѣрное въ градѣ семъ имѣетъ произойти неслыханнѣйшее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вопіютъ, что семейство святыня! Навѣрное надъ этою весью невдолгѣ разразится колоссальнѣйшее прелюбодѣйство.

Горе той странѣ, въ которой шайка шалопаевъ во всѣ трубы трубитъ: государство, mon cher!—c'est sacrrrré! Навѣрное, въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожій пирогъ!»

Эти слова М. Е. Салтыкова, сказанныя имъ въ своемъ «Монрепо», если ихъ широко понимать, могли-бы послужить эпиграфомъ къ его замѣчательнѣйшему произведенію — замѣчательнѣйшему, какъ въ психологическомъ, такъ и въ художественномъ смыслѣ: — «Господамъ Головлевымъ».

Передъ нами исторія дворянской семьи съ довольно значительною собственностью, семьи, которая могла-бы

послужить «однимъ изъ твердыхъ камней въ основахъ государственнаго зданія». Но авторъ не даромъ замѣчаетъ, что «бываютъ семьи, надъ которыми тяготѣетъ какъ-бы обязательное предопредѣленіе»,—предопредѣленіе къ тому, чтобы, вмѣсто поддержки собою чего-либо, только внутренно подгнивать, распадаться и уноситься прахомъ. «Особливо это замѣчается,—говоритъ авторъ,—въ средѣ той мелкой дворянской сошки, которая, безъ дѣла, безъ связи съ общей жизнью и безъ правящаго значенія, сначала ютилась подъ защитой крѣпостного права, разсѣянная по лицу земли русской, а нынѣ уже безъ всякой защиты доживаетъ свой вѣкъ въ разрушающихся усадьбахъ. Въ жизни этихъ жалкихъ семей и удача и неудача—все какъ-то слѣпо, не гадано, не думано».

Вотъ съ одной изъ подобныхъ семей и знакомитъ насъ авторъ, начавъ свою хронику еще съ послѣднихъ лѣтъ издыхающаго крѣпостного права. «Въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній,—говоритъ онъ,—три характеристическія черты проходили черезъ исторію этого семейства: праздность, непригодность къ какому-бы то ни было дѣлу и запой. Первыя двѣ приводили за собой пустословіе, пустомысліе и пустоутробіе, послѣдній—являлся какъ-бы обязательнымъ заключеніемъ общей жизненной неурядицы... Головлевская семья навѣрное захудала-бы окончательно, если-бы посреди этой пьяной неурядицы случайнымъ метеоромъ не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергіи, довела уровень благосостоянія семьи до высшей точки, но, и за всѣмъ тѣмъ, ея трудъ пропалъ даромъ, потому что она не только не передала своихъ качествъ никому изъ дѣтей, а, напротивъ, сама умерла, опутанная со всѣхъ сторонъ праздностью, пустословіемъ, и пустоутробіемъ». Арина Петровна,—это въ своемъ родѣ женщина-министръ, это, такъ-сказать, государственный умъ, какъ-бы посланный самою судьбою на спасеніе Головлевщинѣ, но на повѣрку оказывающійся не только запоздавшимъ, но и въ сущности все-же не такъ принимающимся за дѣло. Какъ это ни покажется, можетъ-быть, страннымъ, но

вся разгадка въ томъ, что эта въ своемъ родѣ Арина Великая, какъ и могучій преобразователь, котораго имѣлъ въ виду Хомяковъ, вполнѣ поработивъ семьѣ свою личность, не хотѣла или даже и не могла въ то-же время вспомнить, что «тамъ только сила, гдѣ любовь, а любовь только тамъ, гдѣ личная свобода».

Мужъ ея, «человѣкъ легкомысленный и пьяненькій», еще съ молоду былъ извѣстенъ «своимъ безалабернымъ и озорнымъ характеромъ... Велъ онъ жизнь праздную и бездѣльную, чаще всего запирался у себя въ кабинетѣ, подражалъ пѣнью скворцовъ, пѣтуховъ и т. п. и занимался сочиненіемъ такъ-называемыхъ «вольныхъ стиховъ». Въ минуты откровенныхъ изліяній, онъ хвастался тѣмъ, что былъ другомъ Баркова, и что послѣдній, будтобы, даже благословилъ его на одрѣ смерти». Было, стало быть, и своего рода соприкосновеніе къ культурѣ. Подъ конецъ, однако, при мысли о загробной жизни, онъ «отрекся отъ Баркова и всѣхъ дѣлъ его», но за то и не думалъ отречься отъ барскаго своего достоинства. Смерть настигла его уже «въ самый развалъ комитетовъ», но все-же до рокового исхода ихъ дѣятельности. Послѣднія слова его поэтому были: «благодарю моего Бога, что не допустилъ меня, на ряду съ холопами, предстать предъ лицо Свое». Про отношенія между нимъ и Ариной Петровной авторъ говоритъ: «мужъ называлъ жену «вѣдьмой» и «чортомъ», жена называла мужа «вѣтренною мельницей» и «безструнной балалайкой». Находясь въ такихъ отношеніяхъ, они «пользовались совмѣстною жизнью въ продолженіе слишкомъ сорока лѣтъ и никогда ни тому, ни другому не приходило въ голову, чтобы подобная жизнь заключала въ себѣ что-либо противоестественное».

Съ Ариной Петровной знакомимся мы еще при жизни ея благовѣрнаго. Это «женщина лѣтъ шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей волѣ... Сказавши себѣ разъ навсегда, что мужъ ей не товарищъ, она все вниманіе свое устремила исключительно на одинъ предметъ: на округленіе Головлевскаго имѣнія, и дѣйстви-

тельно, въ теченіе сорокалѣтней супружеской жизни, успѣла удесятерить свое состояніе». — Все лежало на ней на одной; дѣти, и давно уже сдѣлавшись взрослыми, не допускались ни до какихъ семейныхъ дѣлъ. Все—для нихъ, но помимо ихъ; все для нихъ — но заботливо-черство, заботливо-холодно. «У нея, — поясняетъ авторъ,— была слишкомъ незавѣсимая, такъ-сказать, холостая натура, чтобы она могла видѣть въ дѣтяхъ что-нибудь, кромѣ лишней обузы». Эту обузу она несла добросовѣстно, но безъ любви; была-бы любовь, не было-бы, разумѣется, и обузы, а было-бы благое материнское иго и легкое материнское бремя. Но Арина Петровна, «тогда только и дышавшая свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предпріятіями», хотя и ходила, по должности, въ церковь, такъ-таки совсѣмъ и не домекала, что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ». Понятно, какія отношенія къ ней должны были установиться у ея дѣтей—подданныхъ, дѣтей—подчиненныхъ. «Всю-то жизнь,—замѣчаетъ авторъ, — она что-то устраивала, надъ чѣмъ-то убивалась, а оказывается, что убивалась надъ призракомъ. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нея съ языка; во имя семьи она однихъ казнила, другихъ награждала; во имя семьи она подвергала себя лишеніямъ, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдругъ выходитъ, что семьи-то у нея нѣтъ!» Нѣтъ, не потому, чтобы ея вдругъ не стало, а нѣтъ потому, что Арина Петровна только вдругъ спохватилась, что ея никогда и не было. Въ этомъ призракѣ семьи никогда не было «живой души», не было «образа Божія», потому что «любви» не было.

Арина Петровна, надо, однако, замѣтить, казнила сначала милостиво; она начинала съ того, что постылому члену семьи «выбрасывала кусокъ», т.-е. выдѣляла ему часть—даже въ видѣ «родительскаго благословенія», но съ тѣмъ, чтобы получившій эту часть самъ становился затѣмъ уже разъ навсегда «отрѣзаннымъ ломтемъ». Такъ оно было съ ея старшимъ сыномъ и съ дочерью.

Старшій, или Степка балбесъ, какъ она его назы-

вала, имѣлъ несчастье родиться «даровитымъ малымъ», слишкомъ охотно и быстро воспринимавшимъ впечатлѣнія, которыя вырабатывала окружающая «среда». Переимъ у отца его неистощимую проказливость, онъ скоро сдѣлался любимцемъ отца. Частенько «отецъ и подростокъ-сынъ удалялись въ кабинетъ, украшенный портретомъ Баркова, читали стихи вольнаго содержанія и судачили, при чемъ въ особенности доставалось «вѣдьмѣ», т.-е. Аринѣ Петровнѣ». А «вѣдьма» на цыпочкахъ подходила къ кабинетной двери и подслушивала (своеобразный педагогическій пріемъ, нерѣдко практиковавшійся въ такъ-называемыхъ «образцовыхъ семьяхъ» добраго стараго времени). Затѣмъ слѣдовало немедленное и жестокое избіеніе Степки-балбеса. Но Степка не унимался: онъ не былъ чувствителенъ ни къ побоямъ, ни къ увѣщаніямъ и черезъ полчаса опять принимался куралесить... «Убить тебя надо,—постоянно твердила ему Арина Петровна,—убію, и не отвѣчу! И царь меня не накажетъ за это!» Она-бы, конечно, готова была сказать, что не накажетъ и Богъ, потому что не только царя, но и Бога она создавала себѣ по образу и подобію своему.

При такой домашней подкладкѣ Степка, конечно, безъ пользы пропелъ и черезъ университетское горнило. Въ нашей литературѣ онъ долженъ умножить собою ту коллекцію университетскихъ неудачниковъ, съ которою насъ уже познакомили другіе наши писатели. Онъ, однако, получилъ дипломъ, что заставило Арину Петровну только пожать плечами, говоря: «дивлюсь!» Когда-же, несмотря на дипломъ, Степка скоро прогулялъ и выброшенное ему, въ видѣ куска, «родительское благословеніе», то долженъ былъ очутиться, волею той-же матери, въ своего рода одиночномъ заключеніи — въ деревенской конторѣ — чуть-ли не на хлѣбѣ и водѣ. Тутъ въ его воображеніи сталъ мелькать «безконечный рядъ безразсвѣтныхъ дней, утопающихъ въ какой-то зіяющей сѣрой пропасти». «Отнынѣ, думалось ему, онъ будетъ одинъ-на-одинъ со злою старухой, и даже не злою, а только оцѣпенѣлою въ апатіи властности. Эта старуха заѣстъ его, за-

ѣстъ не мучительствомъ, а забвеніемъ». Въ мучительствѣ все-таки было-бы сердце,—въ забвеніи—голое безсердечіе. Жутко стало ему, когда онъ «очутился на Головлевской землѣ, на той постылой землѣ, которая родила его постылымъ, выкормила постылымъ, выпустила постылымъ на всѣ четыре стороны и теперь постылаго-же принимаетъ его вновь въ свое лоно. «Гробъ, гробъ, гробъ!—повторялъ онъ безсознательно про себя», — и слова эти, правду сказать, гораздо болѣе тутъ умѣстны, чѣмъ въ устахъ владѣльца Монрепо, или-же самого Щедрина. Но «гробъ» этотъ—все-же гробъ не буквальный, а иносказательный, т.-е. такой, въ которомъ нельзя задохнуться сразу. А потому несчастному Степкѣ-балбесу и приходится искусственно ускорить процессъ умиранія тѣмъ, способность къ чему заключалась уже въ семейныхъ преданьяхъ—запоемъ, запоемъ безстрастнымъ, тупымъ, запоемъ ради того, до чего онъ доводитъ—ради возможности, наконецъ, «совсѣмъ не думать».

Другимъ опальнымъ лицомъ у матери сдѣлалась дочь. Дѣло въ томъ, что когда она вышла изъ института, Арина Петровна «поселила ее въ деревнѣ въ чаяніи сдѣлать изъ нея даровою домашняго секретаря и бухгалтера, а вмѣсто того Аннушка въ одну прекрасную ночь бѣжала изъ Головлева съ корнетомъ Улановымъ и повѣнчалась съ нимъ». (Конечно ради того, чтобы освободиться изъ-подъ домашняго гнета). И ей, если угодно, не безъ великодушія—«выброшенъ былъ кусокъ», тогда какъ въ случаяхъ такого неповиновенья родительской волѣ, по традиціонному семейному уставу, принято даже вовсе лишать непослушныхъ «родительскаго благословенія», хотя-бы и такого тощаго, какъ то, какое досталось Аннушкѣ. «Благословенье» пошло не въ прокъ. «Года черезъ два молодые капиталъ прожили, и корнетъ неизвѣстно куда бѣжалъ, оставивъ Анну Владиміровну съ двумя дочерьми-близнецами...» Затѣмъ и сама Анна Владиміровна черезъ три мѣсяца скончалась и Арина Петровна, волей-неволей, должна была пріютить круглыхъ сиротъ у себя. «Какъ жила твоя сестрица безпутно, ни-

сала она сыну Порфирію Владиміровичу, такъ и умерла, покинувъ мнѣ на шею своихъ двухъ щенковъ». Но многимъ настоящимъ щенкамъ живется, конечно, привольнѣе, теплѣе, чѣмъ этимъ двумъ дѣвочкамъ подъ бабушкинымъ кровомъ. Понятно, что, ставъ на ноги, «щенки» унеслись на волю...

Въ полную опалу не попалъ, но за то и милостью никогда не пользовался младшій сынъ Павелъ, ставшій подъ домашнимъ гнетомъ «полнѣйшимъ олицетвореніемъ человѣка, лишеннаго какихъ-бы то ни было поступковъ...» «Можетъ быть, онъ былъ добръ, но никому добра не сдѣлалъ: можетъ быть, былъ и не глупъ, но во всю жизнь ни одного умнаго поступка не совершилъ». Его ставало развѣ на то, чтобы по-временамъ подпускать шпильки. «Глупъ, глупъ,—оцѣнивала его по-своему Арина Петровна,—а смотри, какъ исподтишка мать козыряетъ». Случалось съ нимъ, впрочемъ, иной разъ и то, что онъ даже не исподтишка, а открытымъ налетомъ вдругъ огорошивалъ средняго, любимаго сына къ семьѣ, Порфирія Владиміровича или, какъ называлъ его Степка-балбесъ, «Іудушку-кровопивушку»...

«Любимымъ» въ прямомъ смыслѣ слова, впрочемъ, и Порфирій не былъ. По семейному уставу Арины Петровны вовсе не полагалось любви. Это именно у нея *не полагалось*—въ особыхъ видахъ ея, такъ-сказать, государственной мудрости. Любовь мягчитъ,—отъ нея невольно ослабились-бы тѣ вожжи, въ которыхъ, по понятію Арины Великой, заключалось все. Что въ ней однако-же билось въ извѣстномъ смыслѣ человѣческое сердце, это видно изъ того, какъ она разглядываетъ замыслы «Іудушки-кровопивушки» — когда-нибудь, послѣ ея смерти, облупить и вовсе сбыть съ рукъ опальнаго Степку-балбеса. «Ненавистникъ онъ мнѣ,—говоритъ она своему «любимцу» Порфирію,—всю жизнь онъ меня казнилъ да позорилъ... а все-таки, если ты его за порогъ выгонишь или въ люди запретишь идти — нѣтъ тебѣ моего благословенія!» Сердце слышно у нея и въ ту пору, когда она тщетно пытается склонить «неспособнаго ни на какіе поступки» Павла

Владиміровича на то, чтобъ онъ сдѣлалъ завѣщаніе въ пользу племянницъ, которыхъ безъ этого непремѣнно обидитъ Порфирій Владиміровичъ. Въ неоднократной ея угрозѣ Порфирію: «а что, ежели... прокляну?» слышится не только *власть*, которая всегда въ правѣ милость преложить на гнѣвъ, но и сердечный позывъ на правосудіе... И когда Порфирій, одного сына уже доведшій до самоубійства, отказываетъ другому въ денежной помощи въ самую критическую минуту, Арина Петровна приводитъ угрозу свою въ исполненіе, не сдержавъ своего сердца ретиваго... А вѣдь въ это время она была уже не прежняя государыня въ домѣ, она уже сдалась, опустилась, но тутъ она чувствуетъ себя *правою*, и собственно потому снова чувствуетъ себя *властью*...

Если-бы власть ея и всегда опиралась только на правду, то она бы и не боялась, какъ бы не ослабѣть, не размякнуть, и не заговаривала бы въ себѣ порывовъ сердца.... Но она такъ долго лелѣяла власть ради ея самой, боясь постоянно заговора противъ этой, ей милой, власти, и, ради поддержки ея, не гнушаясь подслушиваніемъ съ одной, рукопашной расправой съ другой стороны... Уже сдавшись и опустившись передъ «Іудушкой», она все еще прибѣгаетъ къ прежнимъ средствамъ, чтобы не дать ему совершенно восторжествовать, и его же собственныхъ дѣтей научаетъ подслушивать у дверей и ей на него доносить... Но у Іудушки, вышедшаго изъ ея же школы, съ своей стороны были пущены въ дѣло тѣ же самыя средства.... Онъ во всемъ переключалъ мать, только ея проклятія и боясь, но и его-то боясь чисто внѣшнимъ образомъ, ради огласки и послѣдствій его для себя... Когда же проклятіе вырвалось у нея изъ слабой старческой груди какимъ-то жалобнымъ стономъ, и оно потеряло для него всякій вѣсъ...

Познакомивъ насъ съ Ариной Петровной въ первомъ разсказѣ во всей порѣ ея полновластія, когда она одна командовала въ Головлевѣ и Головлевыми,—авторъ начинаетъ свой второй разсказъ уже десять лѣтъ спустя, замѣчая: «положенія дѣйствующихъ лицъ до того измѣ-

нился, что не осталось и слѣда тѣхъ искусственныхъ связей, благодаря которымъ Головлевская семья представлялась чѣмъ-то въ родѣ неприступной крѣпости». Такъ оно рано или поздно бываетъ и съ государствами, сразу испытывающими надъ собою, по чисто Головлевскимъ причинамъ, и чисто Головлевскій погромъ, оставляющій по себѣ такую общую деморализацію, передъ которою долго оказываются безсильными всякаго рода преобразованія....

«Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незамѣтно, что она, сама не понимая, какъ это случилось, сдѣлалась соучастницей и даже явнымъ двигателемъ этого разрушенія, настоящею душою котораго былъ, разумѣется, Порфишка-кровопивецъ. Изъ безконтрольной и бранчивой обладательницы Головлевскихъ имѣній Арина Петровна сдѣлалась скромной приживалкой въ домѣ младшаго сына («глупаго» и нелюбимаго Павла), приживалкой праздной и не имѣющей никакого голоса въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ. Голова ея поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сдѣлалась вялою, порывистость движеній пропала».

Переломъ совершился въ ней подъ вліяніемъ обстоятельствъ времени. «Первый ударъ властности Арины Петровны былъ нанесенъ не столько отмѣной крѣпостного права, сколько тѣми приготовленіями, которыя предшествовали этой отмѣнѣ... Арина Петровна какъ-то вдругъ выпустила изъ рукъ бразды правленія и, въ теченіе двухъ лѣтъ, только и дѣлала, что съ утра до вечера восклицала: «хоть бы что-нибудь одно—панъ, либо пропалъ! а то: первый призывъ! второй призывъ! Ни Богу свѣча, ни чорту кочерга!»

Моментъ этотъ какъ разъ и сумѣлъ подстеречь Порфишка-кровопивецъ. Состоя еще въ то время на службѣ въ Петербургѣ, онъ по письмамъ матери усмотрѣлъ, что она «больше всего уповала на Божью помощь». «Іудушка инстинктомъ понялъ, что ежели маменька начинаетъ уповать на Бога, то это значитъ, что въ ея су-

ществованіи кроется нѣкоторый изъянъ». Передъ концомъ эманципаціоннаго дѣла онъ посѣтилъ Головлево. Она собиралась выстроить себѣ избушку «на папенькиной могилкѣ», или же уединиться у Троицы-Сергія.—«А имѣніями кто-же распоряжаться будетъ?»—возразилъ осторожно Іудушка, словно закидывая удочку.—«Не погнѣвайтесь, и сами распорядитесь! слава Богу, припасла! Не все мнѣ одной тяготы носить...» Тутъ «Арина Петровна словно споткнулась и подняла голову. Въ глаза ей бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Іудушки, все словно масломъ подернутое, все проникнутое какимъ-то плотояднымъ внутреннимъ сіяніемъ.—«Да ты никакъ ужь хоронить меня собрался!—сухо замѣтила она:—не рано ли, голубчикъ, не ошибись!..»

Вышло такъ, что къ Троицѣ-Сергію она не уѣхала, а имѣнье раздѣлила, оставивъ себѣ только капиталъ. При этомъ Порфирію Владиміровичу была выдѣлена лучшая часть, а Павлу Владиміровичу похуже.

Кончилось же тѣмъ, что, все попрежнему предоставляя «во власть другу маменькѣ», Іудушка все прибралъ къ рукамъ, а старушка переѣхала къ нелюбимому, который, подобно старшему, умеръ у нея на глазахъ отъ запоя.

Но вѣдь и Іудушку, въ сущности, она никогда не любила, а «словно побаивалась». Ей еще какой-то блаженный предсказывалъ передъ его рожденьемъ, что «насѣдкѣ отъ этого пѣтушка солоно придется». А между тѣмъ, уже съ младенческихъ лѣтъ «любилъ онъ приласкаться къ милому другу маменькѣ, украдкой поцѣловать ее въ плечико, а иногда и слегка пощалунничать. Неслышно отворитъ, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется, въ уголокъ сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами. Но Арина Петровна уже тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ сыновнимъ заискиваніямъ. И тогда этотъ пристально устремленный на нее взглядъ казался ей загадочнымъ, и тогда она не могла опредѣлить себѣ, что

именно онъ источаетъ изъ себя: ядъ или сыновнюю почтительность».

А между тѣмъ, именно этотъ Порфиша и заслуживалъ все болѣе и болѣе ея милость. Его братья не хотѣли ее знать—одинъ, увиваясь со своими шалостями около стараго шалопая—отца, другой, нелюдимо поглядывая на нее изъ-подлобья или даже подпуская ей шпильки. То и другое значило—уклониться изъ-подъ ея власти или даже прямо идти противъ нея. Одинъ Порфиша безусловно сдавался, даже прямо льнулъ подъ ея крыло; одинъ Порфиша уже съ дѣтства поддерживалъ ея власть своимъ услужливымъ взглядомъ и словомъ. Она понимала, что это не даромъ, что тутъ есть расчетъ въ ея пользу, какъ понимаютъ и государственные дѣятели, что заискивающіе въ нихъ заискиваютъ не спроста. Но властнымъ людямъ вѣдь непріятно, когда въ нихъ не ищутъ... Можетъ быть и побрезгивая заискиваніемъ, они не сторонятся отъ него...

Авторъ въ типѣ Порфирія Владиміровича проявилъ глубокую психологическую наблюдательность и истинно творческую силу. Типъ этого рода не рѣдокъ во всякой литературѣ, но у г. Салтыкова онъ вышелъ со своимъ совершенно особеннымъ пошибомъ. «Не надо думать,—говоритъ онъ,—что Іудушка былъ лицемѣръ въ смыслѣ, напримѣръ, Тартюфа или любого современнаго французскаго буржуа, соловьемъ разсыпающагося по части общественныхъ основъ. Нѣтъ, ежели онъ и былъ лицемѣръ, то лицемѣръ чисто-русскаго пошиба, т.-е. просто человѣкъ, лишенный всякаго нравственнаго мѣрила и не знающій иной истины, кромѣ той, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ... Во Франціи лицемѣріе вырабатывается воспитаніемъ, составляетъ, такъ-сказать, принадлежность «хорошихъ манеръ», и почти всегда имѣетъ яркую политическую или соціальную окраску. Есть лицемѣры религіи, лицемѣры общественныхъ основъ, собственности, семейства, государственности, а въ послѣднее время народились даже лицемѣры порядка». Все это, позволимъ себѣ замѣтить, существуетъ въ извѣст-

номъ видѣ и у насъ или, по крайней мѣрѣ, начинаетъ существовать; только Іудушка, конечно, тутъ не причемъ, это «не его ума дѣло».—«Въ понятіяхъ француза-буржуа,—продолжаетъ нашъ авторъ,—вселенная есть не что иное, какъ обширная сцена, гдѣ дается безконечное театральное представленіе, въ которомъ одинъ лицемѣръ подаетъ реплику другому..... Мы, русскіе, не имѣемъ сильно окрашенныхъ системъ воспитанія. Насъ не муштруютъ, изъ насъ не вырабатываютъ будущихъ поборниковъ и пропагандистовъ тѣхъ или другихъ общественныхъ основъ, а просто оставляютъ расти, какъ крапива ростетъ у забора. Поэтому между нами очень мало лицемѣровъ и очень много лгуновъ, пустосвятовъ и пустослововъ». Вотъ къ нимъ-то и долженъ быть отнесенъ Іудушка.

Часто онъ именно только пустосвятъ, но при этомъ даже ни мало не лгунъ. Вспомнимъ, какъ онъ, сидя за самоваромъ, во время метели, въ отвѣтъ на замѣчаніе матери: «не хорошо теперь въ полѣ», говоритъ: «Кому не хорошо, а намъ горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а намъ и свѣтлехонько и теплехонько. Сидимъ да чаекъ попиваемъ... А отъ чего это такъ? Отъ того, милый другъ маменька, что милость Божія не оставляетъ насъ. Кабы не Онъ, Царь Небесный, — можетъ, и мы бы теперь въ полѣ плутали и было бы намъ и темненько и холодненько». Лицемѣритъ онъ тутъ или хоть просто лжетъ? Ни мало. Не лицемѣрилъ же юноша Карамзинъ, когда твердо увѣровалъ послѣ того, когда набѣжавшій на него медвѣдь былъ вдругъ убитъ молніей [1]). Такая чисто эгоистическая подкладка религіознаго чувства просто объясняется тѣмъ избыткомъ эгоизма, какимъ было запечатлѣно наше барское воспитаніе. Если Іудушка «былъ набоженъ и охотно посвящалъ молитвѣ нѣсколько часовъ», то обманывалъ-ли онъ при этомъ людей и разсчитывалъ-ли обмануть Бога? — Опять ни мало. Онъ молился, конечно, «не потому, чтобы

[1]) См. его неоконченный Романъ: «рыцарь нашего времени».

любилъ Бога и надѣялся, посредствомъ молитвы, войти въ общеніе съ нимъ», но несомнѣнно потому, «что боялся сорта» (въ самомъ дѣлѣ непритворно боялся) и надѣялся (непритворно надѣялся), что Богъ избавитъ его отъ лукаваго». И въ этомъ отношеніи онъ только оставался по своему эгоистомъ-практикомъ, какъ и во всемъ другомъ. Потому-то онъ и «зналъ множество молитвъ и, въ особенности, отлично изучилъ технику молитвеннаго стоянія... И глаза, и носъ его краснѣли и увлажнялись въ опредѣленныя минуты, на которыя указывала ему молитвенная практика» [1]). Понятно, конечно, что при этомъ «молитва не обновляла его, не просвѣтляла его чувства, не вносила никакого луча въ его тусклое существованіе. Онъ могъ молиться и продѣлывать всѣ нужныя тѣлодвиженія и, въ то же время, смотрѣть въ окно и замѣчать, не идетъ-ли кто безъ спросу въ погребъ, и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсѣмъ независимо отъ общей жизненной формулы».

Несмотря на его «религіозность» (эту твердую основу и это озаряющее начало семьи), взаимныя отношенія между нимъ и его сыновьями оставались всегда таковы, что «ихъ нельзя было даже назвать натянутыми», а между ними «совсѣмъ какъ бы ничего не существовало». Когда при пріѣздѣ сына Петиньки Іудушка замѣчаетъ ему, что онъ «не ласковъ», то онъ вовсе не требуетъ отъ сына *лицемѣрія*, а требуетъ только соблюденія *обряда*, такъ-сказать, *техники* отношеній между отцомъ и дѣтьми. Эту технику самъ онъ исполняетъ отлично: и сладкихъ словъ наговоритъ съ три короба и, при отъѣздѣ, самъ укутаетъ ноги сынку. Іудушкѣ въ самомъ дѣлѣ кажется, что въ этомъ и все.

Положительно считая себя такимъ отцомъ, который исполняетъ все, что требуется отъ отца, такъ-сказать, по уставу, онъ считаетъ себя такимъ же исполнитель-

---

[1]) Въ этомъ отношеніи онъ прямо напоминаетъ «кузину Машеньку», или же «сказать».

нымъ, даже до педантизма исполнительнымъ сыномъ. Если онъ сладко называетъ маменьку своимъ «милымъ другомъ» и цѣлуетъ у нея ручки въ засосъ, то это не лицемѣріе, а только одно «пустословіе и пустоутробіе». Ему, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что это и значитъ «чтить отца своего и матерь свою». Дѣло въ томъ, что, понимая Бога по-своему, по-житейскому, онъ и заповѣди способенъ сводить на одно «пустословіе». Это въ томъ, что ими *требуется отъ него*. Напротивъ, въ томъ, что обѣщано за соблюденіе ихъ, онъ прямо ожидаетъ примѣненія къ дѣлу и примѣненія немедленнаго. Если онъ прибираетъ все къ рукамъ отъ «ангела маменьки», то вѣдь это, пожалуй, въ видѣ полученія обѣщаннаго за почтительность къ ней: «да благо ти будетъ и долголѣтенъ будеши на землѣ». Конечно, онъ ничего не имѣетъ и противъ долголѣтія маменьки, облегченной отъ всякой правительственной обузы и проживающей на покоѣ, проживающей, послѣ смерти брата Павла, даже опять у него — на его грибкахъ и варенцѣ и на всей полнотѣ его сыновнихъ ласокъ. Онъ вовсе и уже давно не нуждается въ «ангелѣ маменькѣ», однако, онъ ее бережетъ; такъ онъ-ли не добрый сынъ? Если, думая это, онъ кого-нибудь обманываетъ, то прежде всего самого себя. Когда онъ доводитъ маменьку до того, что она его проклинаетъ, то онъ просто не видитъ достаточнаго основанія на то, чтобы она привела въ исполненіе эту старую свою угрозу, угрозу, которую объяснялъ онъ, конечно, не чѣмъ инымъ, какъ властнымъ, а потому и грознымъ правомъ, въ сущности, доброй маменьки, не даромъ же и слывшей у него подъ именемъ «ангела». Если же этотъ ангелъ не только грозилъ проклятіемъ, но наконецъ и въ самомъ дѣлѣ проклялъ его, то онъ объясняетъ это тѣмъ, что у бѣдной старушки уже давно въ головѣ неладно. И за что, въ самомъ дѣлѣ, было ей проклинать его? Развѣ Петинька не самъ былъ во всемъ виноватъ? Развѣ и Володинька не потому лишилъ себя жизни, что не вѣрилъ въ Бога? Слѣдовали бы примѣру отца — и Богъ бы посылалъ имъ не испытанія, а одну тишину да

покой. Вѣдь только дорожа этимъ Божьимъ даромъ, онъ и устранялъ себя отъ ихъ мірской суеты. Въ сущности, разумѣется, это значило, что онъ только «по уши погрязъ въ тину мелочей самаго поскуднаго самосохраненія». Но онъ не понималъ именно всей *суеты* этого, какъ не понимаетъ того и цѣлое множество людей, отрѣшившихся отъ всего живого. «Нѣтъ у нихъ, — говоритъ авторъ,—дружескихъ связей, потому что для дружества необходимо существованіе общихъ интересовъ; нѣтъ и дѣловыхъ связей, потому что даже въ мертвомъ дѣлѣ бюрократизма они высказываютъ какую-то совершенно нестерпимую мертвенность». Іудушка прямо принадлежалъ къ этимъ людямъ.

Когда умерла Арина Петровна, «онъ не понималъ, что открывшаяся передъ его глазами могила уносила послѣднюю связь его съ живымъ міромъ, послѣднее живое существо, съ которымъ онъ могъ дѣлить прахъ, наполнявшій его, и что отнынѣ этотъ прахъ, не находя для себя истока, будетъ накопляться въ немъ до тѣхъ поръ, пока окончательно не задушитъ его».

Но вѣдь ему остается его Евпраксеюшка? Да, но съ нею даже и праха дѣлить нельзя, а можно только чаекъ попивать, да... «не молебны, конечно, служить», какъ онъ выражается. Вотъ это-то обстоятельство, что онъ съ нею «не молебны служитъ», сколько тутъ ни прибѣгай къ объясненію, что «духъ бодръ, а плоть немощна», все же служитъ живою уликою въ томъ, что онъ не соблюдаетъ и самой буквы «устава». Вѣдь «это» по «уставу» совсѣмъ ужъ не полагается. Когда приходятъ ему докучать вѣстями о «состояніи здоровья» Евпраксеюшки, ему должно быть очень неловко стоять, какъ и часто въ случаяхъ отлыниванья, на молитвѣ: «убирайтесь, дескать,—болѣе важнымъ занятъ». А къ нему докучливо пристаютъ. «Докторъ я, что-ли,—отмахивается онъ,—совѣтъ что-ли дать могу? Да не знаю я, никакихъ вашихъ дѣль не знаю! Знаю, что въ домѣ больная есть, а чѣмъ больна и отчего больна — объ этомъ и узнавать, признаться, не любопытствовалъ! Вотъ за батюшкой по-

слать, коли больная трудна—это я присовѣтовать могу!» Но вѣдь и тутъ онъ только нагло лжетъ и отмахивается отъ заботы обычнымъ своимъ пустословіемъ. Еслибъ его и хватало на настоящее лицемѣріе, то развѣ тутъ «слицемѣришь?»

Но вотъ—улика на лицо—несутъ ему что-то живое, укутанное. «Матка-те, поглядитко-те», — говорятъ ему. «Іудушку на мгновеніе словно бы поколебало, даже корпусъ его попятнулся впередъ, и въ глазахъ блеснула какая-то искорка». Но это было у него точно такъ же только на мгновеніе, какъ и та искра, которая было мелькнула и сейчасъ погасла у Гоголевскаго Плюшкина. «Вслѣдъ за тѣмъ Іудушка уже брезгливо отвернулъ свое лицо отъ младенца и обѣими руками замахалъ въ его сторону: «нѣтъ, нѣтъ! боюсь я ихъ... не люблю! ступай, ступай!»— лепеталъ онъ, выражая всѣмъ лицомъ своимъ безконечную гадливость». Между тѣмъ, когда сказали ему, что младенца Владиміромъ назвали, вдругъ шевельнулась въ немъ мысль: «одного Володьку Богъ взялъ, другого далъ. Вотъ онъ — Богъ-то!» Да, но вѣдь этотъ новый Володька— только новая обуза, а и старую-то каково было нести? Но вѣдь этотъ еще — и улика. Не надо! Отправить новаго Володьку въ воспитательный — съ номерочкомъ, конечно, чтобы можно было сыскать, если вздумается.

Но, какъ ни глупа Евпраксеюшка, а все она—мать, и ума у нея хватаетъ, чтобы не давать болѣе Іудушкѣ попрежнему «гноить ее пустословіемъ». Она постарается и сама его теперь сгноитъ, совершенно сгноитъ —жалобой, да угрозой, что уѣдетъ отъ него въ Москву отыскивать своего ребенка, еще же болѣе его сгноитъ нерадѣньемъ о немъ и запрыванъемъ со всѣми. Она заброситъ его, оставитъ безпомощнымъ, а если онъ самъ во всю свою жизнь никому—сохрани Богъ!—не помогалъ, то постоянно нуждался въ помощи, въ уходѣ за собой, въ заботѣ.

И вотъ—заброшенный Іудушка забился къ себѣ въ кабинетъ. Тутъ за то «онъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ, имѣющимъ возможность праздномыслить, сколько

душѣ угодно. Подобно тому, какъ оба брата его умерли, одержимые запоемъ, такъ точно и онъ страдалъ тою же болѣзнью. Только это былъ запой иного рода—запой праздномыслія. Но погодите—къ нему присоединится, наконецъ, и самый обыкновенный—ведущій къ безмыслію».

«Запершись въ кабинетѣ и засѣвши за письменный столъ, онъ съ утра до вечера изнывалъ надъ фантастической работой... перебиралъ, одну за другой, всѣ отрасли своего хозяйства: лѣсъ, скотный дворъ, хлѣбъ, луга и пр. и на каждой созидалъ узорчатое зданіе фантастическихъ притѣсненій, сопровождаемыхъ самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общія бѣдствія, и пріобрѣтеніе цѣнныхъ бумагъ—словомъ сказать, цѣлый запутанный міръ праздныхъ помѣщичьихъ идеаловъ... Затѣмъ, когда утомленная мысль уже не въ силахъ была слѣдить съ должнымъ вниманіемъ за всѣми подробностями спутанныхъ выкладокъ по операціямъ стяжанія, онъ переносилъ арену своей фантазіи на вымыслы болѣе растяжимые. Припоминалъ всѣ столкновенія и пререканія, какія случались у него съ людьми... Онъ мстилъ мысленно бывшимъ сослуживцамъ своимъ по департаменту, которые опередили его по службѣ... мстилъ сосѣдямъ по имѣнію, которые давали отпоръ его притязаніямъ и отстаивали свои права... мстилъ маменькѣ Аринѣ Петровнѣ за то, что она просадила много денегъ на устройство Погорѣлки (имѣнья его сиротъ племянницъ), денегъ, которыя «по всѣмъ правамъ» слѣдовали ему: мстилъ братцу Степкѣ-балбесу за то, что онъ прозвалъ его Іудушкой... мстилъ живымъ, мстилъ мертвымъ».

Отъ мечтаній по части всеобщей расправы онъ опять переходитъ на стяжательную почву. «Все растущее и произрастающее на его землѣ, сѣянное и не сѣянное, обращается въ деньги по разнотѣ и при томъ со штрафомъ. Всѣ люди вдругъ сдѣлались порубщиками и потравщиками, и Іудушка не только не скорбитъ объ этомъ, но, напротивъ, даже руки себѣ потираетъ отъ удовольствія.

«Травите, батюшки, рубите! мнѣ же лучше»,—повторяетъ онъ совершенно довольный. И тутъ же беретъ новый листъ бумаги и принимается за выкладки и вычисленія»...

Въ идеалѣ имъ такимъ образомъ создается нѣчто, способное превзойти всевозможныхъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, и онъ съ гордостью могъ бы вызвать этихъ россійскихъ новоявленныхъ буржуа на состязанье съ собою—не унывшимъ и нашедшимся въ своемъ новомъ положеніи дворяниномъ-помѣщикомъ.

«Онъ знаетъ, что мужикъ всегда нуждается, всегда ищетъ занятій и всегда же отдаетъ безъ обмана и съ лихвой. Въ особенности щедръ мужикъ на свой трудъ, который «ничего не стоитъ», и на этомъ основаніи всегда, при расчетахъ, принимается ни во что, въ знакъ любви. Много таки на Руси нуждающагося народа, охъ, какъ много. Много людей, не могущихъ опредѣлить сегодня, что ждетъ ихъ завтра, много такихъ, которые, куда-бы ни обратили тоскливые взоры, вездѣ видятъ только безнадежную пустоту, вездѣ слышатъ только одно слово: отдай! отдай! И вотъ, вокругъ этихъ-то безнадежныхъ людей, около этой перекатной голи, стелетъ Іудушка свою безконечную паутину, по-временамъ переходя въ какую-то неистовую фантастическую оргію»...

Вотъ ему представляется Фока, пришедшій ржицы просить. А Іудушка, по обычаю, начинаетъ его «гноить словами». «И урожай-то не отъ насъ зависитъ, и не заслужили мы урожая, потому что пьянствуемъ, и надобно старшихъ чтить, которые отъ самихъ царей отличіе получили, помѣщиковъ, напримѣръ». И старое не позабываетъ, разумѣется, помянуть Порфирій Владиміровичъ, какъ онъ къ нимъ «на поклонъ приходилъ», а они отвѣчали: «самимъ жать надо. Нынче не прежнее время, чтобъ на господъ работать, нынче—воля».—«Воля,—злорадствуетъ онъ теперь,—а ржицы нѣтъ». Вызвавъ у Фоки льстивое замѣчаніе, что «при помѣщикахъ лучше было», Іудушка соглашается: «да, братъ, было ваше времячко, попраздновали! пожили! Всего было у васъ: и ржицы, и

сѣницъ и картофельцу! Ну, да что ужъ старое вспоминать! И, въ качествѣ незлопамятнаго, онъ, такъ ужъ и быть, готовъ уступить Фокѣ рѣницы, но, разумѣется, на такихъ условіяхъ, что Фоку начало коробить, но Фока — дѣлать нечего — соглашается. А чтобы ему въ этихъ галлюцинаціяхъ воспроизвесть передъ собою того мужичка, который, когда умеръ братецъ Павелъ Владиміровичъ, принесъ Іудушкѣ три рубля и сказалъ: «доликовъ за мной покойному Павлу Владиміровичу былъ. Зашибокъ промежду насъ не было — такъ вотъ!» Про другого онъ могъ, пожалуй, и не знать, про того, который, когда все съ себя спустилъ братецъ Стенька-балбесъ, провожая его, сказалъ: «давича, какъ ополченку вашу чистилъ, такъ три цѣлковенькихъ въ боковомъ карманѣ видѣлъ — не оброните какъ-нибудь ненарокомъ». А тому давно уже обронить-то рѣшительно было нечего...

Гдѣ-же, спрашивается, настоящіе-то устои — въ тѣхъ-ли, что, ссылаясь на милость Божью и умножая свою собственность, ограждаютъ, какъ говорятъ, государство посредствомъ обездоленія слабыхъ, или-же въ этой обездоленной мелкотѣ, не забывающей въ самомъ дѣлѣ ни Бога, ни ближняго?

Но авторъ дастъ намъ возможность провести и еще одну параллель. Когда Іудушка отказываетъ въ денежной помощи своему сыну Петенькѣ, растратившему казенныя деньги, его кузины Любинька и Аннинька, при помощи своихъ «кавалеровъ», устраиваютъ въ его пользу складчину. И тутъ опять — гдѣ устои? У Арины Петровны съ ея Іудушкой, изъ-подъ семейнаго крова которыхъ, съ его довольствомъ и съ его «благочестіемъ», бѣжали на провинціальную сцену эти Любинька да Аннинька, или-же у нихъ, которымъ «отпустятся ихъ многія прегрѣшенія», потому что они въ этомъ случаѣ «возлюбили много?»

Надъ судьбой этихъ сиротъ изъ Головлевскаго гнѣзда тоже стоитъ попризадуматься. «Великая вещь — жизнь труда, — говоритъ авторъ. — Но съ нею сживаются только сильные люди, да тѣ, которыхъ осудилъ на нее какой-то

проклятый прирожденный грѣхъ. Только такихъ онъ не пугаетъ. Первыхъ потому, что, сознавая смыслъ и ресурсы труда, они умѣютъ отыскивать въ немъ наслажденіе, вторыхъ — потому, что для нихъ трудъ есть прежде всего прирожденное обязательство, а потомъ и привычка».

Аннинька съ Любинькой, какъ натуры не слабыя, сжились-бы и съ тяжелымъ трудомъ, и нашли-бы въ немъ наслажденіе, но обстоятельства заставили ихъ, къ тому-же и подготовленныхъ только институтски, броситься на первый попавшійся трудъ, трудъ, пожалуй, и не тяжелый въ смыслѣ усидчивости и кропотливости, но за то оказавшійся именно проклятымъ трудомъ. Онъ сталъ для нихъ обязательствомъ, обратился, пожалуй, и въ привычку, а кончилось тѣмъ, что одна отравилась, подсунувъ тотъ-же стаканъ и другой, говоря: «ней-же, подлая», а другая, не выпивъ, вернулась туда, откуда бѣжала, чтобы тамъ отравить себя медленнымъ ядомъ— ихъ фамильнымъ запоемъ.

Мы такъ часто жалуемся на то, что у насъ бѣгутъ изъ семьи; но не задумываемся надъ тѣмъ, почему оно такъ? Не потому-ли, что во множествѣ случаевъ у насъ *нѣтъ семьи?*

У Аннинъки съ Любинькой была бабушка, да еще какая домовитая и заботливая! Но она создала вокругъ себя какое-то «государство», но никакъ уже не семью. Понали-бы наши бѣгляики, бѣжавъ изъ своего Головлева, не на странствующую сцену, а за какія-нибудь стѣны, гдѣ справляется добрая служба наукѣ, гдѣ звучитъ подчасъ вдохновенная учительская рѣчь, — и вернулись-бы онѣ въ свое Головлево съ тѣмъ, чтобы заложить въ немъ основу новой жизни, чтобы завести въ немъ семью, настоящую семью—и въ буквальномъ, и въ расширенномъ смыслѣ, включая въ понятіе о семьѣ и крестьянскихъ ребятъ—для прокормленія ихъ не только вещественнымъ, но и духовнымъ хлѣбомъ. Но имъ было суждено иное. И вотъ—одна такъ и не вернулась домой, а другая, вернувшись, съ отчаянія думала: «Головлево — это сама

смерть, злобная, пустоутробная: это смерть, вѣчно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тутъ умерли: двое двоюродныхъ братьевъ здѣсь получили «особенно тяжкія» раны, послѣдствіемъ которыхъ была смерть, наконецъ и Любинька... Хоть и кажется, что она умерла гдѣ-то въ Кречетовѣ, «по своимъ дѣламъ», но начало «особенно тяжкихъ» ранъ несомнѣнно положено здѣсь, въ Головлевѣ. Всѣ смерти, всѣ отравы, всѣ язвы — все идетъ отсюда. Здѣсь происходило кормленіе протухлой солониной, здѣсь впервые раздались въ ушахъ сиротъ слова: «постылые, нищіе, дармоѣды, ненасытныя утробы» и проч.; здѣсь ничто не проходило имъ даромъ, ничто не укрывалось отъ проницательнаго взора черствой и блажной старухи: ни лишній кусокъ, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмакъ. Всякое правонарушеніе немедленно возстановлялось или укоризной или шлепкомъ. И вотъ, когда онѣ получили возможность располагать собой и поняли, что можно бѣжать отъ этого наскудства, онѣ и бѣжали... туда! И никто не удержалъ ихъ отъ бѣгства, да и нельзя было удержать потому, что хуже, постылѣе Головлева не предвидѣлось ничего».

Но она опять въ немъ и невольно пріючивается къ этой дядиной Евпраксеюшкѣ въ качествѣ и ея повѣренной, и ея живой потѣхи.

«И вотъ, въ одну изъ такихъ наскудныхъ ночей, когда Аннинька лихо распѣвала передъ Евпраксеюшкой репертуаръ своихъ наскудныхъ пѣсенъ, въ дверяхъ комнаты вдругъ показалась изнуренная, мертвенно блѣдная фигура Іудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились и при тускломъ мерцаніи пальмовой свѣчи казались какъ-бы незрящими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь» (т.-е. онъ какъ-бы застылъ въ своей молитвенной позѣ). «Онъ постоялъ нѣсколько секундъ передъ обомлѣвшими женщинами и затѣмъ, медленно повернувшись, вышелъ».

Но съ этой минуты какая-то неразрывная связь завязалась между нимъ и племянницей. Ихъ связало ихъ

общее пустодомство и одиночество. Она вернулась къ нему, потому что ей дѣваться некуда; ему и у себя дома некуда себя подѣвать, потому что куда-же уйдешь отъ себя самого?

Скрѣпою ихъ совершенно особеннаго союза послужила та рюмка водки, которую онъ затѣмъ во время обѣда налилъ и ей. Съ этой поры онъ постоянно наливалъ не одному себѣ. Они оба запили — по головлевски запили.

«Оба сидѣли, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и бесѣдовали. Разговоръ, сначала безразличный и вялый, по мѣрѣ того, какъ голова разгорячалась, становился живѣе и живѣе, и, наконецъ, неизмѣнно переходилъ въ безпорядочную ссору, основу которой составляли воспоминанія о Головлевскихъ умертвіяхъ и увѣчьяхъ. Зачинщицею этихъ ссоръ всегда являлась Аннинька. Она съ безпощадной назойливостью раскапывала Головлевскій архивъ и въ особенности любила дразнить Іудушку, доказывая, что главная роль во всѣхъ увѣчьяхъ, на-ряду съ покойной бабушкой, принадлежала ему. Мало-по-малу она даже пріучила его къ этому слушанію синодика: находилъ-же тутъ Грозный даже сладострастіе особаго рода.

Ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ не оказывалось ни одного нравственнаго устоя, за который можно-бы удержаться. Ничего, кромѣ жалкаго скопидомства съ одной стороны и безсмысленнаго пустоутробія съ другой! Вмѣсто хлѣба — камень, вмѣсто поученія — колотушка. И, въ качествѣ варіанта, паскудное воспоминаніе о дармоѣдствѣ, о хлѣбогадствѣ, о милостынѣ, объ утаенныхъ кускахъ». Вотъ оно—то, чѣмъ держалась Головлевская твердыня, вотъ оно—то, что иные считаютъ *семьей* и что выдается ими за государственные устои!

Отъ постояннаго перечитыванья синодика подъ конецъ не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала изъ глазъ и замѣнялась свѣтящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, тѣлодвиженія коснѣли. И дядя, и племянница тяжело под-

нимались съ мѣстъ, и, пошатываясь, расходились по своимъ логовищамъ... Головлевскіе хоромы окончательно опѣнѣли, даже по утрамъ не видно было никакого движенія. Господа просыпались поздно, а затѣмъ, до самаго обѣда, изъ конца въ конецъ дома раздавался надрывающій душу кашель Аннушки, сопровождаемый непрерывными проклятіями».

Въ чемъ-же развязка этой тупой, этой безконечно вялой жизненной трагедіи? «Въ концѣ-концовъ постоянныя припоминанія старыхъ умертвій должны были оказать свое дѣйствіе. Прошлое до того выяснилось, что малѣйшее прикосновенье къ нему производило боль. Естественнымъ послѣдствіемъ этого было не то испугъ, не то пробужденіе совѣсти, скорѣе даже послѣднее, нежели первое. Къ удивленію оказывалось, что совѣсть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и какъ-бы позабыта, и, вслѣдствіе этого, утратила ту дѣятельную чуткость, которая обязательно напоминаетъ человѣку объ ея существованіи».

Мы знаемъ, что нашъ авторъ написалъ однажды небольшую легенду о пропавшей совѣсти. Въ «Господахъ Головлевыхъ» легенда эта обратилась въ самую реальную повѣсть о томъ, какъ совѣсть, куда-то запропастившись, наконецъ отыскалась — у дверей Головлевскаго гроба.

«Такія пробужденія одичалой совѣсти, — замѣчаетъ авторъ, — бываютъ необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательнаго ухода, не видя никакого просвѣта впереди, совѣсть не даетъ примиренія, не указываетъ на возможность новой жизни, а только безконечно и безплодно терзаетъ. Человѣкъ видитъ себя въ каменномъ мѣшкѣ, безжалостно отданный въ жертву агоніи раскаянія, именно одной агоніи, безъ надежды на возвратъ къ жизни. И никакого иного средства утишить эту безплодно разъѣдающую боль, кромѣ шанса воспользоваться минутою мрачной рѣшимости, чтобы разбить голову о камни мѣшка...»

Но что-же это такое? все еще не домекаетъ Іудушка.

«Жилъ себѣ потихоньку, да помаленьку, не торопясь, да Богу помолясь и отнюдь не предполагалъ, что именно изъ этого-то и выходитъ болѣе или менѣе тяжелое увѣчье...» «Къ чему-же привела вся его жизнь? пришлось наконецъ спросить себя, домекая мало-по-малу. Зачѣмъ онъ лгалъ, пустословилъ, притѣснялъ, скопидомствовалъ? Даже съ матеріальной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія «наслѣдства», — кто воспользуется результатами этой жизни, кто?»

А *обрядъ* шелъ себѣ своимъ чередомъ. «Дѣло было въ концѣ марта, и страстная недѣля подходила къ концу. Какъ ни опустился въ послѣдніе годы Порфирій Владиміровичъ, но установившееся еще съ дѣтства отношеніе къ святости этихъ дней подѣйствовало и на него».

Вѣрнѣе-бы было сказать, что именно тутъ, въ первый разъ, оно не обрядовымъ только образомъ на него подѣйствовало.

«Іудушка и Аннинька сидѣли вдвоемъ въ столовой. Не далѣе, какъ часъ тому назадъ кончилась всенощная, сопровождаемая чтеніемъ двѣнадцати евангелій... На Аниниьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатлѣніе. Еще будучи ребенкомъ, она всхлипывающимъ дискантикомъ подпѣвала дьячку: «Слава долготерпѣнью твоему, Господи!...» А послѣ всенощной, вся взволнованная, прибѣгала въ дѣвичью, и разсказывала рабынямъ «страсти Господни». Лились тихія рабьи слезы, слышались глубокія рабьи вздыханія. Рабыни чуяли сердцами своего Господина и Искупителя, вѣрили, что онъ воскреснетъ, воистину воскреснетъ. И Аннинька тоже чуяла и вѣрила...» Что касается Іудушки, то онъ, конечно, и въ дѣтствѣ не относился къ этому сколько-нибудь сердечнымъ образомъ. Даже и прозвище, данное ему братомъ, не заставляло его нѣсколько вдуматься хоть-бы въ исторію Іуды. Между тѣмъ, Порфирій Владимірычъ съ неменьшею аккуратностью, съ молодыхъ ногтей, чтилъ «святые дни», но чтилъ исключительно съ обрядной стороны, какъ истый идолопоклонникъ... Только теперь, когда Аннинька разбудила въ немъ сознанье

«умершій», онъ понялъ впервые, что въ этомъ сказаніи идетъ рѣчь о какой-то неслыханной неправдѣ, совершившей кровавый судъ надъ истиной...»

Между тѣмъ, въ воспоминаньяхъ его оставалась какая-то ужасная смута... «Что-то громадное, которое до сихъ поръ неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завѣсою, только теперь двинулось навстрѣчу, каждоминутно угрожая раздавить».

«Въ субботу пріобщаться будемъ,—надо на могилу къ покойной маменькѣ проститься сходить!» вдругъ мелькнуло у него въ головѣ... «А вѣдь я передъ покойницей маменькой... вѣдь я ее замучилъ, я!» бродило между тѣмъ въ мысляхъ... «Такъ ты говоришь, Любинька сама отъ себя умерла»,—вдругъ спросилъ онъ Анниньку, видимо съ цѣлью подбодрить себя. «Такъ и сказала: «ней, подлая!» — переспросилъ онъ, когда Аннинька подробно повторила свой разсказъ.—«Да... сказала».—«А ты осталась? не выпила»?—«Да... вотъ живу». — Онъ всталъ и нѣсколько разъ въ видимомъ волненіи прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ. Наконецъ, подошелъ къ Аннинькѣ и погладилъ ее по головѣ: «Бѣдная ты, бѣдная ты моя!»— произнесъ онъ тихо».

И въ отвѣтъ на эти первыя, во всю его жизнь еще не находившіяся у него ни для кого, слова живого участья, у нея вдругъ вырвался крикомъ вопросъ: «Дядя, вы добрый? Скажите, вы добрый?» Это значило: ей такъ-бы нужно было, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ *добрый*—тогда-бы совершенно иначе сложилась вся жизнь! Она все твердила этотъ ужасный для него вопросъ, а онъ отвѣчалъ вопросомъ-же: «слышала ты, что за всенощной сегодня читали? ахъ, какія это были страданія! Вѣдь только этакими страданіями и можно... И простилъ, всѣхъ навсегда простилъ!..»

«Всѣхъ простилъ, — продолжалъ онъ, большими шагами ходя по комнатѣ.—не только тѣхъ, которые *тогда* напоили его оцтомъ съ желчью, но и тѣхъ, которые и послѣ, вотъ теперь, и впередъ, во вѣки вѣковъ, будутъ подносить къ его губамъ оцетъ, смѣшанный съ желчью...

«А ты простила?»—вдругъ остановился онъ передъ нею. Вмѣсто отвѣта, она бросилась къ нему и крѣпко его обняла. «Надо меня простить, — продолжалъ онъ,—за всѣхъ... И за себя, и за тѣхъ, которыхъ ужь нѣтъ... Что такое, что такое сдѣлалось?! — почти растерянно воскликнулъ онъ, озираясь кругомъ: гдѣ—*всѣ?*»

На другой день изъ деревни, ближайшей къ погосту, верховой прискакалъ съ извѣстіемъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги найденъ окоченѣвшій трупъ Головлевскаго барина. Бросились къ Аннинькѣ, но она лежала въ постели въ безсознательномъ положеніи со всѣми признаками горячки.

Такъ-то окончательно рухнула Головлевская твердыня.

Но на этомъ произведеніи самымъ прочнымъ образомъ будетъ всегда опираться литературная слава М. Е. Салтыкова. Да, оно рѣшительно дастъ ему право значиться въ той плеядѣ, къ которой принадлежатъ: Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Л. Н. Толстой, Тургеневъ...

Мало радостей выпало на долю тому, кто такъ ужасно смежилъ свои очи 1-го марта 1881 г. Онъ не пожалъ при жизни успѣховъ, но не мало нерукотворныхъ памятниковъ воздвигъ онъ себѣ. Къ числу ихъ — живыхъ памятниковъ того, что не безплодно пахнуло при немъ и теплomъ, и волей, относится, безъ сомнѣнія, и та литературная плеяда, къ которой долженъ по праву быть отнесенъ и М. Е. Салтыковъ, плеяда, которая впервые обратила на себя вниманіе и за моремъ, славная плеяда великой эпохи Александра II.

VI.

«За рубежомъ».—Письма къ тетенькѣ».—Современная идиллія».—«Пошехонскіе разсказы».

Въ послѣдній полный годъ той эпохи, къ лучшимъ литературнымъ представителямъ которой принадлежитъ и Щедринъ, предпринято было имъ путешествіе за границу. Воспоминаніямъ объ этомъ путешествіи посвящены очерки, начатые въ томъ же году, но законченные и изданные подъ общимъ заглавіемъ: «За рубежомъ» уже въ слѣдующемъ—при самомъ началѣ другой эпохи, которой давай Богъ дождаться своей плеяды писателей—въ качествѣ достойныхъ преемниковъ плеяды предшествующей, слава Богу еще не вполнѣ закончившейся, наполовину имѣющей еще живыхъ представителей, но тѣмъ не менѣе уже принадлежащей исторіи.

Отношенія нашего автора къ пребыванію за границей напоминаютъ намъ скорѣе Достоевскаго, чѣмъ Тургенева, хотя М. Е. Салтыковъ, конечно, всегда считалъ и считаетъ себя болѣе близкимъ къ послѣднему, чѣмъ къ первому. Если у Тургенева были свои нелады съ Достоевскимъ, то не было, конечно, и особенно ладныхъ отношеній между Достоевскимъ и Щедринымъ. Тѣмъ замѣчательнѣе, разумѣется, что всѣ трое сходились въ постоянномъ налеганіи на несостоятельность нашего культурнаго класса, какъ класса барскаго въ широкомъ смыслѣ слова, т.-е. жившаго на готовыхъ хлѣбахъ. Сама жизнь въ этомъ отношеніи приводила разнородныхъ писателей къ одному, такъ сказать, знаменателю. У Тургенева, пожалуй, живая улика нашей интеллигенціи выходила художественно-безсознательною. М. Е. Салтыковъ, напротивъ того, попадаетъ по тому же направленію не въ бровь, а въ глазъ уже совершенно сознательно, т.-е. не творческій только, но и съ личнымъ умысломъ, какъ сатирикъ и моралистъ. Въ этомъ-то отношеніи онъ рѣши-

тельно и сходится съ Достоевскимъ. У обоихъ очень много личнаго умысла въ самомъ творчествѣ. Конечно, у Достоевскаго сатирическая струя проглядываетъ только изрѣдка, тогда какъ у Щедрина она прямо преобладаетъ. Но оба они въ сильной степени моралисты, и въ этомъ смыслѣ часто приходятъ къ одному и тому же, хотя точка отправленія у нихъ, и то, впрочемъ, не всегда—различная. Если они несомнѣнно не любили другъ друга, то причиной тому тѣ замысловатыя недоразумѣнія нашей жизни, въ силу которыхъ часто приходится повторять: «своя своихъ не познаша». Конечно, много тутъ значило и различіе въ ихъ характерахъ, отчасти зависѣвшее отъ различія въ ихъ судьбѣ. М. Е. Салтыковъ въ новѣйшихъ своихъ произведеніяхъ частенько издѣвался надъ «оздоровленіемъ корней». При этомъ онъ, разумѣется, мѣтилъ въ Достоевскаго,—если не въ него одного, то и въ него [1]). Между тѣмъ, то же «оздоровленіе корней», только съ языка Достоевскаго переложенное на другой языкъ, должно бы прійтись совершенно по нраву и М. Е. Салтыкову. Въ сущности оно вѣдь значитъ то же самое, что заботы Щедрина о «поселкѣ» и о томъ, чтобы у мужика «были добрыя щи»—въ буквальномъ и въ иносказательномъ смыслѣ. Достоевскій въ свою очередь однажды замѣтилъ намъ про М. Е. Салтыкова (не думаемъ, чтобы это теперь съ нашей стороны было сплетнею): «у него много остроумія, а мыслей нѣтъ». Между тѣмъ, стоило бы только покойному Ѳедору Михайловичу имѣть время внимательнѣе вчитаться въ «Господъ Головлевыхъ», и онъ бы, конечно, нашелъ у творца ихъ мысли, да еще какія—глубокія и прямо даже сочувственныя ему, Достоевскому. «Головлевы»—вѣдь это такая же *поэма* (не даромъ терминъ этотъ сохраненъ былъ Гоголемъ для «Мертвыхъ душъ»), такая же эпопея русской, не имѣющей твердыхъ основъ, «культурной» среды, какъ и «Карамазовы»—съ тою, конечно, большою разницею, что Достоевскій, рисуя нашу безоснов-

[1]) См. на примѣръ въ «Недоконченныхъ бесѣдахъ» стр. 126—127.

ность, является при этомъ и на тѣ прадѣдовскія основы, которыя главнымъ образомъ сохранились въ народѣ, удерживая въ углубленномъ пониманіи этихъ старыхъ основъ и нѣчто независящее отъ времени—вѣчное, такъ сказать, стихійное.

Кстати будетъ здѣсь вспомнить о полнѣйшемъ совпаденіи М. Е. Салтыкова съ Ѳ. М. Достоевскимъ по одному въ свое время прогремѣвшему дѣлу — по дѣлу о защитѣ однимъ изъ знаменитѣйшихъ нашихъ адвокатовъ родительской истязательной розги, въ лицѣ г. Кронеберга. Въ свое время ходилъ слухъ, что знаменитый адвокатъ, послѣ смерти Достоевскаго, собирался расквитаться съ покойнымъ какою-то особою его біографіею или-же критическимъ трудомъ о немъ. На дѣлѣ слухъ этотъ не подтвердился. Можетъ быть, знаменитый адвокатъ догадался, что въ такомъ случаѣ ему логически слѣдовало-бы не оставлять втунѣ и убійственной статьи М. Е. Салтыкова [1]. Если у Достоевскаго преобладалъ негодующій надсоз, то Щедринъ воспользовался и тутъ своею ужасною ироніею, сказавшеюся, наприм., такимъ образомъ: «г. адвокатъ, не будучи лично сторонникомъ нощечинъ и розогъ (и онъ родился въ Аркадіи, и онъ не чуждъ *посторонних*ъ соображеній), видитъ въ нихъ, тѣмъ не менѣе, своего рода воспитательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ осторожностью, а всего лучше ожидать съ терпѣніемъ, пока онъ самъ собой рухнетъ. А не рухнетъ онъ никогда, невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и адвокатъ».

Вслѣдъ за адвокатскимъ служеніемъ розгѣ, г. Салтыковъ превозноситъ и изобрѣтеніе извѣстной кушетки для большаго удобства сѣченій—обезсмертившимся благодаря нашему сатирику г. Кунцомъ. «Я все-таки радъ,—замѣтилъ г. Салтыковъ,—что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ, я и самъ объяснить не могу, но мнѣ кажется, что еслибъ это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги за него ему было-бы мало.

---

[1] См. «Недоконченныя бесѣды» (Между дѣломъ), статью 1.

А Кунцу какъ разъ въ пору» [1]). Это въ своемъ родѣ характерно.

Возвращаясь собственно къ «заграницѣ», мы въ правѣ сказать, что М. Е. Салтыковъ, какъ и Ѳ. М. Достоевскій, могъ-бы относительно ея повторить слова становящагося каликою перехожимъ, Василія Буслаева: «мое гулянье неохотное», хотя едва-ли бы могъ прибавить вслѣдъ за Новгородскимъ богатыремъ: «но вѣдь надо подъ старость душу спасти». Да, побывка на теплыхъ водахъ нимало не представлялась г. Салтыкову паломническимъ подвигомъ. «Подумайте!—не даромъ-же говорилъ онъ въ первомъ своемъ разсказѣ о томъ, какъ жилось ему «За рубежомъ»,—милліоны людей изнемогаютъ, прикованные къ землѣ и труду, не справляясь ни о почкахъ, ни о легкихъ и зная только одно, что они повинны работѣ — и вдругъ изъ этого безпредѣльнаго кабальнаго моря выдѣляется горсть празднолюбцевъ, которые самовластно декретируютъ, что для кого-то и для чего-то нужно, чтобъ почки дѣйствовали у нихъ въ исправности!» Повинуясь своимъ эскулапамъ, онъ «зналъ, что ради возстановленія силъ онъ долженъ будетъ растратить свои послѣднія силы», что «процессъ самосохраненія окончательно разоритъ его и безъ того разоренный организмъ», но смиренно сказалъ: помилуйте! куда угодно, хоть въ тартарары!» При видѣ шимпанзе въ Берлинскомъ зоологическомъ саду онъ съ глубокимъ сочувствіемъ отнесся къ его тоскѣ по родинѣ! Воочію убѣдившись, что «хлѣба у нѣмца на нескахъ родятся буйные», онъ болѣзненно вспоминаетъ о томъ, что не такъ оно не только въ его собственномъ Монрепо, но и по большей части на родинѣ. Правда, онъ «очень хорошо понимаетъ, что среди этихъ отлично воздѣланныхъ полей рѣчь идетъ совсѣмъ не о распредѣленіи богатствъ, а исключительно о накопленіи ихъ; что эти поля, луга и выбѣленныя жилища принадлежатъ такимъ-же толстосумамъ буржуа, какимъ въ городахъ принадлежатъ дома и лавки, и что за каждымъ

[1]) «Недоконченныя бесѣды» стр. 157.

изъ «тихъ толстосумовъ стоятъ десятки кнехтовъ, изъ которыхъ выпадаетъ очень ограниченная часть этого краснаго довольства». Да, но отъ этого вовсе не легче патріотизму нашего автора, — патріотизму истинному, далекому отъ фикціи, что «если у насъ не имѣется накопленія богатствъ, то за то имѣется ихъ распредѣленіе». «Увы!—съ горькимъ чувствомъ выводитъ онъ.—никакого распредѣленія богатствъ у насъ нѣтъ, да сверхъ того нѣтъ и накопленія, а есть простое и наглое расхищеніе». Но нѣмецъ, умѣющій добиваться и отъ песковъ буйнаго хлѣба — при помощи не только труда, но и извѣстной благопріятствующей труду обстановки, пожалуй, и возбуждая къ немъ уваженіе, становится ему уже прямо противенъ—въ качествѣ побѣдоноснаго героя, носящагося со своими побѣдами и сующаго свое геройство въ носъ всякому встрѣчному. Такому героическому нѣмцу онъ прямо предпочитаетъ скромнаго отечественнаго героя. Даже въ сценѣ между «мальчикомъ въ штанахъ и мальчикомъ безъ штановъ» онъ, при всемъ выгодномъ положеніи перваго, видимо становится на сторону второго, какъ и народъ въ своихъ сказкахъ на сторону Иванушки-Дурачка. Какъ Иванушка въ сказкахъ совсѣмъ въ сущности не дуракъ, такъ далеко не дуракъ и Щедринскій отечественный sans-culotte. «Есть у васъ,—говоритъ онъ приличію одѣтому мальчику нѣмцу,—и то, и другое хорошо, [1]) да вотъ что худо: къ намъ-то вы приходите совсѣмъ не съ этимъ, а только чтобъ пакостничать... Зависть и жадность у васъ перваго сорта, и такъ какъ вы эту жадность произвольно смѣшали съ правомъ, то и думаете, что вамъ предстоитъ слопать міръ...» Неприличный русскій мальчишка находитъ при этомъ, что нѣмцы у себя дома «за грошъ чорту душу продали», и что «чортъ имъ теперь заститъ свѣтъ».—«А вы,—возражаетъ приличный нѣмчикъ, — тому-же чорту задаромъ душу отдали...» «Такъ-то задаромъ, а не за грошъ.—

[1] У автора это выражено нѣсколько иначе, но самъ онъ сознается, что такимъ языкомъ не могъ бы говорить мальчикъ.

возражаетъ русскій.—Задаромъ-то я отдалъ—стало быть и опять могу назадъ взять...» Имѣя это въ виду онъ и говоритъ: «погоди, нѣмецъ, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!» Но нѣмцу вовсе этому не вѣрится. «Вотъ уже двадцать лѣтъ,—говоритъ онъ,—какъ вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами впередъ, а нѣкоторые изъ васъ даже о какомъ-то «новомъ словѣ» поговариваютъ—и что-же оказывается? Что вы бѣднѣе, нежели когда-нибудь, что сквернословіе болѣе, нежели когда-либо, регулируетъ ваши отношенія къ правящимъ классамъ, что Колупаевы держатъ въ плѣну ваши души, что никто не довѣряетъ вашей солидности, никто не разсчитываетъ ни на вашу дружбу, ни на вашу непріязнь...»

Относительно пустозвонности нашего «новаго слова» авторъ, повидимому, совсѣмъ на сторонѣ «мальчика въ штанахъ».

Мысль о «новомъ словѣ» сама по себѣ представляется, правда, похвальною г. Салтыкову, [1]) но она, по его мнѣнію, не имѣла успѣха, благодаря тому, что никто изъ провозвѣстниковъ «новаго слова» не далъ себѣ труда объяснить, хотя приблизительно, въ чемъ состоитъ его содержаніе! Такъ ли однако? Намъ кажется, что оно было совершенно точно формулировано у насъ ученымъ и публицистомъ, сошедшимся на краю могилы съ тѣми, съ кѣмъ онъ значительную часть своей жизни проспорилъ. Стоитъ только вспомнить предсмертную рѣчь на обѣдѣ участниковъ 19-го февраля К. Д. Кавелина. «Еще въ сороковыхъ годахъ,—говорилъ онъ тутъ,—покойный А. С. Хомяковъ охарактеризовалъ западную латино-германскую Европу, какъ «міръ городовъ», и славянскіе народы, какъ «міръ селъ и деревень». Можетъ быть, эпиграфъ къ Евгенію Онѣгину»: «о, Русь! o rus!» былъ геніальнымъ предчувствіемъ той же мысли... Въ настоящее время,

[1]) Какъ сама по себѣ похвальною представляется ему и «народная политика» въ своемъ настоящемъ, а не псевдонимномъ смыслѣ. См. «Недоконченныя бесѣды» стр. 126.

повидимому, городской типъ исчерпалъ себя... Въ самой латино-германской Европѣ замѣчается теперь какъ будто остановка раздумье передъ дальнѣйшимъ развитіемъ въ томъ же направленіи... Около 200 лѣтъ тому назадъ Россія вступила въ кругъ Европейскихъ государствъ и стала жить съ ними одною жизнью... Но когда у насъ настала пора гражданской жизни народныхъ массъ, оказалось, что составные элементы нашего быта сложились совершенно иначе, можно сказать, противоположно тому, какъ въ латино-германской Европѣ... Стоитъ только припомнить, что сельскіе жители, мелкіе землевладѣльцы и хозяева составляютъ въ Англіи 17%, въ Германіи, въ среднемъ выводѣ, 40%, въ Франціи 54% всего народонаселенія, тогда какъ въ Россіи... превышаютъ 80%... Латино-германскій міръ перестраивался послѣдовательно по разнымъ типамъ, кромѣ типа крестьянина, и развилъ ихъ до совершенства. Оттого мы, русскіе, могли широко и съ великою для себя пользою заимствовать у Европы все, что она довела у себя до высокой степени развитія, и плоды ея вѣковыхъ трудовъ и усилій усвоивались нами сравнительно легко и успѣшно, до тѣхъ поръ, пока у насъ не дошла наконецъ очередь до устройства быта деревенскихъ народныхъ массъ. Для насъ это жизненный вопросъ, но мы вынуждены разработать и разрѣшить его сами... Но выработать вновь и взять готовое — огромная разница. Первое несравненно труднѣе. Мы и встрѣчаемся съ этими трудностями на всякомъ шагу; онѣ-то и тормозятъ развитіе у насъ крестьянскаго дѣла [1]). Тутъ это «новое слово» является совершенно яснымъ, совлекши съ себя все то, что у насъ называютъ «мистикой» [2]). Оно, стало быть, есть—это «новое слово», только мы до сихъ поръ не умѣемъ его проводить въ жизнь. Оттого-то мы, которымъ, если мы въ самомъ дѣлѣ историческій народъ, неизбѣжно предстоитъ осуществить

---

[1]) «Русская Старина» 1885 г. апрѣль, стр. 216—219.

[2]) Надъ кѣмъ-то и подшучиваетъ авторъ на стр. 126—127 «Недоконченныхъ бесѣдъ».

«распредѣленіе богатствъ», должны сознаться, что на дѣлѣ у насъ еще далеко до того и намъ такимъ образомъ приходится удивляться — завидовать тѣмъ «буйнымъ хлѣбамъ на пескѣ», какіе представляются намъ на Западѣ при преобладающемъ «накопленіи богатствъ».

Переѣзжая изъ Германіи во Францію, М. Е. Салтыковъ сперва увлекается воспоминаніями о прежнемъ своемъ увлеченіи французскимъ литературнымъ гуманизмомъ. Тутъ попадаются у него страницы, къ которымъ опять таки въ pendant могло бы послужить многое въ «Дневникѣ Писателя» Достоевскаго, точно такіе увлекавшагося Жоржъ Зандъ и др. и съ любовью о томъ вспоминавшаго. Г. Салтыковъ готовъ сначала увлечься и дѣйствительнымъ французомъ — въ лицѣ, разумѣется, не bourgeois, а ouvrier, про котораго онъ говоритъ, что три предмета проходятъ черезъ всю его жизнь: «работа, веселье, и отъ времени до времени... революція. Все это онъ умѣетъ дѣлать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не безтолково». Вскорѣ оказывается, однако, у нашего автора, что оно не совсѣмъ такъ: «Чортъ знаетъ что такое! — восклицаетъ онъ, — сдѣлать одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революцію, и за всѣмъ тѣмъ не быть обезпеченнымъ отъ обязанности кричать: vive Henri V! — какъ хотите, а это хоть кого заставитъ биться лбомъ объ стѣну». Въ концѣ концовъ ему приходится сожалѣть «о томъ горѣніи мысли, которое, въ теченіе слишкомъ полустолѣтія, согрѣвало не только Францію, но, чрезъ ея посредство, и міръ. Но пришелъ бандитъ (Наполеонъ III) и, не долго думая, взялъ да и погасилъ огонь мысли...» Съ бандитомъ наконецъ справились — не сами французы, а судьба; но вскорѣ Франція уподобляется, такъ сказать, оффиціальной Россіи, которую одинъ министръ предлагалъ, говорятъ, прозвать «Петровіей...» Франціи, разумѣется, далеко не такъ лестно было, что ее чуть было не прозвали «Макмагоніей». — «И вотъ въ результатѣ, — говоритъ нашъ авторъ, — республика безъ республиканцевъ — съ сытыми буржуа во главѣ, въ тылу и во флангахъ... съ порнографической

литературой, съ изобиліемъ провизіи и bijoux и съ безчисленнымъ множествомъ cabinets particuliers, въ которыхъ денно и нощно слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандитѣ, но для чего понадобилось и держится доднесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революціи». Ну какъ тутъ не вспомнить кое-какія страницы у Достоевскаго? Что же касается характеристики собственно буржуа съ его бытомъ и нравами, то, читая ее у г. Салтыкова, живо воспроизводишь передъ собою «Бри-бри и Мабишь» въ «Зимнихъ Замѣткахъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ» того же Ѳ. М. Достоевскаго.

Пока г. Салтыковъ совершалъ свое «неохотное гуляніе» по «странѣ святыхъ чудесъ», [1]) на родинѣ повѣяло снова теплomъ, и до нашего путешественника дошли слухи «о предстоящихъ для нашей печати льготахъ». Но какъ же онъ отнесся къ нимъ? «Положимъ,—читаемъ мы у него,—что административные скорпіоны были безсильны, и что литература находила возможность ускользать отъ нихъ... Но въ чемъ же тутъ неудобство? и для чего, вмѣсто мнимыхъ скорпіоновъ, понадобились скорпіоны подлинные?.. Бывало, призовутъ, побранятъ—я скажу себѣ: брань на вороту не виснетъ.

Въ теченіе почти 35 лѣтъ литературной дѣятельности я ни разу не сидѣлъ въ кутузкѣ... Но не придется-ли познакомиться съ кутузкой теперь, когда литературу ожидаетъ покровительство судовъ?»

«Привычка—вторая натура», можно бы было сказать по поводу этихъ словъ, разумѣя при этомъ привычку къ «Езоповскому языку», объясняющую нежеланіе съ нимъ разстаться. Но почему же нашъ авторъ въ другомъ очеркѣ той же серіи замѣчаетъ: «вездѣ люди настоящія слова говорятъ, а мы и поднесь на езоповскихъ притчахъ сидимъ» [2]). Не ему же ли самому представ-

---

[1] Извѣстное выраженіе Хомякова о Западѣ.

[2]) Позже, въ «Письмахъ къ тетенькѣ», онъ говоритъ: «рабій языкъ все-таки рабій языкъ и ничего больше. Улица никогда между строкъ читать не умѣла и по отношенію къ ней рабій языкъ не имѣлъ и не могъ имѣть воспитательнаго значенія».

ляются эти притчи — «удобствомъ», а сулившееся въ 1880 г. «покровительство судовъ» «подлинными скорпіонами?» Или было рѣшительное основаніе не довѣрять тогдашнему посулу? Но неужели же въ самомъ дѣлѣ въ теченіе цѣлыхъ 35 лѣтъ его литературное положеніе было одинаково? Неужели же пережитыя имъ, по этому расчету, девять — десять лѣтъ той поры, когда «только маршировали», такъ ужь ничѣмъ и не отличались отъ послѣдующаго затѣмъ двадцатипятилѣтія, того знаменательнаго двадцатипятилѣтія, когда только и выступила впередъ въ своемъ настоящемъ значеніи та великая литературная плеяда, къ которой принадлежитъ и М. Е. Салтыковъ?

Четвертый очеркъ «За рубежомъ» помѣченъ у автора 25 декабря 1880 г. Наступалъ тотъ новый 1881 г., которому суждено было злымъ рокомъ положить внезапный конецъ великой эпохѣ, конецъ, котораго мы, послѣ всего, что было, могли бы, конечно, всегда ожидать, но который громомъ разразился надъ нами, малодушными и неблагодарными. Автору «За рубежомъ» нельзя уже было оставаться при предположительной формѣ: «должно быть случилось что-нибудь ужасное»... «быть можетъ, осуществился какой-нибудь новый актъ противочеловѣческаго изувѣрства, который далъ *гадамъ* радостный поводъ для своекорыстныхъ обобщеній». Вскорѣ оказалось, увы! что «не быть можетъ», а въ самомъ дѣлѣ — и что *гады*, при помощи своихъ обобщеній, не только заподозрѣваютъ всѣхъ и каждаго, но заподозрѣваютъ и великую эпоху, перешедшую въ область исторіи, изливаютъ на нее, а при помощи своего рода «Ѣзоповскаго» языка, и на ея виновника, свою желчь и свои умственные помои. Но это тѣмъ болѣе обязываетъ насъ не тѣшить своей совѣсти увѣреніями, что мы «никогда никакихъ другихъ словъ, кромѣ трезвенныхъ, не говорили», а строго допросить себя, вспомнивъ, что кромѣ «вольныхъ грѣховъ» бываютъ еще и «невольные». Это обязываетъ насъ вообще оглянуться, найтись среди измѣнившихся обстоятельствъ, помочь точно также найтись и окружающему

насъ обществу, которое, только жалуясь да хихикая въ ушедшую отъ него пору, не желая или не умѣя ее отличить отъ той, когда «только маршировали», но, наконецъ, спохватившись, точно будто напрашивается на то, чтобы къ нему отнестись со словами: «Tu l'as voulu, Georges Dandin!»

Оставаться къ этому обществу въ прежнихъ отношеніяхъ, имѣя въ запасѣ только старыя, положимъ, и въ самомъ дѣлѣ «трезвенныя слова», значило бы оставлять общество въ томъ рѣшительно нетрезвомъ состояніи, про которое пришлось бы сказать: «Что имѣемъ—не хранимъ, потерявши даже не плачемъ».

Выводя въ одномъ изъ дальнѣйшихъ очерковъ «За рубежомъ» бывалаго въ Россіи француза Капотта, совѣтника князя Букиазба, нашъ сатирикъ заставляетъ его сказать: «мы, по внимательномъ разсмотрѣніи, рѣшили: мужика расковать, а заковать интеллигенцію, препоручивъ молодцамъ изъ Охотнаго ряда имѣть бдительный за нею надзоръ».

Капоттъ, надо думать, имѣетъ при этомъ въ виду иронически оппонировать Достоевскому, который въ предсмертномъ своемъ «дневникѣ» именно нашей интеллигенціи и влагаетъ въ уста стихъ:

А мужика опять скуемъ!

Но не одного Капотта и самого сатирика ужасно безпокоитъ это раскованье мужика, или, какъ сказано было въ одной, къ сожалѣнію, прекратившейся газетѣ, «разнузданіе звѣря». Такимъ «разнузданіемъ» или «расковаиемъ» несомнѣнно представляется нашему сатирику то «единеніе съ народомъ», о которомъ будто бы такъ усиленно и заботится «самобытная русская партія», ея же преобладаніе въ настоящую пору мерещится многимъ. «Поди-ка,—говоритъ сатирикъ,—подступись къ этому народу! Ты думаешь о наслажденіяхъ мысли, чувства и вкуса, о свободѣ, объ искусствѣ, о литературѣ, а онъ свое твердитъ: жрать! Не разнообразно, но за то какъ опредѣленно! Вотъ онъ говоритъ, что книги истребить надо,—

войди-ка съ нимъ въ единеніе во имя истребленія книгъ». Задача, въ самомъ дѣлѣ, мудреная. Не мы ли, напротивъ того, несли ему книги, призывая его изъ тьмы къ свѣту? «Но бываютъ историческія минуты, — замѣчаетъ нашъ сатирикъ, — когда массы преисполняются угрюмостью и недовѣріемъ, когда онѣ непостижимо упорствуютъ, оставаясь во тьмѣ и въ недугахъ; не потому упорствуютъ, чтобъ не понимали свѣта и исцѣленій, а потому, что источникъ этихъ благъ заподозрѣнъ ими». Думается, что на это были у нихъ, у народныхъ массъ, достаточныя основанія. Какъ бы то ни было, при настоящемъ положеніи дѣла, отношенія интеллигенціи къ народу, по мнѣнію автора, формулируются такимъ образомъ: «кто въ проказѣ, тотъ съ нимъ; у кого нѣтъ проказы, тотъ противъ него». — «Ты хочешь единенія съ народомъ?—спрашиваетъ г. Салтыковъ,—прекрасно! выбирай проказу, ложись въ навозъ, ѣшь хлѣбъ, сдобренный лебедой, надѣвай рваный понитокъ и жги книгу». Боже мой! Да сколько честныхъ людей готово бы было выполнить все это, за исключеніемъ метанія книги въ огонь (вовсе и не требуемаго народомъ), если бы цѣною подобнаго отреченія можно бы было добыть въ концѣ-концовъ то, что не ложно должно составлять наше «новое слово»: дѣйствительно преобладающее значеніе, т.-е. благоустройство и процвѣтаніе *села!*

Возвращаясь въ Верхболово, нашъ путешественникъ узнаетъ своего «мальчика безъ штановъ» въ совершенно уже приличномъ одѣтомъ молодомъ артельщикѣ и говоритъ ему: «слышалъ я заграницей, что покуда я ѣздилъ, а на васъ мода пошла?»—«На насъ, сударь, завсегда мода,— отвѣчаетъ юноша.—Потому господину Разуваеву безъ насъ невозможно».

Худо, конечно, если это только подтвержденіе словъ самого Разуваева про мужика: «іонъ достаанитъ!» Худо, если и въ болѣе широкомъ смыслѣ дѣло сводится лишь на то, «чтобы сдѣлать изъ народа орудіе извѣстныхъ личныхъ расчетовъ». Худо, наконецъ, если «единеніе съ народомъ» или «оздоровленіе корней» становится только

неизвѣстнымъ какихъ-то «дворянскихъ мелодій», предназначаемыхъ на то, чтобы упразднить «дворянскую хандру».

Но прямо и честно понимаемое «оздоровленіе корней» или «запросъ на мужика»—добро, а не худо.

Дальнѣйшимъ произведеніемъ М. Е. Салтыкова являются «Письма къ тетенькѣ», писанныя, по собственному его замѣчанію, въ 1881, когда на «свѣдущихъ людяхъ» покоились всѣ упованія Россіи, а изданныя въ 1882 г., «когда представленіе о свѣдущихъ людяхъ сдѣлалось равносильнымъ представленію о крамолѣ». Тетенька, къ которой писаны эти письма, попаливала-таки съ либерализмомъ и племяннику приходится ей растолковывать, что это не совсѣмъ удобно, т.-е. приходится тянуть передъ нею ту ноту, которая давно уже, впрочемъ, звучитъ въ сатирѣ М. Е. Салтыкова. Либеральничать становится совсѣмъ неудобно, если, какъ сообщаетъ племянникъ своей милой тетушкѣ, даже Расплюевъ «хлещетъ литературу по чемъ попало, да и шабашъ». «Расплюевъ,—говорятъ ему,—да вы вспомните, что у васъ на лицѣ нѣтъ ни одного мѣста, на которомъ бы слѣдовъ человѣческой пятерни не осталось». А онъ въ отвѣтъ: «это прежде было, а съ тѣхъ поръ я исправился». «Но воображаю я,—присовокупляется къ этому въ письмѣ,—кабы выискался молодецъ, который сказалъ бы въ Англіи, во Франціи или въ Германіи, что на литературу намордникъ надѣть, надо сколько бы онъ въ одинъ день... дряни съѣлъ» [1]).

Совершенно вѣрно; но жаль, что мы ничего тутъ не узнаемъ о генеалогіи такого Расплюева. Своего милѣйшаго Балалайкина авторъ производитъ по прямой линіи отъ Репетилова. Можно бы усыновить послѣднему и Расплюева. Стоитъ только вспомнить слова, съ которыми обратился еще въ 1862 г. покойный П. П. Костомаровъ къ свиставшимъ ему въ думѣ за то, что онъ не намѣревался прекращать своихъ лекцій. «Теперешніе Репе-

[1]) У М. Е. Салтыкова это выражено покрѣпче.

тиловы—будущіе Расплюевы»—предсказывалъ намъ безстрашный историкъ...

Въ одномъ изъ писемъ (шестомъ) племянникъ какъ будто начинаетъ «во здравіе», но сводитъ опять «за упокой». «Бываютъ минуты,—говоритъ онъ,—когда въ общій обиходъ вдругъ начинаетъ входить «хорошее слово». Всѣ горячо и радостно за него хватаются, всѣ повторяютъ его, носятся съ нимъ, толкуютъ на всѣ лады, особливо, если «хорошее слово» имѣетъ ближайшее отношеніе къ современной дѣйствительности... Даже завѣдомо злокозненные мудрецы... и тѣ стихаютъ... Но, въ сущности... они только обдумываютъ, какъ бы имъ примоститься къ «хорошему слову» и усыновить его себѣ. И усыновляютъ... «Хорошее слово» удержалось въ обращеніи, но отъ него уже пахнетъ тлѣніемъ...»

При этомъ пишущій невольно оглядывается назадъ. «Вспомните прожитое, прошлое, — говоритъ онъ тетенькѣ,—и отвѣтьте по совѣсти, не такова ли именно была исторія всѣхъ нашихъ хорошихъ словъ». Допустимъ, что даже *всѣхъ*, отвѣтили бы мы за тетеньку, но не худо бы подумать, на сколько замѣшано тутъ родство репетиловщины съ расплюевщиной?

Возвращаясь къ современности, племянникъ пишетъ: «нѣчто подобное повторяется на нашихъ глазахъ со словомъ «содѣйствіе», которое нынче въ большомъ ходу. Несомнѣнно, что это слово принадлежитъ къ числу «хорошихъ» (прежде однако самъ авторъ изрядно подсмѣивался надъ нимъ въ формѣ «народосодѣйствія»), но не менѣе несомнѣнно и то, что едва успѣло оно сказаться и войти въ обращеніе, какъ около него уже выросло чуть не цѣлое столпотвореніе». Все дѣло тутъ, разумѣется, въ томъ, кто будетъ содѣйствовать. Не одинъ же Сквозникъ-Дмухановскій, какъ въ тѣ блаженныя времена, когда «только маршировали». Надо замѣтить, что въ предыдущихъ своихъ письмахъ самъ племянникъ усмотрѣлъ кое-что, способное вызвать у тетеньки восклицаніе: «И ты предпочитаешь бюрократію земству, Сквозника-Дмухановскаго—Пафнутьеву». Спохватившись, онъ

теперь оговаривается, что «въ магическую силу чиновничества уже извѣрились»; но онъ спрашиваетъ затѣмъ: «существуетъ ли, однако-жъ, среда, помимо чиновничества, отъ которой бы можно было получить отвѣтъ на тревожащіе насъ вопросы? Да, говорятъ намъ, такая среда существуетъ. Это среда свѣжихъ, непочатыхъ и неиспорченныхъ силъ, къ которымъ никогда еще не пробовали обращаться, но у которыхъ навѣрное на все про. все трезвенное слово готово. Нѣкоторые называютъ эту среду народомъ, другіе — обществомъ, третьи — земствомъ». Чего-же лучше? могла бы отвѣтить тетенька. Но у племянника въ запасѣ есть указаніе на какое-то нехорошее волшебство. «Мы съ вами наивно ждали,— говоритъ онъ,—что на нашъ кличъ явятся или Прохоръ Распротаковъ, какъ представитель народныхъ нуждъ, или Александръ Андреевичъ Чацкій, какъ выразитель аспираціи общества,—а вышло совсѣмъ не такъ. Оказывается, что Распротаковъ съ утра пахать ушелъ, а къ вечеру боронить будетъ (а по другимъ свидѣтельствамъ ушелъ въ кабакъ и выйти оттуда не предполагаетъ), а о Чацкомъ, напоминаетъ племянникъ, я вамъ уже писалъ, что онъ нынче, ради избѣжанія встрѣчъ, съ одной стороны улицы на другую перебѣгаетъ...» По прежнимъ же показаніямъ о Чацкомъ нашего автора, Александръ Андреевичъ сталъ директоромъ «департамента Умономраченій», т.-е. тѣмъ-же бюрократомъ. Какъ бы то ни было, почему же, могла бы спросить тетенька, даже Чацкій со своею любовью къ *бодрому* (по другимъ вріантамъ—*бодрому*) русскому народу оказывается несостоятельнымъ? И неужели же, могла бы такъ-же спросить она, этотъ *бодрый* (онъ же несомнѣнно и *бодрый*) народъ такъ уже вѣчно и сидитъ въ кабакѣ или работаетъ въ полѣ; нельзя развѣ обратиться къ нему—ну хоть тогда, когда поле покрыто снѣгомъ? Но племянникъ на этотъ разъ не смотрится ни о какія возможныя возраженія тетеньки, а, разомъ порѣшивъ съ мужикомъ и съ Чацкимъ, обращается затѣмъ къ обычнымъ «лудильщикомъ», т.-е. завѣдующимъ луженьемъ больнич-

ныхъ кастрюль, земскимъ дѣятелямъ: Пафнутьевымъ, Дракинымъ, Хлобыстовскимъ и т. п. «Тетенька! да развѣ они «свѣжіе»?—вопросительно восклицаетъ онъ, сообщивъ еще въ прежнихъ письмахъ незамысловатый секретъ ихъ «излюбленности». «Кого выбирать? Разумѣется, тѣхъ, у кого досуга больше,—писалъ онъ тогда.—А у кого же его больше, нежели у Никанора Дракина, который не только отъ дѣла, но и отъ ѣды свободенъ? И выбрали».

Но тетенька опять-таки могла бы спросить: да почему же выбирать непремѣнно такихъ досужихъ? Неужели же нѣтъ и такихъ занятыхъ, т.-е. дѣльныхъ, у которыхъ все же хватило бы времени и которые не стали бы брезгливо отговариваться тѣмъ, что тутъ только одно «луженье?» Не лучше ли, могла бы она наконецъ сказать, хорошенько объ этомъ подумать, чѣмъ, выставляя наши «молодыя учрежденія» не только «окрѣпшими, но и обнаглѣвшими», доставлять удовольствіе безусловнымъ поклонникамъ Сквозника-Дмухановскаго и всей той благодатной поры, когда «только маршировали?»

Но не будемъ долго останавливаться на этихъ «Письмахъ къ тетенькѣ», въ сущности представляющихъ довольно однообразныя варіаціи на старыя Щедринскія темы. Авторъ, впрочемъ, и самъ въ тѣхъ же письмахъ охотно сознается въ своемъ однообразіи. Но онъ объясняетъ это тѣмъ, что «злоба дня, вотъ ужь почти 30 лѣтъ, повторяется въ одной и той же силѣ, съ однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, въ удручающемъ однообразіи». Почти тридцать лѣтъ? Да вѣдь въ составъ ихъ входитъ конецъ той поры, когда «только маршировали», вся та пора, когда занялись же кое-чѣмъ и еще, и наконецъ наши дни, когда извѣстные публицисты стали усиленно рекомендовать преимущества «одной маршировки». Гдѣ же тутъ «однообразіе»?

Въ послѣднемъ письмѣ (15-мъ) на сцену выходитъ опять Щедринскій пріятель Глумовъ. «Ныни такъ: никогда хуже не бывало!» продиктовалъ онъ корреспон-

денту тетеньки. «Меня даже передернуло при этихъ словахъ,—замѣчаетъ корреспондентъ.—Двадцать лѣтъ сряду только ихъ слышишь». Такъ стало быть двадцать, а не цѣлыхъ тридцать? Но самъ-же Глумовъ затѣмъ начинаетъ какъ-бы ab ovo. «Крѣпостное право помнишь?—спрашиваетъ онъ,—ну, такъ вотъ тамъ и ищи объясненія»—тамъ, т.-е. въ томъ, чего наконецъ не стало ровно за 20 лѣтъ до начала «писемъ». — «Вѣчная барщина, вѣчная крѣпость,—живописуетъ Глумовъ,—вѣчное ожиданіе мучительныхъ сюрпризовъ, отъ которыхъ освобождала только «красная шапка» да Сибирь. А люди все-таки жили! Въ каждомъ губернскомъ архивѣ ты найдешь безконечный мартирологъ, свидѣтельствующій о человѣческой живучести, а сколько отдѣльныхъ единицъ этого мартиролога замучено домашнимъ образомъ, сколько досталось въ жертву заплечному мастеру подъ наименованіемъ татей, душегубовъ, разбойниковъ? Ужели эти люди не имѣли права говорить: хуже не бывало. Ужели они обязывались сравнивать, объяснять, почему они такъ говорятъ? Подумай, вѣдь новыя-то раны наводились по незажившимъ еще недавнимъ ранамъ — не естественно-ли, при такомъ условіи, что сегодняшнія боли терзали болѣе вчерашнихъ? Да, никогда не бывало хуже, никогда! только завтра, быть можетъ, хуже будетъ!».

Понимаемъ. Значитъ, вѣчный Глумовскій refrein—это своего рода façon de parler. Потому-то пріятель его наконецъ и признается: «было хуже, милая тетенька, но мы тогда пальцемъ не шевельнули, шага не сдѣлали, чтобы выйти на борьбу съ этимъ худомъ. Мы думали, что Прошка да Аксютка такъ ловко вынесутъ это худое на плечахъ своихъ, что насъ и не задѣнетъ, а на повѣрку оказалось (на старости-то!), что и у насъ спина изсѣчена! Повторяясь и не встрѣчая отпора, худое на старыя незажившія раны наводило новыя и новыя и наконецъ довело организмъ до того, что всякій новый—даже сравнительно слабый уколъ — чувствуется мучительнѣе, нежели цѣлая свита жесточайшихъ изъязвленій прошлаго. Когда мы были сильны и молоды, мы горѣли

возвышенными чувствами и унивались благородными идеями; но мы дѣлали это исключительно для собственнаго употребленія, забывая, что горѣніе и упоеніе необходимо обезпечить, если хочешь, чтобъ они не изгибли въ будущемъ безъ слѣда. А теперь, когда они изгибли, мы кричимъ крикомъ: нѣтъ возвышенныхъ чувствъ: исчезла изъ обихода благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!»

На повѣрку выходитъ, что мы не въ силахъ вынести той тягости переходной поры, которую предвидѣлъ еще Карамзинъ, говоря: «не знаю, что вышло-бы черезъ пятьдесятъ или сто лѣтъ: время, конечно, имѣетъ благотворныя дѣйствія; но первые годы, безъ сомнѣнія, поколебали-бы систему мудрыхъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ головъ (Карамзинъ вѣдь воображалъ, что уничтоженіе крѣпостного права вызывается иностранной системой, а не составляетъ вопіющей нужды нашей жизни). Она хороша (т.-е. система), если-бы мы, принявъ ее, могли заснуть съ Эпименидомъ по крайней мѣрѣ на цѣлый вѣкъ; но всякій изъ насъ хочетъ жить хорошо, спокойно и счастливо нынѣ, завтра и такъ далѣе». —

Ну, то-то и есть! Отсюда и значительная часть нашихъ жалобъ, сливающихся въ одну однообразную ноту, будто-бы соотвѣтствующую воображаемому однообразію въ самомъ ходѣ нашей жизни, жизни, испытавшей въ теченіе обжалованныхъ огуломъ 30-ти лѣтъ тотъ страшный переворотъ, который отсрочивался Карамзинымъ по указаннымъ имъ съ такой откровенностью покоелюбивымъ причинамъ.

Кстати привести и то, что въ слѣдующемъ произведеніи нашего автора—«Современной идилліи» заимствовано изъ знаменитой рѣчи Морошкина о Петрѣ: «великій человѣкъ не пріобщался нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы плоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились слабы и худы...»

Но что-же такое сама по себѣ «Современная идиллія»? Это повѣсть о томъ, какъ Глумовъ и его пріятель, совершенно отложивъ попеченіе о «лукавомъ мудрство-

ванія», стали пытаться «опроститься» и дѣйствительно «опростились» до запанибратства съ околоточными—ради открывающейся отсюда перспективы первобытной безмятежности на злачныхъ поляхъ. Съ другой-же стороны—это нѣчто въ родѣ Россійской Фаустіады, вывороченной на изнанку. Какъ докторъ Фаустъ, неудовлетворенный въ своихъ высшихъ стремленіяхъ, съ горя даетъ Мефистофелю увлечь себя во всѣ тяжкія, такъ и герой «Современной идиллія», разсказывающій свои похожденія въ первомъ лицѣ, выслушавъ изъ устъ Молчалина, что надобно «погодить», достигаетъ со своимъ Мефистофелемъ—Глумовымъ своего рода «Вальпургіевой ночи». Вовсе не другъ французскаго реализма съ его «клубникою», авторъ пускается тутъ въ подробности, которыхъ мы, конечно, воспроизводить не станемъ. Допуская даже, что все это могло показаться автору въ извѣстное время нужнымъ, мы полагаемъ, что слава его не много-бы потеряла, если-бы такое произведеніе не выходило въ свѣтъ въ видѣ отдѣльной книги.

Дружба съ околоточными, обезопасивъ нашихъ пріятелей, разрѣшилась тѣмъ, что ихъ «стали прочить въ полицейскіе дипломаты», а съ этимъ какъ-то связалось участіе ихъ въ устроеніи фиктивнаго брака или, лучше сказать, двоеженства г. Балалайкина, при чемъ въ результатѣ самъ Глумовъ очутился на содержаніи у содержанки стараго мѣнялы, только что сосватанной за Балалайкина. За симъ послѣдовало какое-то хожденіе нашихъ пріятелей, со сворой ихъ новыхъ друзей, по градамъ и весямъ отечества, представляющееся чѣмъ-то въ родѣ вывороченнаго на изнанку странствованія Пьера Безухаго въ «Войнѣ и мирѣ». Въ эпопею, какъ быть водится, вставлены отдѣльные эпизоды, болѣе или менѣе замысловатые, но, по содержанію, вовсе не новые. Таковъ разсказъ Гадюка (онъ-же впрочемъ и *Очищенный*) о своемъ предкѣ, сподвижникѣ Гостомысла, подавшемъ первую мысль о призваніи варяговъ. Это не что иное, какъ «Исторія одного города» въ сокращенномъ видѣ. Такова и сказка того-же Очищеннаго Гадюка о ретивомъ

начальникѣ, въ которой нашъ авторъ превзошелъ себя, заставивъ этого начальника превзойти даже «помпадура борьбы», но заставивъ его и попасться, такъ какъ новый высшій начальникъ оказывается не признающимъ теоріи нанесенья вреда ради будущей пользы. Впрочемъ, хотя этотъ новый начальникъ и велитъ ему зарубить у себя на носу совершенно иную теорію, старая зарубка—съ теоріей пользы посредствомъ вреда—остается не отмѣненною въ тѣхъ видахъ, что, можетъ быть, и она понадобится. Въ результатѣ выходитъ, что ретивый помпадуръ «такъ и живетъ съ двумя зарубками, иногда принимая одну за другую...»

Странничество нашихъ героевъ заключаетъ въ себѣ особый опять эпизодъ посѣщенія ими Кашинскаго окружного суда. Замѣтимъ кстати, что Мефистофель—Глумовъ и въ другихъ случаяхъ не оставлялъ въ покоѣ такого «молодого учрежденья», какъ гласный судъ, выставляя его созданнымъ чуть-ли не на то, чтобы доставить нашимъ любителямъ травли новое зрѣлище. Онъ понималъ это такъ, что «дѣйствующимъ лицомъ въ новѣйшей травлѣ является не плеть, а психологія. Подъ дѣйствіемъ ея обвиняемый обливается потомъ, блѣднѣетъ, краснѣетъ, бросаетъ то умоляющіе, то дурацки угрожающіе взгляды». ...«Что, если этой психологіи повѣрятъ?—мерещится ему,—что, если мой защитникъ, въ отвѣтъ на эту обвинительную психологію, не выдумаетъ такой-же защитительной психологіи?» [1]). На тотъ разъ, однако, пріятель Глумова прямо возсталъ противъ его «теоріи родства психологіи съ пыткой», направленной, впрочемъ, противъ тѣхъ ораторскихъ излишествъ, которыя являются только злоупотребленіемъ новаго суда, но все-же не противъ его сущности. Между тѣмъ, во время своей причудливой «Одиссеи», пріятель Глумова, присутствующій вмѣстѣ съ нимъ въ залѣ Кашинскаго суда во время слушанія дѣла о пискаряхъ, разрѣшается такою проніей: «если-бы мнѣ сказали—выбирай между прежнимъ Кашинскимъ уѣзд-

[1]) «Недоконченныя бесѣды» Между дѣломъ, глава III.

нымъ судомъ и нынѣшнимъ Кашинскимъ окружнымъ судомъ, я, не задумываясь, крикнулъ-бы послѣднему: vivat, crescat et floreat! Помилуйте! ужь одно то чего стоитъ, что въ дверяхъ нынѣшняго окружного суда стоитъ швейцаръ съ булавой, тогда какъ въ передней Кашинскаго уѣзднаго суда вѣчно стучалъ сапожной колодкой солдатъ въ изгребной рубахѣ и съ поврежденной на ученьяхъ скулой».

Ну, эти ироническія строки такъ и просятся въ газету, которая систематически травитъ нашъ гласный судъ, какъ и всѣ наши «молодыя учрежденія», выдавая ихъ прямо за «обнаглѣвшія» и всячески стараясь не дать имъ окрѣпнуть.

Впрочемъ, Одиссея Глумова и его пріятеля прямо и приводитъ къ тому, что они наконецъ сочиняютъ передовую для газеты «Удобреніе» и, усмотрѣвъ ее въ печати, сами не вѣрятъ своимъ глазамъ. Эпопея оканчивается для нихъ «тоскою проснувшагося стыда».

Есть, однако, въ «Современной идилліи» и такія страницы, въ которыхъ опять узнается мастеръ, да еще какой! Я разумѣю характеристику князя Рукосуя-Пошехонскаго, бывшаго въ свое время и въ своемъ смыслѣ самымъ благодѣтельнымъ помѣщикомъ, но разсердившагося въ 1862 г. и пустившагося вдругъ во всякія сдѣлки съ евреемъ — въ тѣхъ видахъ, что тотъ «сумѣетъ отомстить за него; что онъ ловчѣе вызудитъ запутавшійся мужицкій пятакъ, чище высосетъ мужицкій сокъ и вообще успѣшнѣе разоритъ то мужицкое благосостояніе, которое самъ же онъ, князь Рукосуй, въ теченіе стольких лѣтъ неустанно созидалъ!» «...Однимъ словомъ, ничѣмъ не мотивированное ожесточеніе князя противъ крестьянъ, — говоритъ авторъ, — приняло съ теченіемъ времени размѣры какого-то безконечнаго горячечнаго бреда, который одинаково былъ мучителенъ и для бредившаго, и для тѣхъ, которые составляли предметъ бреда». Тутъ уже нѣтъ карикатуры, нѣтъ и символическаго Езоповскаго языка съ его невольными попаданіями въ «дурную компанію»,—все это взято живьемъ изъ дѣй-

ствительности и выставлено на-показъ во всей своей поучительной наготѣ.

Прозвищемъ князя Рукосуя—«Пошехонскій» какъ бы предсказывались уже «Пошехонскіе разсказы» нашего автора. Пошехонье—это такая кличка, которая является довольно прозрачнымъ псевдонимомъ «Глупова». Впрочемъ, первый вечеръ, посвященный «Пошехонскимъ разсказамъ», повидимому, совсѣмъ безобиденъ. Тутъ кидается въ глаза только чертовщина, подъ которою, однако, скрывается порнографія — дѣло совершенно благонамѣренное, когда надо «годить» и «шкуру свою хранить». Въ литературѣ—«Барковщина», въ жизни — «полицейская дипломатія» въ связи съ устроеніемъ двоежествъ, и поступленій на содержаніе — вотъ къ чему мы невольно приведены. Да полно, совсѣмъ-ли ужъ такъ невольно, т.-е. безъ нашей вины? Вѣдь въ томъ и бѣда, что *силы-то воли въ насъ нѣтъ*, что съ горя отъ незадачи мы сейчасъ за кувшинъ или во всѣ тяжкія: даже не просто опускаемъ руки, а прямо съ руками, съ ногами, въ гнилое болото лѣземъ, и, увязнувъ по горло, дразнимся издали языкомъ...

Второй Пошехонскій вечеръ въ другомъ уже родѣ. Авторъ въ немъ отмѣчаетъ вполнѣ обозначившіяся стремленія нѣкоторыхъ публицистовъ и ихъ читателей къ тѣмъ временамъ, которыя, правду сказать, въ извѣстномъ смыслѣ, бывало, предпочитались и нашимъ авторомъ, какъ такія, когда «только маршировали», а затѣмъ уже никого будто бы и не трогали. «Неудивительно,—соображаетъ онъ теперь,—что волшебныя эти времена оставили въ избранныхъ душахъ благодарныя воспоминанія. Еще менѣе удивительно, что въ средѣ этихъ избранниковъ прорывается стремленіе возстановить эти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво благородному жизненному теченію, которое составляло ихъ существенное обаяніе. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте! Да не изъ-за этого-ли мы всѣ и бьемся? Къ сожалѣнію, избранники обыкновенно упоминаютъ при этомъ о какомъ-

то дворянскомъ принципѣ. Тогда, дескать, дворянскій принципъ господствовалъ, оттого и было всѣмъ хорошо. Водворимте опять этотъ принципъ — и опять будетъ всѣмъ хорошо».

Не правда-ли, что, при подобныхъ выходкахъ, владѣльцу Монрепо можно было бы уже смѣло заявлять становому о своей, подлежащей теперь заглаженію, «дворянской обидѣ?»

Самъ авторъ, однако, такого мнѣнія, что «во времена, о которыхъ идетъ рѣчь, никакихъ принциповъ не было—вотъ отчего было всѣмъ хорошо». То же говаривалъ онъ подчасъ и прежде, желая сказать, что всѣмъ тогда было, по крайней мѣрѣ, спокойно. Теперь же выходитъ, что онъ вовсе не за такой «спокой». «Ни пытливости, ни принциповъ, — говоритъ онъ.—И, главное, чтобы безъ шуму; чтобы никто ни о чемъ, никому—ни-гугу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ день: «на — кушай!» Замѣтимъ, что Глумова въ «Пошехонскихъ разсказахъ» авторъ — по боку! Туда ему и дорога послѣ послѣднихъ его похожденій. Гораздо интереснѣе выводимый тутъ опять литераторъ Крамольниковъ. «Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко и не прочь былъ потребовать даже *всего*. Но такъ какъ онъ зналъ, что *остального* ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовлетворяться щелочкой». А тутъ вдругъ стараніями нѣкоторыхъ публицистовъ должно выйти такъ, что и щелочки больше не полагается. Придетъ Крамольниковъ посмотрѣть въ свою щелочку,—а она замазана. «Даже и мѣста, гдѣ была, не опознать». Такъ вѣдь было и въ тѣ времена, когда «только маршировали». Крамольниковъ, въ пику за то, что «всего» не даютъ, никогда и не думалъ указывать на тѣ времена, т.-е. разыгрывать стародумствующаго фрондера. Онъ тѣмъ болѣе въ правѣ теперь отдѣлываться отъ успокоительныхъ шуточекъ либрансера Тебенькова. «Время, въ которое мы живемъ,—говоритъ ему Крамольниковъ,—такъ серьезно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сурово, что двусмысленности кажутся неумѣстными. Да-съ, неумѣст-

ными». Мы съ своей стороны совершенно согласны съ Крамольниковымъ.

На одномъ изъ вечеровъ (4-мъ) мы знакомимся съ прекрасными, высоко-художественными типами двухъ «Пошехонскихъ реформаторовъ». Одинъ изъ нихъ — Андрей Курзановъ—напоминаетъ собою прежніе народные типы нашего автора, отличающіеся такимъ теплымъ колоритомъ. Андрей—это, если угодно, юнона богомолъ и странникъ, но такой, котораго мысль плѣнялась не міромъ апокрифическихъ сказаній, а міромъ человѣческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. «Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и видѣннаго онъ извлекъ особый нравственный кодексъ, который коротко выражался у него словами: «жить по божески». Это та народная мудрость, которая теперь особенно занимаетъ гр. Л. Н. Толстого.

Андрей — народный проповѣдникъ, а, стало быть, и пропагандистъ. Онъ попадаетъ и въ помѣщичьи дома, и слова его глубоко западаютъ въ сердце какой-нибудь Марьи Ивановны, между тѣмъ какъ разсудокъ ей шепчетъ: «какъ ты *меня* ограничишь, коли всѣ кругомъ куски — всѣ мои? одинъ я отъ папеньки получила, другой—съ аукціона купила, собственныя денежки за него выложила. Какой хочу—тотъ возьму да и съѣмъ».

— И кушайте, сударыня! Я не къ тому,—отвѣчаетъ благодушный Андрей.—Вы, сударыня, *по закону* кушаете, а я говорю, какъ по божески. *По закону*, всякій около своего куска ходитъ, а *по божески* вотъ какъ: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ по куску. Всѣ чтобы сыты были».

Андрей договаривался у помѣщицы и до того, откуда рабы пошли. «Не всѣ люди, — толковалъ онъ, — равной комплекціи рождаются; одинъ покрѣпче, другой послабѣе, а третій и вовсе разслабленный. Сильный-то слабаго и покорилъ. Да покоривши, взялъ да узломъ завязалъ. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь». А помѣщица и давай ему сама на себя жаловаться: «вотъ, Андрюша, я какова! и голову-то себѣ

причесать не могу, все Анютка, да Анютка!— ...а я сижу, какъ какая царевна, да руки, ноги протягиваю! И вижу, что всѣ мы одной природы, а не могу!» «Что-жъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вмѣняется! Я вѣдь не противъ закона иду, а говорю, какъ по божески».

Въ этомъ разграниченіи между закономъ гражданскимъ и закономъ божескимъ и заключается та народная правда, изъ которой почерпнули славянофилы свое ученье о «правдѣ внѣшней» и «правдѣ внутренней». Способъ, какъ проводитъ Андрей свое ученіе въ мірѣ — способъ вовсе не принудительный—это то, что послужило Л. Н. Толстому основою для ученія о «непротивленіи злу», которое, впрочемъ, доведено имъ до крайности и тѣмъ самымъ искажено.

«Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша Маріѣ Ивановнѣ,— замѣчаетъ г. Салтыковъ,—что онъ нудить не нудилъ, а между тѣмъ «справедливыя слова» говорилъ и говорилъ ихъ въ такое время, когда у всѣхъ и на умѣ и на языкѣ только жестокія слова были». (А вѣдь это и было то время, когда «только маршировали», какъ насъ увѣряютъ).

Андрюша, если угодно, и богомолъ, и странникъ, но вовсе не пустынножитель. «Въ пустынѣ,— говоритъ онъ,—молитва спасаетъ, а въ міру — жертва душевная. Коли мы всѣ въ разнобойку по угламъ будемъ сидѣть, да за шкуру свою дрожать (а пожалуй — и за свою душу, прибавили-бы мы для полноты)—откуда-же добро-то въ міръ придетъ?» Это уже выходитъ совсѣмъ не по византійскому, а по народному пониманію христіанства, по тому пониманію, которое заставило и Достоевскаго вложить своему старцу въ уста слова: «въ міръ иди и въ мірѣ живи, какъ инокъ», т.-е. живи, «отсѣкая отъ себя», ради ближняго, «потребности лишнія и ненужныя».

Съ видимою любовью рисуя своего Андрюшу, нашъ авторъ наконецъ замѣчаетъ, что онъ уже въ сороковыхъ годахъ провидѣлъ и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатанія. О судахъ онъ такъ выражался:

«иные судья-то забьется въ мурью, да и пишетъ, что ему хочется. Хочетъ — завинитъ, хочетъ — бѣлѣе снѣга сдѣлаетъ. А какъ на міру-то его судить заставятъ, такъ правда-то сама изъ него выскочитъ! — О земствѣ: какъ возможно сравнить — чиновникъ-ли по уѣзду распоряжается, или самъ обыватель своимъ дѣломъ заправляетъ? Чиновнику — что? Онъ пріѣхалъ, взглянулъ, плюнулъ и уѣхалъ! А у обывателя каждая копѣечка на счету, и объ каждой у него сердце болитъ! И наконецъ, кратко, о свободѣ книгопечатанія: «помяните мое слово, сѣкели въ самой скорости волю книгопечатанію не объявятъ».

Ну, значитъ, полюбившійся нашему автору народный *блаженный* былъ, однако-же, вмѣстѣ съ тѣмъ и *блажной*. Онъ былъ, значитъ, безшабашный идеалистъ, если такъ радостно предвидѣлъ собственно то, что, судя по причитаніямъ г. Глумова, и выѣденнаго яйца не стоило. «Но что всего замѣчательнѣе, — говоритъ нашъ авторъ, — ни пошехонскій судья, ни пошехонскіе чиновники, ни цензурное вѣдомство — никто на Андрея не претендовалъ, потому что всѣ понимали, что онъ никого не будитъ, а только по божески разговариваетъ. Даже городничій любилъ послушать Андрюшу, приговаривая: правильно! «Да и нельзя было не подтвердить,—замѣчаетъ нашъ авторъ,— потому что такія-же приблизительно слова городничій въ церкви по воскресеньямъ слыхалъ».

Какъ вдругъ—въ концѣ пятидесятыхъ годовъ поднялось на Андрея гоненіе, разрѣшившееся для него словомъ: *фюить*! Во взглядахъ его, хотя и соотвѣтствующихъ взглядамъ церкви, усмотрѣно было нѣчто, опасное для «священныхъ правъ собственности». Какъ? Это оказалось, по увѣренію автора, уже въ *концѣ пятидесятыхъ годовъ*, когда пошло въ ходъ все то, что любовно предвидѣлъ тотъ-же Андрей? Такъ гоненья тогда уже начались—ни съ того, ни съ сего? Воля ваша, а тутъ чего-то недостаетъ, что-то недосказано, недообъяснено.

Одновременно съ Андреемъ Курзановымъ явился въ Пошехоньѣ другой «реформаторъ» — Никаноръ Беркутовъ, явился съ прямо противоположной проповѣдью «не-

ненависти «къ сильнымъ и презрѣнія къ слабымъ». Беркутовъ вышелъ не изъ народа, а изъ близкой къ нему «причтинческой среды», но, кончивъ курсъ въ училищѣ, уклонился отъ перехода въ то заведеніе, гдѣ принято было «вколачивать вѣру розгою». За то онъ уже съ дѣтства испыталъ и побои, и голодъ, и проживалъ постоянно на мѣдный грошъ. Все это, конечно, не озлобило-бы Андрея Курзанова, а заставило-бы только болѣе понимать бѣду и нужду и тѣмъ усиленнѣе стараться помочь всѣмъ бѣдствующимъ и нуждающимся. Но есть натуры, на которыя палка и голодъ дѣйствуютъ только озлобляющимъ образомъ,—и Беркутовъ принадлежалъ именно къ такимъ натурамъ. Озлобленіе мало-по-малу внушило ему такое ученіе: «всѣхъ привести къ одному знаменателю». А подъ этимъ *знаменателемъ* понималъ онъ «вообще, что заставляетъ человѣка страдать, корчиться отъ боли, изнывать. И плющильный молотъ, и «кошки», и плеть, и пресловутый «*третій* пунктъ», и клеветы, и нравственныя мучительства, и истязанія—все на потребу! Все, въ большей или меньшей степени, равняетъ людей передъ лицомъ «знаменателя». Это и составляло предметъ его открытой проповѣди, его пропаганды.

«И отъ кого ты, поганецъ, уродился»?—спрашивалъ его городничій, и, отъ времени до времени, придираясь къ какому-нибудь случаю, сажалъ Беркутова въ острогъ. Какъ вдругъ появляется въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» передовая, прозрачно намекающая на то, что надо только умѣть воспользоваться такимъ мыслителемъ. И вотъ Беркутовъ изъ острожника обращается въ «извѣстителя». Онъ становится усерднѣйшимъ дѣятелемъ системы «содѣйствія общества», и жертвой его злостныхъ «докладовъ» пало, наконецъ, и само то начальственное лицо, которое особенно крѣпко повѣрило заведѣтельствованному Беркутовымъ «обилію горючихъ матеріаловъ» въ Пошехоньѣ и особенно усердно пользовалось Беркутовымъ. Задумалъ такой радикальный способъ увлеченія, какъ совершенное срытіе Пошехонья, этотъ усердный начальникъ, носящій не русское имя, былъ заподозрѣнъ Беркутовымъ

въ принадлежности къ польскому «рѣзонду». Начальство повѣрило Беркутовскому доносу, и г. Язвилло поплатился за избытокъ усердія, а назначенный на мѣсто его чисто русскій помпадуръ рѣшилъ Беркутова «возложить на лоно», но за то «истребить» все еще влачившаго дни Андрея Курзанова.

Сопоставляя обоихъ «Пошехонскихъ реформаторовъ», нельзя, кажется, не признать, что насколько Курзановъ вышелъ у нашего автора съ плотью и кровью, настолько въ типѣ и похожденіяхъ Беркутова оказывается въ своемъ родѣ фантастической примѣси. Но основы и этого типа несомнѣнно существуютъ въ жизни. Онѣ принимаютъ различныя формы, и нѣкоторыя изъ нихъ въ свое время были схвачены другими писателями великой плеяды. Различнымъ дѣятелямъ ненависти и озлобленія представлялась впереди, какъ и Никанору Беркутову, «безконечная пустыня, по которой рыскали звѣри и рвали другъ друга зубами». Только при этомъ имъ представлялось также, что, когда эти звѣри перегрызутся до тла, тогда имъ на смѣну явятся вдругъ откуда-то настоящіе люди, и на землѣ водворится рай. Многіе дѣятели озлобленья и ненависти готовы были, подобно Беркутову, призывать на помощь «и гладъ, и трусъ, и потопъ, и огонь, и мечъ, и нашествіе иноплеменниковъ, и междуусобную брань», чтобы вызвать всѣмъ этимъ поголовный ропотъ съ его, какъ разсчитывали они, кроваво-очистительными послѣдствіями, но опять-таки мечтая при этомъ, совсѣмъ уже не по-Беркутовски, а скорѣе по-Маниловски, что открывшаяся затѣмъ пустыня по щучьему повелѣнію превратится въ невзглаголанный рай. Да, и такіе дѣятели явились рано, пожалуй, уже въ самомъ дѣлѣ съ конца пятидесятыхъ годовъ, т.-е. въ такую пору, когда всего менѣе имѣлось на то raison d'être. Они оказали самую медвѣжью услугу тому дѣлу, котораго знаменемъ осѣнялись конечныя ихъ мечты. Они-то и привели къ тому, но привели, конечно, не сразу, что заподозрѣны были Андреи Курзановы, а выпырнувшіе опять Сквозники-Дмухановскіе уже открыто могли отрекаться отъ сход-

ства ученія Андреевъ съ тѣмъ, что приходится слышать въ церкви. Все это, разумѣется, не свидѣтельствуетъ о «мудрости» Сквозниковъ,—впрочемъ, не свидѣтельствуетъ и объ ихъ глупости. Они только предвидѣли наступленіе той поры, когда представители «дворянской обиды» станутъ предъявлять свои счеты и радоваться каждой лишней ссылкѣ на нарушителей «права собственности», хотя-бы то были только прямые и послѣдовательные христіане.

Особый вечеръ (пятый) посвященъ тѣмъ нападкамъ на «слова» и рекомендаціямъ «дѣла», которыя сильно тревожатъ нашего сатирика. Намъ кажется, что «словъ» у насъ—самыхъ даже хорошихъ, но все же «словъ»—было дѣйствительно изобиліе, и что собственно въ рекомендаціи «дѣла» рѣшительно нѣтъ бѣды. Но бѣда наша въ томъ, что рекомендующіе «дѣло» не умѣютъ его указать, потому что съ тѣмъ «подтягиваніемъ», къ которому дѣйствительно сводится вся ихъ мудрость, далеко не уѣдешь. Нашъ сатирикъ склоненъ съ другой стороны думать, что возстающіе противъ «фразы» сами же пустили у насъ въ оборотъ новую, да еще предурную,—а именно фразу «о мошенникахъ пера и разбойникахъ печати». Признаемся, мы не считаемъ этого фразою. Въ печати, какъ и вездѣ, возможны свои проходимцы и шалопаи, способные превращаться и въ кровопійцевъ. Но все дѣло въ томъ, что пустившіе въ оборотъ только-что приведенное обличеніе сами-то первые и оказываются прямыми «разбойниками пера и мошенниками печати»

Они постоянно указываютъ намъ на ту полную чашу и разливанное море, которыхъ не стало именно съ той поры, когда мы не стали уже «только маршировать», и, на основаніи *post hoc ergo propter hoc*, доказываютъ, что мы оскудѣли именно потому, что перестали «только маршировать», т.-е. по преимуществу маршируя, проонять сквозь строй, засуживать келейнымъ судомъ, педагогически замѣнять совѣсть страхомъ и запрещать «вольный духъ» даже въ поваренной книгѣ. «Что касается до меня,—справедливо возражаетъ имъ нашъ са-

тирикъ,—то хотя я остаюсь при особомъ мнѣніи на счетъ подлинности и размѣровъ Пошехонскаго изобилія, но долженъ все-таки признать, что лѣтъ тридцать тому назадъ жилось здѣсь какъ будто ходчѣе. Дѣйствительно, что-то такое было въ родѣ полной чаши, напоминающей объ изобиліи. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобиліе, то по совѣсти вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ лейбкампанцевъ, и что подлинные пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыханіями.... Изъ конца въ конецъ кипѣла Пошехонская земля слезами и потомъ, какъ рѣка въ полую воду, и, благодаря этому кипѣнью, пески превращались въ плодородныя нивы, болота—въ луга, а Анна-Мосевна могла благодушествовать при одной ревизской душѣ. И такъ ловко пользовались дружинники этимъ своеобразнымъ изобиліемъ, что и впрямь казалось, что ему конца—краю нѣтъ. Ужели это было мечтаніе, а не дѣло?»

Полагаемъ, что эта картина нашего бывшаго «благоденствія» вполнѣ соотвѣтствуетъ той, которую рисовали прежніе наши сатирики-моралисты, начиная съ Новикова, Радищева и др. Но что же оказалось далѣе? «Когда пошехонецъ окончательно весь вынотѣлъ,—говоритъ г. Салтыковъ,—когда онъ надорвался и отощалъ, тогда наконецъ наступило «время, всѣхъ освѣщающее». Изъ человѣка кабальнаго пошехонецъ вдругъ шагнулъ въ «меньшіе братья». Противъ этой клички онъ точно такъ же не прекословилъ, какъ и противъ другихъ безчисленныхъ кличекъ, съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда, когда онъ увидѣлъ себя замурованнымъ въ «надѣлѣ», какъ будто задумался... Чаяли жито лопатами загребать, а по какому случаю, неизвѣстно. Разумѣется, случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило. Житницы дружинниковъ запустѣли, житницы «меньшихъ братьевъ» не наполнились. Какимъ образомъ произошло явленіе столь изумительное, доказывавшее, что досугъ, вмѣсто изо-

биліи, приводитъ за собой скудость.—объ этомъ покуда не всѣмъ сказывать.... Земля была все та же, и пошехонцы на ней все тотъ же, простодушный, во всякое время готовый источать потъ; но плоды земные словно сговорились: перестали лѣзть изъ земли да и шабашъ... Разрѣшеніе загадки, впрочемъ, не заставило себя ждать и осуществилось въ лицѣ Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Эти шустрые люди отлично поняли, что «меньшій братъ» засовался, и что прежде всего его слѣдуетъ «остепенить». Или, говоря другими словами, необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ лился бы столько же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы «вольнымъ» пошехонскимъ потомъ... Вотъ это-то именно они и называли «дѣломъ». И не скрывали этого, но шли въ походъ, восклицая, подобно нынѣшнимъ трезвеннымъ людямъ: прочь мечтанія! прочь фразы! Да здравствуетъ «дѣло».

У нашего автора, такимъ образомъ, на повѣрку выходитъ, что недостатка въ «дѣлѣ» у насъ, пожалуй, и не было. Только, благодаря человѣческой злобѣ и человѣческой неумѣлости, даже самое лучшее дѣло незамѣтно обратилось у насъ въ далеко неудовлетворительное.

Поправка, разумѣется, все же не во фразѣ, а *въ дѣлѣ же*, въ настоящемъ самоотверженномъ, умѣломъ и трезвенномъ дѣлѣ—такомъ, которое обратило бы все вниманіе на «село».—на томъ простомъ основаніи, что именно у насъ «было бы земледѣліе, будутъ, наконецъ, и финансы».

А между тѣмъ «разбойники пера и мошенники печати» только и дѣлаютъ, что совѣтуютъ становымъ прямо поощрять всякія «дворянскія мелодіи» на тему жалобъ, поощрять даже самое предъявленіе счетовъ за «священныя», кѣмъ-то уже не живымъ, «нарушенныя права».

Точно будто въ особаго рода *pendant* къ своему князю Рукосую-Пошехонскому авторъ выводитъ передъ нами и лицъ того же «вечера» стараго знакомаго своего Клуб-

кова. Этотъ совсѣмъ не озлобился, но за то нашелся. Онъ даже одѣлся, что называется, по-мужицки и сталъ работать заодно съ мужикомъ, обирая того же самаго мужика заодно съ Разуваевымъ. Тутъ уже и «правъ» не нужно, благо далось фактическое удовлетвореніе. И Клубковъ совершенно резонно такіе считаетъ настоящимъ дѣломъ, что у него уже «ноль-уѣзда подъ пятой». На замѣчаніе ему нашего автора: «можно подумать, что вы за что-то мстите», онъ, надо думать, совершенно искренно отвѣчаетъ: «я не мщу, а дѣло дѣлаю... Жезла не имѣю, такъ ради того надѣюсь найти. Посмотрите на «нихъ». Ободраны, обглоданы! ни избы, ни телѣги, ни сохи... срамъ!»—А ему все еще хочется, какъ самъ онъ тутъ же и сознается, *остепенить* ихъ. Ну, въ этомъ, пожалуй, и отрыгнулась у него, въ самомъ дѣлѣ, даже самимъ имъ незамѣчаемая *месть*...

«Злость, злость, злость...—говоритъ въ заключеніе авторъ.—Неизъяснимая, непреодолимая, съ одинаковой яростью гложущая и самого злеца, и предметъ его озлобленія. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бѣжать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ въ основаніи толковъ о «дѣлѣ».

Вечеръ шестой и послѣдній посвященъ «фантастическому отрезвленію». Въ сущности, это опять экскурсія въ «исторію Глупова»—опъ же и «Пошехонье».—«Собрались однажды,—зачинаетъ авторъ,—пошехонцы въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, во время оно, по свидѣтельству Костомарова, у нихъ «Сѣверныя народоправства» происходили... Но такъ какъ «Сѣверныя народоправства» давно сданы въ архивъ, куда допускается только Костомаровъ, то и самый церемоніалъ, которымъ они нѣкогда сопровождались, оказался сгорѣвшимъ въ одномъ изъ бывшихъ пожаровъ». Да, все это почти безслѣдно пропало, такъ какъ даже наука долго совсѣмъ у насъ этимъ не интересовалась, посвящая свое вниманіе только «Минервѣ» и пренебрегая «глуповцами». Но вѣдь это только печально, а совсѣмъ не смѣшно.

Не станемъ останавливаться на томъ, какъ пошехонцы

на мѣстѣ прежнихъ «народоправствъ» очутились у каланчи, и какъ городничій троекратно обливалъ ихъ оттуда водой изъ пожарной трубы, несмотря на ихъ полнѣйшее «отрезвленіе» или даже вслѣдствіе именно избытка этого «отрезвленія», доводившаго ихъ до того, что они другъ передъ другомъ и другъ отъ друга «таяли», такъ что это заставило г. Мазилку сообразить: «ежели людишки другъ друга перебьютъ до остатка, кто-же будетъ чинить исполненіе по окладнымъ листамъ?»

А все, по замѣчанію самого-же сатирика, отъ того, что пошехонцы, «безкозырные и бездумные», оказались совсѣмъ «обнаженными отъ прошедшаго и отъ будущаго». Да, это такъ; но отъ будущаго они обнажены потому, что *обнажены отъ прошедшаго*: потому-то они, опять по замѣчанію самого автора, и «поддаются съ такою легкостью всякаго рода вѣяніямъ», и эта легкость «мѣшаетъ имъ имѣть свою логически развивающуюся исторію». Но вѣдь для того, чтобы перестать наконецъ быть «обнаженными отъ прошедшаго», надо перестать его забывать, надо перестать надъ нимъ глумиться.

Но намъ-бы хотѣлось закончить заимствованными изъ тѣхъ-же «Пошехонскихъ разсказовъ» теплыми строками. Онѣ попадаются у нашего автора и тутъ, какъ попадались и прежде, и, пусть это будетъ странно, — но мы особенно любимъ у него, какъ и вездѣ, именно такія теплыя строки. «Бывали минуты,—сознается онъ,—когда Пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе: но такой минуты, когда-бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Ничто такъ естественно не вызываетъ любви, какъ бѣдность, угнетенность, скорбь и злосчастье вообще. Любовь сама по себѣ есть чувство радостное и свѣтлое, но, въ большинствѣ примѣненій, въ нее громаднымъ элементомъ входитъ жалѣніе. Оно дѣлаетъ любовь дѣятельной... оно наполняетъ человѣческую жизнь отравой и въ то-же время заставляетъ человѣка стремиться къ этой отравѣ... «Бѣдные! бѣдные! бѣдные!» вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо... Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти по-

давленные стоны, волной переливающіеся изъ края въ край, могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человѣческой совѣсти тѣни прошлаго... заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ можно-бы было успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находить, чтобы все прошлое было сплошнымъ темнымъ пятномъ, а потому, что нѣтъ того солнца, котораго лучи не потускнѣли-бы въ глубинахъ безразсвѣтной ночи, называемой человѣческимъ злосчастьемъ». Но вѣдь гдѣ-то нашъ авторъ и всю исторію человѣчества называетъ и, разумѣется, вполнѣ справедливо, какимъ-то «безконечнымъ мартирологомъ...»

Пожелаемъ автору полнаго возстановленія силъ и долгой еще литературной дѣятельности. Пожелаемъ ему, какъ и всѣмъ намъ, такихъ обстоятельствъ, при которыхъ не трудно-бы было разстаться, безъ сожалѣнія, съ Ѣзоповскимъ языкомъ. Пожелаемъ ему, наконецъ, и полной возможности такого разнообразія, которое служило-бы лучшимъ признакомъ добраго, всѣмъ желаннаго «разнообразія» и въ самомъ ходѣ нашей жизни. Вѣдь единство вполнѣ совмѣстимо съ разнообразіемъ, и даже оказывается безъ него пребывающимъ въ пустотѣ! Это не болѣе, какъ эстетика.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ [1])

I.

«Дѣтство», «Отрочество» и «Юность». Очерки и разсказы первой поры.

Изъ всѣхъ писателей славной плеяды, наиболѣе привлекающій къ себѣ въ настоящее время общее вниманіе не только у насъ, но и за границею, это, конечно, гр. Л. Н. Толстой. По полному своеобразію и геніальной силѣ своего дарованія вполнѣ соотвѣтствуя Достоевскому и даже сходясь съ нимъ во многомъ по направленію, онъ въ то-же время гораздо доступнѣе и свѣтлѣе, никогда не производитъ такого тяжелаго и потрясающаго впечатлѣнія, какъ авторъ «Преступленія и наказанія» и «Братьевъ Карамазовыхъ». Этимъ отчасти и объясняется преимущественный успѣхъ въ наше время не только у своихъ, но и чужихъ автора «Войны и мира» и новѣйшихъ религіозно-соціальныхъ трактатовъ.

Литературная извѣстность сразу упрочилась за гр. Толстымъ еще съ начала 50-хъ гг., когда стали появляться: «*Дѣтство*», «*Отрочество*» и «*Юность*»—эта своеобразная психологическая трилогія. Разсказъ, какъ извѣстно, ве-

---

[1]) Первыя четыре главы обработаны изъ моихъ лекцій университетскихъ лекцій

дется тутъ въ первомъ лицѣ, но біографическаго характера эти повѣсти не имѣютъ, несмотря на то, что по живости изложенія и по глубинѣ психическаго анализа онѣ производятъ впечатлѣніе автобіографіи. Доказательствомъ противнаго является вступленіе въ новое большое произведеніе гр. Толстого; тутъ онъ уже несомнѣнно разсказываетъ о самомъ себѣ, и въ этихъ личныхъ воспоминаніяхъ многое совершенно не похоже на то, что заключается въ первыхъ трехъ повѣстяхъ автора. По словамъ лица, очень близко стоящаго къ Л. Н. Толстому и хорошо знакомаго съ его семейными обстоятельствами— Н. Н. Страхова, кое-что автобіографическое попадается и тутъ, но вообще воспоминанія «*Дѣтства*», «*Отрочества*» и «*Юности*»—вовсе не личныя только воспоминанія гр. Толстого. Въ образѣ отца того мальчика, потомъ юноши, отъ лица котораго ведется тутъ разсказъ, выведенъ одинъ деревенскій сосѣдъ автора. Мать автора на самомъ дѣлѣ умерла ранѣе, чѣмъ она умираетъ въ повѣсти «*Дѣтство*». Гораздо болѣе біографическаго значенія имѣетъ многое въ хроникѣ «*Война и миръ*». Николай Ростовъ во многомъ изображаетъ отца Толстого; а княжна Марія—его мать, которую онъ описываетъ тутъ по разсказамъ другихъ, такъ какъ самъ онъ былъ еще слишкомъ малъ въ то время, когда она умерла и помнить ее не можетъ. О томъ, что хроника Ростовыхъ есть хроника Толстыхъ, говорили въ обществѣ при появленіи «*Войны и мира*». Мнѣніе это подтверждается и Н. Н. Страховымъ. Такимъ образомъ за матеріаломъ для біографіи гр. Толстого слѣдуетъ обратиться къ хроникѣ «*Война и миръ*» и къ новому, еще не напечатанному произведенію нашего автора, составляющему его личную исповѣдь.

Въ этой исповѣди Л. Н. Толстой говоритъ о томъ, какъ рано была потрясена въ немъ вѣра, причиной чего выставляетъ онъ то, что религія въ ихъ семействѣ, какъ и вообще въ ихъ кругу, имѣла всегда характеръ чисто формальный; она передавалась изъ поколѣнія въ поколѣніе, какъ многія другія, чисто семейныя, преданія и

поддерживалась не потому, чтобы являлась внутреннею потребностью души, а потому, что поддерживать ее въ семействѣ считалось необходимымъ для полноты того понятія, которое, на языкѣ ихъ круга, обозначается выраженіемъ «*comme il faut*». «Всѣ мы тогда воображали, что мы вѣримъ,—говоритъ гр. Толстой,—но, въ сущности, мы соблюдали только одни религіозные обряды; живой, настоящей вѣры въ насъ не было». Въ «*Дѣтствѣ*» и «*Отрочествѣ*» мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго. Правда, авторъ припоминаетъ въ одномъ мѣстѣ «*Отрочества*», что у него явилось разъ сомнѣніе въ справедливости Провидѣнія по поводу унизительнаго наказанія, наложеннаго на него гувернеромъ, и что это былъ первый шагъ къ религіознымъ сомнѣніямъ, тревожившимъ его въ отрочествѣ. Но за то въ началѣ повѣсти «*Юность*» разсказывается, какъ онъ, вернувшись отъ исповѣди и вспомнивъ, что не сказалъ священнику одного важнаго, по его мнѣнію, грѣха, промучился всю ночь и, наконецъ, едва дождавшись свѣта, когда всѣ еще спали, отправился въ отдаленный московскій монастырь и успокоился только послѣ того, какъ вновь исповѣдался у своего духовника. Впрочемъ, онъ передаетъ этотъ фактъ съ такой мотивировкой, которая освѣщаетъ его совершенно особеннымъ образомъ: онъ сознается, что многое тутъ зависѣло отъ самолюбія; въ его радостномъ настроеніи послѣ этой второй исповѣди играла большую роль мысль о томъ, какое впечатлѣніе этотъ поступокъ долженъ произвести на монаха, которому, думалось мальчику, вѣроятно, впервые еще пришлось встрѣтить молодого человѣка съ такой прекрасной душой. Сознаніе, что онъ совершилъ такой прекрасный поступокъ, побуждаетъ его разсказать о томъ извозчику, который везъ его въ монастырь — въ надеждѣ, что и тотъ проникнется чувствомъ глубокаго умиленія и подумаетъ, что другого такого прекраснаго молодого человѣка и на свѣтѣ нѣтъ. Извозчикъ, однако, отнесся къ его разсказу по-своему. «Ваше дѣло господское»,—отвѣтилъ онъ, немного помолчавъ. Это простое заявленіе подѣйствовало на мальчика

слѣдующимъ образомъ, и въ дальнѣйшія разсужденія объ этомъ онъ уже не вступалъ.

Приговоръ извозчика: «ваше дѣло господское» даетъ уже ключъ къ тому, въ чемъ именно заключается сущность этихъ повѣстей и что сдѣлалось основаніемъ всѣхъ послѣдующихъ произведеній автора; это — противопоставленіе того, что слагается въ насъ путемъ воспитанія и образованія, тому, что совершенно безыскусственно складывается въ народѣ, при чемъ сочувствіе автора постоянно остается на сторонѣ послѣдняго. Его безпощадный анализъ приводитъ его къ раскрытію въ понятіяхъ и нравахъ образованнаго общества глубоко вкоренившейся барской подкладки, при которой, въ большинствѣ случаевъ, даже подъ хорошими, повидимому, явленіями этой среды скрывается нѣчто иное. Тотъ же анализъ заставляетъ автора открывать и указывать намъ въ народѣ тотъ здравый смыслъ, ту простоту, и вмѣстѣ съ тѣмъ чуткость и глубину чувства, которыхъ не можетъ дать само по себѣ никакое образованіе. Сущность вышеприведеннаго факта, т.-е. второй исповѣди и затѣмъ разговора съ извозчикомъ, именно такова. Извозчикъ своимъ простымъ здравымъ смысломъ сразу все тутъ опредѣлилъ: «ваше дѣло господское, — говоритъ онъ, — вамъ досужно грѣхи свои взвѣшивать да обдумывать, да ѣздить къ духовникамъ, чтобы сызнова ихъ разсказывать, а съ насъ, рабочихъ людей, коли что и забудемъ, Господь не взыщетъ» [1]).

Разсматривая эти три повѣсти гр. Толстого, мы видимъ, что самыя чистыя, свѣжія, дѣйствительно воспитательныя впечатлѣнія вынесены мальчикомъ, отъ лица котораго ведется разсказъ, со стороны людей простыхъ: старухи няньки, юродиваго и полуобразованнаго гувернера нѣмца. Напротивъ, отецъ, образованный гувернеръ

---

¹) Доказательствомъ того, что народъ дѣйствительно смотритъ на баръ, какъ на людей досужихъ, служитъ отвѣтъ одного мальчика-простолюдина, ученика Ясно-Полянскихъ школъ, заведенныхъ Л. Н. Толстымъ. На вопросъ графа, что дѣлаютъ разнаго класса люди, мальчикъ перечислилъ много разныхъ занятій; но, когда его спросили, что дѣлаютъ дворяне, онъ отвѣтилъ: «ничего не дѣлаютъ».

французъ и, наконецъ, вообще великосвѣтскій кругъ, въ который вступаетъ онъ впослѣдствіи, оказываютъ на него совершенно противоположное вліяніе. Оно такъ сильно, что совершенно сглаживаетъ добрыя впечатлѣнія дѣтства, и изъ мальчика вырабатывается заурядный представитель того сорта людей, главнымъ мотивомъ которыхъ является желаніе выдѣлать изъ себя «un homme comme il faut» во всѣхъ отношеніяхъ. Эти повѣсти представляютъ исторію постепеннаго извращенія хорошей дѣтской натуры. Приглядимся теперь внимательнѣе къ тѣмъ людямъ, которые окружаютъ маленькаго героя этихъ повѣстей.

Отецъ его охарактеризованъ въ X гл. «*Дѣтства*» немногими, но мѣткими словами: «Онъ былъ человѣкъ прошлаго вѣка и имѣлъ общій молодежи того вѣка неуловимый характеръ рыцарства, самоувѣренности, любезности и разгула...» «Его натура была одна изъ тѣхъ, которымъ для хорошаго дѣла необходима публика».

Подчасъ и у него являлось доброе душевное движеніе, но для того, чтобы привести его въ исполненіе, ему необходимо поощреніе. «И то только онъ считалъ хорошимъ,—говорится далѣе,—что называла хорошимъ публика». Словомъ, это былъ представитель тѣхъ людей, которые не задумываются надъ выработкой нравственныхъ убѣжденій, а считаютъ хорошимъ то, что доставляетъ имъ успѣхъ въ свѣтѣ. Въ его личности выразилась вся та жизненная фальшь, которая такъ пагубно отразилась потомъ и на его сынѣ.

Мать мальчика выставлена существомъ, спасеннымъ своими природными качествами, а также, надобно думать, и вліяніемъ золотой своей няни, отъ соблазновъ своей среды. Золотая простота ея сердца сказывается, между прочимъ, въ томъ, что она способна сердечно относиться къ такому человѣку, какъ юродивый Гриша, который уже никакимъ образомъ не соотвѣтствуетъ понятію «comme il faut». Мужъ ея, хотя и считаетъ это съ ея стороны блажью, не противорѣчитъ ей, и его снисходительность доходитъ до того, что юродивому позво-

лается бывать у нихъ въ домѣ и даже обѣдать въ общей съ ними столовой, хотя и за отдѣльнымъ столомъ; только иногда, взглянувъ нечаянно на босыя ноги Гриши, покрытыя грязью и струпьями, онъ обращается къ женѣ съ замѣчаніемъ, что «теперь онъ уже не въ состояніи больше ѣсть». Но, несмотря на свою брезгливость, онъ все-таки дѣлаетъ ей эту уступку, сознавая, что она со своей стороны прощаетъ ему очень многое.

Юродивый Гриша—типъ весьма распространенный у насъ на Руси, до сихъ поръ еще мало изслѣдованный и представляющій серьезную задачу для психолога. Эти люди, какъ извѣстно, имѣютъ большое значеніе въ глазахъ народа и имѣли еще большее въ старину, когда ихъ иносказательныя, но смѣлыя рѣчи оказывали вліяніе и на царей. Припомнимъ того юродиваго, который, при выходѣ Грознаго изъ церкви, подалъ ему кусокъ сырого мяса и, когда Иванъ Васильевичъ сослался на постъ, сказалъ, что пьетъ же онъ человѣческую кровь. Въ повѣсти гр. Толстого глубокаго историческаго анализа этого типа нѣтъ, да и быть не можетъ; тутъ передаются впечатлѣнія ребенка, его дѣтскія воспоминанія о юродивомъ и о слухахъ про него: «одни говорили про Гришу, что онъ несчастный сынъ богатыхъ родителей и чистая душа, а другіе, что онъ просто мужикъ и лѣнтяй».

Разсказы о Гришиныхъ вериГахъ возбуждаютъ дѣтское любопытство, и мальчикъ подговариваетъ брата и сестеръ отправиться наверхъ, гдѣ спитъ юродивый, и наблюдать за нимъ изъ темнаго чулана. Увидѣть вериги имъ такъ и не удалось, но за то пришлось быть свидѣтелями другой сцены, оставившей на мальчикѣ неизгладимое впечатлѣніе. Его поражаетъ молитва Гриши — не слова ея, смыслъ которыхъ не представляетъ ничего особеннаго, но то «искреннее, глубокое религіозное воодушевленіе, которое отражалось на его лицѣ, освѣщенномъ луною, на всемъ его существѣ, и подъ вліяніемъ котораго онъ, не находя словъ, чтобы выразить всю силу своего благоговѣнія, могъ вскричать только съ невыразимымъ выраженіемъ въ голосѣ: «Да будетъ

воля твоя», упалъ лбомъ на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ».

«О, великій христіанинъ Гриша!—говорится по поводу этого.—Твоя вѣра была такъ сильна, что ты чувствовалъ близость Бога, твоя любовь такъ велика, что слова сами собою лились изъ устъ твоихъ, ты ихъ не повѣрялъ разсудкомъ... И какую высокую хвалу ты принесъ Его величію, когда, не находя словъ, въ слезахъ повалился на землю!..»

Другое лицо изъ того же народа, такое оказывавшее на мальчика благотворное вліяніе, была ихъ *старая нянька—Наталья Савишна*. Въ повѣсти разсказывается вся исторія этой женщины, являющаяся характерной страницей въ исторіи крѣпостного права.

Еще молодой дѣвушкой Наталья Савишна была взята «во дворъ» въ число женской прислуги бабушки нашего мальчика, а впослѣдствіи приставлена была нянюшкой къ его матери. Вѣрно и усердно служила Наталья Савишна, съ любовью исполняла она эту новую обязанность, какъ вдругъ совершенно неожиданно съ нею случилась большая бѣда: она вздумала было полюбить одного дворового, имѣвшаго съ нею по службѣ частыя сношенія, и рѣшилась даже просить у барина позволенія выйти за него замужъ. Баринъ принялъ ея желаніе за выраженіе самой черной неблагодарности и, въ наказаніе за это, Наталья Савишна была сослана на скотный дворъ, въ отдаленную степную деревню. Но такъ какъ оказалось, что никто не можетъ ее замѣнить, то рѣшено было снова ее взять во дворъ. Вернувшись изъ своего изгнанія, она упала въ ноги барину и просила забыть ту дурь, которая нашла было на нее и ужъ никогда болѣе не вернется. Баринъ смиловался, она заняла прежнюю должность и стала вскорѣ уже не «Наташкой», а «Натальей Савишной». Когда ея молодая госпожа вышла замужъ, то, желая чѣмъ-нибудь отблагодарить ее за двадцатилѣтніе труды, вручила ей вольную и сказала, что съ этого времени она будетъ получать ежегодную пенсію. Наталья Савишна выслушала все это молча, злобно взгля-

нула на документъ, пробормотала что-то сквозь зубы и выбѣжала изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Затѣмъ, когда, немного погодя, молодая барыня, не зная, какъ объяснить себѣ ея поведеніе, вошла къ ней въ комнату, она застала Наталью Савишну сидящею на сундукѣ съ заплаканными глазами, между тѣмъ какъ на полу передъ нею валялись клочки разорванной вольной. На вопросъ, что съ нею, она отвѣчала: «Ничего, матушка! Должно быть, я вамъ чѣмъ-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что-жъ, я пойду».

Дѣло кончилось, разумѣется, тѣмъ, что Наталья Савишна осталась служить у своей бывшей барышни, и изъ нея окончательно выработался истый типъ русской няни.

Тутъ мы видимъ опять сопоставленіе двухъ элементовъ—крѣпостного барства и крѣпостного крестьянства. Съ одной стороны, полный произволъ, съ другой — подчиненіе ему, доходящее до признанія самаго естественнаго и законнаго чувства—«дурью».

Повидимому, обѣ стороны одинаково не заслуживаютъ уваженія: баре, какъ развращающіе, крестьяне, какъ развращенные до полнаго забвенія своего человѣческаго достоинства. Но Л. Н. Толстой чутко усматриваетъ въ этой нянѣ и совершенно иную сторону, которая доказываетъ, что полной, внутренней приниженности и угнетенности въ ней все-таки нѣтъ, что, напротивъ, въ ней вполнѣ спасена живая человѣческая душа: онъ указываетъ на богатый запасъ любви, сохранившійся у нея въ сердцѣ. Въ этомъ дѣдушкѣ, который въ наказаніе «за неблагодарность» отсылаетъ ее сначала на скотный дворъ, а затѣмъ, увидѣвъ всю невыгоду ея отсутствія, снова возвращаетъ ей свою милость — въ немъ дѣйствительно не проглядываетъ ничего человѣческаго. Но Наталья Савишна нашла выходъ изъ своего безотраднаго положенія: всю свою привязанность она сосредоточила на томъ существѣ, которое было ввѣрено ея попеченіямъ: она полюбила эту барышню тою полною любовью, съ какою любила бы своего мужа и своихъ дѣтей. Та-

кою любовью барышня не была, можетъ быть, любима и своей родной матерью. Въ силу этого, со стороны Натальи Савишны является вполнѣ естественнымъ и отказъ отъ вольной. Наталья Савишна не могла себѣ представить, чтобы за ту горячую, беззавѣтную любовь и ласку, которою она окружала свою барышню, можно было вознаградить такимъ образомъ, и поэтому совершенно понятно видѣла въ этой вольной только желаніе поскорѣе отдѣлаться отъ нея. Полное отсутствіе эгоизма — вотъ Наталья. Это дѣйствительно «въ рабствѣ спасенное сердце свободное» [1]). «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себѣ: вся жизнь ея была любовь и самопожертвованіе»,—говоритъ разсказчикъ. Онъ особенно оцѣнилъ ее въ то время, когда ихъ привезли изъ Москвы проститься съ умирающей матерью. Описывая ея смерть со всѣми сопровождающими обстоятельствами, разсказчикъ вспоминаетъ свои собственныя впечатлѣнія и сравниваетъ ихъ съ горемъ вѣрной няни: «мнѣ совѣстно,—говоритъ онъ,—вспомнить свою грусть, потому что къ ней всегда примѣшивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желаніе показать, что я огорченъ больше всѣхъ, то заботы о дѣйствіи, которое я произвожу на другихъ». «...Я испытывалъ, — говоритъ онъ далѣе,—какое-то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, стараясь возбуждать сознаніе несчастья, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль».

Значитъ, «яблоко отъ яблони не далеко падаетъ»: отцу нужна публика, и сыну понадобились свидѣтели его горя, какъ были они нужны ему впослѣдствіи, когда онъ раннимъ утромъ ѣхалъ въ монастырь, чтобы передать духовнику какой-то забытый грѣхъ.

Толпы посторонннихъ лицъ, пріѣзжавшихъ «навѣстить» въ горѣ, ихъ утѣшительныя фразы, съ которыми они обращались къ отцу мальчика, говоря, что «ей тамъ лучше, что она была не для міра», та дѣланность и

---

[1]) Некрасовъ.

неуместность, которыя проглядывали у нихъ при этомъ — возбуждали въ мальчикѣ только досаду. Но тѣ же почти по содержанію рѣчи Натальи Савишны производили на него совершенно иное впечатлѣніе.

«Его святая воля! — говорила ему старушка, когда онъ приходилъ поговорить съ нею о своемъ несчастьи.—Онъ затѣмъ и взялъ ее, что она достойна была, а Ему добрыхъ и тамъ нужно».—«Эта простая мысль отрадно поразила меня, — говоритъ онъ, — и я ближе придвинулся къ Натальѣ Савишнѣ».

Его дѣтское сердце подсказывало ему, что *тамъ* это были пустыя, шаблонныя фразы, сказанныя потому, что обыкновенно такъ говорятъ въ подобныхъ случаяхъ; тутъ же говорило искреннее чувство, слышалось глубокое убѣжденіе въ справедливости своихъ словъ. Онъ уходитъ къ нянѣ и заслушивается ея разсказовъ о томъ, гдѣ находится душа человѣка послѣ смерти. «Прежде чѣмъ душа праведника въ рай идетъ, она еще сорокъ мытарствъ проходитъ, мой батюшка, сорокъ дней можетъ еще и въ своемъ домѣ быть...» «Я слушалъ ее, притаивъ дыханіе,—говоритъ онъ,—и хотя не понималъ хорошенько того, что она говорила, но вѣрилъ ей совершенно».

Въ ея словахъ звучитъ глубокая грусть и теплая вѣра. Она твердо убѣждена, что Богъ не оставитъ ее тутъ одну, что она скоро соединится съ той, кого она любила больше всего на свѣтѣ и съ чьею смертью жизнь потеряла для нея всякій смыслъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, когда къ ней обращаются съ различными хозяйственными запросами, Наталья Савишна удовлетворяетъ ихъ совершенно просто, попрежнему заботясь о соблюденіи барскихъ интересовъ. Мальчика поразилъ тогда этотъ переходъ отъ того трогательнаго тона, съ которымъ она съ нимъ говорила, къ ворчливости и мелочнымъ расчетамъ. Но потомъ онъ понялъ, что иначе и быть не могло: горе ея было настолько глубоко, что ей и въ голову не приходило, чтобы ее могли заподозрить въ томъ, будто она недостаточно горюетъ; она знала, что этихъ житей-

скихъ мелочей все равно избѣжать нельзя и не боялась принимать въ нихъ участіе. «Ея скорбь была такъ сильна и чиста, что исключала всякую возможность тщеславія, и какая бы то ни было торжественность и театральность являлись для нея совершенно излишними».

Затѣмъ онъ разсказываетъ, какъ она постепенно угасала, когда дѣтей увезли въ Москву и она осталась одна въ деревнѣ. Никому и въ голову не пришло, что и ее нужно бы захватить туда же съ этими дѣтьми, которыя остались для нея теперь единственнымъ утѣшеніемъ. Она заранѣе предугадала свою смерть, приготовилась къ ней и распредѣлила все свое имущество: за исключеніемъ небольшой суммы денегъ, часть которыхъ она отдала на бѣдныхъ, а остальныя назначила своему брату, она всѣ свои сокровища, въ родѣ шелковыхъ платьевъ, барскаго военнаго мундира и т. п., отказала тѣмъ же барчатамъ, которымъ они, конечно, совсѣмъ не были нужны, и спокойно встрѣтила смерть.

«Она оставляла жизнь безъ сожалѣнія, не боялась смерти и приняла ее, какъ благо. Часто это говорятъ, но какъ рѣдко дѣйствительно бываетъ. Наталья Савишна не могла бояться смерти, потому что она умирала съ непоколебимой вѣрой и исполнивъ законъ Евангелія. Вся жизнь ея была чистая, безкорыстная любовь и самоотверженіе. Она совершила лучшее и величайшее дѣло въ этой жизни—умерла безъ сожалѣнія и страха». Вотъ что за существо была Наталья Савишна, эта простая няня, оставившая такое свѣтлое и отрадное впечатлѣніе въ сердцѣ мальчика.

Полуобразованный гувернеръ Карлъ Ивановичъ—также одно изъ симпатичныхъ лицъ, окружавшихъ раннее дѣтство героя повѣстей. Несмотря на то, что онъ вѣчно читалъ однѣ и тѣ же книжки, онъ имѣлъ воспитательное значеніе, потому что любилъ дѣтей; на нихъ непосредственно дѣйствовала его теплая, добродушная натура. Совсѣмъ иное вліяніе оказывалъ образованный французъ; вотъ какого рода параллель приводитъ разсказчикъ между тѣмъ и другимъ: «Карлъ Ивановичъ

бранилъ и наказывалъ насъ всегда хладнокровно, видно было, что онъ считалъ это хотя необходимою, но непріятною обязанностью. St. Jérôme, напротивъ, любилъ рядиться въ роль наставника: видно было, что онъ дѣлалъ это болѣе для собственнаго удовольствія, чѣмъ для нашей пользы. Онъ увлекался своимъ величіемъ... Карлъ Ивановичъ ставилъ насъ на колѣни лицомъ въ уголъ, и наказаніе состояло въ физической боли: St. Jérôme... приказывалъ становиться лицомъ къ себѣ и просить прощенія. Наказаніе состояло въ униженіи».

Въ отношеніяхъ француза къ дѣтямъ не проглядывало и тѣни любви: онъ совершенно формально исполнялъ свои гувернерскія обязанности, и дѣти были убѣждены, что онъ ихъ ненавидитъ. Подъ вліяніемъ его системы воспитанія, основанной главнымъ образомъ на униженіи, герой разсказа уже отрокомъ доходитъ до величайшей степени раздраженія и подъ вліяніемъ ея до такихъ поступковъ, въ которыхъ была уже не одна шалость. Авторъ при этомъ показываетъ, какъ подъ вліяніемъ извѣстнаго душевнаго состоянія, подъ вліяніемъ сознанія какой-то пустоты вокругъ себя, хотя бы то было слѣдствіе самолюбія, человѣкъ можетъ дойти до самыхъ невозможныхъ поступковъ и даже до величайшихъ преступленій.

«...Я весьма ясно понимаю,—говоритъ онъ,—возможность самаго ужаснаго преступленія безъ цѣли, безъ желанія вредить, но такъ—изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности. Бываютъ минуты, когда будущее представляется человѣку въ столь мрачномъ свѣтѣ, что онъ боится останавливать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себѣ совершенно дѣятельность ума и старается убѣдить себя, что будущаго не будетъ и прошедшаго не было. Въ такія минуты, когда мысль не обсуживаетъ впередъ каждаго опредѣленія воли, а единственными пружинами жизни остаются плотскіе инстинкты, я понимаю, что ребенокъ, по неопытности особенно склонный къ такому состоянію, безъ малѣйшаго колебанія и страха, съ улыбкой

любопытства, раскладывать и раздувать огонь подъ собственнымъ домомъ, въ которомъ спятъ его братья, отецъ, мать, которыхъ онъ нѣжно любитъ. Подъ вліяніемъ этого же временнаго отсутствія мысли... крестьянскій парень лѣтъ семнадцати, осматривая лезвіе только что отточеннаго топора подлѣ лавки, на которой лицомъ внизъ спитъ его старикъ отецъ, вдругъ размахивается топоромъ и съ тупымъ любопытствомъ смотритъ, какъ сочится подъ лавку кровь изъ разрубленной шеи; подъ вліяніемъ этого же отсутствія мысли и инстинктивнаго любопытства, человѣкъ находитъ какое-то наслажденіе остановиться на самомъ краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? Или приставить ко лбу заряженный пистолетъ и думать: а что, если пожать гашетку? или смотрѣть на какое-нибудь важное лицо и думать: а что, ежели подойти къ нему, взять его за носъ и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдемъ»? Строки эти, по своей психологической глубинѣ, прямо напоминаютъ Достоевскаго.

Но замѣчательно, что высказанное тутъ гр. Толстымъ въ самомъ дѣлѣ приводится въ исполненіе Ставрогинымъ въ «Бѣсахъ» Достоевскаго. По всей вѣроятности, когда-то прочитанная Достоевскимъ, черта эта залегла въ какомъ-нибудь уголкѣ его совершенно особенно устроенной памяти и впослѣдствіи облеклась въ извѣстный образъ, перешла въ дѣйствіе, при чемъ самъ онъ, конечно, совершенно забылъ, откуда это имъ взято.

Только что приведенными строками Толстой показываетъ, до какой степени какого-то тупого ожесточенія и озлобленія можетъ быть доведенъ и мальчикъ, воспитывающійся, повидимому, въ хорошей семьѣ.

Отрочество его проходитъ уже въ Москвѣ; тамъ же проходитъ и юность за исключеніемъ тѣхъ немногихъ мѣсяцевъ, которые онъ проводитъ въ деревнѣ. Слѣдя за его развитіемъ, мы видимъ, какъ городскія впечатлѣнія постепенно изглаживаютъ впечатлѣнія деревенскія, какъ эти послѣднія все болѣе и болѣе отступаютъ на задній

нимъ. Въ ту пору, когда онъ пишетъ свои воспоминанія, т.-е. уже въ зрѣломъ возрастѣ, онъ анализируетъ и другія впечатлѣнія и отдаетъ предпочтеніе дереневскимъ. Характеристику противоположныхъ имъ впечатлѣній городскихъ онъ даетъ намъ въ главѣ о «comme il faut». Онъ говоритъ тутъ, что въ юности всѣ его мысли уже вполнѣ облеклись въ ту форму, которая въ ихъ средѣ была извѣстна подъ именемъ «comme il faut». Съ этой точки зрѣнія у него сложилась тогда особая классификація людей.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей,—говоритъ онъ,—въ то время, о которомъ я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно comme il faut и простой народъ [1]). Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія: вторыхъ притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали—я ихъ презиралъ совершенно».

Но не только простой народъ—и люди, стоящіе выше его по культурѣ, коль скоро они не укладывались въ рамки комильфотности, также не считались имъ за людей, вполнѣ достойныхъ его уваженія. Какъ бы они ни были умны и образованны, какими бы талантами ни обладали, если они плохо произносили по-французски, не умѣли танцовать и разговаривать, словомъ, не заключали въ себѣ всѣхъ тѣхъ признаковъ, по которымъ можно было отличить человѣка comme il faut, то они не имѣли въ его глазахъ никакого значенія.

«Я не уважалъ,—говоритъ онъ далѣе,—ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, если онъ не былъ comme il faut. Человѣкъ comme il faut стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними. Онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, книги, дѣлать добро,—онъ даже хвалилъ ихъ за это, отчего

[1] Такимъ образомъ оказывалось, что всего было три категоріи

же не похвалить хорошаго въ комъ бы то ни было,— но онъ не могъ становиться съ ними подъ одинъ уровень, онъ былъ comme il faut, а они нѣтъ—и довольно».

Дѣло въ томъ, что писать картины, ноты, книги, дѣлать добро—значило трудиться, а понятіе comme il faut совершенно исключало трудъ; «comme il faut» значило стоять выше всякаго труда, имѣть возможность и право только наслаждаться т.-е., наслаждаться на счетъ чужого труда, пожинать то, что выработали другіе, какъ бы справляя свою повинность для людей, не знающихъ никакихъ повинностей, знающихъ только свои права. Человѣкъ comme il faut могъ быть меценатомъ, могъ собирать у себя различныя произведенія науки и искусства, могъ быть даже знатокомъ и цѣнителемъ ихъ, онъ могъ сочувствовать и содѣйствовать людямъ трудящимся, но самъ обязательно долженъ былъ быть свободенъ отъ «черной работы», а подъ нею подразумѣвается тутъ всякое занятіе, имѣющее какую бы то ни было опредѣленную цѣль, кромѣ одного независимаго наслажденія. Человѣкъ, который отдается умственному труду и видитъ въ этомъ и свою обязанность, и свое средство жить, не есть уже comme il faut. Даже трудъ съ самой безкорыстной цѣлью, съ цѣлью дѣлать добро другимъ считается недостойнымъ истиннаго comme il faut, потому что это все же трудъ—т.-е. служеніе, т.-е. зависимость. Въ то время, когда онъ пишетъ, все это представляется ему уже въ высшей степени дикимъ, и всѣ остальныя его сочиненія проникнуты стремленіемъ доказать всю извращенность, всю несообразность подобныхъ понятій и на ряду съ ними выставить простыя, не хитрыя, но полныя здраваго смысла сужденія людей простыхъ, или, какъ ихъ называютъ, «темныхъ», не тронутыхъ тою жизненною фальшью, которая такъ глубоко залегла въ нравы барства.

Въ «*Юности*» выведено особое лицо — князь Нехлюдовъ, съ которымъ мы встрѣчаемся и въ нѣкоторыхъ послѣдующихъ произведеніяхъ Толстого. Онъ является тутъ въ качествѣ студента московскаго университета, который

дружится съ героемъ повѣстей. Нехлюдовъ желалъ-бы, чтобы ихъ дружба была основана на чемъ-то высшемъ. Нехлюдовъ вообще является типомъ не заурядным въ своей средѣ, у него есть свои выдающіяся стремленія: онъ хочетъ жить нравственно, хочетъ сдерживать свои порывы и увлеченія; въ этомъ направленіи онъ дѣйствуетъ и на своего друга. Но кн. Нехлюдовъ все-таки принадлежитъ къ кругу людей comme il faut и авторъ даетъ намъ почувствовать, что въ его добрыхъ стремленіяхъ все-же проглядываетъ барство, онъ показываетъ, насколько сильна эта барская подкладка даже въ тѣхъ представителяхъ среды, которые задавались самыми добрыми задачами. Между прочимъ, тутъ передается такая сцена. Мальчикъ слуга, прислуживавшій Нехлюдову, не понялъ его приказанія и не сдѣлалъ того, чего отъ него требовали. Нехлюдовъ выходитъ изъ себя и бьетъ его кулакомъ по головѣ: онъ, впрочемъ, сейчасъ-же приходитъ въ себя и въ искупленіе этого поступка усердно молится, ему стыдно передъ присутствующимъ тутъ товарищемъ, больно и самому, что онъ дошелъ до такого состоянія, но дѣло въ томъ, что, несмотря на всѣ его хорошія намѣренія, барская подкладка, вложенная въ него воспитаніемъ и общимъ вліяніемъ среды, беретъ по временамъ свое и проявляется даже очень сильно. Изъ этого постыднаго факта уже, можетъ-быть, вытекаютъ тѣ стремленія, заглаживающія прошедшее молодого князя, о которыхъ мы узнаемъ изъ другой повѣсти— «*Утро помѣщика*». Въ повѣсти «*Юность*» авторъ даетъ намъ почувствовать и въ самыхъ благихъ стремленіяхъ Нехлюдова значительную долю самолюбія: онъ хочетъ выдвинуться, ему пріятно сознаніе, что онъ имѣетъ сильное вліяніе на своего молодого друга, что онъ является лицомъ, отечески заботящимся о немъ и его оберегающимъ. Можетъ-быть изъ тѣхъ-же самолюбивыхъ побужденій ему хочется сдѣлаться и благодѣтелемъ своихъ крестьянъ. И вотъ, будучи еще студентомъ III-го курса, онъ пишетъ по этому поводу письмо своей тетушкѣ, которую считаетъ женщиной «геніальной» и

своимъ лучшимъ другомъ. Тетушка хотя и не геніальна, но, должно-быть, умна, судя по ея оригинальному отвѣту на это письмо. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ она тутъ:

«Твое письмо, милый Дмитрій, ничего мнѣ не доказало, кромѣ того, что у тебя прекрасное сердце, въ чемъ я никогда не сомнѣвалась. Но, милый другъ, *наши добрыя качества больше вредятъ намъ въ жизни, чѣмъ дурныя*».

Затѣмъ далѣе: «Ты всегда хотѣлъ казаться оригинальнымъ, а твоя оригинальность ничто иное, какъ *излишнее самолюбіе*».

Подъ «хорошими» качествами она, должно-быть, подразумѣвала тѣ, которыя вытекаютъ изъ самолюбія. Онъ заключаетъ, что какъ тетушка ни геніальна, но можетъ ошибаться, и все-таки выполняетъ свое намѣреніе—уѣзжаетъ въ деревню съ цѣлью посвятить всю свою дѣятельность улучшенію быта своихъ мужиковъ по заранѣе обдуманному рецепту. Но его огорчаетъ отношеніе къ нему самихъ мужиковъ, тотъ недостатокъ довѣрія, который онъ постоянно замѣчаетъ съ ихъ стороны. Мужики никакъ не могутъ себѣ представить, чтобы баринъ дѣйствительно хотѣлъ вникнуть въ ихъ нужды и могъ помочь имъ: у нихъ нѣтъ довѣрія ни къ его познаніямъ, ни къ его добротѣ, но, напротивъ, есть увѣренность въ томъ, что баринъ не смыслитъ ничего въ ихъ крестьянскихъ дѣлахъ, а отсюда и желаніе воспользоваться его неопытностью и обмануть его, гдѣ можно. Тутъ выводятся различные типы крестьянъ: дѣйствительно бѣдные и не имѣющіе возможности выбраться изъ нужды, бѣдные отъ лѣни, прикидывающіеся бѣдными и, наконецъ, богатые, которые, пожалуй, и не скрываютъ своего богатства, но тѣмъ не менѣе продолжаютъ наживаться чернымъ трудомъ и жить безъ удобствъ. Между всѣми этими типами различныхъ оттѣнковъ нѣтъ никого, кто-бы съ довѣріемъ и уваженіемъ смотрѣлъ на барина; всѣ они видятъ въ немъ человѣка, отъ котораго «проку мало». Затѣмъ передъ нами рисуется его собственное душевное

настроеніе—въ тѣхъ словахъ, съ какими онъ обращается къ бѣдному мужику Чурису, у котораго развалилась изба, упрекая его въ томъ, что онъ не сказалъ объ этомъ ранѣе: «Я говорилъ вамъ всѣмъ на первой сходкѣ, что я поселился въ деревнѣ и посвятилъ свою жизнь для васъ, что я готовъ самъ себя лишить всего, лишь-бы вы были довольны и счастливы, — и я передъ Богомъ клянусь, что сдержу свое слово», — говорилъ юный помѣщикъ, не зная того, что такого рода изліянія неспособны возбуждать довѣрія ни въ комъ и въ особенности въ русскомъ человѣкѣ, любящемъ не слова, а дѣло, и не охотникѣ до выраженія чувствъ, какихъ-бы то ни было прекрасныхъ. Онъ хотѣлъ изливать на крестьянъ свои благодѣянія и затѣмъ наслаждаться ихъ счастьемъ и сознаніемъ того, что этимъ счастьемъ они обязаны ему, а они, напротивъ, смотрятъ на него, какъ на какого-то недоучку и видятъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ и стремленіяхъ не болѣе какъ «барскую блажь». Въ этомъ-же смыслѣ, въ «*Отцахъ и Дѣтяхъ*» Тургенева мужикъ отзывается о *Базаровѣ* послѣ того, какъ тому вздумалось поговорить съ нимъ объ его житьѣ-бытьѣ и высказать свой взглядъ на ненормальность его положенія. Когда мужика спрашиваютъ, о чемъ говорилъ съ нимъ баринъ, онъ отвѣчаетъ: «Да такъ, языкъ почесать захотѣлось, извѣстно; баринъ, развѣ онъ что понимаетъ?» Хотя между Нехлюдовымъ и Базаровымъ большая разница въ томъ, что одинъ все-же comme il faut, а другой совершенно не подходитъ подъ это понятіе, но въ данномъ случаѣ ихъ можно привести къ одному знаменателю: у того и у другого отношенія къ мужику теоретическія и вслѣдствіе этого свысока, а мужикъ въ отвѣтъ на это по своему, но также свысока относится къ нимъ самимъ.

«Что, вы ужь обѣдали?»—спросилъ Нехлюдовъ у Чуриса, поглядывая на его нетопленную печь. Чурисъ отвѣчалъ на этотъ вопросъ только движеніемъ физіономіи—подъ усами его обозначилась насмѣшливая улыбка, какъ будто ему смѣшно было, что баринъ дѣлаетъ такіе глупые вопросы; онъ ничего не отвѣтилъ.—Отвѣчаетъ жена:

«Какой обѣдъ, кормилецъ?... хлѣбушка поспѣдали— вотъ и обѣдъ нашъ. За спыткой нынче ходить неколи было, такъ и щецъ сварить не изъ чего, а что квасу было, такъ ребятамъ дала».

«Нехлюдовъ,—говоритъ дальше авторъ,—ужь давно зналъ не по слухамъ, не на вѣру къ словамъ другихъ, а на дѣлѣ всю ту крайнюю степень бѣдности, въ которой находились его крестьяне [1]), но вся дѣйствительность эта была такъ несообразна со всѣмъ воспитаніемъ его, складомъ ума и образомъ жизни, что онъ противъ воли забывалъ истину, и всякій разъ, когда ему, какъ теперь, живо, осязательно напоминали, у него на сердцѣ становилось невыносимо тяжело и грустно, какъ будто воспоминаніе о какомъ-то совершенномъ, неискупленномъ преступленіи мучило его».

Онъ вспоминалъ, надо думать, о томъ неискупленномъ ни имъ, ни его предками преступленіи, которое коренится въ преданіяхъ, въ образѣ жизни того круга, къ которому онъ принадлежалъ; онъ понималъ связь между всѣмъ этимъ и отношеніемъ къ нему мужиковъ, онъ понималъ, что причиной ихъ недовѣрія является именно эта рознь между ними, которая слишкомъ глубока. Въ концѣ повѣсти приводится восклицаніе, вырвавшееся у Нехлюдова послѣ размышленія надъ самимъ собой, надъ своими задачами и выполненіемъ ихъ; въ головѣ его проходятъ различныя воспоминанія его деревенской жизни, типы крестьянъ, видѣнные имъ, и между прочимъ молодой парень Илюшка. Вспоминается ему, какъ тотъ боялся, что его не пустятъ въ извозъ, какъ горячо онъ заступался за свое любимое дѣло; представляетъ онъ его себѣ извозчикомъ, какъ онъ, веселый и довольный своею участью, спитъ подъ открытымъ небомъ «здоровымъ сномъ сильнаго, свѣжаго человѣка». И вотъ у него невольно является мысль: «*зачѣмъ онъ не Илюшка!*» При-

---

[1]) Вотъ и еще литературное свидѣтельство противъ ходячаго теперь мнѣнія, будто бы бѣдность завелась у крестьянъ только послѣ ихъ освобожденія, а подъ крыломъ у помѣщиковъ всѣ они пользовались изобиліемъ.

мом, что за свѣдѣнію для выясненія дальнѣйшихъ произведеній Л. Н. Толстого.

Въ разсказѣ «*Люцерна*» мы встрѣчаемся съ Нехлюдовымъ въ Швейцаріи. Какъ связать эту повѣсть съ предыдущими, авторъ намъ не указываетъ. Вѣроятно, Нехлюдовъ убѣждается въ томъ, что ему никогда не удастся возбудить въ себѣ довѣріе своихъ крестьянъ, и кончаетъ тѣмъ, чѣмъ кончала и отчасти еще кончаетъ большая часть нашихъ баръ—отправляется за границу за новыми впечатлѣніями. Но ни. Нехлюдовъ не изъ числа тѣхъ заурядныхъ туристовъ, которые, попавъ за границу, только восторгаются всѣмъ: онъ критически относится къ предметамъ своихъ наблюденій, и даже та гражданская свобода, которая издавна упрочилась въ Швейцаріи, не удовлетворяетъ его. Спрашивается, куда-же дѣвалось его барство? Въ теоріи онъ является такимъ свободомыслящимъ, что его либерализмъ идетъ гораздо далѣе того, до чего додумались лучшіе люди Запада. На повѣрку выходитъ, однако, что въ практическомъ примѣненіи его теоріи старая подкладка барства, которая слишкомъ крѣпко угнѣздилась въ немъ, все-же беретъ свое, совершенно независимо отъ его воли.

Разсказъ начинается съ описанія природы Швейцаріи и вмѣстѣ тѣхъ изощреній, которыя придумалъ человѣкъ, чтобы приспособить природу къ своимъ особымъ удобствамъ и вкусамъ.

«Былъ седьмой часъ вечера. Голубое, какъ горящая сѣра, озеро съ точками лодокъ и ихъ пропадающими слѣдами, неподвижно, гладко, какъ будто выпукло разстилалось передъ окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило впередъ, сжимаясь между двумя громадными уступами и, темнѣя, упиралось и исчезало въ нагроможденныхъ другъ на друга долинахъ, горахъ, облакахъ и льдинахъ, все залитое нѣжною прозрачною лазурью воздуха и освѣщенное прорвавшимися съ разорваннаго неба жаркими лучами заката...

Но ни на озерѣ, ни на горахъ, ни на небѣ ни одной [illegible] ни одного цѣлаго цвѣта, ни одного

одинаковаго момента; вездѣ движеніе, несимметричность, причудливость, безконечная смѣсь и разнообразіе тѣней и линій и во всемъ спокойствіе, мягкость, единство...

И тутъ, среди неопредѣленной, запутанной, свободной красоты предъ самымъ моимъ окномъ глупо, фокусно торчала бѣлая палка набережной, лавки съ подпорками и зеленыя лавочки — бѣдныя, пошлыя людскія произведенія. Безпрестанно мой взглядъ сталкивался съ этою ужасно прямой линіей набережной и мысленно хотѣлъ оттолкнуть, уничтожить ее, какъ черное пятно, которое сидитъ на носу передъ глазомъ».

Точно также не хотѣлось ему видѣть гуляющихъ англичанъ, но и отъ нихъ уйти было некуда; особенно не нравились они ему во время обѣда, который проходилъ у нихъ такъ, что они какъ будто священнодѣйствовали.

«Если изрѣдка изъ этихъ ста человѣкъ два разговариваютъ между собою, то навѣрно о погодѣ и о восхожденіи на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкамъ, кушанье берется понемногу, горошекъ и овощи ѣдятъ непремѣнно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шопотомъ спрашиваютъ о томъ, какого вина прикажете. На такихъ обѣдахъ, разсказываетъ кн. Нехлюдовъ, мнѣ всегда становится тяжело, непріятно и подъ конецъ грустно. Мнѣ все кажется, что я виноватъ въ чемъ-нибудь, что я наказанъ, какъ въ дѣтствѣ, когда за шалость меня сажали на стулъ и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» въ то время, какъ въ жилахъ бьется молодая кровь и въ другой комнатѣ слышны веселые крики братьевъ». Лицезрѣніе этой искусственной неволи, искусственной скуки, дѣлается для него невыносимымъ. Безъ всякой опредѣленной мысли и въ самомъ мрачномъ расположеніи духа пошелъ онъ по набережной по направленію къ Швейцергофу, этому главному центру, куда стекаются туристы, какъ вдругъ его поражаютъ звуки чрезвычайно пріятной музыки. Оказывается, что это поетъ странствующій-музыкантъ и самъ акомпанируетъ себѣ на гитарѣ. «Крошечная фигура музыканта въ старомъ черномъ сюртукѣ

и простой мѣщанской фуражкѣ не представляла изъ себя ничего замѣчательнаго, но лихая, дѣтски веселая поза и движенія съ его крошечнымъ ростомъ составляли трогательное и вмѣстѣ забавное зрѣлище. Въ окнахъ и балконахъ гостиницы, на бульварѣ и на улицѣ столпилась самая разнообразная публика.

Окончивъ, музыкантъ снялъ фуражку и, размахивая гитарой, приблизился къ дому. Закинувъ голову, онъ обратился къ господамъ, стоявшимъ у окна и на балконахъ: «Messieurs et mesdames,—сказалъ онъ полуиталіанскимъ, полунѣмецкимъ акцентомъ и съ тѣми интонаціями, съ которыми фокусники обращаются къ публикѣ,—si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez: je ne suis qu'un pauvre diable». Т.-е. не думайте, что я наживаюсь отъ своей пѣсни,—я только существую ею. Въ подкрѣпленіе своей просьбы о какомъ-нибудь вознагражденіи онъ поетъ еще одну пѣсню и снова обращается къ публикѣ. Но и во второй разъ «изъ этой сотни блестяще одѣтыхъ людей, столпившихся слушать его, ни одинъ не бросилъ ему ни копѣйки... Маленькій пѣвецъ, какъ показалось Нехлюдову, сдѣлался еще меньше, взялъ въ другую руку гитару, поднялъ надъ головой фуражку и сказалъ: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit», и надѣлъ фуражку. *Толпа заговорила отъ радостнаго смѣха*».

И какъ въ самомъ дѣлѣ было не засмѣяться! Во всѣхъ эстетикахъ смѣхъ опредѣляется, какъ такое душевное состояніе, которое вытекаетъ изъ противорѣчія. Но тутъ именно и есть самое явное противорѣчіе: человѣку ничего не даютъ, а онъ благодаритъ. Но зачѣмъ-же бы и было давать? Вѣдь всѣ эти слушатели присутствовали не на какомъ-нибудь, заранѣе назначенномъ концертѣ извѣстнаго артиста съ опредѣленными цѣнами за билеты. Маленькій музыкантъ пѣлъ посреди улицы, предоставляя всѣмъ полную свободу слушать его или нѣтъ. Его самого также никто не принуждалъ пѣть—онъ дѣлалъ это по своей доброй волѣ, слѣдовательно платить ему за это никто не обязанъ.—Все это такъ: нака-

кіе законы не обязываютъ тутъ платить, тутъ—тѣ вполнѣ добровольныя, свободныя отношенія между людьми, при которыхъ человѣку нерѣдко приходится умирать съ голоду на глазахъ у своихъ ближнихъ. Но въ Нехлюдовѣ все это вызываетъ самое мрачное настроеніе. «Я совсѣмъ растерялся,—говоритъ онъ,—не понималъ, что все это значитъ и, стоя на мѣстѣ, безсмысленно смотрѣлъ въ темноту на удалявшагося крошечнаго человѣка, который, растягивая большіе шаги, быстро шелъ къ городу, и на смѣющихся гулякъ, которые слѣдовали за нимъ».

Входя на крыльцо Швейцергофа, онъ встрѣтилъ семейство богато-одѣтыхъ англичанъ. «Имъ, казалось, было такъ спокойно, удобно, чисто и легко жить на свѣтѣ, такое въ ихъ движеніяхъ и лицахъ выражалось равнодушіе ко всякой чужой жизни и такая самоувѣренность въ томъ, что швейцаръ имъ посторонится и поклонится и что, воротясь, они найдутъ чистую покойную постель комнаты, и что все это должно быть, и что на все это они имѣютъ право». Онъ невольно противопоставилъ имъ странствующаго пѣвца, который «усталый, можетъ быть, голодный, со стыдомъ убѣгалъ теперь отъ смѣющейся толпы,—понялъ, что такимъ тяжелымъ камнемъ давило ему сердце и почувствовалъ невыразимую злобу на этихъ людей».

Маленькій артистъ между тѣмъ со стыдомъ убѣгалъ отъ нихъ: ему стыдно было ихъ смѣха, стыдно того, что онъ просилъ у нихъ денегъ и что они не дали ему ихъ, хотя стыдиться слѣдовало бы не ему; все это ясно представляется молодому князю, и у него является желаніе искупить этотъ чужой грѣхъ, приласкать и угостить бѣднаго музыканта. Онъ отправляется вслѣдъ за нимъ и, догнавъ его, предлагаетъ пойти куда-нибудь вмѣстѣ выпить бутылку вина. Артистъ соглашается и указываетъ ему на находящееся поблизости простенькое кафе. Но кн. Нехлюдовъ рѣшилъ иначе: ему нужно не только по человѣчески обойтись съ этимъ бѣднымъ пѣвцомъ, не только его утѣшить, ему хочется пристыдить англичанъ, хочется передъ ними показаться, и, разъ оста-

новившись на этой мысли, онъ уже ни въ какія разсужденія не входитъ и ведетъ пѣвца назадъ въ Швейцарію,—туда, гдѣ онъ вынесъ столько униженій. Но каково же бѣдному пѣвцу угощаться на глазахъ у этихъ самыхъ англичанъ, которые, разумѣется, опять постараются показать ему свое пренебреженіе — это не берется въ расчетъ Нехлюдовымъ. Князь забываетъ, что «маленькій человѣкъ» вмѣсто того, чтобы отвести себѣ душу въ простой дружеской бесѣдѣ, будетъ просто мученикомъ въ этой парадной залѣ подъ устремленными на него взглядами чопорныхъ англичанъ. Правда, сначала онъ съ княземъ сидитъ внизу, въ комнатѣ, предназначенной для болѣе простой публики; тутъ пѣвцу все-таки сравнительно легче, но это продолжается недолго. Когда Нехлюдовъ замѣтилъ, что кельнеръ, подавая ему шампанское, поглядѣлъ на него презрительно и когда туда же является швейцаръ и садится тутъ рядомъ съ ними—тотъ самый швейцаръ, который съ такимъ почтеніемъ кланялся ему обыкновенно при каждомъ его выходѣ,—старая, неистребимая закваска барства заговорила въ князѣ съ прежней силой,—онъ вскочилъ съ мѣста и потребовалъ, чтобъ ихъ отвели въ другой залъ. Вотъ тутъ-то наконецъ его желаніе исполняется вполнѣ: онъ угощаетъ пѣвца на глазахъ у тѣхъ самыхъ аристократовъ, которые презрительнымъ смѣхомъ заплатили ему за пѣніе. Англичане морщатся, уходятъ, а бѣдный пѣвецъ, не зная какъ ему быть, долженъ до конца вынести всю эту пытку.

Между нимъ и княземъ происходитъ разговоръ, начатый еще внизу. Вспоминая, какъ хорошо жилось ему въ Италіи, артистъ говоритъ: «здѣсь по этимъ республиканскимъ законамъ вамъ не позволяютъ пѣть, а въ Италіи вы можете ходить, сколько хотите, никто вамъ слова не скажетъ. Здѣсь ежели захотятъ вамъ позволятъ, то позволятъ, а не захотятъ, то васъ въ тюрьму посадить могутъ». Если такъ, то онъ долженъ видѣть благодѣяніе уже въ томъ, что ему позволили пѣть передъ Швейцаріею.

«Да!—продолжалъ онъ,—ежели вамъ разъ замѣтятъ, а вы будете еще пѣть, васъ могутъ въ тюрьму посадить. Я ужъ просидѣлъ три мѣсяца», — сказалъ онъ, улыбаясь, какъ будто это было одно изъ самыхъ пріятныхъ его воспоминаній. — Ахъ, это ужасно! — замѣтилъ князь. — За что же? «Это такъ у нихъ по новымъ законамъ республики,—продолжалъ музыкантъ, все болѣе и болѣе одушевляясь.—Они этого не хотятъ разсудить, чтобъ и бѣднякъ жилъ какъ-нибудь. Ежели бы я былъ не калѣка, я бы работалъ. А что я пою, такъ развѣ я кому-нибудь вредъ этимъ дѣлаю. Что-жъ это такое? богатымъ жить можно, какъ хотятъ, а un pauvre diable, какъ я, и жить не можетъ. Что-жъ это за законы республики? Коли такъ, то мы не хотимъ республики, не такъ-ли, милостивый государь? мы не хотимъ республики, а мы хотимъ... мы хотимъ просто... мы хотимъ...— онъ замялся немного,—мы хотимъ натуральные законы».

Бѣдный пѣвецъ захотѣлъ слишкомъ многаго. Даже и въ Швейцаріи натуральныхъ законовъ не полагается, какъ не полагается ихъ и въ Америкѣ. Эти натуральные законы не существуютъ ни въ какомъ кодексѣ, — они должны быть въ правахъ, и только тогда, когда они будутъ въ правахъ, они окажутся дѣйствительными, хотя бы и не были занесены въ кодексы. До сихъ поръ не имѣется настоящаго равенства ни въ какой республикѣ, какъ бы широки ни были ея законы; вездѣ одинъ и тотъ же всесвѣтный владыка — мѣшокъ съ золотомъ; ему безпрекословно поклоняются всѣ.

Вотъ дальнѣйшія разсужденія Нехлюдова.

«Какъ вы, дѣти свободнаго, человѣчнаго народа, вы, христіане, вы, просто люди, на чистое наслажденіе, которое вамъ доставилъ несчастный просящій человѣкъ, отвѣтили холодностью и насмѣшкой? Но нѣтъ, въ вашемъ отечествѣ есть пріюты для нищихъ. Нищихъ *нѣтъ, не должно быть и не должно быть чувства состраданія, на которомъ основано нищенство*».

И дѣйствительно, зачѣмъ частная благотворительность, когда существуютъ благотворительныя учрежде-

нія, открывасмыя на средства лордовъ? Разъ есть нищенскіе пріюты, нищихъ не должно быть, а чувство сострадания должно быть сдано въ архивъ!! Авторъ помѣщаетъ далѣе:

«Седьмого іюля 1857 г. въ Люцернѣ передъ отелемъ Швейцергофомъ, въ которомъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій пѣвецъ въ продолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Около ста человѣкъ слушали его. Пѣвецъ три раза просилъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человѣкъ не далъ ему ничего и многіе смѣялись надъ нимъ».

«Вотъ событіе,—говоритъ онъ далѣе,—которое историки нашего времени должны записать огненными, неизгладимыми буквами. Это событіе значительнѣе, серьезнѣе и имѣетъ глубочайшій смыслъ, чѣмъ факты, записываемые въ газетахъ и исторіяхъ».

Почему же такъ? Въ исторіи такихъ фактовъ не полагается. Это дѣло не исторіи, не политики; политика состоитъ не въ томъ, чтобы странствующіе музыканты, забавляющіе своимъ искусствомъ публику, уходили съ деньгами въ карманѣ!

«Отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, — разсуждаетъ авторъ, однако, далѣе, — невозможный ни въ широкой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются самые цивилизованные люди, самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, въ общемъ, на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго, сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? Отчего эти люди въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горячо заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индіи, о распространеніи христіанства и образованія въ Африкѣ, о составленіи обществъ исправленія всего человѣчества, не находятъ въ душѣ своей простого первобытнаго чувства человѣка къ человѣку?»

Почему, какъ бы хочетъ онъ сказать, они творятъ добро машиннымъ путемъ учрежденій, а не хотятъ дѣ-

лать его вольнымъ путемъ сердца, почему они возложили всю надежду на эти готовые аппараты, а живую, человѣческую душу конфисковали, затерли?

Неужели нѣтъ этого чувства человѣка къ человѣку и мѣсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ? Неужели распространеніе разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціею, уничтожаетъ и противорѣчитъ потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это—равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? Неужели народы, какъ дѣти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство?».

Тутъ у Л. Н. Толстого полнѣйшее совпаденіе съ Ѳ. М. Достоевскимъ.

Въ своемъ новѣйшемъ, еще ненапечатанномъ произведеніи гр. Толстой разсказываетъ, какъ утонченно казнятъ при помощи гильотины. Заставивъ себя присутствовать въ Парижѣ при этомъ ужасномъ зрѣлищѣ, онъ задается вопросомъ: какой-же смыслъ въ цивилизаціи, если при помощи ея человѣкъ додумался до гильотины, до того, какъ удобнѣе и быстрѣе отсѣкать людямъ головы, а не додумался до того, какъ совсѣмъ уничтожить смертную казнь? Но, чтобы обращаться съ подобнымъ вопросомъ къ цивилизаціи, нужно быть такимъ чудакомъ, какъ Толстой или Достоевскій.

О правѣ пользованія человѣка всѣми благами жизни—наука говоритъ различно; одни доказываютъ, что умственныя пріобрѣтенія тогда только будутъ имѣть смыслъ, когда плоды ихъ будутъ равномѣрно распредѣлены между всѣми, когда всѣ люди, безъ исключенія, будутъ пользоваться ими въ равной степени. Другіе доказываютъ, что прогрессъ и цивилизація возможны только тогда, когда человѣчество подраздѣлено на двѣ категоріи — людей совершенно свободныхъ отъ всякаго труда, отъ всякой «черной работы», имѣющихъ достаточно времени и средствъ, чтобы всецѣло посвятить себя наукѣ и искус-

ству, и на людей чернорабочихъ, которые на своихъ плечахъ должны выносить всю тяжесть труда будничнаго, незамѣтнаго, но необходимаго въ жизни человѣчества. Съ этой точки зрѣнія полная равноправность является не только не желательной, но вредной, и слѣдовательно незаконной. Но такіе вопросы рѣшаются не наукой, не цивилизаціею, — они рѣшаются, такъ сказать, мудростью сердца, тѣмъ, что у Достоевскаго носитъ названіе «идіотизма»: они рѣшаются «буйствомъ ученія Христова». Вопросъ о правѣ всѣхъ людей пользоваться всѣмъ, что доступно и открыто человѣку, былъ рѣшенъ задолго до нашего времени тѣмъ, кого великій инквизиторъ у Достоевскаго хочетъ возвести на костеръ. Свободѣ недостаточно пребывать только въ учрежденіяхъ, она должна жить въ духѣ человѣка, и только тѣ учрежденія, которыя вытекаютъ изъ свободы духа, дѣйствительно надежны и прочны, но если свобода и гуманность отсутствуютъ въ правахъ, то никакія либеральныя учрежденія не въ состояніи замѣнить ихъ. Вотъ что утверждаетъ Л. Н. Толстой.

Кн. Нехлюдовъ является у него и разсуждающимъ, и дѣйствующимъ: въ его разсужденіяхъ сказывается такая широта пониманія свободы и гуманности, какой, по его мнѣнію, не оказывается ни въ либеральныхъ учрежденіяхъ Швейцаріи, ни въ правахъ западной Европы вообще; что-же касается его образа дѣйствій, то тутъ старая закваска барства беретъ верхъ помимо его воли и, быть-можетъ, даже независимо отъ его сознанія. Его проповѣдь есть проповѣдь духа равенства и братства, духа любви; онъ указываетъ на то, что гуманность и свобода должны быть, такъ сказать, въ крови у людей и не могутъ быть замѣнены никакими учрежденіями, а между тѣмъ самъ подвергаетъ своего рода пыткѣ бѣднаго музыканта—изъ пустого и суетнаго желанія пристыдить оскорбившихъ его англичанъ, а самому разыграть въ ихъ глазахъ роль гуманнаго и либеральнаго человѣка.

Эта повѣсть можетъ быть сопоставлена съ «*Поіотомъ*»

Достоевскаго. Тамъ попадается эпизодъ, соотвѣтствующій вышеприведенному случаю съ музыкантомъ. «Идіоту» приходится присутствовать на похоронахъ одной бѣдной старухи и выслушать проповѣдь пастора, направленную противъ ея несчастной дочери, которую онъ и выставляетъ причиною смерти матери, указывая на нее, босую и въ лохмотьяхъ, какъ на отмѣченную перстомъ Божьимъ. Его проповѣдь полна ума, одушевленія, краснорѣчія, но въ ней нѣтъ христіанской любви, въ ней не проглядываетъ и тѣни участія къ несчастной дѣвушкѣ. Эта проповѣдь возмущаетъ «идіота», простому и доброму сердцу котораго доступна самая широкая любовь и совершенно не понятно такое безсердечное обличеніе поступковъ другого, такое холодное киданіе камнемъ въ падшаго брата.

У Достоевскаго выставлена внѣшняя церковность, такъ сказать, вывѣтрившаяся, лишенная истинной вѣры и того начала любви, которое должно лежать въ ея основѣ; у Толстого выставлено отсутствіе внутренней свободы — при самыхъ свободныхъ учрежденіяхъ. Оба указываютъ на то, что внутреннимъ міромъ создается міръ внѣшній, что какъ скоро вымираетъ *духъ—форма* теряетъ всякое значеніе.

Тотъ-же самый кн. Нехлюдовъ является у гр. Толстого еще въ двухъ повѣстяхъ, не связанныхъ между собою никакою общею нитью. Это одинъ изъ тѣхъ, пожалуй, причудливыхъ пріемовъ, къ которымъ любитъ прибѣгать авторъ, не ограничивая себя никакими формами и исповѣдуя полнѣйшую литературную свободу.

Въ числѣ его военныхъ разсказовъ есть одинъ подъ заглавіемъ *«Изъ кавказскихъ записокъ кн. Нехлюдова»*. Тутъ Нехлюдовъ сталкивается на Кавказѣ съ человѣкомъ, котораго онъ узнаетъ не вдругъ подъ солдатской шинелью. Этотъ человѣкъ жилъ прежде въ Петербургѣ широкою жизнью ничего не дѣлающаго и прожигающаго свое состояніе барина; впослѣдствіи онъ втянулся въ довольно неблаговидные поступки и, разжалованный, отправился служить на Кавказъ. Весь интересъ разсказа за-

ключается въ томъ, что человѣкъ этотъ, уже не молодой и износившійся, несмотря на тотъ урокъ, который далъ ему судьба, все-таки сохраняетъ убѣжденіе, что онъ принадлежитъ къ той особой породѣ людей, которую Толстой выводитъ подъ именемъ «comme il faut». И эта загрязненная и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи личность все-таки сохраняетъ престижъ comme il faut'ности и полагаетъ, что не всякому можно протянуть руку! Несмотря на всѣ испытанія и на всю некрасивую обстановку настоящей жизни, подкладка барства сохранилась тутъ всецѣло и сказывается съ прежней силой. Въ этомъ смыслѣ, какъ заграничныя, такъ и кавказскія записки кн. Нехлюдова представляютъ связь съ остальными повѣстями гр. Толстого.

Другая повѣсть, гдѣ мы также встрѣчаемъ Нехлюдова, носитъ названіе «*Записки маркера*».

Тутъ князь Нехлюдовъ является уже вполнѣ опустившимся и обѣднѣвшимъ. И это тотъ-же самый русскій баринъ, который уже въ юности задался цѣлью искупить вѣковой грѣхъ нашего барства и быть благодѣтелемъ своихъ крестьянъ; но, видя, что его благодѣтельныя затѣи не приводятъ ни къ чему, отправился, въ качествѣ туриста, изучать нравы западной Европы, а затѣмъ, когда и тутъ не повезло, поѣхалъ за новыми впечатлѣніями на Кавказъ. Въ «*Запискахъ маркера*» мы встрѣчаемся съ нимъ въ самое тяжелое время его жизни, когда онъ, совершенно прожившійся, отказавшись отъ всѣхъ высокихъ стремленій, кончаетъ свои похожденія игрою на бильярдѣ въ одномъ изъ трактировъ Петербурга. Онъ вошелъ въ долги, проигрываетъ огромныя суммы, снова должаетъ, сознаетъ, наконецъ, всю бездну своего паденія и кончаетъ самоубійствомъ.

Въ ряду произведеній 50-хъ годовъ выдѣляется еще повѣсть «*Альбертъ*». Она представляетъ, пожалуй, нѣкоторую связь съ исторіей музыканта въ «*Люцернѣ*». Уже по поводу того впечатлѣнія, которое производитъ странствующій артистъ на своихъ слушателей въ Швейцаріи, гр. Толстой говорилъ о значеніи поэзіи вообще.

Поэзія, отрывая насъ отъ исключительно матеріальныхъ заботъ, ставитъ насъ выше личнаго интереса и является тѣмъ цементомъ, который соединяетъ насъ съ остальными людьми; она-то и даетъ настоящую цѣну жизни. Если-бы всѣ эти люди, слушающіе пѣвца, знали цѣну поэзіи, они озолотили-бы его; но люди не понимаютъ, что дастъ имъ искусство и не умѣютъ цѣнить его. Потребность наслажденія сказывается у нихъ въ исканіи *чего-то не будничнаго*, но они не знаютъ, чего именно имъ нужно. Самыя наслажденія красотою природы, ради которыхъ они собираются въ Швейцарію, обратились для нихъ въ одинъ обрядъ; они доставляютъ ихъ себѣ потому, что у нихъ есть средства для этого, но самая поэзія такихъ наслажденій остается для нихъ недоступной.

Въ разсказѣ «*Альбертъ*» гр. Толстой выставляетъ опять музыканта, но сильно свихнувшагося нравственно. Онъ дастъ почувствовать въ этой повѣсти, какъ, не имѣя ничего своего и находясь въ постоянной зависимости отъ другихъ, даровитый человѣкъ можетъ пасть. Какъ знать? можетъ быть, при полной невозможности обезпечить себя и стать въ независимое отношеніе къ другимъ людямъ, долженъ дойти до такого-же точно положенія и тотъ музыкантъ, котораго ки. Нехлюдовъ видѣлъ въ Люцернѣ.

Мы встрѣчаемъ Альберта въ одномъ изъ увеселительныхъ заведеній Петербурга среди обстановки самой невзрачной; но прелесть его музыки, согрѣтой глубокимъ чувствомъ, сила его таланта, невольно поднимаютъ духъ даже у такихъ людей, которые собрались сюда совсѣмъ не для артистическихъ наслажденій. У одного изъ посѣтителей этого веселаго мѣста является страстное желаніе извлечь музыканта изъ той обстановки, въ которой онъ пропадаетъ, создать ему новую жизнь и тѣмъ самымъ сохранить ему талантъ, способный производить такое возвышающее дѣйствіе на людей. Музыкантъ соглашается на его приглашеніе и отправляется къ нему; но увы! несмотря на всю теплоту отношеній, на всю заботливость, которою окружаютъ его, онъ вскорѣ ухо-

дитъ отъ своего благодѣтеля, чувствуя себя несвободнымъ въ этой новой для него обстановкѣ. Да, ему стала непремѣнно нужна та свобода, которая переходитъ въ разгулъ. Слишкомъ уже поздно протянулась къ нему та спасающая рука, слишкомъ долго цѣлое множество людей относилось къ нему съ презрѣніемъ и тѣмъ способствовало его паденію. Самъ онъ уже подняться не можетъ, но силою его таланта поднимается другой; его самого спасти уже поздно, но тотъ человѣкъ, въ которомъ творящая сила его музыки пробудила столько хорошихъ воспоминаній юности, воскресила заглохшія было добрыя человѣческія чувства и высокія стремленія, этотъ человѣкъ спасетъ, повидимому, навсегда тотъ запасъ силъ, который въ немъ еще живъ. Въ самомъ-же музыкантѣ если талантъ и продолжаетъ сказываться, то уже помимо его воли, помимо его сознанія. Таковъ, кажется, психологическій смыслъ этого небольшого разсказа.

Въ повѣсти «*Два гусара*» авторъ выводитъ типы особаго рода барской сопше il faut'ности, перенесенной на почву стараго гусарскаго молодечества. Это молодечество состоитъ въ томъ, чтобы не сдерживать свою молодую силу, давать полный просторъ разгулу, — на то она и молодая сила, и сила не какого-нибудь простого человѣка, а человѣка хорошей крови, хорошей кости и къ тому-же захватившаго нѣкоторую долю рыцарскихъ понятій. Девизомъ людей этого закала было: «своя рука владыка», или — «нраву моему не препятствуй»; ихъ убѣжденіемъ было то, что имъ должны быть предоставлены какія-то особыя права, недоступныя другимъ, что ихъ правъ имѣетъ право быть безудержнымъ. Такой взглядъ на свою личность приводитъ ихъ подчасъ къ поступкамъ оригинальнымъ, а иногда и хорошимъ. Можетъ сказаться въ такихъ натурахъ и добрый порывъ, но только порывъ, подъ вліяніемъ котораго они способны употребить свою силу на доброе дѣло. Такъ старшій изъ нихъ направляетъ ее противъ шайки шулеровъ, обыгравшихъ въ карты одного молодого человѣка и заставляетъ ихъ возвратить ему добытыя обманомъ деньги. Это жизнь,

вполнѣ отданная на свою волю, какъ они воображаютъ, но, въ сущности, отданная на волю судьбы, на волю тѣхъ стихійныхъ началъ, которыя работаютъ въ этихъ людяхъ совершенно помимо ихъ собственной воли. Другой гусаръ — сынъ, представитель уже позднѣйшаго поколѣнія, является менѣе размашистымъ. Авторъ хочетъ, кажется, дать почувствовать, что принципъ «по колѣна море» начинаетъ мало-по-малу сглаживаться. Но, въ сущности, и у этого представителя новаго поколѣнія продолжаетъ сказываться отсутствіе всякаго высшаго принципа — тотъ-же безшабашный, хотя и поослабившійся «безудержъ», возведенный на степень нравственнаго достоинства.

II.

«Казаки».

Сопоставленіе двухъ міровъ—культурнаго съ его барской подкладкой и непочатаго — народнаго съ особенной яркостью выступаетъ въ повѣсти «*Казаки*» (1852).

Характеризуя своихъ Гребенскихъ казаковъ, гр. Толстой даетъ намъ почувствовать, что казачество, этотъ особый видъ народнаго быта, вызванный историческими условіями, сообщивъ русскому народу нѣкоторыя неизбѣжныя черты воинственности, осталось, однако-же, далеко отъ того, чтобы дать этой послѣдней войти, такъ сказать, въ плоть и кровь народа. Но эти Гребенскіе казаки, выводимые передъ нами авторомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и старообрядцы. Они, правда, не терпятъ уже гоненій, какъ ихъ предки, но долгое преслѣдованіе развило въ нихъ нетерпимость по отношенію къ тѣмъ, кто молится не по ихнему, къ «русскимъ», какъ называютъ они православныхъ. Но ни это вѣковое отщепенство, ни эта вѣчная готовность къ пролитію крови все-же не оказываютъ на казаковъ того развращающаго вліянія, какое, по мнѣнію автора, оказывается на образованные классы барствомъ.

Главными дѣйствующими лицами со стороны народной являются тутъ два казака: молодой—Лукашка и старый—Ерошка. Съ Лукашкой мы встрѣчаемся на сторожевомъ посту, гдѣ онъ подстерегаетъ чеченца. Онъ обязанъ выслѣдить и убить врага: на то онъ и казакъ, на то онъ и поставленъ на стражу. Послѣ долгаго ожиданія, уже подъ утро, Лукашка замѣтилъ плывущую по Тереку карчу и прицѣпившагося къ ней абрека; онъ взвелъ курокъ и сталъ прицѣливаться.

«Однако, сердце застучало у него въ груди такъ сильно, что онъ остановился и прислушался. Карча вдругъ бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, къ нашему берегу. «Не пропустить-бы»,—подумалъ онъ, и вотъ при слабомъ свѣтѣ мѣсяца ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Онъ навелъ ружьемъ прямо на голову. Она ему показалась совсѣмъ близко, на концѣ ствола. онъ глянулъ черезъ. «Онъ и есть, абрекъ»,—подумалъ онъ радостно и вдругъ порывисто вскочилъ на колѣни. снова повелъ ружьемъ, высмотрѣлъ цѣль, которая чуть виднѣлась на концѣ длинной винтовки, и по казачьей, съ дѣтства усвоенной привычкѣ проговоривъ: «Отцу и Сыну», пожалъ шишечку спуска».

Чего-бы хуже, казалось? Человѣкъ, приготовляясь спустить курокъ, призываетъ имя Божіе, мало того: Лукашка даже съ радостью убѣждается, что это абрекъ. Но посмотримъ, что будетъ далѣе? Когда раздался выстрѣлъ, то разбуженные имъ казаки обращаются къ Лукашкѣ съ вопросомъ:

«Кого стрѣлилъ?»

Лукашка ничего не отвѣчалъ. Онъ заряжалъ ружье и слѣдилъ за уплывающею карчей. Неподалеку остановилась она на отмели, и изъ-за нея показалось что-то большое, покачиваясь въ водѣ.

— Чего стрѣлилъ, что не сказываешь?—повторили казаки.

— Абрека, сказываютъ тебѣ.—повторилъ Лука.

— Будетъ брехать-то! Али такъ выпало ружье-то?

— Абрека убилъ! Вотъ что стрѣлилъ!—проговорилъ

сорвавшимся отъ волненія голосомъ Лукашка, вскакивая на ноги.—Человѣкъ плылъ . . . . .—сказалъ онъ, указывая на отмель.—Я его убилъ. Глянь-ка сюда.

Но тутъ еще неясно, отчего сорвался голосъ у Лукашки: можетъ быть, опять-таки *отъ радости*, что онъ убилъ абрека? Но нѣсколько далѣе онъ произноситъ слова, которыя заставляютъ предполагать нѣчто совсѣмъ иное: «*тоже человѣкъ былъ*»,—проговариваетъ онъ, видимо любуясь мертвецомъ. Въ этихъ словахъ слышится что-то сродное тому, что звучитъ въ словахъ солдата надъ трупомъ арестанта въ «Запискахъ изъ мертваго дома»: «*тоже мать была*».

Когда Лукашка указалъ на свой трофей, если можно такъ выразиться, старику Ерошкѣ, то въ лицѣ стараго казака выразилось что-то серьезное и строгое; «*джигита убилъ*»,—сказалъ онъ какъ будто съ сожалѣніемъ. Затѣмъ, выслушавъ подробный разсказъ Лукашки обо всемъ случившемся, старикъ «*опять печально покачалъ головою*». Много людей, и чеченцевъ, и русскихъ, отправилъ на тотъ свѣтъ этотъ дядя Ерошка, но не хвастался онъ своими подвигами, не радовали они его: «Чеченца убилъ, то-то и радуется,—говоритъ онъ потомъ про Лукашку, заслышавъ веселыя пѣсни казаковъ.—И чему радуется, дуракъ, дуракъ!» «А ты убивалъ людей?»—спросилъ его тотъ культурный человѣкъ, который заѣхалъ къ нимъ въ глушь изъ Петербурга, думая найти среди этихъ простыхъ и непосредственныхъ людей исходъ той пустотѣ и скукѣ, отъ которыхъ онъ не могъ освободиться при прежнихъ условіяхъ жизни.

«Чортъ!—закричалъ на него старикъ.—Что спрашиваешь! говорить не надо. Душу загубить мудрено, охъ, мудрено!»

Въ лицѣ Ерошки авторъ видимо хотѣлъ выставить ту черту народнаго характера, которую подмѣтилъ въ русскомъ человѣкѣ еще Пушкинъ: глубокое сочувствіе ко всякому страданію и стараніе, гдѣ только возможно, избѣжать пролитія крови, ту черту, въ силу которой каждая смерть кажется народу напрасной. Старому

Кромѣ этой симпатичная черта придана въ широкихъ размѣрахъ: ему жаль даже бабочекъ, которыя кружатся надъ огнемъ, рискуя опалить свои крылышки: «сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, мѣста много,—приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить опять на волю.—Сама себя губишь, а я тебя жалѣю». Старый казакъ, проведшій всю свою жизнь въ боевыхъ схваткахъ и убившій на своемъ вѣку столько людей, тѣмъ не менѣе не сроднился со всѣмъ этимъ; человѣческія чувства не заглохли въ немъ, несмотря ни на что. Онъ остался тѣмъ *«натуральнымъ человѣкомъ»*, во имя котораго музыкантъ въ Люцернѣ требовалъ, какъ мы видѣли, *«натуральныхъ»* законовъ.

Но авторъ не сразу вводитъ насъ въ кругъ казаковъ.

Въ началѣ повѣсти онъ рисуетъ намъ картину ранняго утра въ Москвѣ. «Въ окнахъ огней уже нѣтъ, фонари потухли: въ морозномъ воздухѣ разносятся звуки колоколовъ, напоминая о близости утра. Простой людъ поднимается послѣ долгой зимней ночи и идетъ на работы. А у господъ еще вечеръ. Въ одномъ изъ оконъ извѣстнаго московскаго ресторана свѣтится огонь: тамъ пируютъ трое молодыхъ людей: одинъ изъ нихъ ѣдетъ на Кавказъ, два другіе его провожаютъ. Ямщикъ ждетъ ихъ съ 12 ч. и, наконецъ, хочетъ уѣхать. Объ этомъ заявляетъ уѣзжающему (Оленину) его слуга Ванюша.

Дмитрій Андреевичъ посмотрѣлъ на своего Ванюшу. Въ его обвязанномъ шарфѣ, въ его валеныхъ сапогахъ, въ его заспанномъ лицѣ ему послышался голосъ другой жизни, призывавшей его, жизни трудовъ, лишеній, дѣятельности».

Онъ, въ самомъ дѣлѣ, ѣдетъ въ этотъ далекій путь, чтобы предаться тамъ *«у натуральныхъ людей»* и жизни *«натуральной»*; ему надоѣли тѣ дѣланныя отношенія и та искусственная жизнь, среди которой онъ выросъ. Извѣстнаго рода связь съ тою простою жизнью, къ которой онъ теперь стремится, у него была съ дѣтства:

связующимъ звеномъ и является тутъ Ванюша. Барин и слуга росли вмѣстѣ, если и смотрѣли одинъ на другого, какъ полагалось,—въ сущности, были друзьями, хотя оба удивились бы, если-бы кто-нибудь сказалъ имъ объ этомъ. Когда Оленину было пятнадцать лѣтъ, онъ (Богъ вѣсть зачѣмъ) выучилъ Ванюшу по-французски, чѣмъ тотъ, впрочемъ, не мало гордился.

Оленинъ былъ юноша, нигдѣ не кончившій курса, нигдѣ не служившій, только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ, промотавшій половину своего состоянія и до 24 лѣтъ не избравшій еще себѣ никакой карьеры и никогда ничего не дѣлавшій. Онъ былъ то, что называется «молодой человѣкъ» въ московскомъ обществѣ. Да и не въ одномъ московскомъ обществѣ, а вообще въ такъ называемомъ обществѣ.

Въ 18 лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ.

Хотя по записямъ онъ и числился русскимъ, православнымъ, помѣщикомъ и т. д., но это были только клички; реально было одно: онъ былъ богатый дворянинъ, т.-е. свободнѣйшій человѣкъ на земномъ шарѣ, если понимать, разумѣется, свободу въ извѣстномъ смыслѣ. Всѣмъ своимъ увлеченіямъ онъ отдавался лишь настолько, насколько они не связывали его.

Какъ только, отдавшись одному стремленію, онъ начиналъ чуять приближеніе труда и борьбы, мелочной борьбы съ жизнью, онъ инстинктивно торопился оторваться отъ чувства или дѣла и возстановить свою свободу. Такъ онъ начиналъ свѣтскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думалъ посвятить себя, и даже любовь къ женщинамъ, въ которую не вѣрилъ».

Въ чемъ заключалась его свобода: неприкрѣпленность ни къ какой задачѣ, ни къ какому дѣлу; свобода человѣка, не знающаго, что изъ себя сдѣлать, и могущаго сдѣлать съ собою все, что хочетъ.

«Онъ любилъ до сихъ поръ только себя одного и не могъ не любить, потому что ждалъ отъ себя одного хорошаго и не успѣлъ еще разочароваться въ самомъ себѣ».

И въ этомъ отношеніи онъ совершенно свободенъ, и тутъ онъ тотъ-же нравственный бобыль, не связанный никакой привязанностью, совершенно «самъ по себѣ» и «самъ себѣ цѣль». Но все это страшно надоѣло ему, и вотъ онъ ѣдетъ на Кавказъ, чтобы начать тамъ «*новую жизнь*». Званіе его — юнкеръ, занятіе — война въ видѣ выгоднаго ремесла; тутъ можно и голову сложить, но тутъ-же можно и карьеру сдѣлать. Вмѣстѣ съ тѣмъ, куда онъ ѣдетъ, и люди иные, не похожіе на тѣхъ, которые такъ надоѣли ему въ Москвѣ, и онъ уходитъ къ нимъ, какъ Пушкинскій Алеко ушелъ къ цыганамъ.

Читая эту повѣсть, невольно припоминаешь сказанное по поводу «Цыганъ» Ѳ. М. Достоевскимъ, утверждавшимъ, что Алеко «русскій скиталецъ» въ широкомъ смыслѣ этого слова, не знающій, куда себя дѣть. Алеко искалъ свободы: Толстой говоритъ, что и его герой тоже искалъ свободы.

« . . . . . Совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ со своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя».

И такъ, онъ признавалъ цивилизацію за нѣчто связывающее его; совершенно то-же видимъ мы и у Алеко: онъ также бѣжалъ отъ городской жизни, которая будто бы связывала его. А между тѣмъ, характеризуя своего героя, какъ мы видѣли ранѣе, Толстой говоритъ, что

онъ былъ совершенно свободенъ, слишкомъ свободенъ, и что эта полнота свободы надоѣла ему.

Какъ же согласить одно съ другимъ? Ѳ. М. Достоевскій, разбирая «Цыганъ», объясняетъ это такимъ образомъ: такихъ людей, какъ Алеко (а слѣдовательно, и какъ Оленинъ), ничто и никто собственно не связываетъ; они тяготятся, точно будто неволей, именно этой своей безграничной свободой. Избытокъ свободы именно и доводитъ Алеко до того безграничнаго эгоизма и произвола, которые имъ управляютъ и вносятся имъ и къ цыганамъ.

Оставь насъ, гордый человѣкъ!

говоритъ ему старикъ цыганъ, раскрывая ему этимъ глаза.

Ты для себя лишь хочешь воли,

прибавляетъ онъ. Посмотримъ теперь, какъ будетъ пользоваться своей «свободой» Оленинъ тамъ, на Кавказѣ, въ какія отношенія поставитъ онъ себя къ тѣмъ не культурнымъ людямъ, въ средѣ которыхъ онъ хотѣлъ-бы начать совершенно новую жизнь.

Пріѣхавъ на Кавказъ, онъ отдается охотѣ и созерцанію природы: онъ вглядывается въ нее, замѣчаетъ въ ней множество отдѣльныхъ жизней, которыя въ совокупности составляютъ одно согласное цѣлое, онъ признаетъ себя однимъ изъ живыхъ звеньевъ въ безконечной цѣпи.

«И ему ясно стало, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того, того и того-то, а просто такой-же комаръ или такой-же фазанъ или олень, какъ и тѣ, которые живутъ вокругъ него». Вотъ это настоящая жизнь, а не призракъ, а онъ до сихъ поръ, кромѣ призраковъ, ничего и не замѣчалъ. Его вдругъ охватываетъ чувство какого-то безпричиннаго счастья и любви ко всему живому, и онъ, по старой дѣтской привычкѣ, начинаетъ креститься и благодарить кого-то. «Все равно, что бы я ни былъ: такой-же звѣрь, какъ и всѣ, на которомъ трава вырастетъ и больше

ничего, или я рамка, въ которой вставилась часть единаго Божества: все-таки надо жить наилучшимъ образомъ».

Т.-е., думаетъ онъ, кто-бы я тамъ ни былъ, но я ощущаю, что я не одинъ, а насъ много, и что объ этомъ помнить надо. «Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья». Все, что представлялось ему нужнымъ для того прежде — теперь обратилось въ миражъ. «Счастье вотъ что, — сказалъ онъ самъ себѣ, — *счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ*».

Такое открытіе сдѣлалъ онъ, залюбовавшись природою, и въ первый разъ въ жизни почувствовалъ свою связь со всѣмъ, что ее населяетъ. «Какія-же желанія,— спрашиваетъ онъ, — всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!»

И вотъ онъ начинаетъ обдумывать, какъ-бы найти случай сдѣлать добро. Между тѣмъ въ лѣсу начинаетъ темнѣть, и на него нападаетъ страхъ довольно мелкаго свойства: ему приходятъ въ голову абреки съ убійствами, про которыя ему разсказывали, и онъ ждетъ, что вотъ-вотъ выскочитъ изъ куста чеченецъ и ему придется защищаться и умирать. Но ему стыдно этого чувства, онъ старается объяснить его себѣ получше: убьютъ и не успѣешь сдѣлать добраго дѣла; жить нужно для того, чтобы сдѣлать что-нибудь хорошее. Человѣкъ дожилъ до 24-хъ лѣтъ и не нашелъ ни разу случая сдѣлать доброе дѣло! Чисто головнымъ путемъ является у него потребность самоотверженія; объектомъ своей новой цѣли онъ выбираетъ Лукашку. Лукашка привлекаетъ его уже своей симпатичной наружностью; въ то-же время ему жалко Лукашку, жалко, что онъ необразованъ, хотя самъ Оленинъ и бѣжалъ отъ этого «образованія». Разговаривая съ Лукашкой по поводу убитаго чеченца, Оленинъ дѣлаетъ ему внушеніе такого рода:

«Чему-же ты радуешься? какъ-бы твоего брата убили, развѣ-бы ты радовался?»

Оленинъ забываетъ, что, говоря такимъ образомъ, онъ ни болѣе, ни менѣе, какъ повторяетъ мысли стараго Ерошки, забываетъ и о томъ, что, самъ отправляясь на Кавказъ въ качествѣ юнкера, онъ вѣдь тоже имѣлъ въ виду убивать людей по ремеслу, да еще получать за это вознагражденія. Самъ только что сдѣлавъ открытіе, что жить нужно для другихъ, онъ дѣлаетъ въ этомъ смыслѣ наставленіе Лукашкѣ, на что тотъ отвѣчаетъ ему очень просто, что «сегодня я убилъ, а завтра, можетъ быть, меня убьютъ!» Самоотверженіе Оленина относительно Лукашки состоитъ въ томъ, что онъ рѣшается сдѣлать ему подарокъ. Молодой казакъ собирается жениться и ему нужна лошадь, такъ какъ безъ этого условія за него не отдадутъ невѣсту. Узнавъ объ этомъ, Оленинъ даритъ ему своего коня, самъ въ восторгѣ отъ своего поступка. Онъ тутъ очень напоминаетъ героя повѣсти «Юность», когда тотъ, возвращаясь изъ монастыря, спѣшитъ разсказать извозчику о своемъ «прекрасномъ» поступкѣ. То-же самое произошло и съ Олениньмъ.

«Онъ, какъ мальчикъ, радовался и не могъ удержаться, чтобы не разсказать Ванюшѣ не только то, что онъ подарилъ лошадь Лукѣ, но и зачѣмъ подарилъ и всю свою новую теорію счастья».

Что-же касается Лукашки, то онъ не испытывалъ ни малѣйшаго чувства благодарности, а, напротивъ, весьма подозрительно относился къ барскому подарку и пришелъ къ тому заключенію, что ему надо быть на-сторожѣ съ юнкеромъ.

И Лукашка былъ правъ. Оленинъ дѣлаетъ подарокъ совсѣмъ не потому, чтобы въ его сердцѣ дѣйствительно была любовь къ Лукашкѣ, а потому что у него воображеніе только что разыгралось на тему самопожертвованія. Несмотря на то, что онъ только что ощутилъ новую теорію счастья, которая состоитъ въ томъ, чтобы жить для другихъ, въ сущности онъ остается тѣмъ-же человѣкомъ, у котораго искренней любви къ ближнему нѣтъ какъ нѣтъ. Его дальнѣйшіе поступки доказываютъ это.

Мало-по-малу у Оленина начинаетъ зарождаться любовь и къ невѣстѣ Лукашки — Марьянкѣ. Онъ долго запечатлѣваетъ свое чувство къ ней, стараясь увѣрить себя, что и ее онъ любитъ такъ-же, какъ кавказскую природу, и воображая, что свою дѣйствительную привязанность онъ сосредоточиваетъ на ея женихѣ. Онъ сначала даже какъ будто-бы сочувствуетъ ихъ любви, но, чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе сказывается въ немъ личное чувство къ ней. Самоотверженіе пробудилось въ его воображеніи и возведено имъ въ принципъ чисто головнымъ путемъ; стремленіе-же удовлетворить своему собственному «я» живетъ во всемъ его существѣ, въ цѣломъ складѣ его прошлаго. Что-же возьметъ въ немъ верхъ — то-ли, что живетъ въ немъ издавна, или то, до чего додумался онъ подъ вліяніемъ новой своей обстановки?

Между тѣмъ пріѣзжаетъ на Кавказъ его старый знакомый *Бѣлецкій*. Пріѣзжаетъ за тѣмъ-же, за чѣмъ ѣздили туда многіе изъ ихъ круга: попытать счастья въ военной службѣ, запастись новыми впечатлѣніями, нужными для людей, пережившихъ все, что только можетъ доставить ихъ прежняя обстановка.

Князь Бѣлецкій былъ еще очень молодой и по общему мнѣнію милый и добродушный человѣкъ; но Оленину онъ показался чрезвычайно теперь непріятенъ. Пріѣхавъ изъ Москвы, онъ привезъ съ собою тамошній воздухъ: такъ и пахнуло отъ него всею тою гадостью, отъ которой онъ (Оленинъ) отрекся. Досаднѣе-же всего ему было то, что онъ не могъ, рѣшительно не былъ въ силахъ оттолкнуть отъ себя этого человѣка изъ того міра, какъ будто этотъ старый бывшій его міръ имѣлъ на него неотразимыя права.

Бѣлецкій устраиваетъ у себя вечеринку, на которую приглашены Оленинъ и Марьянка—съ цѣлью ближе познакомить ихъ. Результатъ вечеринки, что Оленинъ тутъ въ первый разъ отдастъ себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ къ Марьянкѣ: онъ видитъ, что любитъ ее не такъ, какъ кавказскую природу и горы; его чувство къ ней таково, что приходится устранить съ дороги Лукашку.

И вотъ всѣ эти новыя идеи, навѣянныя на него этой новой жизнью, всѣ стремленія къ самопожертвованію мигомъ разлетаются въ прахъ.

«Все пустяки, что я прежде думалъ: и любовь, и самоотверженіе, и Лукашка. Одно есть счастье: кто счастливъ, тотъ и правъ»,—мелькнуло въ головѣ Оленина, и съ неожиданной для себя силой онъ схватилъ и поцѣловалъ красавицу Марьянку въ високъ и щеку. Марьянка не разсердилась, а только громко захохотала и выбѣжала къ другимъ дѣвкамъ».

Но онъ все-таки не совсѣмъ отказывается отъ своей новоявленной теоріи счастья. Идеи, зародившіяся въ его головѣ въ началѣ его пребыванія на Кавказѣ, снова выдвигаются впередъ и вступаютъ въ борьбу съ тѣмъ старымъ настроеніемъ, которое восторжествовало послѣ этой вечеринки. Очутившись опять наединѣ съ природой, онъ опять начинаетъ разсуждать . . . . . «Люди живутъ, какъ живетъ природа; умираютъ, родятся, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, плодятся и опять умираютъ, и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ».

И эта жизнь по законамъ природы представляется ему такою привлекательною, что ему приходитъ желаніе самому жить этою простою жизнью и даже жениться на какой-нибудь казачкѣ, только не на Марьянкѣ, которую онъ мысленно уступаетъ Лукашкѣ. Но вѣдь тутъ невольно возникаетъ вопросъ: уступать что-либо другому значитъ ли это жить по законамъ природы?

Входитъ ли въ эти законы природы самоотверженіе и признаніе правъ другого или, напротивъ, по этимъ законамъ правъ тотъ, кто сильнѣе, кто сумѣлъ и успѣлъ устроить свое счастье? Но вѣдь Оленинъ вообразилъ себѣ на Кавказѣ, что настоящее счастье и заключается въ самоотверженіи, въ жизни для другихъ. Такъ ли это? Любовь къ ближнему доставляетъ ли только наслажденіе, или въ ней есть и *боль*? Не разлюбитъ ли ближняго тотъ, кто наконецъ разглядитъ, что любовь къ ближнему тре-

будетъ борьбы съ собою, борьбы, въ которой нашъ долгъ, но и которой—далеко не одно наслажденіе?

Немного погодя, Оленинъ начинаетъ писать свой дневникъ, въ немъ мы встрѣчаемъ такія мысли:

«Для того, чтобъ быть счастливымъ, надо одно—любить и любить съ самоотверженіемъ, любить всѣхъ и все, раскидывать на всѣ стороны паутину любви: кто попадется, того и брать такъ, какъ я поймалъ Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

Ему кажется, что онъ одинаковымъ образомъ поймалъ Лукашку и Марьянку. Паутина, въ которую попалась Марьянка, какъ будто бы та же, въ которую попался Лукашка. Любить, по его мнѣнію, значитъ раскидывать свою паутину на другихъ. Но спрашивается, такъ ли это въ дѣйствительности, состоитъ ли самоотверженіе въ томъ, чтобы забирать въ свою паутину другихъ или, напротивъ, оно состоитъ въ томъ, чтобы самому безсознательно отдаваться въ чужую паутину?

Самая неудачность образа свидѣтельствуетъ о томъ, до какой степени спутаны его понятія. Старыя воззрѣнія смѣшались съ новыми теоріями, и выработался какой-то особенный взглядъ на людскія отношенія, неясный и неопредѣленный и для самого Оленина.

Затѣмъ онъ пишетъ письмо, въ которомъ окончательно сознается, что любить Марьяну далеко не такъ, какъ кавказскія горы и солнце:

«Я спасался отъ своей любви въ самоотверженіи,—признается онъ тутъ,—я выдумывалъ себѣ радость въ любви казака Лукашки съ Марьянкой и только раздражалъ свою любовь и ревность. ...Я люблю ее не умомъ,—говоритъ онъ далѣе,—не воображеніемъ, а всѣмъ существомъ моимъ». А Лукашку онъ любилъ только умомъ и воображеніемъ—въ этомъ и разница.

Къ концу письма онъ разсуждаетъ уже такимъ образомъ: «Самоотверженіе—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью! Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ, когда въ душѣ моей одна

любовь къ себѣ и одно желаніе—любить ее и жить съ нею, ея жизнью. Не для другихъ, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этихъ другихъ».

Тутъ онъ по крайней мѣрѣ говоритъ правду; онъ понялъ вполнѣ тотъ процессъ, который происходитъ въ его душѣ, и признаетъ себя такимъ, какимъ онъ и оказался на самомъ дѣлѣ. Кончаетъ онъ тѣмъ, что, пользуясь отсутствіемъ Лукашки, все болѣе и болѣе сближается съ Марьянкой и даже говоритъ, что готовъ жениться на ней.

Лукашка узнаетъ объ этомъ и съ горя начинаетъ пить. Это передаютъ Марьянкѣ. Оленинъ и самъ между прочимъ сообщаетъ ей, что Лукашка загулялъ, надѣясь этимъ подѣйствовать на нее неблагопріятнымъ для Лукашки образомъ, но этимъ онъ только отталкиваетъ ее отъ себя.

«Что-жъ! Онъ никому худа не дѣлаетъ,—вдругъ сказала Марьянка.—На свои деньги гуляетъ»,—и спустивъ ноги, она соскочила съ печи и вышла, сильно хлопнувъ дверью».

Между тѣмъ, Лукашка раненъ въ походѣ и такъ опасно, что на его выздоровленіе мало надежды. Оленинъ, узнавъ объ этомъ, не чувствуетъ ни тѣни жалости къ тому, кого недавно выбиралъ объектомъ своего самоотверженія. Напротивъ того, онъ съ радостью спѣшитъ съ этой новостью къ Марьянкѣ, но выходитъ, что и въ этомъ случаѣ онъ также ошибся въ расчетѣ.

Свиданіе Оленина съ Марьянкой описано такъ же просто, правдиво и выразительно, какъ умѣетъ описывать только Л. Н. Толстой.

— Марьяна! — сказалъ онъ (Оленинъ), — а Марьяна! Можно войти къ тебѣ?

Вдругъ она обернулась. На глазахъ ея были чуть замѣтныя слезы. На лицѣ была красивая печаль. Она посмотрѣла молча и величаво.

Оленинъ повторилъ:—Марьяна! я пришелъ...

— Оставь,—сказала она. Лицо ея не измѣнилось, но слезы полились у нея изъ глазъ.

— О чемъ ты? Что ты?

— Что?—повторила она грубымъ и жестокимъ голосомъ.—Казаковъ перебили, вотъ что.

— Лукашку?—сказалъ Оленинъ.

— Уйди, чего тебѣ надо?

— Марьяна,—сказалъ Оленинъ, подходя къ ней.

— Никогда ничего тебѣ отъ меня не будетъ.

— Марьяна, не говори!—умолялъ Оленинъ.

— Уйди, постылый!—крикнула дѣвка, топнула ногой и угрожающе подвинулась къ нему. И такое отвращеніе, презрѣніе и злоба выразились на лицѣ ея, что Оленинъ вдругъ понялъ, что ему нечего надѣяться, что все то, что онъ прежде думалъ о неприступности этой женщины, была несомнѣнная правда.

«Оленинъ ничего не сказалъ ей и выбѣжалъ изъ хаты».

Онъ проговорился, выдалъ свое чувство и еще болѣе оскорбилъ ее; онъ окончательно оттолкнулъ ее отъ себя своимъ бездушнымъ отношеніемъ къ тому, къ кому она была такъ несправедлива по его милости.

«Уйди, постылый!»—говоритъ она; въ этихъ словахъ слышится глубокое негодованіе и горечь: ты соблазнялъ меня тѣмъ, что я буду за тобой, за офицеромъ, ты старался вытравить изъ моего сердца любовь къ Лукашкѣ и теперь радуешься его несчастію, а мнѣ его жаль: я люблю его теперь еще больше, чѣмъ прежде. Ты отнялъ меня у него, такъ не достанусь же я и тебѣ!

Во всемъ ея существѣ заговорила та нота, которая стала присуща ея природѣ, которая сказывается въ ней помимо ея воли, можетъ быть, даже помимо ея сознанія, потому что воспитана въ ней бытовыми условіями и преданіями: это сознаніе связи съ другими людьми, вызывающее способность любить другого не эгоистическою любовью. Въ немъ же эта разумная связь съ другими людьми такъ и осталась непробужденною свѣтскимъ его воспитаніемъ. Онъ пытался было развить въ себѣ способность горячо и беззавѣтно любить людей—на томъ основаніи, будто въ такой любви настоящее счастье;

но попытка такъ и осталась попыткой, когда оказалось, что любовь къ другимъ вызываетъ борьбу съ собой—и закваска привычнаго себялюбія взяла свое. Выходитъ, что для развитія въ себѣ способности дѣйствительно жить для другихъ не достаточно признавать себя тѣмъ же оленемъ, фазаномъ или комаромъ, а надо сознавать себя *человѣкомъ*.

Послѣ разговора съ Марьянкой, Оленинъ видитъ, что между ними легла цѣлая бездна, которую ему никогда не удастся переступить, и рѣшается уѣхать. Въ заключеніе авторъ приводитъ его прощаніе съ Ерошкой, который полюбилъ его такъ же, какъ Максимъ Максимовичъ полюбилъ Печорина. Разговаривая съ Олениннымъ по поводу Лукашкиной раны и состоянія его здоровья, онъ выражаетъ свое мнѣніе, что ихъ доморощенные лѣкаря изъ горцевъ успѣшнѣе излѣчиваютъ раны, чѣмъ наши военные доктора, и замѣчаетъ при этомъ:

«У васъ фальчь, одна все фальчь». Оленинъ ничего не отвѣчаетъ ему на это: «онъ слишкомъ былъ согласенъ, что все было фальшь въ томъ мірѣ, въ которомъ онъ жилъ и въ который возвращался».

Кончивъ разговоръ съ Ерошкой, Оленинъ всталъ и, сказавъ ему мимоходомъ:

— Прощай, дядя! Богъ дастъ, увидимся, — отправился къ сѣнямъ.

— Такъ развѣ прощаются. Дуракъ! Дуракъ!—заговорилъ старикъ.—Эхъ-ма, какой народъ сталъ! Компанію водили, водили годъ цѣлый: прощай, да и ушелъ. Вѣдь я тебя люблю, я тебя какъ жалѣю! Такой ты горькій, все одинъ, все одинъ. Нелюдимый ты какой-то! Другой разъ не сплю, подумаю о тебѣ, такъ-то жалѣю. Какъ пѣсня поется:

«Мудрено, родимый братецъ,
На чужой сторонкѣ жить!»

— Ну, прощай, — сказалъ опять Оленинъ. Старикъ всталъ и подалъ ему руку, онъ пожалъ ее и хотѣлъ идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда! — Старикъ взялъ его обѣими толстыми руками за голову, поцѣловалъ три раза мокрыми усами и губами и заплакалъ.

— Я тебя люблю, прощай!

Оленинъ сѣлъ въ телѣгу.

— Чтожъ, такъ и уѣзжаешь? Хоть подари что на память, отецъ мой. Флинту-то подари. Куды тебѣ двѣ, — говорилъ старикъ, всхлипывая отъ искреннихъ слезъ.

Дѣло собственно не въ ружьѣ было, а въ памяти отъ человѣка, котораго онъ любилъ и который разстается съ нимъ совершенно спокойно и холодно.

Но вѣдь въ этомъ человѣкѣ такъ и не совершилось перелома: онъ возвращается туда, откуда бѣжалъ къ этимъ простымъ непосредственнымъ людямъ, возвращается тѣмъ же, чѣмъ и былъ. Свободы не нашелъ онъ и тутъ, да и не найдетъ ее нигдѣ, потому что воображаемая имъ неволя лежитъ въ немъ самомъ, въ его «я», которое имѣетъ надъ нимъ стихійную власть и никогда не позволитъ ему поступиться чѣмъ-либо ради другихъ.

Онъ пріѣхалъ къ людямъ простымъ, точно будто-бы лишь затѣмъ, чтобы возмутить ихъ простую жизнь, а самъ остается по-прежнему нравственнымъ бобылемъ и, вернувшись въ Москву, снова найметъ себѣ комфортабельную квартиру, но, какъ прежде, не будетъ имѣть «ни кола, ни двора».

Говорятъ, что «Казаки» остались не оконченными. Можетъ-быть, авторъ и имѣлъ намѣреніе выставить тѣхъ-же людей еще и въ другихъ положеніяхъ. Какъ-бы то ни было, смыслъ этой повѣсти представляется вполнѣ выясненнымъ и завершеннымъ.

III.

Кавказскіе разсказы. — Очерки Севастополя.

Обратимся къ тѣмъ разсказамъ гр. Толстого, гдѣ сопоставленіе двухъ міровъ происходитъ на почвѣ боевой жизни.

Къ числу произведеній этого рода принадлежатъ «*Набѣгъ*», «*Рубка лѣса*» и «*Очерки Севастополя*». И тутъ разсказъ ведется въ первомъ лицѣ — человѣкомъ, цѣль котораго приглядѣться къ военной жизни.

Въ повѣсти «Набѣгъ» онъ наталкивается на личность, весьма первобытную, хотя и не изъ народа, но стоящую близко къ нему, личность человѣка невысокаго происхожденія и небольшого образованія, который въ разговорѣ съ разсказчикомъ удивляется, что нашелся желающій посмотрѣть на войну. О себѣ онъ говоритъ, что служитъ въ военной службѣ потому, что ужь такая служба выпала на долю; мать старушка уже — нужно ее чѣмъ-нибудь содержать, нужно въ силу этого и служить, но удовольствія въ этомъ онъ не находитъ никакого.

«Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго: но за то въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня», - говоритъ разсказчикъ. «Вотъ кто истинно храбръ», — сказалось мнѣ невольно. Затѣмъ онъ увидѣлъ этого-же капитана во время сраженія.

«Онъ былъ точно такимъ-же, какимъ я всегда видѣлъ его: тѣ-же спокойныя движенія, тотъ-же ровный голосъ, то-же выраженіе безхитростности на его некрасивомъ, но простомъ лицѣ; только по болѣе, чѣмъ обыкновенно, свѣтлому взгляду можно было замѣтить въ немъ вниманіе человѣка, спокойно занятаго своимъ дѣломъ. Легко сказать—такимъ-же, какъ всегда; но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обык-

новенно: по лицу-же капитана замѣтно, что онъ и не понимаетъ, зачѣмъ казаться».

Эту простую неподдѣльную храбрость русскаго офицера гр. Толстой сопоставляетъ съ тѣмъ картиннымъ героизмомъ, который составляетъ характерную черту французовъ.

«Французъ, который при Ватерлоо сказалъ: «la garde meurt, mais ne se rend pas», и другіе, въ особенности французскіе герои, которые говорили достопамятныя изреченія, были храбры... но между ихъ храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если-бы великое слово, въ какомъ-бы то ни было случаѣ, даже шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ-бы его: во-первыхъ, потому, что, сказавъ великое слово, онъ побоялся-бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ потому, что, когда человѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое-бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской храбрости...»

Онъ не отрицаетъ того, что французы также храбры, но только хочетъ доказать, что ихъ храбрость всегда соединена съ извѣстной театральностью, тогда какъ духу русскаго «непропутаго» человѣка эта театральность совершенно чужда.

Тутъ-же, какъ полная противоположность капитану, выведенъ представитель барской среды,—молодой офицерикъ, полу-ребенокъ, пріѣхавшій сюда чуть-ли не прямо со школьной скамейки. Это очень милый, симпатичный и добрый мальчикъ, увлекающійся своимъ молодечествомъ и рисующійся имъ.

Между прочимъ, съ нимъ случается анекдотъ, который ясно свидѣтельствуетъ о его добротѣ и наивности: однажды онъ услышалъ жалобный крикъ, весьма похожій на плачъ. Его воображеніе, настроенное французскими книжками, въ которыхъ разсказываются такіе ужасы о казакахъ, заставляетъ его предполагать, что это не что иное, какъ крикъ ребенка, котораго рѣжутъ казаки.

«Не трогайте, не бейте его!»—кричалъ онъ дѣтскимъ голосомъ, махая руками и подбѣгая къ кучкѣ казаковъ, изъ средины которыхъ слышался плачъ.

Увидѣвъ офицера, казаки разступились и выпустили изъ рукъ бѣлаго козленка. Молодой прапорщикъ совершенно растерялся, забормоталъ что-то и со сконфуженною физіономіею остановился передъ нимъ. Увидавъ на крышѣ меня и капитана, онъ покраснѣлъ еще больше и, припрыгивая, подбѣжалъ къ намъ.

«Я думалъ, что это они ребенка хотятъ убить»,—сказалъ онъ, робко улыбаясь.

Онъ хотѣлъ совершить подвигъ человѣколюбія, а оказалось, что въ немъ и надобности нѣтъ.

Кончилъ этотъ мальчикъ печально: вѣроятно, увлеченный мыслью о какомъ-нибудь крестикѣ, онъ зарвался въ битвѣ и его убили.

«Онъ былъ блѣденъ, какъ платокъ, и хорошенькая головка, на которой замѣтна была только тѣнь того воинственнаго восторга, который одушевлялъ ее за минуту передъ этимъ, какъ-то странно углубилась между плечъ и спустилась на грудь. На бѣлой рубашкѣ, подъ разстегнутымъ сюртукомъ, виднѣлось небольшое кровавое пятнышко».

— Ахъ, какая жалость!—сказалъ я невольно, отворачиваясь отъ этого печальнаго зрѣлища.

— Извѣстно жалко,—подтвердилъ старый солдатъ, который съ угрюмымъ видомъ, облокотясь на ружье, стоялъ подлѣ меня.—Ничего не боится; какъ-же это такъ можно!—прибавилъ онъ, пристально глядя на раненаго.—Глупъ еще—вотъ и поплатился.

— А ты развѣ боишься?—спросилъ я.

— А то нѣтъ?

Солдатъ, заканчивающій разсказъ, совершенно соотвѣтствуетъ капитану, который открываетъ его. Одна и та же простота и безыскусственность въ обоихъ. Эта-же черта русскаго солдата выставлена гр. Толстымъ и въ другой повѣсти «*Рубка лѣса*», гдѣ мы встрѣчаемъ, съ одной стороны, культурнаго человѣка, а съ другой — умираю-

щаго солдата, который, смертельно раненый, совершенно спокойно дѣлаетъ распоряженіе на счетъ деньжонокъ, находящихся у него въ карманѣ. Его товарищи хотя и очень сожалѣютъ о немъ, тѣмъ не менѣе говорятъ о совершенно посторонннихъ предметахъ. Этого никакъ нельзя принимать за «безсердечіе» съ ихъ стороны; напротивъ, это доказываетъ, что они «слишкомъ сильно чувствуютъ», но въ виду предстоящаго сраженія боятся поддаться своему чувству. Люди другой среды въ такое время эффектничаютъ и даже съ какимъ-то удовольствіемъ говорятъ о войнѣ; это не доказываетъ, конечно, что они не боятся смерти. Въ нихъ говоритъ надежда выслужиться, составить себѣ карьеру, притомъ-же они рисуются.

Послѣ «Кавказскихъ очерковъ» появляются «*Очерки Севастополя*» (числомъ три), гдѣ Толстой говоритъ, какъ участникъ, какъ очевидецъ той народной эпопеи, которая разыгралась тамъ. Но и тутъ историческія событія интересуютъ Толстого лишь настолько, насколько они соприкасаются съ его обычной темой—проведеніемъ параллели между двумя мірами. Ему мало дѣла до того, что эта война разнится отъ той, которая ведется на Кавказѣ, что корни ея гораздо глубже, что она связана съ особыми историческими условіями, онъ не разсматриваетъ этой войны въ связи съ нашимъ «Восточнымъ вопросомъ». Его занимаетъ слѣдующее: что такое война? что такое героизмъ и есть-ли онъ вообще или это только старое, дѣланное слово? Что такое героизмъ русскаго офицера изъ среды интеллигентной и что такое героизмъ простого солдата? Показать жизнь, какъ она есть, поставить ее на настоящую почву, дать почувствовать, какъ даже и въ тагія великія исключительныя минуты будничная жизнь продолжаетъ течь своимъ обычнымъ теченіемъ—вотъ задача этого произведенія.

Три очерка Севастополя, связанные между собою одною общею связью, изображаютъ три момента Севастопольской осады—въ декабрѣ, маѣ и августѣ. Рисуя картину Севастополя въ декабрѣ, гр. Толстой представляетъ намъ этотъ городъ уже несшимъ на себѣ тяжесть

осады, но тогда она еще не наложила на него окончательнаго своего отпечатка. Обычная будничная жизнь шла попрежнему. По вотъ, съ этой площади, гдѣ толпятся люди, занятые своими личными дѣлами и интересами, авторъ переводитъ насъ въ залы дворянскаго собранія, которыя представляютъ теперь совершенно иной видъ, чѣмъ обыкновенно: онѣ наполнены ранеными и оживлены дѣятельностью сестеръ милосердія; рисуя эту картину со всею силою ничѣмъ неприкрытаго реализма, гр. Толстой говоритъ:

«Выходя изъ этого дома страданій, вы непремѣнно испытаете отрадное чувство, вполнѣ вдохнете въ себя свѣжій воздухъ, почувствуете удовольствіе въ сознаніи своего здоровья...»

Онъ указываетъ тутъ на тотъ, присущій человѣку, эгоизмъ, который каждаго заставляетъ невольно радоваться при мысли о томъ, что онъ избавленъ отъ общей горькой участи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ,—говоритъ онъ,—въ созерцаніи этихъ страданій вы почерпнете сознаніе своего ничтожества и спокойно, безъ перѣшимости, пойдете на бастіоны...»

«Чувство стыда передъ товарищами по положенію побораетъ чувство страха и заставляетъ, не колеблясь, идти на встрѣчу опасности. Несмотря на этотъ подленькій голосъ при видѣ опасности, вдругъ заговорившій внутри васъ, вы, особенно взглянувъ на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь подъ гору по жидкой грязи, рысью, со смѣхомъ бѣжитъ мимо васъ,—вы заставляете молчать этотъ голосъ, невольно выпрямляете грудь, поднимаете голову...»

И такъ, тотъ же Л. Н. Толстой, который обыкновенно не признаетъ храбрости и доказываетъ, что въ минуты опасности человѣкъ всегда чувствуетъ страхъ, утверждаетъ въ то же время, что бываютъ побужденія, передъ которыми этотъ страхъ можетъ стушеваться.

Послѣ всего, что онъ тутъ разсказалъ безъ малѣйшихъ прикрасъ и риторизма, онъ дѣлаетъ такое общее заключеніе: «Главное отрадное убѣжденіе, которое вы

вынесли — это убѣжденіе въ невозможности поколебать гдѣ бы то ни было силу русскаго народа, — и эту невозможность видѣли вы не въ этомъ множествѣ траверсовъ, брустверовъ, хитросплетенныхъ траншей, минъ и орудій однихъ на другихъ, изъ которыхъ вы ничего не поняли, но видѣли ее въ глазахъ, рѣчахъ и пріемахъ, въ томъ, что называется духомъ защитниковъ Севастополя. То, что они дѣлаютъ, дѣлаютъ они такъ просто, такъ мало напряженно и усиленно, что вы убѣждены, они еще могутъ сдѣлать во сто разъ больше... они все могутъ сдѣлать...» «Надолго, — говоритъ онъ далѣе, — оставитъ въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій...»

Именно *народъ*, въ лицѣ своихъ простыхъ людей и тѣхъ не простыхъ, которые близки къ народу духомъ.

Въ слѣдующемъ разсказѣ: «*Севастополь въ мат*», гр. Толстой налегаетъ на противоположность между простыми людьми и культурными въ то время осады, когда она уже сказывалась во всемъ, куда ни погляди. Но и тутъ еще, приглядываясь и прислушиваясь, можно видѣть хорошо одѣтыхъ офицеровъ, разгуливающихъ по бульвару, гдѣ играетъ военная музыка, можно видѣть, какъ они подаютъ другъ другу руку, слышать, какъ они говорятъ и что они говорятъ, при этомъ можно замѣтить въ нихъ много такого, чему, казалось бы, тутъ совсѣмъ не мѣсто, но чему именно тутъ-то и находится мѣсто.

«Слово аристократизмъ, — говоритъ гр. Толстой, — получило у насъ въ Россіи, гдѣ бы, кажется, вовсе не должно было быть его, съ нѣкотораго времени большую популярность и проникло во всѣ края и во всѣ слои общества, куда проникло только тщеславіе».

«Въ каждомъ слоѣ общества есть своя аристократія въ лицѣ тѣхъ, которые хотятъ быть и воображаютъ себя лучше другихъ. Аристократія создается тщеславіемъ, которое остается при человѣкѣ, несмотря на всевозможныя положенія. А такъ какъ въ осажденномъ городѣ Севастополѣ людей много, слѣдовательно и тщесла-

вія много, то есть и аристократы, несмотря на то, что ежеминутно виситъ смерть надъ головой каждаго аристократа и не аристократа».

И несмотря на все это, офицеръ съ княжескимъ титуломъ или со связями, протягивая руку людямъ различныхъ положеній, подастъ ее каждому изъ нихъ особымъ образомъ, а иному и совсѣмъ не подастъ. Въ самомъ тонѣ, въ выраженіи его голоса есть что-то особенное. Ту же comme il faut'ность, которая затронута гр. Толстымъ во многихъ его произведеніяхъ, находитъ онъ и здѣсь, въ Севастополѣ, гдѣ бы, казалось, ей совсѣмъ не мѣсто. На-ряду съ нею и какъ особый видъ ея является обращеніе такой войны, какъ Севастопольская, въ почетное ремесло, которое открываетъ вѣрный доступъ къ чинамъ и орденамъ. Вся та мелочность, которая присуща людямъ этого сорта, сохраняется и продолжаетъ проявляться и здѣсь, въ такое тяжелое и великое время.

«...Калугинъ и полковникъ были готовы каждый день видѣть такое дѣло съ тѣмъ, чтобы только каждый разъ получать золотую саблю и генералъ-маіора, несмотря на то, что они были прекрасные люди... «Всякій изъ насъ маленькій Наполеонъ» (а передъ этимъ онъ только-что сказалъ, что онъ любитъ, когда про Наполеона говорятъ, что онъ былъ извергъ), «маленькій извергъ и сейчасъ готовъ затѣять сраженіе, убить человѣкъ сотню для того только, чтобы получить лишнюю звѣздочку или треть жалованья».

Каждый изъ насъ таковъ, — говоритъ авторъ, — разумѣя именно нашъ классъ, — солдатъ не таковъ, онъ совершенно иначе относится къ войнѣ. Но, дѣлая это противопоставленіе, гр. Толстой тѣмъ не менѣе отказывается отъ того, чтобы признать героемъ этой повѣсти народъ русскій.

«Мнѣ скажутъ, — говоритъ онъ, — что же это за разсказъ — кто же герой его, наконецъ?.. Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекраснъ — правда».

Въ своемъ послѣднемъ разсказѣ «*Севастополь въ августѣ*» — онъ рисуетъ одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые у него попадаются довольно часто: это еще совсѣмъ юный офицеръ, почти ребенокъ, который ѣдетъ въ Севастополь въ самую трудную пору осады, съ обычнымъ намѣреніемъ отличиться. По дорогѣ онъ встрѣчается съ старшимъ братомъ, который, только-что излѣчившись отъ раны, считаетъ тѣмъ не менѣе своимъ долгомъ ѣхать туда же.

Въ Севастополѣ имъ приходится разстаться, и первое время юный герой чувствуетъ себя страшно одинокимъ; но затѣмъ это ощущеніе мало-по-малу въ немъ сглаживается подъ вліяніемъ сознанія общей бѣды, общей опасности, чего-то такого, черезъ что всѣ проходятъ; онъ заражается общимъ настроеніемъ, и прежняя трусость замѣняется какою-то припадочною храбростью. Дѣло кончается тѣмъ, что онъ умираетъ, какъ и его братъ, и многіе другіе. Тутъ же, на-ряду съ этими трагическими явленіями, съ этими высокими проблесками героизма, продолжаютъ сказываться и человѣческія страсти. Авторъ рисуетъ намъ азартную игру со всѣми ея отвратительными проявленіями — съ этими воспаленными глазами, съ жаждой выигрыша, съ оскорбительными словами и возможностью рукопашнаго боя, словомъ, все мелко личное и мелко страстное.

«Опустимъ скорѣе завѣсу надъ этою сценою, — говоритъ авторъ, — завтра, нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей весело и гордо пойдетъ на встрѣчу смерти и умретъ твердо и спокойно; но одна отрада жизни въ тѣхъ ужасающихъ самое холодное воображеніе условіяхъ отсутствія всего человѣческаго и безнадежнаго выхода изъ нихъ, одна отрада есть забвеніе, уничтоженіе сознанія. На днѣ души каждаго лежитъ та благородная искра, которая дѣлаетъ изъ него героя; но искра эта устаетъ горѣть ярко—придетъ роковая минута, она вспыхнетъ пламенемъ и освѣтитъ великія дѣла».

Героизмъ является такимъ образомъ только въ видѣ искры, которая вспыхиваетъ по временамъ, но какъ ни

что-постоянное и вѣчно живущее въ человѣкѣ онъ не существуетъ. Такой героизмъ есть созданіе воображенія, дававшее немало пищи риторикѣ, а нашъ авторъ риторики не признаетъ, онъ признаетъ лишь реализмъ, но тотъ, который относится къ человѣческой природѣ не односторонне, а видитъ въ ней также и высокое, и прекрасное.

Разсказъ заканчивается описаніемъ окончательнаго крушенія Севастополя, выступленія изъ него и того впечатлѣнія, которое производилось этимъ.

«Чувство самосохраненія и желанія выбраться какъ можно скорѣе изъ этого страшнаго мѣста присутствовало въ душѣ каждаго», — говоритъ авторъ, не скрывая, что и въ немъ было это чувство; но тутъ же прибавляетъ:

«Но за этимъ чувствомъ было другое, тяжелое, сосущее и болѣе глубокое чувство; это было чувство какъ будто похожее на раскаяніе, стыдъ и злобу. Почти каждый солдатъ, взглянувъ съ Сѣверной стороны на оставленный Севастополь, съ невыразимою горечью въ сердцѣ вздыхалъ и грозился врагамъ».

IV.

Очерки изъ народной жизни. — «Поликушка».—Статьи о народномъ образованіи.

Непосредственно съ народомъ знакомимся мы у нашего автора въ очеркѣ «Метель», гдѣ разсказъ ведется опять въ первомъ лицѣ и заключаетъ въ себѣ воспоминанія о зимнемъ пути, во время котораго разсказчикъ съ ямщикомъ, застигнутые продолжительною метелью, сбились съ пути и пристали къ другимъ путникамъ не потому, чтобы разсчитывали вслѣдъ за ними выбраться на настоящую дорогу, а въ силу того, что, какъ говоритъ русская пословица, «*на людяхъ и смерть красна*». Эти новые спутники—все люди не культурные, работники раз-

наго рода: въ нихъ опять сказывается то не рисующееся присутствіе духа, которое видѣли мы и въ «*Кавказскихъ очеркахъ*»; какъ тамъ солдаты стараются ободрить себя различными разсказами о вещахъ совершенно посторонннхъ, такъ и тутъ сбившіеся съ пути извозчики, въ виду довольно печальной перспективы остаться въ этой снѣговой пустынѣ и быть занесенными метелью, занимаютъ себя разсказываніемъ сказокъ. Ямщикъ, выбившись совершенно изъ силъ, пересаживаетъ барина въ одну изъ извозчичьихъ повозокъ и такимъ образомъ сдаетъ его на руки другимъ. Въ немъ даже въ эту минуту общей опасности продолжаетъ говорить чувство долга. Сознавая полную невозможность доставить барина на мѣсто, онъ все-таки дѣлаетъ все, зависящее отъ него, чтобы по крайней мѣрѣ дать человѣку, котораго онъ взялся довезти, возможность выбраться какъ-нибудь изъ снѣговой пустыни. При прощаніи онъ проситъ барина дать ему на чай. Разсказывающій обо всемъ этомъ съ грустною откровенностью сознается, что, съ досады, въ первую минуту онъ ничего не далъ ямщику, точно будто-бы тотъ виноватъ: потомъ только, когда раздраженіе поулеглось, онъ исполнилъ его скромную просьбу. Вотъ и весь разсказъ. Къ этому, правда, присоединяется еще удивительный сонъ, прямо переносящій нашего путешественника изъ зимы въ лѣто: то утопаніе въ снѣгу, которое, можетъ быть, предстоитъ ему на-яву, во снѣ принимаетъ образъ утопанія въ рѣкѣ. Все это — въ высшей степени художественно. Но главный интересъ разсказа все-же въ характеристикѣ народа, такіе мало рисующагося и мало думающаго о себѣ въ минуту какой-бы то ни было опасности, какъ и во время похода или осады.

Съ тою-же чертою народнаго духа знакомитъ насъ и разсказъ «*Три смерти*» (1856 г.). Заканчивается онъ вполнѣ, разумѣется, безсознательною смертью дерева, срубленнаго волею человѣка, потому что понадобился кресть по случаю смерти крестьянина. Вотъ въ этой-то уже вполнѣ сознательной, но совершенно спокойной, безропотной противъ природы смерти — и заключается вся

сущность разсказа. Ей противополагается въ немъ другая смерть — смерть женщины молодой, счастливой, наслаждавшейся жизнью и любящей ее ради этихъ наслажденій. Смерть больного, бѣднаго старика-крестьянина, которому жизнь давно уже въ тягость, встрѣчается имъ, какъ встрѣчаютъ давно ожиданнаго гостя. Молодой-же женщинѣ даже боятся сказать о близости ея кончины. Совершенно особенное впечатлѣніе производитъ на нее причащеніе: послѣ него она чувствуетъ себя легче, но тутъ дѣйствуетъ не религіозное одушевленіе, а то, что разсказываетъ ей священникъ о какомъ-то знахарѣ, который какими-то травами вылѣчилъ очень трудно больного. Вотъ и у нея является надежда на выздоровленіе, пересиливающая заботы о вѣчной жизни. Умирающему крестьянину прямо даютъ почувствовать, что ужъ лучше-бы ему поскорѣе освободить тотъ уголъ, который онъ совершенно безполезно занимаетъ въ избѣ. Молодой ямщикъ выпрашиваетъ у него пару новыхъ сапогъ, доказывая, что ему самому они все равно ужъ не пригодятся и обѣщая взамѣнъ позаботиться объ его могилѣ. Все это дѣлается не отъ безсердечія, а отъ того, что какъ умирающій, такъ и окружающіе его вообще совершенно спокойно относятся къ смерти. Къ нимъ вполнѣ можно примѣнить слова Некрасова о крестьянинѣ:

«Безъ наслажденья онъ живетъ,
Безъ сожалѣнья умираетъ».

Тѣ-же, къ числу которыхъ принадлежитъ молодая женщина, и «съ наслажденіемъ живутъ, и съ сожалѣньемъ умираютъ». И тутъ опять та-же параллель между двумя мірами, которую проводитъ нашъ авторъ чуть-ли не во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Позже, въ 1861 г., гр. Толстымъ написанъ разсказъ, долго остававшійся непапечатаннымъ [1]). Тутъ со смертью человѣка сопоставляется смерть лошади, которой и достается въ разсказѣ та сочувственная автору роль, ка-

[1]) Онъ вошелъ въ 3 т. послѣдняго изданія сочиненій гр. Л. Н. Толстого.

кою онъ обыкновенно надѣляетъ простыхъ людей, противопоставляя ихъ не простымъ людямъ. Въ цѣломъ этотъ разсказъ («Холстомѣръ») поражаетъ избыткомъ реализма, смѣшивающагося съ фантастическимъ (къ области послѣдняго несомнѣнно должна быть отнесена психологія сиваго мерина, сказывающаяся въ его разсказахъ передъ лошадиной публикой). Но мы остановимся только на концѣ разсказа—на издыханіи сиваго мерина, зарѣзаннаго вслѣдствіе того, что на немъ появилась короста. «Черезъ недѣлю,—говоритъ авторъ,—валялись у кирпичнаго сарая только большой черепъ и два маслака; остальное все было растаскано. На лѣто мужикъ, собиравшій кости, унесъ и эти маслаки и черепъ, и пустилъ ихъ въ дѣло». Такимъ образомъ выходитъ, что какъ лошадь при жизни приносила свою пользу, такъ и останки ея оказываются въ своемъ родѣ нужными. Совсѣмъ не то оказалось послѣ смерти бывшаго владѣльца лошади, и при жизни-то, по мнѣнію автора, совершенно безполезнаго. «Ходившее по свѣту, ѣвшее и пившее мертвое тѣло Серпуховскаго убрали въ землю... Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А какъ уже 20 лѣтъ всѣмъ въ великую тягость было его ходившее по свѣту мертвое тѣло, такъ и уборка этого тѣла въ землю была только лишнимъ затрудненіемъ для людей». Съ этой стороны смертью Серпуховскаго уже дѣлается намекъ на то, что въ послѣднее время было такъ обстоятельно развито нашимъ авторомъ въ «Смерти Ивана Ильича».

Но возвратимся къ произведеніямъ его первой поры, изображающимъ по преимуществу народный бытъ и народные нравы.

Въ довольно большой повѣсти «*Поликушка*» авторъ изображаетъ намъ тотъ внутренній переломъ, который можетъ произойти въ человѣкѣ, совершенно, повидимому, падшемъ, подъ вліяніемъ довѣрчиваго и человѣческаго отношенія къ нему. Разсказъ начинается съ разговора, который происходитъ между барыней и приказчикомъ. Этотъ послѣдній является здѣсь въ роли своего рода министра; барынѣ принадлежитъ вся власть, ему—вся хи-

трость. По всему видно, что этотъ министръ изъ крестьянъ умѣлъ наклонять мысли барыни въ ту сторону, куда онъ самъ хотѣлъ; но на этотъ разъ это ему не удалось: приходится столкнуться съ чувствомъ барыни, ставшимъ для нея вдругъ завѣтнымъ. Вопросъ въ томъ, кого сдать въ рекруты; приказчикъ предлагаетъ для этой цѣли человѣка, по его мнѣнію, совершенно безполезнаго, пьющаго и проворовавшагося и тѣмъ болѣе въ данномъ случаѣ подходящаго, что выборъ представляется между нимъ и племянникомъ хорошаго, трезваго крестьянина. Но барыня упорно стоитъ за пьяницу и вора.

Дѣло въ томъ, что она относится къ нему такъ (если только можно сдѣлать подобное сравненіе), какъ относятся иногда молодыя дѣвушки къ людямъ, вовсе недостойнымъ ихъ руки, но которыхъ онѣ думаютъ пересоздать, возродить. «Онъ далъ мнѣ слово исправиться,— говоритъ она,—и я его не отдамъ. Я ужь его исправлю». На возраженія приказчика, что тогда придется отдать другого, болѣе достойнаго крестьянина, она утверждаетъ: «и этого не надо». «Но вѣдь нужно-же отдать кого-нибудь», — доказываетъ приказчикъ. — «Только не Поликея», — отвѣчаетъ барыня. — Такимъ образомъ Поликей спасся; но черезъ нѣкоторое время та-же самая великодушная барыня невольно ставитъ его въ ужасное положеніе. Она желаетъ показать на всю деревню, какъ она увѣрена въ Поликеѣ, и ради этого даетъ ему порученіе привезти ей довольно значительную сумму денегъ. Она разочла, если угодно, вѣрно: Поликей, польщенный ея довѣріемъ, дѣйствительно рѣшился, во что-бы то ни стало, доставить ей эти деньги. На бѣду въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома онѣ выпадаютъ у него изъ шапки, куда онъ ихъ заложилъ, такъ какъ она оказалась порванною, и, не замѣченныя имъ, остаются въ снѣгу. Совершенно убитый входитъ онъ въ свою избу (если только можно такъ назвать тотъ уголъ, которымъ пользовался онъ со своей семьей) и очень подозрительно приглядывается къ веревкамъ, на которыхъ качается люлька съ его ребенкомъ. Вскорѣ мы узнаемъ, что онъ повѣсился. Барыня,

извѣщенная объ этомъ, въ ужасѣ прибѣгаетъ въ его темный уголъ и наталкивается тамъ на другую, не менѣе ужасную картину: ребенокъ, котораго мать принялась было мыть, забытый ею при полученіи страшной вѣсти, задохся въ корытѣ. Подъ вліяніемъ всего этого, у барыни совершенно разстраиваются нервы и въ результатѣ оказывается, что ею занимаются гораздо болѣе, чѣмъ несчастной семьей Поликея.

Между тѣмъ пакетъ съ деньгами находится; его приноситъ тотъ самый крестьянинъ, племянникъ котораго сданъ въ рекруты. Но барыня такъ разстроена, что не хочетъ и видѣть этихъ ужасныхъ денегъ; пусть ихъ возьметъ кто хочетъ, только-бы ей не думать и не говорить о нихъ. Барынѣ и въ голову тутъ не приходитъ, что у повѣсившагося есть семья. Но вѣдь какъ жена его ни разстроена, она не посмотрѣла-бы ни на какіе нервы и взяла-бы эти деньги съ благодарностью, думая о дѣтяхъ. За то барыня всецѣло занята своими нервами и ей не до кого. Такимъ образомъ деньги переходятъ въ руки того мужика, который ихъ доставилъ и который легко-бы могъ обойтись и безъ нихъ.

Но обратимся къ самому Поликушкѣ и прослѣдимъ тотъ психическій процессъ, который довелъ его до самоубійства.

Поликушка, какъ въ своемъ собственномъ, такъ и во мнѣніи окружающихъ, былъ человѣкъ потерянный; довѣріе, оказанное ему барыней, сразу поднимаетъ его въ собственныхъ глазахъ, а порученіе, возложенное на него, даетъ ему возможность подняться во мнѣніи другихъ. Онъ чувствуетъ, что отъ выполненія этого порученія зависитъ все, что оно открываетъ ему возможность стать инымъ человѣкомъ, начать новую жизнь. Онъ берется за него съ радостью и съ твердымъ намѣреніемъ выполнить его во что бы-то ни стало. Когда деньги пропадаютъ, онъ сознаетъ полную невозможность доказать свою невинность—никто ему не повѣритъ—и чувствуетъ въ то-же время, что вмѣстѣ съ пропажей этихъ денегъ для него все пропало. Разъ задавшись этой мыслью, онъ

уже не можетъ разсуждать въ иномъ направленіи; она обращается у него въ манію, какъ это всегда бываетъ передъ самоубійствомъ, и онъ кончаетъ съ собой.

Вспомнимъ, что въ одномъ изъ вышеприведенныхъ разсказовъ Л. Н. Толстого мы уже встрѣчались съ подобнымъ фактомъ — кн. Нехлюдовъ также оканчиваетъ самоубійствомъ; но мотивы, руководившіе имъ, совершенно другіе. Положеніе молодого князя было далеко не такое безнадежное. Кн. Нехлюдовъ, какъ уже намъ извѣстно, задался цѣлью быть благодѣтелемъ своихъ крестьянъ. Онъ не можетъ совладать съ этою задачею, такъ какъ для выполненія ея нужно совсѣмъ иное воспитаніе. Нехлюдовъ все-же принадлежалъ къ классу тѣхъ людей, которые въ принципѣ отрицали трудъ. Онъ, положимъ, хотѣлъ вырваться изъ оковъ *comme il faut'ности*, но у него не хватило на это ни силъ, ни умѣнья; убѣдившись въ своей неспособности дѣйствовать на трудовомъ поприщѣ, онъ рѣшается идти по обычной колеѣ людей своего круга — проводить жизнь человѣка, ищущаго только наслажденія — но вступаетъ на эту колею уже тогда, когда его средства были разстроены. Это собственно и губитъ его. Заставить себя работать не хватаетъ силы воли, жить такъ же широко, какъ живутъ окружающіе, не хватаетъ средствъ. Нельзя жить, какъ хочется, — лучше совсѣмъ не жить.

Возвратимся къ нашему разсказу. Какъ мы уже знаемъ, деньги, потерянныя Поликеемъ, попадаютъ въ руки достаточнаго мужика, тѣмъ не менѣе обладаніе такой большой суммой, попавшей къ нему совершенно нечаянно, заставляетъ его испытывать какую-то стихійную радость. Вскорѣ, однако, она смѣняется другимъ чувствомъ; кто-то напоминаетъ ему о томъ, что не мѣшало-бы ему подумать о племянникѣ, взятомъ въ солдаты: вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вспоминаетъ и о томъ, какимъ образомъ достались ему деньги, его начинаетъ мучить совѣсть, ему грезится обронившій деньги мертвецъ и, наконецъ, измученный всѣмъ этимъ, онъ рѣшается для успокоенія совѣсти отдать найденныя деньги за племян-

ника. Передъ нами другая картина—неожиданное возвращеніе молодого рекрута домой, его собственная радость и радость семьи, для которой онъ представлялся уже человѣкомъ, заживо погребеннымъ. (Нужно помнить, что дѣло происходитъ въ то время, когда солдатская служба не была такъ кратковременна, какъ теперь). Но тутъ, какъ и часто, радость одного основывается на горѣ другого: за этого рекрута идетъ другой, правда, «по доброй волѣ». По обычаю всѣхъ рекрутовъ онъ начинаетъ кутить, но вскорѣ мы узнаемъ, что и у него не легко на душѣ, и у него есть семья, которую ему тяжело оставлять на произволъ судьбы. Повѣсть вся исполнена самаго глубокаго трагизма. Между тѣмъ явленія, которыя рисуются тутъ, прямо выхвачены изъ дѣйствительности: но именно потому-то они и производятъ такое тяжелое впечатлѣніе. Но всего печальнѣе въ этой повѣсти то, что о семьѣ Поликушки всѣ забываютъ; не говоря уже о барынѣ, которой для успокоенія своихъ нервовъ можетъ быть и слѣдуетъ забыть о ней,—и со стороны простыхъ людей сказывается то-же равнодушіе. Авторъ не желалъ приподнимать и народъ и его идеализировать, онъ понимаетъ его всесторонне, и, указывая на него, какъ на среду болѣе нормальную и здоровую въ сравненіи съ барскимъ элементомъ общества, онъ указываетъ въ то-же время, что и въ народѣ есть свои болѣзненныя явленія. Мы видимъ у него въ простомъ человѣкѣ и необыкновенную нравственную чуткость, которая, при первомъ проблескѣ довѣрія къ нему, заставляетъ его сразу подняться нравственно, а потомъ доводитъ его до самоубійства отъ мысли, что онъ не оправдалъ этого довѣрія, и на-ряду съ этимъ способность того-же самаго люда всецѣло отдаться подъ впечатлѣніе собственной радости и забыть чужое горе, возможность какого-то нравственнаго отупѣнія и омертвѣнія, охватывающаго въ данномъ случаѣ цѣлую деревню.

Этимъ мы закончимъ разборъ мелкихъ произведеній Л. Н. Толстого. Но прежде чѣмъ перейти къ его знаменитой хроникѣ «Война и миръ», остановимся на его пе-

дагогическихъ статьяхъ. Тутъ онъ является передъ нами мыслителемъ не только на художественной, но и на воспитательной почвѣ. Теоріи, проводимыя тутъ гр. Толстымъ, представляютъ результатъ его собственной практики въ Ясно-Полянской школѣ, гдѣ, какъ онъ самъ говоритъ, онъ не столько училъ собиравшихся туда крестьянскихъ дѣтей, сколько самъ учился у нихъ. По взглядамъ, выражаемымъ въ этихъ статьяхъ, онѣ имѣютъ тѣсную связь со всѣми предыдущими произведеніями Толстого.

Выставляя народъ, какъ среду, сохранившую все то живое и свѣжее, что затерто и изуродовано воспитаніемъ и жизнью въ людяхъ барски-культурныхъ, гр. Толстой, какъ мы замѣчали и ранѣе, однако далекъ отъ идеализаціи народа; но равно тутъ далекъ онъ и отъ того, чтобы утверждать, будто народъ долженъ оставаться такимъ, какъ онъ есть, и отрицать необходимость образованія. Напротивъ, онъ признаетъ вполнѣ, что образованіе нужно народу, что слѣдуетъ всѣми мѣрами способствовать его духовному росту, ради чего онъ и завелъ свои школы; но только, прививая народу различныя «знанія», слѣдуетъ такъ приниматься за дѣло, чтобы не исказить и не заглушить тѣхъ задатковъ, которые кроются въ самомъ народѣ. Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что Л. Н. Толстой совершенно отдѣляетъ «*образованіе*» отъ «*воспитанія*», при чемъ только первое принимаетъ и считаетъ необходимымъ.

«Образованіе, — говоритъ онъ, — есть свободное отношеніе людей, имѣющее своимъ основаніемъ потребность— одного пріобрѣтать свѣдѣнія, а другого — сообщать уже пріобрѣтенное имъ» [1]).

Воспитаніе же онъ совершенно отвергаетъ, разумѣя подъ нимъ такое отношеніе людей, когда старшій, воспитатель, такъ-сказать, «налагаетъ себя на младшаго», стремясь создать изъ него собственное подобіе и воображая, что этимъ онъ оказываетъ величайшее благодѣяніе

[1]) Статья «Воспитаніе и образованіе».

для воспитываемаго. «Воспитаніе,—говоритъ намъ авторъ,—есть принудительное, насильственное воздѣйствіе одного лица на другое съ цѣлью образовать такого человѣка, который намъ кажется хорошимъ». Образованіе, т.-е. сообщеніе полезныхъ знаній, можетъ пробудить самодѣятельность мысли и содѣйствовать развитію человѣка, воспитаніе же въ смыслѣ прививки цѣлаго круга извѣстныхъ понятій и взглядовъ можетъ поставить человѣка на совершенно ложную дорогу; словомъ, по мнѣнію гр. Толстого, «воспитаніе, какъ умышленное формированіе людей по извѣстнымъ образцамъ,—*неплодотворно, незаконно* и *невозможно*».

Во всѣхъ своихъ статьяхъ гр. Толстой главнымъ образомъ указываетъ на то, что больше всего нужно остерегаться, «чтобы не соблазнить кого-нибудь изъ малыхъ сихъ»; т.-е. чтобы не заразить народа тѣми болѣзненными проявленіями духовной жизни, которыми страдаетъ наша интеллигенція. Но онъ полагаетъ, что правильная постановка и раціональное веденіе образованія въ средѣ народа дастъ ему такую силу, которая потомъ поможетъ и намъ, глядя на народъ, стать на здоровую почву.

Собственно о народномъ образованіи гр. Толстой написалъ двѣ статьи. Одна изъ нихъ была написана ранѣе и давно уже вошла въ собраніе его сочиненій, вторая сперва появилась въ «Отечественныхъ запискахъ» и включена лишь въ послѣдній (XII) томъ послѣдняго полнаго собранія его сочиненій. Первая статья чисто теоретическая, вторая же касается практической стороны дѣла.

Остановимся сначала на первой, въ которой гр. Толстой касается вопроса, какія основанія имѣетъ образованное общество, чтобы знать, чему именно и въ какой формѣ слѣдуетъ учить народъ, если само оно еще не увѣрено въ истинѣ того, что знаетъ: на чемъ основываетъ оно свое право образовывать народъ по извѣстному образцу, если само находится еще въ процессѣ исканія и, остановившись на какомъ-нибудь новомъ положеніи, какъ на истинномъ, вскорѣ отрекается отъ него и признаетъ его ложнымъ? Онъ говоритъ, что въ дру-

томъ положеніи была древность или средніе вѣка, когда у «человѣка были истины, которыя онъ признавалъ непреложными, когда онъ самъ, будучи глубоко убѣжденъ въ истинности своихъ воззрѣній, стремился передать ихъ другому, какъ нѣчто необходимое и вѣчное?»

Но въ наше время,—утверждаетъ онъ,—непреложныхъ истинъ нѣтъ, старыя убѣжденія и вѣрованія разрушены, новыя еще не созданы;—спрашивается, что же такое образованіе въ наше время, въ чемъ должно состоять школьное ученіе, чтобы пріохотить ребенка къ занятіямъ и способствовать его постепенному развитію?

«Всякое ученіе, — говоритъ онъ, — должно быть только отвѣтомъ на вопросъ, возбужденный жизнью. Но таково ли то ученіе, которое даетъ наша школа? Школа не только не возбуждаетъ вопросовъ, она даже не отвѣчаетъ на тѣ, которые возбуждены жизнью, — продолжаетъ Л. Н. Толстой. — Она отвѣчаетъ постоянно на одни и тѣ же вопросы, нѣсколько вѣковъ тому назадъ поставленные человѣчествомъ, а не дѣтскимъ возрастомъ, на вопросы, до которыхъ еще нѣтъ дѣла ребенку».

И такъ, она вѣчно отвѣчаетъ, да отвѣчаетъ на старые вопросы взрослаго человѣчества, которые все рѣшаются и все остаются не рѣшенными. На тѣ же вопросы, которые зарождаются въ душѣ ребенка, школа не даетъ отвѣтовъ; она не присматривается къ ребенку, не интересуется тѣмъ, какіе вопросы его интересуютъ, и не задумывается надъ тѣмъ, какъ бы отвѣтить на нихъ.

Обращаясь собственно къ «народному образованію», гр. Толстой указываетъ на тотъ выдающійся фактъ, что какъ у насъ, такъ и въ другихъ европейскихъ государствахъ, народъ постоянно противодѣйствуетъ тѣмъ усиліямъ, которыя употребляютъ для его образованія, а самъ между тѣмъ стремится къ образованію.

Объясненіе этого факта гр. Толстой видитъ въ томъ, что школа, которую даютъ народу, не удовлетворяетъ его, что какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, она является чѣмъ-то внѣшнимъ, навязаннымъ народу и совсѣмъ не

соотвѣтствующимъ тѣмъ требованіямъ, которыя можетъ выставить по отношенію къ ней народъ. На основаніи тѣхъ наблюденій, которыя ему приходилось дѣлать надъ школами разныхъ странъ, авторъ приходитъ къ заключенію, что принудительная система въ дѣлѣ образованія, которая существуетъ, напр., въ Германіи, не приводитъ ни къ чему и ужъ никакъ не способствуетъ тому, чтобы пріохотить къ образованію. Какъ то было нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ, такъ равно и теперь народъ относится къ школѣ съ тѣмъ же недовѣріемъ и упорно отклоняется отъ нея. Авторъ видитъ единственный исходъ изъ этого положенія въ полномъ переустройствѣ школы. Средствомъ для этого является, по его мнѣнію, непосредственное наблюденіе: нужно приглядѣться къ народу, узнать его потребности и, сообразно съ ними, создать школу вполнѣ самостоятельно, независимо отъ какихъ-либо готовыхъ педагогическихъ теорій. Такимъ образомъ дѣйствовалъ онъ самъ по отношенію къ своей Ясно-Полянской школѣ, учась у тѣхъ же дѣтей, которыя посѣщали ее, и у ихъ отцовъ; этимъ путемъ совѣтуетъ онъ идти и каждому, желающему заняться народнымъ образованіемъ.

У насъ, говоритъ онъ, школа потому и поставлена дурно, что мы не внесли тутъ и малѣйшей дозы творчества, а перенесли школу съ Запада цѣликомъ, не задумываясь надъ тѣмъ, будетъ ли она вполнѣ соотвѣтствовать потребностямъ и условіямъ нашей жизни. Готовые плоды чужой опытности, чужой работы, могутъ принести свою долю пользы, но замѣнить вполнѣ собственный опытъ все-таки не въ состояніи, и слѣпое пользованіе ими безъ измѣненій и примѣненій къ той почвѣ, куда они перенесены, никогда не можетъ быть плодотворно.

Эта ненормальность въ дѣлѣ образованія сказывается прежде всего въ томъ, что у насъ возникли сначала высшія заведенія, а потомъ уже элементарныя, при чемъ эти послѣднія совершенно не приноровлены къ тому, чтобы прямо изъ нихъ можно было переходить въ сред-

нія. По мнѣнію автора, прежде всего нужно широко поставить народныя школы; затѣмъ такъ устроить среднія, чтобы въ нихъ свободно могли переходить тѣ, кто «хочетъ» и «можетъ», безъ всякихъ уже приманокъ въ видѣ различныхъ привилегій, ради которыхъ часто идутъ туда тѣ, которые безъ того туда не пошли бы. Начало приманокъ дѣйствуетъ у насъ съ Петра и развиваетъ абсентеизмъ, повальное бѣгство «на верхъ», а самая система образованія создаетъ полную оторванность учащихся отъ своей прежней среды.

Какъ мы видѣли ранѣе, Л. Н. Толстой совершенно отрицаетъ воспитаніе, которое, по его мнѣнію, «есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму», имѣющее въ своей основѣ «чувство зависти къ чистотѣ ребенка и желаніе со стороны воспитателя сдѣлать его похожимъ на себя, т.-е. больше испорченнымъ». Этотъ нравственный деспотизмъ сказывается, по его мнѣнію, вездѣ,—какъ въ низшихъ, такъ и въ высшихъ, какъ въ духовныхъ, такъ и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, не исключая даже университета.

Характеризуя высшее образованіе, гр. Толстой хочетъ судить о немъ по его плодамъ. «Въ университетѣ,—говоритъ онъ,—рѣдко кого увидишь съ здоровымъ и свѣжимъ лицомъ и ни одного не увидишь, который бы съ уваженіемъ, но спокойно смотрѣлъ на ту среду, изъ которой онъ вышелъ и въ которой ему приведется жить: онъ смотритъ на нее съ презрѣніемъ, отвращеніемъ и высокомѣрнымъ сожалѣніемъ».

«Такъ онъ смотритъ на людей своей среды, на своихъ родныхъ, также смотритъ онъ и на ту дѣятельность, которая предстояла бы ему по общественному его положенію». «Только три карьеры, — продолжаетъ авторъ,—исключительно представляются ему въ золотомъ сіяніи: ученый, литераторъ и чиновникъ».

«Никто никогда не думалъ, — говоритъ онъ далѣе,— объ учрежденіи университета на основаніи потребности народа. Это было невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвѣстною. Но университеты

были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшаго общества и для университетовъ уже учреждена вся подготавливающая къ нимъ лѣстница учебныхъ заведеній, не имѣющая ничего общаго съ потребностями народа. Правительству нужны были медики, юристы, учителя, — для приготовленія ихъ учреждены университеты. Теперь для высшаго общества нужны либералы по извѣстному образцу и таковыхъ приготовляютъ университеты. Ошибка только въ томъ, что такихъ либераловъ совсѣмъ не нужно народу». (Писано въ 1862 году).

Да, потому, что эти «либералы», въ сущности, тѣ же казенные чиновники, которые заранѣе убѣждены въ томъ, что какъ въ народѣ, такъ равно и въ той средѣ, изъ которой они вышли, нѣтъ ничего, никакого содержанія, а какая-то пустота, которую нужно еще наполнить и съ которой у нихъ нѣтъ ничего общаго. Все хорошее и разумное только тамъ, гдѣ получили они это образованіе, такъ разъединившее ихъ съ прежней средой. Это явленіе нашей жизни напоминаетъ одно старинное произведеніе нашей литературы, именно переписку двухъ епископовъ — новгородскаго съ тверскимъ по поводу того, сохранился-ли земной рай? Первый утверждаетъ, что онъ сохранился и разсказываетъ, какъ нѣкоторые новгородцы издали видѣли его, т.-е. гору въ сіяніи, но кто туда уходилъ, тотъ уже и не возвращался. Такъ и тутъ: кто разъ, подъ вліяніемъ образованія, отрывается отъ своей среды, тотъ становится для нея мертвымъ. У насъ есть и профессора, вышедшіе изъ народа и утверждающіе, что народъ не можетъ относиться сознательно даже къ собственнымъ нуждамъ. Образованіе создаетъ своего рода барство, и гр. Толстой имѣлъ своего рода право сказать, что «университетъ готовитъ не такихъ людей, какихъ нужно человѣчеству, а какихъ нужно испорченному обществу».

«Парадоксальныя» статьи гр. Толстого вызвали много возраженій и, между прочимъ, статью г. Евгенія Маркова, въ которой этотъ талантливый, безъ сомнѣнія, пуб-

лицистъ возсталъ противъ Л. Н. Толстого во имя такъ-называемаго прогресса. Общій смыслъ возраженій слѣдующій: вы говорите, что мы не должны сообщать ребенку своихъ понятій и убѣжденій, но вѣдь прогрессъ именно въ томъ и состоитъ, что одно поколѣніе передаетъ запасъ своихъ знаній другому, которое далѣе перерабатываетъ и развиваетъ ихъ.

Гр. Толстой отвѣчаетъ: «Я не держусь религіи прогресса, а кромѣ *вѣры* ничто не доказываетъ необходимость прогресса».

«Вся причина не только разногласія нашего съ господиномъ Марковымъ,—продолжаетъ онъ,—но и совершеннаго пренебреженія къ нашимъ доводамъ и неотвѣчанія на нихъ, заключается въ томъ, что г-нъ Марковъ вѣритъ въ прогрессъ, а я не имѣю этого вѣрованія».

Затѣмъ онъ опредѣляетъ, что именно понимаютъ подъ словомъ прогрессъ, и разсуждаетъ о томъ, имѣетъ ли какія-нибудь основанія вѣра въ него:

«Основная мысль прогресса и выраженіе его будетъ слѣдующее: человѣчество постоянно видоизмѣняется, переживаетъ прошедшее, удерживая отъ него начатые труды и воспоминанія... Вообще, въ переносномъ смыслѣ, мы говоримъ, что человѣчество движется впередъ. Хотя и выраженное не ясно, въ переносномъ смыслѣ это положеніе несомнѣнно. Но за этимъ несомнѣннымъ положеніемъ вѣрующіе въ прогрессъ и историческое развитіе дѣлаютъ другое, недоказанное положеніе: что будто человѣчество въ прежнее время пользовалось меньшимъ благосостояніемъ, и чѣмъ далѣе назадъ, тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе впередъ, тѣмъ болѣе».

Это положеніе, по мнѣнію Л. Н. Толстого, ничѣмъ не доказано и несправедливо — на томъ основаніи, что «этотъ общій законъ для всего человѣчества выводятъ изъ сравненія одной малой части человѣчества Европы въ прошедшемъ и настоящемъ, оставляя безъ вниманія милліардъ людей, которые хотя и не входятъ въ составъ европейцевъ, но, тѣмъ не менѣе, входятъ въ составъ человѣчества.

«Въ томъ же смыслѣ,—замѣчаетъ онъ далѣе.—говоритъ и онъ.—что ежели большая часть человѣчества, весь, такъ-называемый, Востокъ, не подтверждаетъ закона прогресса, а напротивъ, опровергаетъ его, то закона этого не существуетъ для всего человѣчества, а существуетъ вѣрованіе въ него только извѣстной части человѣчества».

Затѣмъ нашъ авторъ обращается къ слѣдующимъ вопросамъ: ведетъ-ли этотъ, такъ-называемый, прогрессъ къ благосостоянію и дѣйствительно-ли есть благосостояніе то, что называютъ благосостояніемъ? — Отвѣчая на первый вопросъ, онъ говоритъ, что, во-первыхъ, обращаясь къ исторіи, мы видимъ, что въ древней Греціи и Римѣ было болѣе свободы и равенства [1], чѣмъ въ новой Англіи съ китайскою и индѣйскою войнами, въ новой Франціи съ двумя Бонапартами и въ самой новой Америкѣ съ ожесточенною войною за право рабства.

«Такимъ образомъ, прогрессъ одной стороны человѣческой жизни выкупается регрессомъ другой; во-вторыхъ, что касается современнаго состоянія общества, мы видимъ, что масса народа, т.-е. 9/10 всѣхъ людей, относится къ прогрессу весьма враждебно и не только не признаетъ его пользы, но положительно и сознательно признаетъ его вредъ для нихъ».

Сдѣлавши этотъ выводъ, онъ продолжаетъ развивать свою мысль, повѣряя ее, подводя подъ нее факты.

«Кто та малая часть, вѣрующая въ прогрессъ? Это такъ-называемое образованное общество, не занятые классы, по выраженію Бокля. Кто же большая часть, не вѣрующая въ прогрессъ? Это такъ-называемый народъ — занятые классы. Интересы общества и народа всегда бываютъ противоположны. Чѣмъ выгоднѣе одному, тѣмъ невыгоднѣе другому. Въ дѣлѣ прогресса мое положеніе подтверждается, и я заключаю, что прогрессъ тѣмъ выгоднѣе для общества, чѣмъ невыгоднѣе для народа». Продолжая въ такомъ же смыслѣ, гр. Толстой

[1] Авторъ, видимо, забываетъ о *рабствѣ* у классическихъ народовъ.

доказываетъ, что плоды прогресса, какъ, напримѣръ, телеграфное сообщеніе, желѣзныя дороги и пр., выгодны только для высшихъ классовъ, которые пользуются этимъ, для народа же они совершенно безполезны; даже книгопечатаніе не оказало ему никакой существенной пользы, такъ какъ тѣ книги, которыя попадаютъ ему въ руки, только обличаютъ передъ нимъ глупость ихъ составителей, а тѣ, которыя интересуютъ его и могутъ быть для него полезны, недоступны ему по цѣнѣ. «Но,—говоритъ авторъ,—можетъ быть, скажутъ, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества: что разрѣшеніе крѣпостного вопроса, напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія».

Но смягченіе нравовъ, по мнѣнію гр. Толстого, еще не доказано, а затѣмъ онъ не находитъ, чтобы отношенія современнаго фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношенія помѣщика къ крѣпостному.

Что-же касается освобожденія отъ крѣпостного права, то, по его мнѣнію, вовсе не книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію, и «ежели-бы правительство — говоритъ онъ — въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе, безъ сомнѣнія, разъяснило-бы дѣло совершенно иначе». Дѣло въ томъ, что «разъясненіемъ этого вопроса занимались тѣ, которымъ было гораздо выгоднѣе больше оставить себѣ и меньше дать, въ силу чего большая часть печати требовала освобожденія безъ земли. Значитъ, и въ этомъ случаѣ прогрессъ въ видѣ книгопечатанія оказался выгоденъ для верхняго слоя общества и невыгоденъ для народа».

«Мое личное убѣжденіе, — говоритъ далѣе гр. Толстой, отвѣчая на свой вопросъ—нужно-ли признать противодѣйствіе прогрессу со стороны народа? и на возраженіе по поводу этого вопроса со стороны прогрессистовъ, что нечего тутъ и спрашиваться у народа,—мое убѣжденіе, что въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и

больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ и профессоровъ, и главное подтверждаетъ меня въ этой мысли то простое наблюденіе, что работникъ точно такъ же саркастически и умно обсуживаетъ барина и смѣется надъ нимъ за то, что онъ не знаетъ, что соха, что сволока, что гречиха, что крупа... и за то, что баринъ живетъ всю жизнь, ничего не дѣлая и т. п., точно такъ же, какъ обсуживаетъ баринъ работника и подтрунываетъ надъ нимъ, что онъ говоритъ «табѣ и сабѣ, фитаецъ, плантъ и т. п.»

Наблюдая отношенія между прогрессистами и народомъ, сводящіяся къ тому, что прогрессисты считаютъ народъ несособнымъ даже судить о своихъ настоящихъ потребностяхъ, а народъ считаетъ прогрессистовъ озабоченными корыстными, личными видами, авторъ приходитъ къ тому выводу, что при такихъ противоположныхъ воззрѣніяхъ нельзя придти къ соглашенію.

И поэтому, говоритъ онъ, — «я долженъ склониться на сторону народа, на томъ основаніи, что, во-1-хъ, народа больше, чѣмъ общества и что потому должно предположить, что большая доля правды на сторонѣ народа; 2-е и главное потому, что народъ безъ общества прогрессистовъ могъ-бы жить и удовлетворять всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ, какъ-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественныя произведенія... Прогрессисты-же не могли-бы существовать безъ народа».

Вторая статья «*О народномъ образованіи*» написана въ видѣ письма къ г. Шатилову—предсѣдателю московскаго комитета грамотности — по поводу нѣмецкой теоріи нашихъ педагоговъ, которые въ основу всего развитія кладутъ «объяснительное чтеніе». По мнѣнію гр. Толстого, это чтеніе не развиваетъ, а, напротивъ, задерживаетъ развитіе. Употребляютъ цѣлые часы, чтобы разсказать крестьянскому мальчику о томъ, что ему очень хорошо извѣстно и безъ этихъ объясненій. Какъ, напримѣръ:

«Что мы будемъ дѣлать въ этой комнатѣ? — Мы будемъ въ этой комнатѣ учиться, — назовемъ ее учебной

комнатой. Посмотрите, что у васъ подъ ногами, внизу? Посмотрите, но не говорите. Скажетъ тотъ, кому я велю. Скажи, что ты видишь внизу подъ ногами?»

Точно также много времени и труда употребляютъ, чтобы разъяснить ребенку и добиться отъ него отвѣтовъ на вопросы: сколько у него ногъ, пальцевъ и т. п.

«Можетъ быть, — говоритъ Л. Н. Толстой, — дѣти готтентотовъ, негровъ, можетъ быть, иныя нѣмецкія дѣти могутъ не знать того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ, но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, всѣ, приходя въ школу, знаютъ не только что внизъ, что вверхъ, что лавка, что столъ, что два, что одинъ, но, по моему опыту... всѣ умѣютъ хорошо и правильно выражать мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20-ти и болѣе; играя въ бабки, считаютъ парами, шестерами и знаютъ, сколько бабокъ и сколько паръ въ шестерѣ...» Много труда полагаютъ на то, чтобы добиться отъ ученика именно такого отвѣта, какой значится въ книжкѣ, что иногда бываетъ очень трудно, потому что отвѣты, приводимые тамъ, слишкомъ просты, и мальчикъ никакъ не можетъ догадаться, что именно этого отъ него требуютъ. «Цѣлый рядъ мнимыхъ упражненій въ урокахъ г. Н. Бунакова составленъ изъ того, что спрашивается: кто печетъ? кто рубитъ? кто стрѣляетъ? и ученикъ долженъ отвѣчать: пекарь, дровосѣкъ и стрѣлокъ, тогда какъ онъ можетъ отвѣчать также справедливо, что печетъ баба, рубитъ топоръ, а стрѣляетъ учитель, если у него есть ружье...»

«Русскій ребенокъ,—продолжаетъ гр. Толстой, — не можетъ и не хочетъ вѣрить (онъ имѣетъ слишкомъ большое уваженіе къ учителю и себѣ), чтобы его серьезно спрашивали,—потолокъ внизу или наверху, или сколько у него ногъ».

Обо всемъ этомъ толкуютъ ребенку, считая его какимъ-то дикаремъ, который ничего не знаетъ и ничего не понимаетъ. Педагоги забываютъ, что крестьянскихъ дѣтей рано развиваетъ сама жизнь, постоянная нужда, и

въ этому смыслѣ они развитѣе не только равныхъ имъ по возрасту дѣтей другихъ классовъ, но нерѣдко и самихъ учителя. Ихъ ведутъ по опредѣленной системѣ, взятой изъ чужихъ странъ, и не задумываются надъ тѣмъ, пригодна-ли она примѣнима къ нимъ. Говоря объ этомъ, гр. Толстой вспоминаетъ, какъ онъ, будучи заграницей, встрѣчалъ тамъ нашихъ особаго рода пословъ, которые ѣздили по Европѣ и разыскивали тамъ «новую вѣру», т.-е. чиновниковъ министерства, изучавшихъ нѣмецкую педагогію. Посланные для того, чтобы, ознакомившись съ иностраннымъ и позаимствовавъ изъ него что-нибудь полезное, создать что-нибудь свое, они окончили тѣмъ, что перенесли къ намъ уже готовое, не разсуждая, что тамъ, откуда они заимствовали это готовое, оно было вызвано извѣстными условіями, которыхъ у насъ можетъ и не быть.

«Г-нъ Буняковъ, —говоритъ гр. Толстой,—съ необыкновенною наивностью приводитъ слова Песталоцци: «пусть кто-нибудь, живущій среди простого народа, опровергнетъ мои слова, что ничего нѣтъ труднѣе, какъ передать какое-либо понятіе этимъ существамъ... Швейцарскіе священники подтверждаютъ, что когда народъ приходитъ къ нимъ для обученія, онъ не понимаетъ, что ему говорятъ, а священники не понимаютъ, что имъ говоритъ народъ... Что-то отношеніе простолюдина въ Швейцаріи къ образованному сословію полагается основаніемъ такого-же отношенія у насъ». Но спрашивается, основательно-ли это? по мнѣнію гр. Толстого — нимало. Тамъ это взаимное непониманіе объясняется очень просто.

«Полагаю излишнимъ,—говоритъ онъ, — распространяться о томъ, что всякому извѣстно, что въ Германіи народъ говоритъ особеннымъ языкомъ, называемымъ платдейчъ, и что въ нѣмецкой Швейцаріи этотъ платдейчъ особенно далекъ отъ нѣмецкаго языка, а что въ Россіи, напротивъ, мы часто говоримъ дурнымъ языкомъ, а народъ всегда хорошимъ. У насъ той разницы нѣтъ, слѣдовательно, не можетъ быть и затрудненія въ пониманіи другъ друга, нѣтъ надобности и въ выработкѣ опредѣ-

ленной системы вопросовъ и отвѣтовъ» . . . .«Незнаніе народа,—продолжаетъ авторъ,—такъ полно въ этомъ мірѣ педагоговъ, что они смѣло говорятъ, будто въ крестьянскую школу приходятъ дикари. Они не знаютъ того, что если-бы ученики спрашивали учителя, то очень много-бы оказалось вещей, которыхъ не знаетъ учитель, что если-бы, напримѣръ, стереть краску съ доски, то всякій почти мальчикъ скажетъ, изъ какого дерева эта доска ...чего не скажетъ учитель; что про кошку и курицу мальчикъ разскажетъ всегда лучше учителя, потому что онъ наблюдалъ ихъ больше учителя».

Вотъ почему и оказывается можетъ быть столь удобнымъ примѣненіе такихъ книжекъ, въ которыхъ все уже предусмотрѣно заранѣе и устранена всякая возможность со стороны ребенка какого-нибудь посторонняго вопроса, который могъ-бы затруднить учителя.

Къ какому-же результату приводитъ у насъ эта система обученія?—«*Учитель и ученикъ перестаютъ понимать другъ друга; дѣти страшно скучаютъ; учитель раздражается и дѣло кончается колотушками*». Въ Германіи эта послѣдняя система примѣняется въ широкихъ размѣрахъ. Гр. Толстой думаетъ, что тамъ, можетъ быть, эти колотушки послѣдовательны и выходятъ изъ самой теоріи и взгляда на ребенка, какъ на дикаря; но у насъ въ *теоріи* онѣ не признаются и являются уже совершенно случайнымъ элементомъ.

Такимъ образомъ дѣло сводится къ внѣшнимъ пріемамъ старой церковной школы, которая также учила, не спрашивая о томъ, что интересно знать ребенку, только съ тою разницею, что «на сторонѣ церковной школы 1000-лѣтняя привычка и авторитетъ церкви, имѣющей такую силу въ народѣ».

«Я,—говоритъ гр. Толстой, возвращаясь къ прежней норѣ,—былъ молодъ, я не понималъ, что я со своимъ вопросомъ: *почему вы знаете, чему и какъ учить?* былъ подобенъ тому человѣку, который-бы, положимъ, хотъ въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ-бы побольше съ народа собрать податей, пред-

ложить-бы имъ слѣдующее: гг., чтобы знать, съ кого сколько податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія?»

Также и педагогамъ не мѣшало-бы подумать, на чемъ основано ихъ право вбивать ребенку въ голову все, что имъ вздумается и рѣшать, что народу полезно и что вредно, когда у насъ существуетъ полнѣйшее разногласіе и по поводу высшаго образованія, какъ, напримѣръ, въ вопросѣ о классицизмѣ и реализмѣ. Между тѣмъ какъ требованія народа не только опредѣленны, но они такъ разумны и широки, что включаютъ въ себѣ всѣ самыя разнородныя требованія людей, спорящихъ о томъ, чему нужно учить народъ. Требованія эти слѣдующія: знаніе русской и славянской грамоты и счетъ.

Гр. Толстой находитъ, что основательное знаніе этихъ двухъ языковъ—русскаго и церковно-славянскаго и ариѳметики служитъ основою дальнѣйшихъ знаній и, постепенно разростаясь, образуетъ двѣ области знанія, соотвѣтствующія двумъ главнымъ подраздѣленіямъ университета.

Хотя гр. Толстой и не высказываетъ этого прямо, но по тому, что онъ вообще говоритъ по поводу изученія латинскаго и греческаго языка, можно заключить о близости его къ тому, чтобы признать изученіе церковно-славянскаго языка способнымъ замѣнить изученіе латинскаго и греческаго.

Такимъ образомъ онъ намѣчаетъ двѣ области, разработка которыхъ исчерпываетъ, по его мнѣнію, всѣ знанія. Что-же касается до метода преподаванія, то, по мнѣнію гр. Толстого, каждый методъ хорошъ, если только имъ умѣютъ воспользоваться и вносятъ въ преподаваніе любовь къ дѣтямъ и знаніе ихъ натуры.

«Чѣмъ съ меньшимъ принужденіемъ учатся дѣти, тѣмъ методъ лучше: чѣмъ съ большимъ, тѣмъ хуже..

... Всякое движеніе впередъ педагогики состоитъ только въ большемъ и большемъ приближеніи къ естественности отношеній между учителемъ и ученикомъ, въ меньшей принудительности и въ большей облегченности

ученія». Въ этомъ, конечно, замѣтимъ мы отъ себя, существуетъ своя опасность, соотвѣтствующая той, какою грозитъ заманчивая и обманчивая мысль, будто-бы жизнь для ближняго дается легко, т.-е. безъ всякой борьбы и боли.

Вопросы по устройству народной школы, какъ-то: что слѣдуетъ на нихъ тратить и сколько времени учить— по мнѣнію гр. Толстого, не земскіе, а спеціально крестьянскіе; крестьяне сами должны рѣшать, гдѣ открывать школы и въ какомъ количествѣ. Но гр. Толстой въ то же время далекъ отъ мысли предоставить въ этомъ отношеніи народъ его скуднымъ средствамъ и матеріальнымъ, и умственнымъ; онъ ничего не имѣетъ противъ того, чтобы открывали народныя школы всѣ, у кого есть на это добрая воля, но главнымъ образомъ, по его мнѣнію, нужно помогать тѣмъ школамъ, которыя открыты самимъ народомъ; тогда, мало-по-малу, народное образованіе пойдетъ раціональнымъ путемъ.

Вотъ ходъ мыслей Л. Н. Толстого, изложенныхъ по его обыкновенію прямо и рѣзко и такъ смутившихъ уже тогда нашихъ присяжныхъ педагоговъ.

Въ педагогическихъ статьяхъ гр. Толстого, можетъ быть, много парадоксальнаго, но въ жизни общества бываютъ моменты, когда ему положительно нужны парадоксы, чтобы пробудить умъ, заспавшійся на готовыхъ хлѣбахъ и заставить его самостоятельно поработать.

ХРОНИКА «ВОЙНА И МИРЪ» [1].

I.

Общій взглядъ на построеніе хроники. — Мужскіе типы Ростовыхъ и Болконскихъ.

Приговоръ писателя о писателѣ всегда любопытенъ—особенно, если эти писатели современники. Тургенева никто, разумѣется, не могъ заподозрить въ *личностяхъ* относительно знаменитаго своего сподвижника на литературномъ поприщѣ [2]). Тѣмъ болѣе вниманія заслуживаетъ Тургеневскій приговоръ, произнесенный по поводу «Войны и мира».

«Самый печальный примѣръ отсутствія истинной свободы,—говоритъ Тургеневъ,—проистекающаго изъ отсутствія истиннаго знанія, представляетъ намъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстого, которое въ то-же время, по силѣ творческаго поэтическаго дара, стоитъ едва-ли не во главѣ всего, что являлось въ нашей литературѣ съ 1840 г. Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ—въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ сво-

---

[1]) Публичныя лекціи 1875 г. съ значительными измѣненіями и дополненіями.

[2]) Хотя отношенія между ними и не всегда были ладныя.

сму народу, къ своей исторіи—немыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя».

Повторяю: приговоръ Тургенева, конечно, вполнѣ безпристрастенъ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ вполнѣ справедливъ.

Совершенно выдающаяся изъ ряда сила творческаго дара въ гр. Л. Н. Толстомъ, по этому приговору, не дѣйствуетъ у нашего великаго мастера на свободѣ, а стѣснена—стѣснена такъ-называемыми «предвзятыми идеями и системами». Тщательный разборъ произведенія графа Толстого долженъ намъ показать, что это за системы? Дѣйствительно-ли онѣ *предвзятыя*, или-же это просто *свои идеи* (а безъ идей, конечно, не можетъ обойтись художникъ).

Если гр. Л. Н. Толстой—первоклассный талантъ, то онъ долженъ быть своеобразенъ. Но вѣдь своеобразіе сказывается не въ однихъ *пріемахъ творчества*. Оно выражается и въ самыхъ отношеніяхъ художника къ воспроизводимымъ имъ жизненнымъ явленіямъ, въ способности такъ ихъ группировать, что они и читателю представляются въ совершенно иномъ, новомъ свѣтѣ, не такъ, какъ они-бы представились подъ перомъ, можетъ-быть, цѣлой фаланги писателей. Весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно-ли эта новая группировка явленій художнически *непроизвольна* со стороны автора, или она *предумышленна*, такъ-сказать, имъ себѣ самому заказана?

Свое яркое своеобразіе гр. Л. Н. Толстой успѣлъ уже выказать въ цѣломъ рядѣ произведеній, появившихся до «Войны и Мира». Въ нихъ прежде всего не оказывается того, что считается существеннѣйшею принадлежностью повѣсти, а тѣмъ болѣе романа, такъ-называемой *интриги* съ обычными *завязкою* и *развязкою*. Дѣло въ томъ, что многія изъ произведеній автора никакъ и не подведешь подъ обычныя опредѣленія повѣсти или романа: для нихъ понадобился-бы какой-нибудь особый *ящикъ* въ дополненіе къ тѣмъ, которые заведены съ давнихъ поръ въ довольно таки тѣсномъ *комодѣ*, называемомъ *теоріей словесности*.

Нашъ авторъ пойдетъ вамъ разсказывать самыя, повидимому, обыкновенныя вещи во всей будничной ихъ послѣдовательности, не пропуская почти ничего, такъ что вы просто не знаете, когда-же онъ остановится, такъ какъ онъ, повидимому, просто передастъ вамъ то теченіе жизни, которое въ цѣломъ не останавливается никогда,— а вамъ не надоѣстъ, вы не оторветесь отъ этихъ знакомыхъ страницъ, сто разъ, повидимому, раскрывавшихся передъ вами въ дѣйствительности. Онъ какъ будто-бы возвращаетъ васъ къ тѣмъ временамъ *эпоса*, которыя обыкновенно считаются упраздненными новѣйшими формами повѣствовательной поэзіи, давно уже сдѣлавшейся, казалось-бы, неспособной къ такъ-называемой *непосредственности*. Въ самомъ дѣлѣ, онъ даже съ младенческой откровенностью называетъ вамъ чуть не рѣшительно все по имени. Его реализмъ доведенъ до того, что онъ не позабудетъ сказать обо всемъ, что снимаетъ человѣкъ передъ купаньемъ, («Казаки»), не задумается упомянуть и о дурномъ запахѣ, распространяемомъ какими-нибудь заснавшимися сторожами («Поликушка»). Онъ не скроетъ отъ васъ ни одной мелочной или даже нечистой мысли, которая порою мелькнетъ въ головѣ у самаго отличнаго человѣка въ самую даже не будничную минуту жизни. Но онъ-же укажетъ вамъ среди самой прозаической повседневности и сквозь ея не только неряшливость, но и просто *грязь*—яркіе проблески идеальной человѣческой красоты. Долго останавливаясь на самомъ обыкновенномъ, онъ вдругъ передъ вами раскроетъ всю глубину міровыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ и изъ области эпическаго реализма разомъ перенесетъ васъ въ самыя отвлеченныя сферы.

Всѣ эти свойства нашего писателя успѣли уже, повторяю, выдаться въ его прежнихъ произведеніяхъ, изъ которыхъ нѣкоторыя могутъ теперь представиться какъ-бы приготовительными этюдами для громадной картины «Войны и Мира». И въ ней вы долго не сыщете никакого техническаго единства. Тутъ какъ будто-бы даже не одинъ сюжетъ, а нѣсколько совершенно различныхъ

сюжетовъ, связанныхъ, такъ-сказать, на живую нитку одною одновременностью. Такія параллельныя дѣйствія давно уже, впрочемъ, замѣчены у Шекспира — обыкновенно по два рядомъ, каждое со своею завязкою и развязкою. Но авторъ «Войны и Мира» представляетъ, сверхъ двухъ основныхъ, еще и побочные узлы: между тѣмъ какъ, повидимому, развязываются одни, вновь завязываются другіе. Даже далеко подвинувшись впередъ, вы рѣшительно не можете предвидѣть, какъ все это развяжется. Вы предвидите только то, что извѣстно вамъ изъ исторіи: вы предвидите, напримѣръ, что, несмотря на Тильзитское свиданіе, будетъ война 12 года, что, несмотря на ея роковое для насъ начало, будетъ бѣгство Наполеона изъ Россіи. Но если-бы вамъ пришлось въ первый разъ познакомиться съ отношеніями Россіи къ наполеоновской Франціи по книгѣ гр. Толстого, вы-бы никакъ не могли заранѣе догадываться о томъ, что будетъ далѣе—вплоть до самаго вступленія Наполеона въ Москву, которое наоборотъ изложено такъ, что и незнакомый съ исторіей можетъ предвидѣть дальнѣйшее — по настроенію самого побѣдителя, тщетно ожидающаго отъ насъ депутаціи.

Между тѣмъ по книгѣ гр. Толстого положительно можно-бы выучиться исторіи затронутой имъ поры: факты ея передаются имъ съ такою подробностью, какъ ни въ одномъ историческомъ романѣ. Но «Война и Миръ», можетъ-быть, еще меньше романъ, чѣмъ всѣ прежнія повѣствовательныя произведенія гр. Л. Н. Толстого. Тутъ есть и романъ, даже не одинъ, но тутъ есть и прямо исторія, развивающаяся сама по себѣ, независимо отъ романа, но рядомъ съ нимъ неизбѣжнымъ образомъ отражаясь на судьбѣ его дѣйствующихъ лицъ. Романъ, и даже не одинъ, заключается тутъ, главнымъ образомъ, въ двухъ семейныхъ хроникахъ, которыя, вѣроятно, и остались-бы при обычной смѣнѣ преобладающихъ будничныхъ дней болѣе или менѣе частыми праздниками, — если-бы въ хроники эти не вторглись тѣ міровыя событія, которыя совершенно неожиданнымъ образомъ

замутили семейный муравейникъ. Слово это, впрочемъ, тутъ не вѣрно: слѣдъ человѣка, ступившаго въ муравейникъ, представляется исполинскимъ относительно его мелкаго населенія. Но нашъ авторъ выставляетъ міровыя событія 1805 — 1812 г. и даже ихъ главнаго воротилу — Наполеона — въ размѣрахъ вовсе не исполинскихъ. Въ этомъ смыслѣ онъ далекъ отъ героическихъ пріемовъ древняго эпоса. Дѣятели историческіе не являются у гр. Л. Н. Толстого, какъ оно бываетъ въ историческихъ романахъ, въ своемъ частномъ быту; они остаются на своей общественной аренѣ — только она не оказывается у него постоянно-пребывающей на высотѣ и совершенно свободною отъ будничнаго характера. И дѣятельность историческихъ лицъ представляетъ у гр. Толстого своего рода муравейникъ.

Въ этомъ, конечно, уже особенность не только техническихъ пріемовъ нашего художника, но и его идеи, его міросозерцанія. Чтобы увидѣть, на чемъ оно у него опирается, остановимся на его главныхъ дѣятеляхъ—сперва *въ романѣ*, а потомъ и въ переплетающейся съ нимъ *исторіи*.

Романъ происходитъ въ великосвѣтскомъ кругу, имѣющемъ претензію, въ лицѣ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей, вмѣшиваться въ историческія дѣла, заправлять ими.

Авторъ вводитъ насъ прежде всего въ одинъ изъ кружковъ этого большого круга—въ кружокъ фрейлины Анеты Шереръ, задающійся поддержаніемъ французскаго легитимизма. Во имя его, главнымъ образомъ, въ засѣданіяхъ кружка не безъ торжественности заводится обычная говорильная машина и подносятся, въ видѣ лакомаго блюда, особые, предобѣщанные гости. Съ этимъ самымъ французскимъ легитимизмомъ, т.-е. съ его элегантною внѣшностью, связывается въ кружкѣ понятіе о *tenue*, какъ о верховномъ условіи человѣческаго достоинства (а между тѣмъ при помощи этой *tenue* успѣхъ имѣетъ въ кружкѣ не только такая пустая женщина, какъ Элень, но даже и такой просто глупый господинъ,

какъ Ипполитъ [1]). Но французскій легитимизмъ не мѣшаетъ и русскому патріотизму; легитимизмъ этотъ въ воображеніи кружка долженъ служить опорой Россіи. Самымъ дерзкимъ диссонансомъ представляются въ кружкѣ слова Шишкина: «и зачѣмъ насъ нелегкая несетъ воевать съ Бонапартомъ? Il a déjà rabattu le caquet à l'Autriche. Je crains que ce ne soit notre tour». Словами Шишкина особенно обижается присутствующій тутъ полковникъ — «плотный, высокій и сангвиническій нѣмецъ, очевидно, служака и *патріотъ*».

Другой кружокъ въ большомъ кругѣ, выводимый гр. Л. Н. Толстымъ, — плоть отъ той-же плоти и кость отъ тѣхъ-же костей — принимаетъ, ради разнообразія, иной совершенно цвѣтъ. Во главѣ его стоитъ красивая и пустая Эленъ. «Она сдѣлалась центромъ кружка наполеоновскаго союза... Самъ Наполеонъ, увидавъ ее въ Эрфуртѣ, сказалъ: c'est un superbe animal. Ей, можетъ быть, передали, что онъ хорошо о ней отозвался, а это и склонило ее на сторону Наполеона. «Принцъ де-Линь писалъ ей письма, Билибинъ приберегалъ для ея салона свои beaux mots... Оттого-ли, что для веденія такого салона именно нужна была глупость... репутація d'une femme charmante et spirituelle непоколебимо утвердилась за Эленъ».

Но общественные дѣятели первоначальную свою закваску получаютъ въ *семьѣ*. Авторъ даетъ намъ далеко заглянуть въ великосвѣтскую нашу семью той поры. Вотъ князь Василій—попечительный отецъ, такъ дипломатически ловко пристраивающій свою глупую Эленъ и употребляющій всѣ усилія, чтобы точно также пристроить и своего разгульнаго Анатоля. Вотъ старый графъ Илья Андреевичъ Ростовъ, глава одной изъ тѣхъ двухъ фамилій, которыхъ хронику представляетъ намъ «Война и миръ». Это добродушнѣйшій изъ смертныхъ, все исповѣданіе котораго заключается въ обращеніи къ

---

[1]) *Tenue* — это особая разновидность *comme il faut*, охарактеризованнаго авторомъ еще въ первыхъ его повѣстяхъ.

графинѣ, не менѣе добродушной его супругѣ: «какое sauté au madère изъ рябчиковъ будетъ... Не даромъ я за Тараску [1]) тысячу рублей далъ...» На подобнаго рода произведенія высоко-талантливаго Тараски мало-по-малу уходитъ все недвижимое имѣніе графа, оставляющаго сына въ самомъ критическомъ положеніи.

При такомъ положеніи, графинѣ вдовѣ, нѣжно любящей сына, приходится возложить всю надежду на выгодную для него (т.-е. и для нея, графини) партію. Способный во дни первой юности, когда еще въ голову не западала мысль о непрочности финансовъ отца, въ одинъ прекрасный вечеръ проиграться въ пухъ и прахъ, Николай Ростовъ сразу остепеняется подъ вліяніемъ критическихъ обстоятельствъ семьи — и приноситъ имъ въ жертву свою юношескую любовь къ привязавшейся къ нему безгранично воспитанницѣ его матери. Сумѣвъ найти счастье въ бракѣ, поправляющемъ его финансовыя обстоятельства, вслѣдствіе того, что ему достается жена, обладающая и душевнымъ богатствомъ, онъ весь уходитъ въ семью, вполнѣ поглощается ея интересами. «Ну, какое дѣло мнѣ,—говоритъ онъ,—до всего этого тамъ,— что Аракчеевъ нехорошъ и все, — какое мнѣ до этого дѣло было, когда я женился и у меня долговъ столько, что меня въ яму сажаютъ, и мать, которая этого не можетъ видѣть и понимать». Но онъ идетъ даже далѣе: ради своихъ семейныхъ обязанностей онъ до того стоитъ за такъ-называемый «порядокъ», что не задумывается увѣрять своего вольнодумца-шурина: «вели мнѣ сейчасъ Аракчеевъ идти на васъ съ эскадрономъ и рубить, — ни на секунду не задумаюсь и пойду». (Конечно, это болѣе потому, что при разговорѣ присутствуетъ мальчикъ, котораго надо предохранить отъ опаснаго вліянія вольнодумныхъ бредней).

Другая семейная хроника «Войны и мира»—это, какъ извѣстно, хроника Болконскихъ. Глава этой чисто барской семьи, старый князь Николай Андреевичъ, и по уму,

---

[1]) Повара изъ крѣпостныхъ.

и по кругу дѣйствій, и по образованію совсѣмъ уже не то, что патріархальный Илья Андреевичъ Ростовъ, весь уходящій въ *sauté au madère*. Старикъ Болконскій—выдающійся представитель той смѣси стараго русскаго барства съ отъявленнымъ «вольтеріанствомъ», которая изъ XVIII столѣтія зашла у насъ и въ XIX. Это одинъ изъ тѣхъ сильныхъ, для которыхъ отсутствіе вѣры въ Бога оказывалось окончательнымъ устраненіемъ препятствій для самодурства: «я самъ себѣ Богъ», готовъ-бы онъ былъ сказать. По его мнѣнію, «есть только два источника людскихъ пороковъ: праздность и суевѣріе», такъ точно, какъ «есть только двѣ добродѣтели: дѣятельность и умъ». По кругъ дѣятельности давно для него закрылся и, жалуясь на то, что у него отняли его любимую добродѣтель, онъ могъ себя увѣрять и въ томъ, что его насильно втравили въ ненавистный ему порокъ — праздность. Гр. Николай Андреевичъ, «генералъ-аншефъ... по прозванію въ обществѣ le roi de Prusse, съ того времени, какъ при Павлѣ былъ сосланъ въ деревню, жилъ безвыѣздно въ своихъ Лысыхъ Горахъ съ дочерью княжною Марьей и при ней компаньонкой m-lle Bourienne. И въ новое царствованіе, хотя ему и былъ разрѣшенъ въѣздъ въ столицы, онъ также продолжалъ безвыѣздно жить въ деревнѣ, говоря, что ежели кому его нужно, то тотъ и отъ Москвы полтораста верстъ доѣдетъ до Лысыхъ Горъ, а что ему никого и ничего не нужно». Онъ, повидимому, могъ-бы къ себѣ примѣнить слова, сказанныя позже и въ иномъ совершенно смыслѣ нашимъ великимъ поэтомъ:

Ты царь — живи одинъ.

Или, пожалуй, онъ могъ-бы къ себѣ примѣнить и правило, опять, разумѣется, въ особомъ смыслѣ принимавшееся поэтомъ:

...Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать...

Прихоть, о которой далѣе говоритъ тутъ поэтъ, ра-

зумѣя се, конечно, опять-таки въ особомъ художническомъ смыслѣ,—*прихоть* являлась главнѣйшимъ жизненнымъ двигателемъ для князя Николая Андреевича. Прихотью въ смыслѣ, конечно, уже самомъ прямомъ и ничѣмъ не ограничиваемомъ, онъ вознаграждалъ себя за свою, какъ ему думалось, совершенно невольную *праздность*. Полный просторъ для прихоти—вотъ въ чемъ заключалась для стараго князя *дѣятельность*, это его любимая добродѣтель, между тѣмъ какъ другая его добродѣтель—*умъ* обратилась въ озлобленное порицаніе всего, что творилось внѣ предѣловъ его вполнѣ независимыхъ Лысыхъ Горъ. «Во имя прихоти,—замѣчаетъ авторъ,—къ столу, напримѣръ, допускался архитекторъ стараго князя, хотя по своему положенію незначительный человѣкъ этотъ никакъ не могъ разсчитывать на такую честь. Князь, твердо державшійся въ жизни различія состояній и рѣдко допускавшій къ столу даже важныхъ губернскихъ чиновниковъ, вдругъ на архитекторѣ Михайлѣ Ивановичѣ, сморкавшемся въ углу въ клѣтчатый платокъ, доказывалъ, что всѣ равны и не разъ внушалъ своей дочери: «Михайлъ Ивановичъ ничѣмъ не хуже меня съ тобою». За столомъ князь чаще всего обращался къ безсловесному Михайлѣ Ивановичу». Авторъ, впрочемъ, даетъ намъ и полную психологическую разгадку этой «прихоти». M-lle Bourienne и Михайло Ивановичъ — два лица, къ которымъ онъ всегда ласковъ и добръ, потому что они оба облагодѣтельствованы имъ». Озлобленный и въ то-же время опять-таки прихотью руководимый умъ князя привелъ его къ убѣжденію «не только въ томъ, что всѣ теперешніе дѣятели были мальчишки... и что Бонапартъ былъ ничтожный французишка, имѣвшій успѣхъ только потому, что уже не было Потемкиныхъ и Суворовыхъ противопоставить ему, но онъ былъ убѣжденъ даже, что никакихъ политическихъ затрудненій не было въ Европѣ, не было и войны, а была какая-то кукольная комедія». — По поводу этого княжна Марья не безъ остроумія замѣтила въ письмѣ къ своей пріятельницѣ: «Кажется, еще только въ Лысыхъ Горахъ на

всемъ земномъ шарѣ не признаютъ Бонапарта великимъ человѣкомъ, ни еще менѣе французскимъ императоромъ». Хозяйничанье въ Европѣ «ничтожнаго французишки» представляется старому князю какою-то личной обидой. «Предложили другія владѣнія за мѣсто Ольденбургскаго герцогства,—замѣчаетъ онъ,—точно я мужиковъ изъ Лысыхъ Горъ переселилъ въ Богучарово» (это собственное его «хозяйничанье», очевидно, нимало не представляется ему — екатерининскому вольтеріанцу — тѣмъ-же самоуправствомъ, такъ какъ тутъ дѣло не съ герцогами, а съ мужиками). Если князь Николай Андреевичъ соглашается на поступленіе своего сына въ дѣйствующую армію, т.-е. на участіе его въ «кукольной комедіи», то онъ соглашается на это только условно и видитъ тутъ исключительно личныя служебныя отношенія. «Напиши, какъ тебя Кутузовъ приметъ. Коли хорошъ будетъ, служи. Николая Андреевича Болконскаго сынъ изъ милости служить ни у кого не будетъ». Тѣ изъ сверстниковъ стараго князя, которые, не брезгая временами «кукольной комедіи», являлись актерами въ ней далеко не безъ успѣха, становились ему совершенно не милы. Онъ «былъ всегда невысокаго мнѣнія о характерѣ князя Василія и тѣмъ болѣе въ послѣднее время, когда князь Василій въ новыя царствованія при Павлѣ и Александрѣ далеко пошелъ въ чинахъ и почестяхъ». Рѣшившись въ началѣ зимы 1811 г. переѣхать въ Москву съ княжной Марьей, онъ могъ разсчитывать на тогдашнее «ослабленіе восторга къ царствованію императора Александра», въ силу котораго онъ дѣйствительно и сдѣлался «центромъ московской оппозиціи правительству». Такимъ образомъ на закатѣ дней передъ княземъ Николаемъ Андреевичемъ опять открылось широкое поле для дѣятельности или, по крайней мѣрѣ, для того, что онъ могъ принять за дѣятельность, — широкое поле для упражненія его самолюбиво-критикующаго ума. Но это было уже слишкомъ поздно для того, чтобы отвлечь его отъ обратившагося въ привычку — вторую натуру упражненія своихъ властныхъ наклонностей въ предѣлахъ семьи—т.-е. собственно надъ

беззавѣтно ему подчинившейся дочерью. Княжна Марья остается для него безусловно необходимымъ предметомъ командованья и гоненья, такъ что ему по прежнему даже и не представляется вопросъ: рѣшится-ли онъ когда нибудь разстаться съ княжной Марьей и отдать ее мужу. Старый князь и не могъ даже задать себѣ этотъ вопросъ, зная напередъ, что онъ отвѣтилъ-бы по справедливости, а справедливость противорѣчила больше чѣмъ чувству, а всей возможности его жизни».

Сказавъ это, авторъ указалъ на то, что справедливость существовала въ *сознаніи* старика,—но переходу этого сознанія въ *дѣйствіе* мѣшала непокладистая властность и самость всего его свычая и обычая. «Онъ не могъ и понять того, чтобы кто-нибудь хотѣлъ измѣнять жизнь, вносить въ нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась...» Вотъ почему онъ такъ дурно принялъ и намѣреніе сына, князя Андрея, опять жениться, «Я тебя прошу, отложи дѣло на годъ»,—потребовалъ онъ, явно разсчитывая на то, что черезъ годъ, пожалуй, все это само собой передѣлается, но при этомъ не ограничиваясь однимъ подобнымъ расчетомъ, а, въ видѣ надежнаго средства для этого, употребляя даже дурной пріемъ, сдѣланный имъ, съ нарушеніемъ обычной аристократической вѣжливости, вовсе даже и не грозившей mésalliance'омъ невѣстѣ своего сына. А ежели, несмотря ни на что, свадьба князя Андрея все-таки состоится? На этотъ случай у старика оказалась въ запасѣ мысль—по крайней мѣрѣ и самому тогда удивить людей совершенно уже непредвидѣнною перемѣною. Мысль эта, называемая авторомъ мыслью-шуткой — о собственномъ его бракѣ съ m-lle Bourienne — все болѣе и болѣе ему нравилась и обращалась въ серьёзную мысль. «Когда буфетчикъ по прежней привычкѣ подалъ кофе, начиная съ княжны, князь пришелъ въ бѣшенство, бросилъ костылемъ въ Филиппа и тотчасъ-же сдѣлалъ распоряженіе объ отдачѣ его въ солдаты. Княжна Марья просила прощенья и за себя, и за Филиппа». За себя—въ томъ, что явилась невольной преградой для m-lle Bourienne, за Фи-

липпа—въ томъ, что онъ осмѣлился не угадать намѣреній и желаній князя, тѣхъ намѣреній и желаній, на которыя князь постоянно смотрѣлъ какъ на единственный законъ для себя и другихъ. И созданный имъ самимъ разладъ между собою и дочерью долженъ былъ, конечно, упорно держаться. Но при этомъ, какъ видно, потребность справедливости не заглохла. Хотѣлось услышать отъ сына, что виною этого разлада — не онъ, старый князь. Сынъ сталъ напротивъ оправдывать сестру: «виновата эта француженка». Но вѣдь это значило сказать, что виноватъ самъ князь. «А, присудилъ!.. присудилъ!— сказалъ старикъ тихимъ голосомъ, и, какъ показалось князю Андрею, съ смущеніемъ, но потомъ вдругъ вскочилъ и закричалъ:—вонъ, вонъ! чтобъ духу твоего тутъ не было!» Смущенье вытекало изъ *сознанія*, крикъ—изъ властной, не терпящей никакого суда и отпора *воли*. Сознанье вслѣдъ затѣмъ довело до того, что старый князь пересталъ допускать къ себѣ Bourienne, а наконецъ (послѣ извинительнаго письма сына) и совсѣмъ отдалилъ отъ себя француженку. Но властная воля продолжала сказываться въ томъ, что княжна Марья еще больше прежняго стала предметомъ пиленія за то, что поссорила отца съ сыномъ—это до полученія его извинительнаго письма—а послѣ письма она оставалась такимъ предметомъ попрежнему, потому что князю, ради преподаннаго ему, старику, урока, не отвыкать-же стать отъ того, что было привычкою всей его жизни.

Во время этой домашней войны и застигла стараго князя война 1812 года. Долго онъ ни за что не хотѣлъ признавать ея настоящаго смысла. «Я говорилъ и говорю,—твердилъ старикъ,—что театръ войны есть Польша и дальше Нѣмана никогда не проникнетъ непріятель...» Десаль съ удивленіемъ посмотрѣлъ на князя, говорившаго о Нѣманѣ, когда непріятель былъ уже у Днѣпра (между тѣмъ князь Андрей успѣлъ уже написать о томъ старому князю). Только вѣсть о взятіи Смоленска сломила упрямый умъ старика. Онъ рѣшился остаться въ своихъ Лысыхъ Горахъ и оборониться во главѣ своихъ

ополченіемъ. Но страшный, такъ упрямо имъ не предвидѣвшійся, ударъ нравственный вызываетъ и ударъ физическій. Уже въ полусознательномъ состояніи старикъ все спрашиваетъ: «гдѣ же онъ?» т.-е. гдѣ сынъ, которому должно же быть при смерти отца.—«Въ арміи, въ Смоленскѣ», — отвѣчаютъ ему. «Да, — сказалъ онъ явственно и тихо.—Погибла Россія! Погубили!» И онъ опять зарыдалъ. Въ этомъ *погубили* сказался весь старый гнѣвъ князя на тѣхъ, кто былъ на виду, кого слушались, вмѣсто того, чтобы обратиться *къ нему*, *его* слушаться. То, что представляется князю погибелью Россіи, только даетъ ему новый сильнѣйшій поводъ корить своихъ личныхъ недруговъ. На первомъ планѣ и тутъ остается свое *я*, и только извѣстная развѣ часть предсмертныхъ слезъ старика достается въ самомъ дѣлѣ на долю Россіи. Между тѣмъ физическое потрясеніе организма потрясаетъ и властную волю: постоянно необходимая жертва ея, — княжна Марья, только тутъ, на самыхъ послѣднихъ порахъ жизни князя, перестаетъ быть предметомъ его гоненья. Старикъ съ благодарностью даже пользуется ея ухаживаньемъ, совершенно становится мягокъ съ нею.

«Яблоко не падаетъ далеко отъ яблони» — невольно вспоминаешь пословицу, сводя тѣ черты, которыми авторъ намъ обрисовываетъ сына старика Болконскаго, князя Андрея. Онъ имѣетъ, конечно, свою нравственную физіономію, но признаки отцовской породы въ ней сказываются, тѣ признаки, по которымъ, употребляя выраженье Ани. Григорьева, можно узнать *хищный типъ*. Начать съ того, что «онъ такъ же мало способенъ былъ измѣнить свое мнѣніе, какъ и старый князь...» «Онъ боялся больше всего въ мірѣ того, что называется *ridicule*». Такимъ людямъ приходится постоянно быть въ какомъ-то нервномъ опасеніи—въ силу обыкновенно принимаемаго ими положенія, что du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Князь Андрей долженъ былъ особенно вѣровать въ эти слова, такъ какъ тотъ, кто сказалъ ихъ, представлялся ему величайшимъ человѣкомъ въ мірѣ.

Въ этомъ онъ, конечно, расходился съ отцомъ. Но вѣдь старый князь, такъ-сказать, совершенно случайно не хотѣлъ признавать «Буонапарте», родившагося для этого слишкомъ поздно. Буонапарте былъ человѣкъ *не его времени* и собственно поэтому не удостоился его уваженія. Для князя Андрея, напротивъ, онъ былъ современникъ и ничто не мѣшало молодому князю сочувственно въ немъ оцѣнить хищную птицу высокаго полета. Но, ставя Наполеона выше всѣхъ людей, онъ идетъ противъ него въ походъ. «Ежели бы всѣ воевали только по своимъ убѣжденіямъ,—оправдывается онъ,—войны бы не было...» Послѣднее, соглашается кн. Андрей, было бы, можетъ быть, и прекрасно, «но этого никогда не будетъ». Т.-е. онъ совершенно увѣренъ, что никогда не переведется тотъ хищный родъ, къ которому и самъ онъ принадлежитъ. Для чего идетъ онъ противъ Наполеона, онъ и самъ не знаетъ, но «я,—говоритъ онъ,— знаю, что мнѣ надо идти. Кромѣ того, я иду... я иду потому, что эта жизнь, которую я здѣсь веду, эта жизнь не по мнѣ!»... Жизнь эта представляется ему слишкомъ мелкою для такого большого корабля, какимъ онъ считаетъ себя по своей породѣ. Къ тому же свободное плаваніе стѣснено для него женитьбой на женщинѣ, постоянно называемой у автора «маленькой княгиней». Это названіе можно понимать и иносказательно: самый нравъ ея представляется князю Андрею совсѣмъ ему не подъ ростъ. Не зная, что ей суждено умереть, давъ жизнь своему первенцу, онъ бѣжитъ на войну между прочимъ и отъ жены. Это особенно ясно изъ его словъ: «женись старикомъ, никуда не годнымъ... А то пропадетъ все, что въ тебѣ есть хорошаго и высокаго... Ежели ты ждешь отъ себя чего-нибудь впереди, то на каждомъ шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кромѣ гостиной... Я теперь направляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь; je suis très aimable et très caustique и у Анны Павловны меня слушаютъ. И это глупое общество, безъ котораго не можетъ жить моя жена, и эти женщины...»

Но въ чемъ же заключается то «хорошее и высокое», которое онъ чуетъ въ себѣ и которому нѣтъ хода въ «этомъ глупомъ обществѣ?» Въ томъ-ли, что, любя «покровительственныя отношенія къ молодымъ людямъ и польщенный тѣмъ, что къ нему обращались за протекціей», онъ дѣйствительно желалъ доставить ее Борису Друбецкому? Или въ томъ, что, «войдя къ нему и заставъ армейскаго гусара (сортъ людей, которыхъ терпѣть не могъ князь Андрей)... ему непріятно было, что онъ попалъ въ дурное общество?» Или наконецъ въ словахъ: «очень хорошо, извольте подождать», сказанныхъ имъ генералу тѣмъ французскимъ выговоромъ по-русски, которымъ онъ говорилъ, когда хотѣлъ говорить презрительно. Дѣло въ томъ, что «кромѣ субординаціи, написанной въ уставѣ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла этого затянутаго съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, когда капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ» (т.-е. человѣкомъ *своего* круга, хотя бы и считаемымъ имъ за «глупаго»).

«Хорошее и высокое» заключается для князя Андрея, надобно думать, вотъ въ чемъ. «Какъ только онъ узналъ, что русская армія находится въ такомъ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ, тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ...» И это въ войнѣ съ человѣкомъ, котораго онъ считалъ величайшимъ въ мірѣ, но который, быть можетъ, именно вслѣдствіе этого и вызывалъ его, такъ-сказать, на соревнованіе. Но искомый имъ Андреемъ «Тулонъ», какъ нарочно, ему не давался. Между тѣмъ, самолюбіе не позволяло разыгрывать роль вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Самолюбіе, находя исходъ въ великодушіи, явнаго безпристрастія, продиктовало ему слова: «успѣхомъ дня мы обязаны болѣе всего дѣйствію этой батареи и геройской стойкости капитана

Тушина съ его ротой...» По «великодушному» было грустно и тяжело. «Все это было такъ странно, такъ непохоже на то, чего онъ надѣялся». Дѣло въ томъ, что прямая исповѣдь кн. Андрея въ словахъ: «Я никогда никому не скажу этого, но что же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую... И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди, — отецъ, сестра, жена (на самомъ дѣлѣ жена нисколько не была ему дорога)... какъ ни странно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать». И понятно: вѣдь это любовь *къ нему*, своего рода дань, собираемая *имъ*— не все-ли равно съ кого?

Вотъ выдающійся представитель молодого поколѣнія, застигнутаго, какъ и старое, событіями 12-го года—можно, кажется, не колеблясь сказать: врасплохъ!

Какъ молодое, такъ и старое поколѣніе нашей высшей дворянской среды, рисуемое гр. Л. Н. Толстымъ на историческомъ грунтѣ событій Наполеоновской поры, освѣщено имъ едва-ли невѣрно. Этого, я полагаю, никакъ не сказалъ-бы Тургеневъ, которому пришлось самому выставить ту-же нашу среду въ другую, не менѣе историческую эпоху,—въ эпоху освобожденія крестьянъ, и выставить болѣе или менѣе въ томъ-же свѣтѣ. Если сравнить заграничныхъ русскихъ «Дыма» съ русскими иностранцами «Войны и Мира», то первымъ, пожалуй, еще и менѣе польщено. Они и въ самомъ дѣлѣ являются уже окончательно выродившимися потомками тѣхъ людей, которыхъ мы видимъ у гр. Л. Н. Толстого. Люди этого послѣдняго въ сущности (таковы, по крайней мѣрѣ, Болконскіе—отецъ и сынъ) люди далеко не дюжинные, далеко не лишенные своего рода величавости размѣровъ, хотя изъ нихъ все-таки ничего не выходитъ и они остаются «пустыми людьми»—по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ, по свидѣтельству Тургеневскаго Лежнева, «всѣ мы пустые люди». Они остаются ими при всѣхъ своихъ Екатерининскихъ преданіяхъ и при всемъ

своемъ вольтеріанствѣ (то и другое вѣдь слышно еще и въ Андреѣ Болконскомъ), нимало имъ не помѣшавшихъ быть законными *отцами* тѣхъ *дѣтей*, которыхъ Ю. Ѳ. Самаринъ такъ мѣтко назвалъ *нигилистами большого свѣта* (той среды, гдѣ въ сущности вѣдь и водятся настоящіе, буквальные *нигилисты*, т.-е. люди, не признающіе *ничего*, кромѣ своего барствующаго *я*).

Но гр. Л. Н. Толстой пытается выставить намъ Болконскаго сына способнымъ и нравственно, и умственно возродиться подъ вліяніемъ великихъ, переживаемыхъ имъ событій (чего, конечно, и тѣни нѣтъ въ людяхъ «Дыма»). Первые признаки подобнаго возрожденія сказались у него въ то время, когда онъ лежалъ раненый на Аустерлицкомъ полѣ, лежалъ въ какомъ-то мистическомъ полу-бреду. «Надъ нимъ ничего, кромѣ неба—высокаго неба, неяснаго, но все-таки непзмѣримо высокаго съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками. Какъ тихо, спокойно и торжественно, совсѣмъ не такъ, какъ я бѣжалъ,—подумалъ кн. Андрей,—не такъ, какъ мы бѣжали, кричали, дрались, совсѣмъ не такъ, какъ съ озлобленными и испуганными лицами тащили другъ у друга банникъ французъ и артиллеристъ, совсѣмъ не такъ ползутъ облака по этому высокому безконечному небу. Какъ я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ».—Voilà une belle mort», раздалось при этомъ надъ нимъ, казавшимся мертвымъ. «Кн. Андрей понялъ, что это сказано было о немъ и что говоритъ это Наполеонъ... его герой, но въ эту минуту Наполеонъ казался ему столь маленькимъ, ничтожнымъ человѣкомъ, въ сравненіи съ тѣмъ, что происходило теперь между его душой и этимъ высокимъ и безконечнымъ небомъ съ бѣгущими по немъ облаками...» «Тихая жизнь и спокойное семейное счастье въ Лысыхъ Горахъ представлялись ему (мы видѣли, что онъ пошелъ въ походъ ради одной возможности *выказаться*). Онъ уже наслаждался этимъ счастьемъ, когда вдругъ явился маленькій Наполеонъ съ своимъ безучастнымъ, ограниченнымъ и счастливымъ отъ несчастья другихъ взглядомъ». Послѣ Аустерлицкой ком-

нашли кн. Андрей, хотя и выздоровѣлъ, твердо рѣшился никогда не служить болѣе въ военной службѣ. Онъ только принялъ должность подъ начальствомъ отца по сбору ополченія. Но старый червякъ тщеславія не переставалъ его безпокоить. «Побѣду одержали наши надъ Бонапартомъ именно тогда, когда я не служу. Да, да, все подкупаетъ надо мною». Говоря это про себя, онъ велухъ, разумѣется, говорилъ совершенно другое. «Je ne connais dans la vie que deux maux bien réels: c'est le remord (намекъ на смерть жены, причиненную его отъѣздомъ въ армію) et la maladie (разумѣя недавно вынесенную имъ болѣзнь отъ раны). Жить для себя, избѣгая только этихъ двухъ золъ, вотъ вся моя мудрость теперь». Онъ вдается при этомъ въ цѣлый рядъ софизмовъ, долженствующихъ защитить такой эгоизмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрить его, будто прежде онъ имѣлъ глупость заботиться о другихъ. «Я жилъ для славы, — разсуждаетъ кн. Андрей.—Вѣдь что-же слава? та-же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы» (т.-е. онъ хочетъ замаскировать въ своихъ собственныхъ глазахъ, что это—желаніе похвалы *себѣ*, желаніе взять съ другихъ *для себя* эту похвалу). «Такъ я жилъ для другихъ (продолжаетъ въ немъ утверждать софистъ) и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя». Между тѣмъ онъ только перемѣнилъ одинъ видъ эгоизма на другой: тщеславіе, славолюбіе или честолюбіе на любовь къ покою. Этому-ли только училъ его сводъ небесный съ тихо ползущими по немъ облаками? Одна *тишина*, тишина ради тишины,—вотъ чѣмъ плѣнился онъ въ этомъ небѣ, вотъ на чемъ основалъ онъ свой теперешній квіетизмъ. А *высота* этого небеснаго свода, возносящагося надъ людьми, не требуя отъ нихъ ничего, но безкорыстно имъ посылая и свѣтъ, и тепло? И сознаніе этой высоты промелькнуло было въ кн. Андрѣѣ, когда такъ низокъ показался ему Наполеонъ со своимъ «счастливымъ отъ несчастья другихъ взглядомъ». Но это сознанье на первый разъ только *промелькнуло*, а надолго осталось

впечатлѣніе *тишины*, воспринятое имъ по своему и по старому, т.-е. въ эгоистическомъ смыслѣ. Но и промелькнувшее не исчезло, а только отодвинулось, какимъ-то оптическимъ обманомъ души, на задній планъ, какъ что-то давно въ ней, будто-бы, бывшее, но долженствующее уступить мѣсто иному, будто-бы новому, будто-бы высшему, а на самомъ дѣлѣ тому-же низменному и застарѣлому эгоизму въ новомъ образѣ *тишины*. Все это, въ сущности, та-же раздвоенность, та-же борьба перекрестныхъ теченій мысли, которую видимъ мы у нашего автора еще въ Оленинѣ.

«Я строю домъ, развожу садъ,—продолжаетъ свои софизмы кн. Андрей,—а ты (онъ обращается къ Пьеру Безухому, только что сблизившемуся тогда съ масонами), а ты больницы. И то, и другое можетъ служить препровожденіемъ времени» (стало быть однообразіе штиля не удовлетворяетъ). «Ты хочешь вывести мужика изъ его животнаго состоянія, — продолжаетъ князь Андрей,— а мнѣ кажется, что единственное возможное счастье—есть счастье животное» (опять, значитъ, тишина, т.-е. отсутствіе душевныхъ волненій—какъ верхъ блаженства); «а ты его-то хочешь лишить его» (т.-е. мужика...) «Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, — продолжаетъ онъ.- Это очень хорошо, но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкалъ и не посылалъ въ Сибирь) и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживутъ, и онъ такъ-же счастливъ, какъ и былъ прежде. А нужно это для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого-бы я желалъ освободить крестьянъ». Ему, стало быть, жалъ *своихъ, себя*, какъ барина, какъ дворянина, ради того *mal vêtu*, который называется remord. Не будь этого *mal vêtu* (съ которымъ онъ коротко познакомился послѣ

смерти нелюбимой имъ при жизни жены), онъ-бы просто не думалъ о судьбѣ своихъ мужиковъ, но этотъ remord несносенъ,—и вотъ, чтобы прогнать его, развивается вымыселъ, будто-бы имъ, этимъ мужикамъ, живется неизмѣримо лучше, чѣмъ барину, потому что живется имъ безсознательно, а доступная только барину жизнь сознательная — она-то будто и есть настоящая каторга. Для того, чтобы князю Андрею избѣжать этой каторги, «одно имѣнье его въ 300 душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другомъ барщина замѣнена оброкомъ... священникъ за жалованье обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ» (т.-е. выводилъ ихъ изъ того «животнаго состоянія», которое собственно и представлялось кн. Андрею настоящимъ счастьемъ).

Все это въ сущности значило, что впечатлѣніе аустерлицкаго неба, впечатлѣніе не одной его *тишины*, но и *высоты*, не прошло безслѣдно. Новое требованіе *жизни не для себя, въ самомъ дѣлѣ не для себя* сказалось, но оно еще отрицается во имя стараго идеала *жизни исключительно для себя*. Но тутъ опять типъ гр. Л. Н. Толстого представляется намъ *законнымъ отцомъ* одного изъ Тургеневскихъ типовъ — самаго выдающагося между его *дѣтьми*. И Базаровъ, слыша въ себѣ голосъ наклонностей вовсе не эгоистическихъ, хочетъ увѣрить себя и другихъ, что онѣ-то и есть—эгоизмъ, истый эгоизмъ. Это ничего не значитъ, что онъ не аристократъ, а поповичъ, да еще величающійся тѣмъ, что дѣдъ его землю пахалъ. Онъ все-таки членъ той аристократіи умственной, которая прямо ведетъ свой родъ отъ россійскаго вольтеріанства, долго державшагося въ дворянствѣ, а потомъ перешедшаго и къ «средняго рода людямъ...»

Самую службу свою въ ополченіи кн. Андрей объясняетъ въ томъ-же смыслѣ — въ смыслѣ если не личнаго, то семейнаго интереса. «Отецъ,—поясняетъ онъ,—страшенъ своей привычкой къ неограниченной власти... Кромѣ меня никто не имѣетъ вліянія на отца, и я когда спасу его отъ поступка, отъ котораго онъ-бы послѣ

мучился (т.-е. сдѣлался-бы жертвой *remord*, этого *mal réel*). Но будь такого семейнаго соображенія, онъ-бы и не пошелъ въ ополченіе... Въ армію-же онъ ни за что не пойдетъ. «Ежели-бы Бонапартъ стоялъ тутъ у Смоленска,—увѣряетъ кн. Андрей,—и то-бы я не сталъ служить въ русской арміи» (въ этой арміи, которая не одержала при немъ ни одной побѣды, а стала дѣйствовать удачнѣе уже послѣ него). Онъ долго и упорно ублажаетъ свое заматерѣлое самолюбіе озлобленностью—своего рода Weltschmerz'омъ изъ-за того, что ему, князю Андрею, не повезло. «Отчего я одинъ не вижу того, что вы видите,—говоритъ онъ масонствующему Пьеру.—Вы видите на землѣ царство добра и правды, а я его не вижу». Между тѣмъ тотъ неземной восторгъ, который онъ читалъ въ глазахъ Пьера, незамѣтнымъ образомъ послужилъ для него вторымъ «Аустерлицкимъ небомъ». Тутъ началась мало-по-малу «хотя во внѣшности и та же самая, но во внутреннемъ мірѣ его новая жизнь». Она сказалась отреченьемъ отъ тишины, исканіемъ дѣятельности. «Цѣлый рядъ разумныхъ логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить (заурядная у насъ тогда форма дѣятельности) ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ... Онъ даже не понималъ того, какъ прежде, на основаніи такихъ-же бѣдныхъ разумныхъ доводовъ, очевидно было, что онъ унизился-бы, ежели-бы теперь, послѣ столькихъ уроковъ жизни, опять-бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу...» И вотъ ему представляется служба у такого человѣка, какъ Сперанскій. Однако, обаяніе этой личности сперва встрѣчаетъ отпоръ въ самолюбіи кн. Андрея. Съ другой-же стороны «ему такъ хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ». Сама по себѣ эта вѣра была торжествомъ надъ собственнымъ *я*. Къ несчастью, пришлось скоро разувѣриться. «Черезъ недѣлю кн. Андрей былъ членомъ комиссіи составленія воинскаго устава, и, чего онъ никакъ не ожидалъ, начальникомъ отдѣленія

комиссіи составленія законовъ». Это могло польстить самолюбію, но эта-же легкость назначенія и двухмѣстность не могла не противорѣчить тому идеальному понятію о пользѣ, которое стало слагаться въ кн. Андреѣ. Вскорѣ онъ увидѣлъ въ бюрократической дѣятельности другого лица—пустого и пошлаго Берга—нѣчто въ родѣ довольно удачной карикатуры на свою собственную бюрократическую дѣятельность. «Кн. Андрей вспомнилъ, какъ въ засѣданіяхъ комитета, членомъ котораго былъ Бергъ, старательно и продолжительно обсуждалось все касающееся формы... и какъ старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дѣла. Онъ вспомнилъ о томъ, какъ онъ старательно переводилъ на русскій языкъ статьи римскаго и французскаго свода, и ему стало совѣстно за себя...» «Изъ чего я бьюсь, изъ чего хлопочу, заговорилъ въ немъ, въ этой узкой замкнутой рамкѣ, когда жизнь, вся жизнь, со всѣми ея радостями открыта мнѣ?»

Та дѣятельность на пользу другимъ, которая представилась кн. Андрею въ службѣ у такого выдающагося лица, какъ Сперанскій, оказалась, по его пониманію, дѣятельностью, замыкающею въ узкую рамку, — и вотъ онъ снова отдается «жизни со всѣми ея радостями», т.-е. снова ищетъ *личныхъ* радостей, *личнаго* счастья... Тутъ-то и завязывается его романъ съ Наташей, въ которомъ деспотизмъ стараго князя оказался столь роковымъ. Потребованное старикомъ испытаніе отсрочкою, вызвавшее отъѣздъ кн. Андрея, доводитъ жаждущую всей полноты жизни, именно только *жизни* со всѣми ея радостями, Наташу до неожиданнаго припадка ея любви къ Анатолю. При безусловной ограниченности этого просто здороваго и краснаго человѣка, самолюбіе князя Андрея глубоко уязвлено. «Я говорилъ, что надпую женщину надо простить, но я не говорилъ, что *я* могу простить. *Я* не могу», — трагически объясняетъ онъ. Для того, только для того, чтобы избѣжать любопытныхъ взглядовъ своихъ знакомыхъ послѣ постигшей его неудачи, кн. Андрей, по предложенію Кутузова, уѣзжаетъ къ арміи въ Турцію. «Онъ не только не думалъ тѣхъ преж-

ными мыслей, которыя въ первый разъ пришли ему, глядя на небо на Аустерлицкомъ полѣ, которыя онъ любилъ развивать съ Пьеромъ... онъ даже боялся вспоминать объ этихъ мысляхъ, раскрывавшихъ безконечные и свѣтлые горизонты». Безучастно, вполнѣ машинально изъ Турціи переѣзжаетъ онъ въ западную армію съ порученіемъ отъ Кутузова къ Барклаю-де-Толли. Столь-же машинально и безучастно «кн. Андрей на вѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ, не попросивъ остаться при особѣ государя, а попросивъ позволенія служить въ арміи». Его инстинктивно тянуло въ иной совершенно кругъ. «Онъ добръ и кротокъ былъ только съ людьми совершенно новыми... съ людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшаго». Но если въ этомъ новомъ кругу, кругу незнатныхъ полковыхъ товарищей его называли «нашъ князь», имъ гордились и его любили,— то это значило также, что впечатлѣніе «Аустерлицкаго неба» не прошло для него безслѣдно.

Тутъ подоспѣлъ пожаръ Смоленска и оставленіе нами этого города, того самаго, къ судьбѣ котораго въ былое время кн. Андрей обѣщался быть вполнѣ безучастнымъ. Теперь оказалось совершенно не то. «Новое чувство озлобленія противъ врага заставляло его забывать свое горе...» Т.-е. это личное горе исчезало, какъ капля, въ морѣ общаго, всенароднаго горя. И какъ мелки, какъ гадки показались теперь его просвѣтленному взгляду тѣ люди, которые прежде, какъ-бы то ни было, были ему *свои*... Какъ мелко показалось ему когда-то управлявшее имъ самимъ стремленіе отличиться. «И теперь... въ такую минуту,—говоритъ онъ Пьеру наканунѣ Бородинской битвы,—для нихъ только такая минута, въ которую можно подкопаться подъ врага и получить лишній крестикъ или ленточку».

Новая рана достается ему на Бородинскомъ полѣ, а впечатлѣнія Бородинскаго перевязочнаго пункта становятся для него вторымъ «Аустерлицкимъ небомъ». «Всѣ лучшія, счастливѣйшія минуты въ его жизни, въ особенности самое дальнее дѣтство, когда его раздѣвали и клали

въ кроватку, когда няня, убаюкивая, пѣла надъ нимъ, представлялись его воображенію... И вдругъ онъ услышалъ стоны подлѣ себя...» «Въ несчастномъ рыдающемъ, обезсиленномъ человѣкѣ, которому только что отняли ногу, онъ узналъ Анатоля Курагина... И вдругъ новое неожиданное воспоминаніе представилось кн. Андрею. Онъ вспомнилъ Наташу такою, какою онъ видѣлъ ее въ первый разъ... Любовь и нѣжность къ ней сильнѣе чѣмъ когда-либо проснулись въ его душѣ. Онъ вспомнилъ теперь ту связь, какая существовала между нимъ и этимъ человѣкомъ, сквозь слезы, наполнявшія мутные глаза, мутно смотрѣвшимъ на него. Князь Андрей вспомнилъ все, и восторженная жалость и любовь къ этому человѣку наполнили его счастливое сердце... Состраданіе, любовь къ братьямъ... любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ, — вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно — то, что еще оставалось мнѣ, ежели-бы я былъ живъ...»

Нравственное возрожденіе кн. Андрея вполнѣ совершилось, но совершилось у дверей гроба. Еслибъ онъ остался въ живыхъ, онъ-бы, по всей вѣроятности, былъ такимъ, какимъ рисовало его себѣ впослѣдствіи воображеніе его сына Николиньки. «Отецъ былъ со мною, — говоритъ этотъ развитой не по годамъ мальчикъ послѣ вѣщаго сна объ отцѣ и самомъ себѣ.—Отецъ былъ со мною и ласкалъ меня. Онъ одобрялъ меня, онъ одобрялъ дядю Пьера. Чтобы онъ ни говорилъ (т.-е. дядя Николай, этотъ человѣкъ чисто прозаическаго закала)—я сдѣлаю это. *Муцій Сцевола сжегъ свою руку.* Но отчего-же и у меня въ жизни не будетъ того-же?»

Николинькѣ въ его вѣщемъ снѣ отецъ вдругъ представился въ образѣ дяди Пьера, подъ нравственнымъ вліяніемъ котораго и выросталъ мальчикъ. Пьеръ—это то лицо хроники, въ которомъ произошло полнѣйшее возрожденіе подъ вліяніемъ великихъ событій эпохи и который послѣ своего возрожденья остался въ живыхъ. Въ немъ—центръ тяжести хроники.

II.

Пьеръ и женскіе типы.

Пьеръ Безухій всего болѣе дѣйствуетъ, болѣе всѣхъ переспитываетъ и не достигнулъ къ концу не только физическою, но и нравственною смертью. Между тѣмъ для читателя остается неяснымъ, какимъ образомъ въ немъ зародился и развился тотъ, по выраженію Аполлона Григорьева, *смирный типъ*, о которомъ ярко свидѣтельствовала самая его наружность. «Улыбка у него была не такая, какъ у другихъ людей, сливающаяся съ неулыбкой. У него, напротивъ, когда приходила улыбка, то вдругъ мгновенно исчезало серьезное и даже нѣсколько угрюмое лицо, и явилось другое, дѣтское, доброе, даже глуповатое и какъ бы просящее прощенія». Такое лицо совершенно не шло къ той скорѣе *хищной породѣ*, которая надѣлила его правами графа Безухаго, несмотря на его незаконное происхожденіе. По самому лицу Пьера невольно какъ-то предполагается, не текла-ли въ немъ, какъ въ Лаврецкомъ, по матери, «честная плебейская кровь»; но авторъ оставляетъ насъ относительно этого въ полномъ невѣдѣніи. Мы знаемъ только, что онъ, повидимому, вовсе не зналъ семьи, былъ выпиженъ, такъ сказать, внѣ всякаго гнѣзда, но при помощи пріемовъ, употребляемыхъ въ «гнѣздахъ дворянскихъ». «Пьеръ съ 10-лѣтняго возраста былъ посланъ съ гувернеромъ аббатомъ за границу, гдѣ онъ пробылъ до 20-лѣтняго возраста. По возвращеніи неопредѣленность будущей судьбы его была такова, что вызвала вопросъ кн. Андрея Болконскаго: «что-жъ ты рѣшился на что-нибудь? Кавалергардъ ты будешь или дипломатъ?» Отвѣчать было мудрено: Пьеръ такъ же мало зналъ объ этомъ, какъ и о томъ, на что ему дали жизнь и втиснули его въ великосвѣтскую сферу. Пьеръ жилъ между тѣмъ не у отца, онъ «жилъ у князя Василія и участвовалъ въ разгульной жизни его сына Анатоля» (участвовалъ, надо ду-

мать, просто для компаніи, ради того же, ради чего, какъ извѣстно, «жидъ удавился»), того самаго Анатоля, «котораго для исправленія собирались женить на сестрѣ кн. Андрея». Когда отцу Пьера пробилъ смертный часъ и его собирались соборовать, Пьера повезла къ нему Анна Михайловна — въ качествѣ далеко не чуждой расчета «Маремьяны старицы». Въ дорогѣ, «обратившись къ Пьеру съ утѣшительными словами, Анна Михайловна убѣдилась въ томъ, что онъ спитъ въ углу кареты и разбудила его. Очнувшись, Пьеръ за Анной Михайловной вышелъ изъ кареты и тутъ только подумалъ о предстоящемъ свиданіи съ умирающимъ отцомъ» (къ великому, конечно, соблазну Анны Михайловны, которая гораздо больше Пьера интересовалась громаднымъ состояніемъ, переходившимъ къ нему отъ этого отца, не особенно-то приближавшаго его къ себѣ при жизни). «Пьеръ, сдѣлавшись неожиданно богачомъ и графомъ Безухимъ, послѣ недавняго одиночества и беззаботности, почувствовалъ себя до такой степени окруженнымъ, занятымъ, что ему только въ постели удавалось остаться одному съ самимъ собой... Пьеру такъ естественно казалось, что всѣ его любятъ, такъ казалось-бы неестественно, ежели-бы кто-нибудь не полюбилъ его, что онъ не могъ не вѣрить въ искренность людей, окружавшихъ его». (Повторяю, авторъ, къ сожалѣнію, не показываетъ, какимъ образомъ у него явились всѣ эти признаки смиренаго типа). Вскорѣ и служебная участь его была предупредительно рѣшена за него другими. «Ты зачисленъ въ дипломатическій корпусъ,—сказалъ ему кн. Василій,—и сдѣлаешь камеръ-юнкеромъ. Теперь дипломатическая дорога тебѣ открыта». Далѣе тотъ же кн. Василій позаботился объ немъ и въ другомъ отношеніи: увезъ его ловкимъ образомъ со своею дочерью,—той самой Еленъ, которой ея глупость вовсе не помѣшала быть центромъ политическаго кружка. «Среди тѣхъ ничтожно-мелкихъ искусственныхъ интересовъ, которые связывали это общество, попало простое чувство стремленія красивыхъ и здоровыхъ молодыхъ мужчины и женщины другъ къ

другу. И это человѣческое чувство подавило все и царило надъ всѣмъ ихъ искусственнымъ лепетомъ». Подъ вліяніемъ этого чувства Пьеръ внезапно увидѣлъ себя женатымъ (судьба его, не трудно замѣтить, въ значительной степени соотвѣтствуетъ въ этомъ судьбѣ Лаврецкаго). «Пьеръ, по прихоти жены отпустившій воюса, снявшій очки и одѣтый по модному, съ грустнымъ и унылымъ видомъ ходилъ по залamъ. Его, какъ и вездѣ, окружала атмосфера людей, преклонявшихся передъ его богатствомъ, и онъ, съ привычкою царствованія, съ разсѣянной презрительностью, обращался съ ними». Все болѣе и болѣе приходилось однако же приблизиться къ тому, чтобъ воскликнуть: «охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!» Какъ ни смиренъ былъ Пьеръ при всей властности своего положенія,—но вѣдь самые смирные люди способны бываютъ вдругъ оборачиваться хищной птицей, когда ихъ уже слишкомъ задѣнетъ что-нибудь за живое. Поведеніе красивой и глупой Элень — этой femme charmante et spirituelle — довело Пьера до дуэли съ Долоховымъ, а вслѣдъ затѣмъ «Пьеръ выдалъ женѣ довѣренность на управленіе всѣми великорусскими имѣніями, что составляло большую половину его состоянія, и одинъ уѣхалъ въ Петербургъ» (въ чемъ опять у него значительное сходство съ Лаврецкимъ, который такъ мало сознавалъ при этомъ, хотя жилъ поколѣніемъ позже и прошелъ черезъ университетъ, что онъ отдавалъ въ распоряженіе подобной женщинѣ не только имѣніе, но и живыхъ людей).

По пути въ Петербургъ, въ Торжкѣ, Пьеръ былъ озадаченъ встрѣчей съ мелкой торговкой, которая становится для него чѣмъ-то даже болѣе опредѣленно-внушительнымъ, нежели «Аустерлицкое небо» для кн. Андрея. «У меня сотни рублей, которыхъ мнѣ некуда дѣть,—говоритъ онъ.—а она въ прорванной шубѣ стоитъ и робко смотритъ на меня... И зачѣмъ нужны ей эти деньги? Точно на одинъ волосъ могутъ прибавить ей счастья...» Этимъ уже подготовлена почва, на которую вслѣдъ затѣмъ упало сѣмя масонства... Воспріимчивость къ тому

Пьера неудивительна—при смирности его натуры и невозможной при ней глубинѣ и прочности его озлобленнаго состоянія. «Мнѣ извѣстенъ вашъ образъ мыслей,—сказалъ ему масонъ, — это образъ мыслей большинства людей — однообразный плодъ гордости, лѣни и невѣжества... Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой... а довольны-ли вы собой и своей жизнью?»—«Нѣтъ, я ненавижу свою жизнь»,—сморщась проговорилъ Пьеръ...» «Ты ненавидишь, такъ измѣни ее, очисти себя... Какъ вы проводили жизнь?.. Все получая отъ общества и ничего не отдавая ему... Подумали-ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли-ли вы имъ физически и нравственно?..» По смирности своей натуры, Пьеръ этимъ не оскорбленъ, а глубоко озадаченъ... Лично давно недовольный тѣмъ, что дала ему его «Мономахова шапка», онъ, не задумываясь, слагаетъ ее у дверей масонской ложи. При посвященіи въ масонство ему «такъ радостно было избавиться отъ своего произвола»,—т.-е. избавиться отъ того, что вошло въ плоть и кровь старика Болконскаго и что такъ долго противилось и въ кн. Андрѣ впечатлѣніямъ «Аустерлицкаго неба».

Избавившись отъ своего произвола, какъ отъ какой-то тяжелой гири, Пьеръ пытается дѣйствовать. «Пріѣхавъ въ Кіевъ, онъ вызвалъ всѣхъ управляющихъ и сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ». Но пожелать сдѣлать дѣло — еще не значитъ дѣйствительно его сдѣлать. Главноуправляющій оказался краснорѣчивымъ адвокатомъ грубой дѣйствительности, неподдающейся, будтобы, идеалу. Твердая рѣшимость графа, однако-же, вынудила у него уступки. Но какія это были уступки? «Продолжая дѣло освобожденія представлять невозможнымъ, онъ распорядился постройкой во всѣхъ имѣніяхъ большихъ зданій школъ, больницъ и пріютовъ для пріѣзда барина». Все это, не удовлетворяя вполнѣ, должно же было все-таки нравиться причудливому, на взглядъ главноуправляющаго, графу. «Пьеръ не зналъ, что каменныя, по плану, зданія воздвигались своими рабочими

и уничтожили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ». Вышло то, что такъ часто бываетъ. «Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человѣкъ, сознательно понимая умнаго и наивнаго графа... увидавъ бѣдствія, произведенныя на Пьера приготовленными пріемами, рѣшительно обратился къ нему съ доводами... о ненужности освобожденія...» Внутренно, вѣроятно, далеко не увѣренный въ этомъ, но чувствуя себя слишкомъ слабымъ передъ своимъ министромъ, Пьеръ возвращается въ Петербургъ, чтобы окунуться, такъ сказать, въ самую купель масонства и запастись въ ней новыми силами. Невольно и незамѣтно онъ очутился *во главѣ* петербургскаго масонства—очутился и безъ вліянія на это своихъ связей. «По прошествіи года онъ началъ чувствовать, какъ та почва масонства, на которой онъ стоялъ, тѣмъ болѣе уходила изъ-подъ его ногъ, чѣмъ тверже онъ старался стать на ней... Изъ-подъ масонскихъ фартуковъ и знаковъ онъ видѣлъ мундиры и кресты, которыхъ они добивались въ жизни». Въ дневникѣ, который велся въ это время Пьеромъ, между прочимъ значится: «приняли въ масоны Бориса Друбецкого... Мнѣ казалось, что его цѣль вступленія въ братство состояла только въ желаніи сблизиться съ людьми, быть въ фаворѣ у находящихся въ нашей ложѣ». Послѣ смерти своего учителя (обратившаго его въ масонство), «онъ пересталъ вести свой дневникъ, избѣгалъ общества братьевъ, сталъ опять ѣздить въ клубъ, сталъ опять много пить». Ясно, что Пьеръ еще болѣе разочаровался въ масонствѣ, чѣмъ кн. Андрей въ пользѣ службы у Сперанскаго. Между тѣмъ произошло сближеніе принца съ женой Пьера и неожиданное пожалованіе самого Пьера въ камергеры. «Съ этого времени сталъ онъ чувствовать тяжесть и стыдъ въ большомъ обществѣ, и чаще ему стали приходить прежнія мрачныя мысли о тщетѣ всего человѣческаго».

Тщетою представляются ему, очевидно, и его собственные благіе порывы къ тому, чтобы жить не одною только *личною*, но и *общею* жизнью; жизнью не безъ

пользы для человѣчества. Авторъ открываетъ намъ, что такіе порывы были у него очень рано—прежде чѣмъ онъ въ первый разъ попалъ въ роковой омутъ «большого свѣта». «Какъ бы онъ ужаснулся,—замѣчаетъ гр. Л. Н. Толстой,—если бы семь лѣтъ тому назадъ, когда онъ пріѣхалъ изъ-за границы, кто-нибудь сказалъ ему что, какъ онъ ни вертись, онъ будетъ тѣмъ, чѣмъ были всѣ въ его положеніи... Онъ не могъ бы повѣрить этому! Развѣ не онъ отъ всей души желалъ—то произвести республику въ Россіи, то самому быть Наполеономъ, то... побѣдителемъ Наполеона» (смотря потому, очевидно, что представлялось ему наиболѣе полезнымъ для человѣчества). «Развѣ не онъ видѣлъ возможность переродить порочный родъ человѣческій». Но видно самая *смирность* натуры Пьера помѣшала ему не растеряться въ окружающемъ его омутѣ, оберегомъ противъ котораго, при всей освоенности съ нимъ, все же служило князю Андрею его самолюбивое презрѣніе къ людямъ, барахтающимся въ этомъ омутѣ. Положеніе Пьера, напротивъ, казалось вполнѣ безнадежнымъ.

«Онъ вспоминалъ разсказы о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытіи, когда имъ дѣлать нечего, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто лошадьми, кто политикой, кто виномъ, кто государственными дѣлами».

Вотъ въ такомъ-то настроеніи посѣтилъ онъ Наташу послѣ катастрофы ея съ Анатолемъ, разыгравшейся, повидимому, на ту же знакомую Пьеру тему «всяческой суеты». Онъ глубоко почувствовалъ ея несчастіе и тогда же ее полюбилъ, но, какъ казалось, только одною *любовью сострадания*. А между тѣмъ вокругъ него, сцена за сценой, быстро разыгрывалась драма 1812 г. Все это, вмѣстѣ съ исторіей Наташи и его чувствомъ къ ней, представляется ему какимъ-то безтолковымъ сномъ. Но бездна горя и крови кругомъ—не сонъ; впечатлѣ-

ніе отъ всего этого было слишкомъ сильно для смирнаго сердца Пьера, способнаго, при всей своей смирности (какъ когда-то отъ личной обиды со стороны Долохова), разгорѣться ненавистью къ виновнику этого горя и этой крови, обидчику всего человѣчества. «Пьеру было открыто однимъ изъ братьевъ-масоновъ выведенное изъ Апокалипсиса пророчество относительно Наполеона. Написавъ цифрами *l'empereur Napoléon*, онъ увидалъ, что сумма этихъ чиселъ есть 666. Написавъ по той же азбукѣ *quarante deux*, т.-е. предѣлъ, который былъ положенъ звѣрю, онъ увидалъ, что сумма этихъ чиселъ опять равна 666, изъ чего вывелъ, что предѣлъ Наполеону, которому минуло 42 года, наступилъ въ 1812 г. Кто же положитъ предѣлъ власти звѣря? Онъ писалъ: l'empereur Alexandre, la nation russe, и все не выходило: тогда онъ сталъ писать: comte Pierre Besouhoff и т. п., и наконецъ изъ l'russe Besouhoff вышло 666». Все это потомъ разрѣшается въ воображеніи Пьера тѣмъ, что ему суждено убить Наполеона. Онъ носится съ этою мыслью, и одержимость ею обращаетъ его въ какого-то сбитаго съ толку бродягу, думающаго угомонить такъ болѣзненно въ немъ звучащія симпатическія струны души мечтою объ искупительной крови. Онъ въ этомъ отношеніи какой-то ранній предтеча тѣхъ чувствительныхъ мономановъ политическаго убійства, которыхъ довелось намъ увидѣть на своемъ вѣку. «Его любовь къ Ростовой. Антихристъ, нашествіе Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'russe Besouhoff—все это вмѣстѣ должно было созрѣть, разразиться и вывести Пьера изъ того заколдованнаго, ничтожнаго міра московскихъ привычекъ, въ которыхъ онъ чувствовалъ себя плѣненнымъ»—и изъ которыхъ, прибавимъ мы отъ себя, именно вслѣдствіе своей смирности, онъ никакъ не могъ выпутаться безъ какого-нибудь особеннаго толчка. Но какимъ образомъ подготовился въ немъ этотъ толчокъ, обратившій Пьера съ его «добрымъ и даже глуповатымъ лицомъ, какъ бы просящимъ прощенья» въ какую-то Charlotte Corday мужескаго рода,—это только намѣчено авторомъ въ видѣ

программы, но не выполнено имъ съ тою тщательностью подробнаго психологическаго анализа, какой былъ проявленъ имъ еще въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ». Также недостаточно обусловленнымъ въ психологическомъ смыслѣ оказывается и присутствіе Пьера, въ качествѣ зрителя, на Бородинскомъ полѣ. Говорятъ, что такой фактъ дѣйствительно былъ и что авторъ почерпнулъ его въ какихъ-то, прочитанныхъ имъ въ рукописи, современныхъ запискахъ [1]). Но онъ какъ-бы и остается у нашего автора голымъ фактомъ—недостаточно, по крайней мѣрѣ, освѣщеннымъ психологически. Правда, авторъ указываетъ на то, что Пьеру нельзя было стать не просто зрителемъ, но и дѣятелемъ Бородинской битвы, такъ какъ поступленію его въ военную службу мѣшало его масонство. Если-же онъ давно разочаровался въ масонствѣ и могъ-бы не болѣе другихъ держаться всей строгости его правилъ, то, «съ другой стороны, «глядя на большое количество москвичей, надѣвшихъ мундиры и проповѣдующихъ патріотизмъ, было почему-то совѣстно предпринять такой шагъ». Далѣе авторъ дастъ почувствовать, что не только эти случайные военные и случайные патріоты не особенно заманивали Пьера въ свои ряды, но что не особенно внушительно дѣйствовали на него и лица совсѣмъ не случайныя (или если *случайныя*, то въ иномъ совершенно смыслѣ—въ смыслѣ близости своей къ Кутузову). «Пьеру казалось, что причина возбужденія, выражавшагося на нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ, лежала больше въ вопросахъ личнаго успѣха». «Но при этомъ,—замѣчаетъ авторъ,—у него не выходило изъ головы то другое выраженіе возбужденія, которое онъ видѣлъ на другихъ лицахъ и которое говорило о вопросахъ не личныхъ, а общихъ, вопросахъ жизни и смерти». Это другое выраженіе Пьеръ, напримѣръ, прочиталъ на лицѣ того солдата, который сказалъ: «всѣмъ народомъ навалиться хотятъ, одно

---

[1]) Зрителемъ на Бородинскомъ полѣ является какой-то князь Вяземскій въ письмахъ М. А. Волковой къ В. И. Ланской см. въ «Вѣстникѣ Европы» 1874 г. статью «Грибоѣдовская Москва», августъ, стр. 606).

слово: Москва! Одинъ конецъ сдѣлать хотятъ». Ссылаться на этихъ *другихъ* людей могутъ, правда, и люди, подобные Борису Друбецкому, тому, который и въ масонство записался ради связей. «Какое геройство, графъ!» — обратился къ Пьеру тотъ-же Друбецкой, указывая ему на ополченцевъ, надѣвшихъ передъ сраженіемъ чистыя, бѣлыя рубахи. Но Пьеръ, надо думать, понялъ, что сказано это было ради свѣтлѣйшаго, бывшаго неподалеку и, по расчету Бориса, способнаго вмѣнить въ заслугу такую оцѣнку ополченской доблести.

Все это только показываетъ, что Пьеръ имѣлъ не одинъ случай осязательно ощутить разницу между *тѣми* и *другими* людьми, а вмѣстѣ съ тѣмъ, не захотѣть быть съ *одними* и почувствовать влеченіе къ *другимъ*. Но изъ такого влеченія все-же еще не слѣдуетъ его присутствіе просто *зрителемъ* на Бородинскомъ полѣ, хотя съ этимъ влеченіемъ къ простому русскому человѣку и согласна та «кротость» (и вообще ему свойственная), съ которою сторонился онъ отъ солдатъ, чтобы не мѣшать имъ. Съ другой стороны, если вполнѣ понятно, что «солдаты на Бородинскомъ полѣ сначала косятся на Пьера», то психологически вовсе не выясненъ тотъ переходъ въ нихъ, въ силу котораго они «потомъ величаютъ его: нашъ баринъ». Все это опять отзывается какою-то программой, оставшейся далеко невыполненной, хотя, можетъ-быть, она задумана глубоко. За то тонко-подмѣченная психологическая черта сказывается въ разсужденіи — колебаніи Пьера послѣ того, какъ онъ съ такимъ наслажденіемъ попользовался незатѣйливымъ солдатскимъ «кавардачкомъ». «Надо дать имъ? — Нѣтъ, не надо, — сказалъ ему какой-то голосъ». — Не надо, потому что эти простые люди — *люди*, захотѣвшіе просто накормить и меня, проголодавшагося, какъ они, *человѣка*, — и сунуть имъ за это монету значило-бы оскорбить въ нихъ *человѣческое* ихъ чувство...» Въ такомъ разсужденіи Пьера окончательно слышится и его собственная *гуманизація*, все болѣе и болѣе удаляющая его отъ тѣхъ *не-людей*, которые и въ великія историческія годины способны стре-

миться, по-Фамусовски, только къ *крестишку* или къ *мыстечку*.

Придя въ себя послѣ битвы, припоминая, что было съ нимъ. Пьеръ вполнѣ сознательно проводитъ параллель между собою и тѣми, съ кѣмъ ѣлъ онъ кавардачокъ. «О, какъ ужасенъ страхъ и какъ позорно я отдался ему,— вспоминаетъ Пьеръ, — а они... *они* все время до конца были тверды, спокойны... Они — эти странные, невѣдомые ему доселѣ, *они* ясно и рѣзко отдѣлялись въ его мысли отъ всѣхъ остальныхъ людей... Войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими... Но какъ скинуть съ себя все это лишнее... все это бремя внѣшняго человѣка...» Раздумье Пьера заключается дремотой его на постояломъ дворѣ, дремотой, во время которой грезятся ему не какіе-нибудь образы, а тѣ-же мысли, т.-е. сквозь сонъ продолжается въ немъ процессъ мышленія, заключающійся выводомъ: «нельзя соединять мысли, а *сопрягать* всѣ эти мысли, вотъ что надо. Да, *сопрягать* надо...

— «Запрягать надо, пора запрягать,—послышался голосъ берейтора...»

Чисто оригинальный пріемъ наблюдательности графа Л. Н. Толстого сказался въ этомъ подмѣченномъ имъ обращеніи звуковъ, раздающихся на-яву передъ пробуждающимся, въ созвучныя слова, соотвѣтствующія мыслямъ, занимавшимъ его въ полуснѣ...

Сопрягать надо, т.-е. надо связывать, единить, сливать... Письмо, полученное послѣ этого Пьеромъ отъ своей жены, можетъ быть по своему дѣйствію сравнено развѣ съ какимъ-нибудь уколомъ докучной мухи, нимало, разумѣется, не способнымъ оторвать человѣка отъ важнаго дѣла... Но переходъ непрерванной этимъ уколомъ мысли о томъ, что «сопрягать надо», въ рѣшимость осуществить старый бредъ объ убіеньи Наполеона, — переходъ этотъ выходитъ, кажется, опять недостаточно понятнымъ психологически... Связанное съ этимъ переодѣванье кучеромъ, захожденье на квартиру покойнаго учителя-масона—ради успокоительныхъ воспоминаній — сна-

сеніе Пьеромъ Рамбаля, потомъ дѣвочки изъ огня, при постоянной боязни Пьера, какъ-бы, «неся съ собою свое намѣреніе, не растерять его» (т.-е. намѣреніе убить Наполеона),—все это изложено черезчуръ эпически, безъ подробнаго психологическаго анализа... Авторъ ограничивается поясненіемъ отъ себя, что Пьеромъ руководитъ «чувство потребности жертвы и страданья при сознаніи общаго несчастія... и то неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному человѣческому, ко всему, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра...» Все это какъ-то преднамѣренно ведется къ тому, чтобы Пьеру попасть въ плѣнъ и очутиться съ людьми «исключительно низкаго званія», изъ ряда которыхъ, наконецъ, выступаетъ настоящій учитель Пьера, далеко оставляющій за собою бывшаго его учителя-масона.—Платонъ Каратаевъ, «навсегда остающійся въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго». Разборъ этого народнаго типа у насъ еще впереди. Напомню теперь только важное для довершенья характеристики Пьера сожалѣнье Каратаева о томъ, «что у Пьера родителей нѣтъ», т.-е. что онъ и росъ и въ возрастъ вступилъ безъ любви и привѣта, а потому и было ему такъ долго далеко до того, чтобы можно было сказать о немъ, какъ о Каратаевѣ: «Онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь». Изъ такого опредѣленія Каратаева ясно, что онъ является толкованіемъ въ лицахъ заключенія Пьера, что «сопрягать надо». Разборъ этого простонароднаго воплощенья начала любви, повторяю, еще впереди, но замѣтимъ уже теперь, что черты этого лица напоминаютъ у Тургенева Калиныча и Касьяна съ Красивой Мечи, а также Лукерью въ «Живыхъ мощахъ». При такомъ сходствѣ, я думаю, самъ по себѣ Платонъ Каратаевъ едва-ли можетъ быть названъ предвзятымъ, искусственнымъ... Нѣкоторая искусственность замѣтна собственно въ томъ пути, какимъ гр. Л. Н. Толстой доводитъ Пьера до встрѣчи съ Платономъ Каратаевымъ.

Жизнь съ простыми людьми, т.-е. просто съ *людьми*, безъ всего того «условнаго и искусственнаго», которое такъ опротивѣло Пьеру въ его средѣ, сдѣлала Пьера другимъ человѣкомъ. Авторъ съ обычнымъ своимъ реализмомъ рисуетъ намъ «отросшіе, спутанные волосы на головѣ Пьера, наполненные вшами», но при этомъ увѣряетъ насъ, что «всякій разъ, когда онъ взглядывалъ на свои босыя ноги, на лицѣ его пробѣгала улыбка самодовольства». По возвращеніи Пьера въ свою среду, «слуги находили, что онъ много попростѣлъ», а Наташа говорила княжнѣ Марьѣ: «онъ сдѣлался какой-то чистый, гладкій, свѣжій; точно изъ бани; ты понимаешь? *морально* изъ бани» (этой *баней*, какъ мы видѣли, послужило ему состояніе, отъ котораго въ головѣ у него *завелись вши*). Пьеръ переживаетъ кн. Андрея, о которомъ ему слишкомъ поздно пришлось спросить: «такъ онъ успокоился? смягчился?» Пьеръ недаромъ представляется Николинькѣ Болконскому тѣмъ, чѣмъ-бы оказался для него отецъ, если-бы онъ остался въ живыхъ. Пьеръ не стѣсняется въ присутствіи этого мальчика говорить подъ впечатлѣніемъ Семеновской исторіи и различныхъ разсказовъ объ Аракчеевѣ: «мучатъ народъ, просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно,—то губятъ». Успокоенье, смягченье, котораго желалъ онъ кн. Андрею, не означало, стало быть, дряблаго мирволенья всему ради личнаго своего покоя. «Надо взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ,—продолжаетъ Пьеръ.—Ежели люди порочные связаны между собой и составляютъ силу, то людямъ честнымъ надо сдѣлать то же самое. Вѣдь это просто».—Вотъ во что выяснился для него бредъ, что «сопрягать надо».

Пьеръ, замѣшанный въ историческія событія хроники, играетъ видную роль и въ романѣ. За первый свой неудачный бракъ, совершившійся въ какомъ-то полуснѣ, какъ-бы помимо его сознанія, онъ вполнѣ вознаграждаетъ вторымъ своимъ бракомъ съ тою, которую полюбилъ сначала, какъ видѣли мы, любовью сострадавія. И для нея, для Наташи, соединеніе съ мягкимъ и многопонятливымъ

человѣкомъ является уврачеваніемъ всѣхъ, такъ неожиданно выпавшихъ на долю ея, треволненій.

Умь Наташа-то, казалось-бы, вовсе не была создана для нихъ, она даже менѣе многихъ въ той богатой барской средѣ, въ которой пришлось ей вырасти и получить... т.-е., вѣрнѣе сказать, не получить никакого воспитанія, а просто вырасти на просторѣ, подвергаясь лишь легенькой дрессировкѣ въ отношеніи манеръ со стороны эмигрантки-француженки, — да и этой-то дрессировкѣ, благодаря Бога, только съ извѣстныхъ лѣтъ. «Черноглазая, съ большимъ ртомъ, некрасивая, но живая дѣвочка, съ своими дѣтскими открытыми плечиками, которыя, сжимаясь, двигались въ своемъ корсажѣ отъ быстраго бѣга» — вотъ Наташа въ 13 лѣтъ, какъ описываетъ ее нашъ авторъ, Наташа, вбѣгающая въ гостиную съ куклой и громкимъ вопросомъ: «мама! какое пирожное будетъ?» — «Казакъ!» — замѣчаетъ при этомъ, грозя толстымъ пальцемъ, строгая Марья Дмитріевна, этотъ всеобщій ментеръ въ хроникѣ гр. Толстого. Ясно, что живая натура дѣвочки-казака не особенно-то поддавалась неизбѣжнымъ, конечно, уже въ то время внушеніямъ француженки о tenue и manières. И ставъ уже барышней, Наташа остается тѣмъ-же самородкомъ, такъ что ей совершенно по праву приходится разлихой Денисовъ: «Онъ и кутила, и все,—говоритъ она брату,—а я все-таки его люблю»; за то она терпѣть не можетъ Долохова: «у него,—какъ она выражается,—*все назначено*». Дѣло въ томъ, что у нея у самой «ничего не назначено»: въ ней избытокъ того, чего, по выраженію Лежнева, недоставало Рудину: избытокъ *натуры*. Она сохраняетъ все обаяніе ея даже при первомъ выѣздѣ на великосвѣтскій, мало того, на придворный балъ. «Когда кн. Андрей предложилъ ей туръ вальса, то замирающее выраженіе лица Наташи, готовое на отчаяніе и на восторгъ [1]), вдругъ освѣтилось счастливой, благодарной

[1] То или другое, очевидно, зависѣло отъ вопроса, пригласятъ ее танцовать, или нѣтъ?

дѣтской улыбкой. «Давно я тебя ждала, какъ будто сказала эта испуганная и счастливая дѣвочка... Ея оголенныя шея и руки были худы и некрасивы въ сравненіи съ плечами Елены... Но на Еленѣ былъ уже какъ будто лакъ отъ всѣхъ тысячей взглядовъ, скользившихъ по ея тѣлу, а Наташа казалась дѣвочкой, которую въ первый разъ такъ одѣли и которой-бы очень стыдно это было, еслибы ее не увѣрили, что это такъ необходимо надо. Она и не замѣтила, какъ государь долго говорилъ съ французскимъ посланникомъ, какъ онъ особенно милостиво говорилъ съ такой-то дамой, какъ принцъ такой-то и такой-то сдѣлали то-то и то-то... Она была на той высшей ступени счастья, когда человѣкъ дѣлается вполнѣ добръ и хорошъ, и не вѣритъ въ возможность зла, несчастія и горя». Но тутъ-то, среди этой полноты блаженства и посѣяно было, невѣдомо для нея самой, первое сѣмя будущаго тяжелаго горя. Эта почти еще дѣвочка какъ будто-бы въ самомъ дѣлѣ «давно ждала» того, кто съ ней танцовалъ. Между ней и этимъ еще молодымъ княземъ, успѣвшимъ уже овдовѣть, быстро завязалась та связь, которую захотѣлъ ни съ того, ни съ сего разорвать старый князь. Жениху пришлось надолго уѣхать отъ своей счастливой невѣсты. «Она не плакала, когда онъ, прощаясь послѣдній разъ, поцѣловалъ ея руку. «Не уѣзжайте»,—только проговорила она... Нѣсколько дней она, не плача, сидѣла въ своей комнатѣ, потомъ стала такая-же, какъ и прежде, но только съ измѣненной нравственной физіогноміей, какъ дѣти съ другимъ лицомъ встаютъ съ постели послѣ продолжительной болѣзни...» Потребность жить, какъ всегда жилось, беззаботно, весело, продолжаетъ сказываться въ Наташѣ... Она забываетъ свое положеніе у добряка «дядюшки», когда принимается вдругъ плясать передъ нимъ русскую. Только потомъ она сказала брату: «я знаю, что никогда уже не буду такъ счастлива, спокойна, какъ теперь...» — «Въ концѣ четвертаго мѣсяца разлуки на нее начинали находить минуты грусти, противъ которой она не могла бороться. Ей жалко было... что она такъ даромъ, ни для

кою, пропадала все это время...» «Его мнѣ надо... сейчасъ, сію минуту мнѣ надо...»—сказала Наташа... постояла, подумала и пошла въ дѣвичью... Тамъ старая горничная ворчала на молодую: «будетъ играть-то... «Пусти ее, Кондратьевна».—сказала Наташа... Она поняла эту потребность жизни, свободной, веселой жизни въ такомъ-же молодомъ существѣ, какъ она сама... Барышнѣ, какъ и горничной, нечѣмъ было наполнить жизнь, ни та, ни другая не выучилась влагать въ нее то, чего не можетъ отнять никакой отъѣздъ, никакая даже разлука на вѣки... «*Его* мнѣ надо, сейчасъ, сію минуту мнѣ надо».—неумолчно говорило въ дѣвушкѣ, никогда и ни въ чемъ до тѣхъ поръ не встрѣчавшей отказа или препятствія... А тутъ вдругъ препятствіе безъ всякой разумной причины—со стороны этого стараго самодура, который къ тому-же еще и оскорбляетъ ее самымъ для нея неожиданнымъ и непривычнымъ образомъ... Вѣдь-же затѣмъ нечаянное свиданіе въ театрѣ—не съ *нимъ*, а съ другимъ... молодымъ и красивымъ, наполнившимъ вдругъ пустоту, неотлучно пребывающую около нея... Но эта измѣна досталась дорогою цѣною. «Инстинктъ говорилъ ей, что вся прежняя чистота любви ея къ кн. Андрею погибла»: Наташа инстинктивно познакомилась съ тѣмъ, что на языкѣ кн. Андрея называлось, какъ мы знаемъ, *remord*, а потомъ познакомилась (опять едва-ли не въ первый разъ) и съ тѣмъ другимъ, по его выраженію, *mal réel*, имя которому: болѣзнь... И какъ кн. Андрею послѣ ея измѣны было сносно только съ людьми не его круга, съ тѣми, которые не знали его исторіи, такъ и ей было сносно только съ братомъ Петей, который не понималъ и не могъ понять, что съ ней было. Но ей казалось также легко и съ большимъ Петей—Пьеромъ: онъ хотя и понималъ, но неспособенъ былъ, какъ ей чуялось, при почти дѣтской своей добротѣ, осудить ее... «Графъ, что это—дурно, что я пою?»—спрашивала она его, замѣчая въ себѣ первые признаки возвращенія своего прежняго нормальнаго состоянія...

Эти признаки стали въ ней сказываться какъ разъ въ

то время, когда вполнѣ разыгралась драма отечественной войны. Пришлось собираться уѣзжать изъ Москвы. Но Наташа «была весела, потому что долго была грустна и потому, что былъ человѣкъ, который ею восхищался: Петя. Если-бы она могла предвидѣть, что этотъ веселый и добрый мальчикъ скоро самъ попросится на войну и будетъ убитъ,—она-бы, разумѣется, не была весела; но общее тогдашнее горе, важность и великость тогдашнихъ событій мало затрогивали ее, вовсе вѣдь не введенную воспитаніемъ въ великую ширь настоящей человѣческой жизни—жизни въ цѣломъ и въ общемъ... Участіе не къ своимъ, къ совсѣмъ незнакомымъ, могло пробуждаться въ ней только инстинктивно, подобно тому, какъ инстинктивно-же пробудилось въ ней сознаніе вины и несправедливости... «Это гадость, это мерзость! не можетъ быть, чтобъ вы приказали,—закричала она отцу при видѣ того множества раненыхъ, которыхъ оставляли на произволъ судьбы, потому что надо было спасать домашній Ростовскій скарбъ.—Ну, что намъ то, что мы увеземъ; вы посмотрите только, что на дворѣ»,—продолжала она, указывая на раненыхъ, о которыхъ до тѣхъ поръ, быть можетъ, никогда и не думала, но которыхъ совершенно новый для нея видъ разомъ ее перенесъ на почву совершенно невѣдомыхъ ей до этого понятій и ощущеній... «Яйца курицу учатъ»,—сквозь счастливыя слезы проговорилъ графъ, самъ и до старости лѣтъ не пошедшій далѣе инстинктивнаго, безсознательнаго добра!

Послѣ такой, внезапно въ ней пробудившейся заботливости вообще о раненыхъ (между которыми ей и не чуялся кн. Андрей), Наташѣ приходится вдругъ очутиться у страдальческаго изголовья того, кого она такъ долго ждала — звала, потомъ такъ неожиданно и мучительно для своей совѣсти разлюбила, а теперь готова была-бы всѣми жертвами откупить у смерти... Кн. Андрей умираетъ у нея на рукахъ, и Наташа уходитъ вся въ свое личное и, повидимому, навсегда непробудное горе... Но вотъ приходитъ вѣсть о другомъ, новомъ горѣ — горѣ больше и прежде всего для ея старой ма-

тери... Узнавъ о смерти Пети, Наташа вдругъ забыла себя и свое горе... [1]) «Другъ мой маменька, повторяла она, напрягая всѣ силы своей любви на то, чтобы какъ-нибудь снять съ нея на себя излишекъ давившаго ее горя... Она думала, что жизнь ея кончена. Но вдругъ любовь къ матери показала ей, что сущность ея жизни — любовь — еще жива въ ней. Проснулась любовь, проснулась и жизнь».

Любовь — сущность *ея* жизни? Но вѣдь это сущность и всякой жизни. Всякому живущему полнотою ея всегда есть кого любить и для кого жить. Наташа не жила всею полнотою жизни, если для пробужденія ея отъ ея *личнаго* горя нужно было горе — опять *ея-же самой* (убитъ братъ) и *матери*... Любовь къ совершенно чужимъ, т.-е. къ *своимъ* просто въ качествѣ *русскихъ* или даже вообще *людей*, — такая любовь только вспыхиваетъ въ Наташѣ (ея порывъ въ отношеніи раненыхъ), но не обращается у нея въ постоянный и ровный огонь, способный свѣтить ей самой, какъ-бы непроглядна ни стала ея собственная участь. Не останься у нея на рукахъ ея старая мать — и она-бы вообразила себя совсѣмъ одинокой, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не связанной — и это на широкой русской землѣ, въ годину общенароднаго испытанья! Наташѣ, какъ и множеству отличныхъ женскихъ натуръ (но именно только *натуръ*) ея круга, и въ голову не пришло-бы то, что сдѣлала женщина уже другой поры, не оставшаяся необработаннымъ самородкомъ, а сама какъ-то воспитавшаяся, Тургеневская Елена — послѣ преждевременной смерти своего Инсарова.

Подъ конецъ, какъ мы знаемъ, Наташа соединяетъ свою судьбу съ Пьеромъ. Понятно, что она вся уходитъ въ *свою семью* (какъ это дѣлается и съ братомъ ея Николаемъ). Многихъ читателей совершенно разочаровывала характеристика замужней Наташи. «Въ лицѣ ея не было, какъ прежде, этого непрестанно горѣвшаго огня оживле-

---

[1]) Трагическая судьба этого милаго мальчика была какъ бы предначертана въ Кавказскихъ и Севастопольскихъ очеркахъ нашего автора.

ния, составлявшаго ея прелесть. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка... Она дорожила обществомъ тѣхъ, которымъ могла радостно показать пеленку съ желтымъ, вмѣсто зеленаго, пятномъ и выслушать утѣшенія о томъ, что теперь ребенку лучше». Но знакомыхъ съ пріемами гр. Л. Н. Толстого могъ-бы и не отталкивать этотъ, такъ сказать, гомерическій его реализмъ; что-же касается сущности дѣла—этой исключительной *семейственности* Наташи, то развѣ не вытекаетъ она непосредственно изъ всѣхъ ея задатковъ и развѣ, наоборотъ, логично ожиданіе увидѣть ее дѣйствующею и въ предѣлахъ семьи въ болѣе широкомъ смыслѣ,—смыслѣ, связывающемъ семью съ *обществомъ*? «Она была немножко ревнива,—продолжаетъ насъ «разочаровывать» авторъ.—Пьеръ не смѣлъ уѣзжать на долгіе сроки, исключая какъ по дѣламъ, въ число которыхъ она включала и занятія его науками, въ которыхъ она ничего не понимала, но которымъ приписывала большую важность... Весь домъ ходилъ на цыпочкахъ, когда Пьеръ занимался...» Такая внимательность, можетъ быть, даже показалась-бы излишнею многимъ; съ другой стороны, для семейнаго счастья даже не можетъ быть, а навѣрное далеко не лишнее, чтобы жена хоть что-нибудь смыслила въ умственныхъ занятіяхъ мужа, относилась къ нимъ не только со слѣпымъ уваженіемъ, но и съ живымъ участіемъ. Можно-ли было, однако-же, ждать такого участія отъ замужней Наташи, если въ продолженіе всей своей дѣвичьей жизни она, конечно, не открыла ни одной книжки и едва-ли даже имѣла въ рукахъ какую-нибудь газету? Послѣ этого хорошо и то, что «Пьеръ однажды сообщилъ ей мысли Руссо о вредѣ кормилицъ... и съ тѣхъ поръ она кормила сама дѣтей». Къ окончательному «разочарованію» въ Наташѣ служитъ то, что «ко всѣмъ своимъ недостаткамъ, по мнѣнію большинства: неряшливости, опущенности, или качествамъ, по мнѣнію Пьера (который и самъ не особенно подчинялся внушеніямъ о *tenue*), Наташа присоединяла еще скупость». Это качество, конечно, труднѣе вывести изъ дѣвичьихъ задатковъ ея характера, но

оно объясняется въ ней, какъ замужней, своими послѣдствіями. «Пьеръ замѣтилъ, что его разстроенныя послѣднее время, въ особенности долгами первой жены, дѣла стали поправляться». Такія хозяйственныя способности, конечно, большой кладъ въ женѣ: но меньшій, разумѣется, чѣмъ способность принимать участіе въ общественныхъ интересахъ мужа и помогать ему воспитывать въ дѣтяхъ будущихъ общественныхъ дѣятелей.—въ чемъ Наташа, конечно, не оказывается грѣшна. Но можно-ли и требовать умѣнья воспитывать отъ женщины, которая сама не получила ничего похожаго на какое-нибудь воспитаніе?

Тогда уже, впрочемъ, сказывалось мнѣніе, что Наташа, какъ жена и хозяйка, составляетъ семейный идеалъ автора. На это, конечно, не имѣется никакихъ доказательствъ въ хроникѣ, далекой отъ того, чтобы и вообще идеализировать семью Ростовыхъ, родовыя черты которой можно узнать и въ Наташѣ. Но въ настоящее время, къ сожалѣнію, изъ самыхъ признаній автора стало ясно, что «женщина-самка», пожалуй, дѣйствительно его идеалъ.

Но какимъ-же оказывается выдающійся женскій типъ другой барской семьи, выведенный нашимъ авторомъ,—семьи Болконскихъ? До сихъ поръ мы встрѣчались съ княжною Марьей собственно какъ съ предметомъ постояннаго командованія и пиленья для ея деспотическаго отца. Изъ этого уже ясно, что княжна Марья вовсе не выросла въ простотѣ природы и на просторѣ (какъ Наташа въ своей мягко-патріархальной семьѣ), хотя старикъ Болконскій и принималъ къ сердцу такіе случаи, что «для княжны, его дочери, не расчистили дорожки въ саду, а для министра расчистили». Цѣнимая отцомъ на глазахъ у другихъ собственно въ качествѣ «княжны — его дочери», княжна Марья, конечно, не просто выросла, какъ Наташа, а воспиталась—воспиталась подъ грозою и страхомъ, чтобы постоянно направлять свои душевныя силы на угожденье отцу и въ концѣ-концовъ все-таки не угодить ему. Княжна Марья невольно искала себѣ опоры въ своей трудной долѣ и нашла ее въ томъ религіозномъ чувствѣ, кото-

рано вовсе не было у ея вольтеріанца-отца, не нуждавшагося ни въ какой опорѣ, а только въ устраненіи всякой преграды для своего всемогущества. Вмѣсто отца, котораго можно было только уважать—бояться, княжна Марья нѣжно, какъ дочь, полюбила Бога, которому она могла угодить и который не забудетъ ее за то въ своемъ царствіи. Для Бога она братски любила и всѣхъ людей, любила даже враговъ. «L'amour chrétien, l'amour du prochain,—писала она подругѣ (писала по-французски, какъ всѣ тогда—до самого «морозившаго французовъ» Кутузова),—l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille...» Но если-бы Богу угодно было, продолжаетъ она въ томъ-же письмѣ, призвать ее къ обязанностямъ супруги и матери, она свято исполнитъ ихъ, какъ сумѣетъ, не задаваясь даже разборомъ своихъ чувствъ къ тому, кто ей будетъ назначенъ (и каковъ-бы даже ни былъ его характеръ, — думала она, опасаясь, очень можетъ быть, сходства съ характеромъ отца). Въ сущности-же она жаждала любви—земной любви къ одному, къ какому-нибудь своему избраннику. Но Богъ уже отвѣчалъ ей въ собственномъ ея сердцѣ: «не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся... живи, чтобы быть готовой ко всему...» «Мое призваніе,—утѣшала она себя,—быть счастливой другимъ счастьемъ, счастьемъ любви и самопожертвованія...»

Любя, какъ казалось ей, всѣхъ для Бога, она особенно любила тѣхъ, кого называла «*Его людьми*» [1]). Это были тѣ люди не ея класса, которые могли независимѣе ея посвятить свою жизнь на угожденіе Богу. По отношенію къ нимъ, къ этимъ *Божіимъ людямъ*, она даже не боялась отца. «Это единственно въ чемъ она не повинуется ему,—поясняетъ кн. Андрей,—онъ велитъ гонять этихъ странниковъ, а она принимаетъ ихъ». Въ этомъ спаслась для нея та властная воля, та самость, которая все же была у нея въ крови, какъ у дочери

[1] Какъ мать героя «Дѣтства» любила юродиваго.

стараго князя Николая Андреевича. Но въ глазахъ ея это не была прихоть: это была богоугодная связь съ людьми, которыхъ считала она величайшими практическими философами. «Чѣмъ болѣе жила княжна Марья, тѣмъ болѣе удивляла ее близорукость людей, ищущихъ здѣсь на землѣ наслажденій, счастья... Всѣ они борятся и страдаютъ, и мучаютъ, и портятъ свою душу, свою вѣчную душу, для достиженія благъ, которымъ срокъ есть мгновеніе... Какъ никто не понялъ этого? Никто кромѣ этихъ презрѣнныхъ Божьихъ людей, которые съ сумками за плечами приходятъ ко мнѣ съ задняго крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать отъ него (въ лицѣ ихъ ей мерещатся какіе-то новые мученики), а для того, чтобы его не ввести въ грѣхъ». Она, такимъ образомъ, идеализировала ихъ, идеализировала и самое себя въ будущемъ: «въ воображеніи своемъ она уже видѣла себя съ Федосьюшкой въ грубомъ рубищѣ (оно заранѣе было припасено у нея въ комодѣ, и она любовалась на него по временамъ)... направляя свое странствіе туда... гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія... Но потомъ, увидавъ отца и маленькаго Коко (племянника), она ослабѣвала въ своемъ намѣреніи... и чувствовала, что она грѣшница, любила отца и племянника больше, чѣмъ Бога». Княжна Марья не понимала, что если она дѣйствительно такъ любила отца, то въ этомъ-то и заключается настоящая, прямая любовь, любовь вполнѣ безкорыстная, самоотверженная — несмотря ни на что, ни на какія муки, достававшіяся ей отъ отца. Впрочемъ, во время предсмертной болѣзни его, у ней вдругъ явились «искусительныя мысли о предстоящей ей свободѣ». Что касается ея отношеній къ маленькому племяннику, то она «съ ужасомъ узнавала въ себѣ подобіе раздражительности своего отца». И тутъ, значитъ, въ ней сказалось что-то фамильное. Въ ней, несмотря на всѣ связи съ Божьими людьми, сказалась даже родовая гордость. «Чтобъ она, дочь кн. Н. А. Болконскаго, просила генерала Рамо оказать ей покровительство... Для нея лично было все равно... но она чувство-

вала себя представительницей покойнаго отца и кн. Андрея...» И такъ—представительницей своего *рода*, а не *народа;* не въ качествѣ *русской*, а въ качествѣ *княжны Болконской* боялась она унизиться. Что-то гордо-великодушное слышится въ ней даже въ тотъ мигъ, когда, «узнавъ, что крестьяне безъ хлѣба, княжнѣ Марьѣ странно было думать, что теперь, въ такую минуту, когда такое горе наполняло ея душу, могли быть люди богатые и бѣдные и что могли богатые не помочь бѣднымъ». Въ такомъ смыслѣ выдать приказъ раздать весь господскій хлѣбъ мужикамъ способенъ былъ-бы, пожалуй, и покойный ея отецъ, хотя онъ и не задумался мужиковъ изъ Лысыхъ горъ, безъ всякаго спросу у нихъ, перевести въ Богучарово.

Княжна Марья сошлась до извѣстной степени (про себя, а не явно) съ отцомъ и во взглядѣ на будущую родню — на братнину невѣсту Наташу. Но на это, конечно, нашлись у княжны *свои* основанія. «Наташа показалась ей слишкомъ нарядной, легкомысленно веселой и тщеславной (тогда какъ послѣдняго-то уже, конечно, не было). Въ этомъ отношеніи, впрочемъ, княжна Марья сошлась и съ бѣдной воспитанницей Ростовыхъ, Соней, которой пришлось отказаться отъ любви графа Николая. «Соня, принесшая жертву, позавидовала Наташѣ, никогда не испытавшей ничего подобнаго, никогда не нуждавшейся въ жертвахъ, заставлявшей другихъ жертвовать себѣ и все-таки всѣми любимой». Можетъ быть этато легко доставшаяся любовь и показалась княжнѣ Марьѣ способною довести Наташу, путемъ незаслуженнаго принимания чужой дани, до тщеславія этимъ. Тутъ могъ быть нравственный ригоризмъ относительно того, что Наташа, какъ до нея доходило, совсѣмъ уже не заботилась о томъ, чтобы *что-нибудь себѣ назначить* — задаться хоть какою-нибудь обязанностью. На все это кн. Марья могла посматривать съ высоты той строгости своихъ правилъ, которою прикрывалась, незамѣтно для нея самой, и фамильная ея гордость. Если эта послѣдняя не мѣшала ей дружить съ *людьми Божьими*, то вѣдь

они, эти *Божьи люди*—непосредственно сближали ее съ Нимъ, съ самимъ Богомъ,—а мистическій экстазъ, какъ извѣстно, въ своемъ родѣ питаетъ человѣческую гордыню. Наконецъ, любя Бога и любя не безнадежно, а съ твердой увѣренностью, que c'est un amour méritoire, что Бога, ожидающія у Него, *блага вѣчныя*, — она любила совсѣмъ не самоотверженно... А въ религіозномъ ея эгоизмѣ опять-таки сказывалась та самость, которая, какъ и многое, была, такъ-сказать, въ крови у Болконскихъ.

До сихъ поръ княжна Марья, не трудно замѣтить, довольно напоминаетъ Лизу въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», Лизу, которая также точно осталась въ сторонѣ отъ гувернантскаго вольтеріанства и сошлась, повидимому, съ народомъ на почвѣ тѣхъ же самыхъ «Божьихъ людей»,—въ сущности же, какъ и княжна Марья, поднала вмѣстѣ съ ними подъ старое вліяніе тѣхъ наносныхъ византійскихъ понятій, которыя, какъ намъ приходилось уже доказывать, подрывали дѣятельную силу и въ нашемъ народѣ.

Калинычъ, Касьянъ съ Красивой Мечи, Лукерья у Тургенева, Каратаевъ у гр. Л. Н. Толстого,—эти люди изъ народа, забывающіе себя и беззавѣтно живущіе для другихъ (часто даже болѣе, чѣмъ того стоютъ эти другіе)—вотъ созданія настоящей народной почвы, созданія не вымершаго на ней неконнаго, доразвитаго христіанствомъ, духа общины. Какіе-нибудь «Божьи люди» какъ временъ лѣтописныхъ «калинъ перехожихъ», такъ и временъ княжны Марьи или тургеневской Лизы, — это не коренное, не почвенное явленіе, а только наносное, хотя и обнародившееся.

Но княжна Марья не кончаетъ, подобно Лизѣ, монастыремъ, такъ какъ ей наконецъ представляется, безъ всякаго столкновенія съ *долгомъ*, возможность земного счастья, счастья въ семьѣ. Если бы оно не досталось ей, какъ Лизѣ, она бы, конечно, исполнила свой давнишній планъ—пойти странствовать по св. мѣстамъ съ Ѳедосьюшкой. Если-бы она, насладившись счастьемъ, такъ скоро

и неожиданно потеряла его, какъ тургеневская Елена,— она-бы все-таки не пошла по ея дорогѣ — по дорогѣ сестры милосердія на войнѣ за свободу,—а пошла-бы, ради спасенія *своей* души, все въ то же «странничество», о которомъ еще во времена архіепископа Ипфонта говорилось у насъ, что оно «губитъ русскую землю». Эту жалобу надобно понимать широко, какъ и самое это «странничество». Оно равносильно побѣгу, хроническому побѣгу съ общественнаго поприща.

Но съ Ѳедосьюшкой княжну Марью разлучаетъ графъ Николай, тотъ самый графъ Николай, который сказалъ Пьеру, что дай ему Аракчеевъ эскадронъ и вели ему идти противъ нихъ, недовольныхъ, и онъ-бы, не задумавшись, послушался его и пошелъ. Послѣ встрѣчи съ гр. Николаемъ княжна Марья предложила себѣ вопросъ: «любитъ-ли она его?» Тутъ она вспомнила, что бракъ ея съ Николаемъ былъ-бы невозможенъ, если-бы состоялся бракъ Наташи съ ея братомъ. «И надо было его сестрѣ отказать князю Андрею». И во всемъ этомъ видѣла она «руку Провидѣнія». Разсуждать, колебаться не приходилось — можно было отдаться земной любви безъ боязни нарушенія долга небеснаго. И каковъ-бы ни вышелъ графъ Николай, надо было найти съ нимъ счастье, не то испытаніе, крестъ—и блаженство въ самомъ крестѣ: на то была воля Божья. Но она дѣйствительно оказалась съ нимъ счастлива, такъ счастлива, что даже не любила Соню, эту бѣдную Соню, которую когда-то заставили отказаться отъ любви къ Николаю, но которая въ душѣ, разумѣется, продолжала его любить... Не любить эту несчастную Соню было, конечно, грѣшно, но она не любила Сони. Съ грустью также находила она, что въ чувствѣ ея къ Николинькѣ (племянникуу-сиротѣ) чего-то недостаетъ... А въ немъ между тѣмъ узнавались черты отца, ея брата, этого брата, погибшаго въ отечественную войну — черты его въ томъ возрожденномъ видѣ, какого онъ сталъ достигать лишь у двери гроба... Пойметъ-ли она Николиньку, когда онъ, наконецъ, станетъ юношей и дѣйствительно захочетъ «сжечь свою руку»,

какъ Муцій Сцевола? Едва-ли. Скорѣе она увидитъ въ этомъ гордость и недостатокъ религіи.

Кажется, женскимъ поколѣніемъ гр. Л. Н. Толстого не опережено его поколѣніе мужское, какъ это иной разъ случается у Тургенева. Оба поколѣнія «Войны и Мира» застигнуты великими событіями врасплохъ. Вѣдь и Пьеръ только послѣ нихъ и подъ ихъ вліяніемъ, но самъ ни мало не участвовавъ въ ихъ направленіи, совлекъ съ себя «ветхаго человѣка». Что же вывезло насъ въ многотрудную пору? [1])

III.

Часть историческая и «роевая сила».

Семейная хроника не даромъ переплетена у нашего автора съ исторіей. Семья—это та мастерская, въ которой подготовляются будущіе общественные дѣятели—а въ особенно выдающіяся эпохи они же и дѣятели историческіе. Мы видѣли, какою оказалась у насъ эта мастерская передъ 12-мъ годомъ, какою оказалась она на тѣхъ высотахъ, съ которыхъ главнымъ образомъ берутся такъ-называемые «руководители» великихъ событій. Но нашъ авторъ далекъ отъ того, чтобы видѣть въ «орлахъ», вылетѣвшихъ изъ нашихъ «дворянскихъ гнѣздъ», дѣйствительную *душу* этихъ событій. Мало того,

---

[1]) Послѣ всего сказаннаго намъ кажется, что едва ли безъ оговорокъ и ограниченій можетъ быть принято мнѣніе Н. Н. Страхова, что передъ нами въ «Войнѣ и Мирѣ» Россія 1812 г. изображена, какъ «масса людей, которые знаютъ, чего отъ нихъ требуетъ ихъ человѣческое достоинство, что имъ слѣдуетъ дѣлать по отношенію къ себѣ, къ другимъ людямъ и къ родинѣ». Едва ли онъ также правъ, утверждая безъ оговорокъ и ограниченій, что въ «Войнѣ и Мирѣ» изображена «не личная, эгоистическая жизнь, не исторія индивидуальныхъ стремленій и страданій, изображена жизнь общинная, связанная во всѣхъ направленіяхъ живыми узами». Во всемъ, что оказывается въ хроникѣ внѣ народа и надъ народомъ, нѣтъ и не можетъ быть *общинной жизни* по той простой причинѣ, что *община* бытуетъ только въ народѣ. (См. Критическія статьи Н. Н. Страхова объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, стр. 267 и 331).

онъ далекъ отъ всякаго поклоненія даже настоящимъ орламъ—птицамъ самаго высокаго полета, но птицамъ хищнымъ. Онъ не только не сочувствуетъ, но и не удивляется имъ; онъ полагаетъ, что самая высота и ширь ихъ полета своего рода оптическій обманъ. Онъ—сторонникъ той исторической школы, которая сводитъ съ подмостокъ. Она сходится съ его, намъ хорошо извѣстнымъ, реализмомъ, называющимъ вещи по имени и снимающимъ всякіе покровы.

«Въ историческихъ событіяхъ,—говоритъ нашъ авторъ,—*такъ называемые великіе люди суть ярлыки, дающіе наименованіе. событію*» Эти послѣднія—результатъ не тѣхъ немногихъ *казовыхъ* причинъ, на которыя обыкновенно ссылаются историческіе учебники, а цѣлаго многосложнаго и сокровеннаго ихъ узла, который можетъ быть распутанъ только настоящей наукой. «Для насъ непонятно, чтобы милліоны людей христіанъ убивали и мучили другъ друга, потому что Наполеонъ былъ властолюбивъ, Александръ твердъ, попытка Англіи хитра и герцогъ Ольденбургскій обиженъ... Такой же причиной представляется намъ и желаніе или нежеланіе перваго французскаго капрала поступить на вторичную службу: ибо ежели бы онъ не захотѣлъ идти на службу и не захотѣлъ другой и третій и тысячный капралъ и солдатъ, настолько менѣе людей было бы въ войскѣ Наполеона и войны не могло бы быть... *Милліарды причинъ совпали для того, чтобы произвести то, что было...*» Еще яснѣе выражается это въ другомъ мѣстѣ: «*ходъ міровыхъ событій зависитъ отъ совпаденія произволовъ всѣхъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ...* Человѣческое достоинство, говорящее мнѣ, что всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человѣкъ, чѣмъ всякій Наполеонъ, велитъ допустить это рѣшеніе вопроса, и историческія изслѣдованія обильно подтверждаютъ это предположеніе».

Какъ ни судить о такомъ взглядѣ, но авторъ не стоитъ въ немъ особнякомъ. Онъ только своеобразно упрощаетъ ученіе цѣлой школы, и притомъ не какой-

нибудь нашей, а знакомой и всей Европѣ,—школы никакъ уже не устарѣлой, а скорѣе не совсѣмъ еще признанной. Но гр. Л. Н. Толстой этотъ общій взглядъ примѣняетъ въ частности и къ военной исторіи, проявляя при этомъ въ изложеніи еще болѣе угловатости. Умаляя значеніе *великихъ людей*, онъ вовсе не признаетъ и значенія *великихъ полководцевъ*. «Изстари еще для нихъ,—говоритъ онъ,—поддѣлали теорію геніевъ, потому что они—власть. Заслуга въ успѣхѣ военнаго дѣла зависитъ не отъ нихъ, а отъ того человѣка, который въ рядахъ закричитъ «пропали!» или закричитъ «ура!». «Сила (развиваетъ онъ свою мысль) есть произведеніе изъ массы на скорость. Въ военномъ дѣлѣ сила войскъ есть также произведеніе изъ массы на что-то такое, на какое-то неизвѣстное *x*...» «Х этотъ,—окончательно объясняетъ онъ,—есть *духъ войска*, т.-е. большее или меньшее желаніе драться и подвергать себя опасностямъ всѣмъ людей, составляющихъ войско».

Допустимъ, что это парадоксально. Но вѣдь тутъ, какъ во многихъ парадоксахъ, есть, однако же, большая доля правды. Можно ли не признать, что «духъ войска» дѣйствительно значитъ много, что онъ совершаетъ подчасъ чудеса—даже при громадныхъ ошибкахъ со стороны предводителей или даже при совершенной ихъ неспособности?

Точка зрѣнія нашего автора оскорбила очень многихъ военныхъ людей и патріотовъ. Выраженіемъ самаго искренняго, конечно, негодованія противъ нея является извѣстная брошюра ветерана 12-го года, покойнаго А. С. Норова. Автора «Войны и Мира» упрекнули и въ верхоглядствѣ, и въ недостаткѣ патріотизма... Но вѣдь послѣдній упрекъ могъ бы достаться ему и за Севастопольскіе разсказы, тѣ разсказы, гдѣ у него говорится: «герой... котораго я люблю всѣми силами моей души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда».

Если дѣло въ *патріотическомъ самообольщеніи*, то не-

ужели, переиспытавъ впечатлѣнія Крымской войны, нашъ авторъ не въ правѣ былъ возненавидѣть такое самообольщеніе—именно *изъ патріотизма*?

За что развѣнчиваетъ онъ прежде и больше всѣхъ Растопчина? Не за то ли, что весь его патріотизмъ, по пониманію нашего автора, былъ дѣланный, риторическій, театральный? Онъ вообразилъ себя возбудителемъ *ex professo* патріотическихъ чувствъ въ народѣ; на самомъ же дѣлѣ, презирая родной народъ, какъ презирали его какіе-нибудь вельможные французскіе эмигранты, его друзья, онъ, какъ духъ искуситель, только втравилъ этотъ *добрый* народъ въ преступленіе, бросивъ ему на жертву вымышленнаго имъ, Растопчинымъ, *измѣнника*. «La voilà la populace, la lie du peuple, qu'ils ont soulevé par leur sotise,—патетически декламировалъ онъ, патріотъ, по-французски и въ чисто французскомъ театральномъ вкусѣ,—il leur faut une victime»,—заключилъ онъ и далъ имъ на растерзаніе Верещагина, произведеннаго имъ же въ трагическіе злодѣи. Когда же впослѣдствіи сталъ къ нему приступать столь страшившій кн. Андрея *remord*, то онъ успоканвалъ себя тѣмъ, что жертва была необходима для «*bien public*» [1]). Растопчинъ всѣхъ менѣе могъ стать *героемъ* для нашего автора, потому что въ немъ совсѣмъ уже не было *правды*. Но по такой же причинѣ, думаетъ гр. Толстой, онъ не можетъ быть и *русскимъ народнымъ героемъ*. Если, по выраженію Лежнева, *фраза запьла Рудина*, т.-е. цѣлое множество нашихъ Рудиныхъ, то въ этотъ нимало не грѣшенъ у насъ *самъ народъ*, такъ плохо понимаемый до сихъ поръ очень многими нашими «патріотами».

Нашъ авторъ, очень можетъ быть, не въ мѣру умалилъ нѣкоторыхъ героевъ отечественной войны (напр.

---

[1]) Для характеристики Растопчина отчасти могли послужить автору и тѣ бывшія у него въ рукахъ письма М. А. Волковой къ В. И. Ланской, о которыхъ уже говорилось выше («Грибоѣдовская Москва» въ «Вѣстникѣ Европы» 1874 и 1875 гг.). Извѣстно, что къ не особенно выгодному мнѣнію о Растопчинѣ пришелъ впослѣдствіи и осторожный ученый, покойный А. Н. Поповъ, въ своемъ трудѣ «Французы въ Москвѣ въ 1812 году» въ «Русскомъ архивѣ» 1875 г.

Раевскаго), другихъ выставилъ уже чересчуръ «стихійными» и свободными отъ всякой «мыслительности» (Réflexion), многое даже совсѣмъ позабылъ. Но главное выяснено у него даже болѣе, чѣмъ въ трудахъ историческихъ.

Обратимся къ тѣмъ двумъ вождямъ, статуи которыхъ стоятъ на Казанской площади. Одинъ изъ нихъ, въ свое время забытый Жуковскимъ, за то позже превознесенный Пушкинымъ, ставится нашимъ авторомъ на подобающее ему, какъ думаетъ гр. Л. Н. Толстой, мѣсто — *среднее*. «У васъ въ клубѣ,—говоритъ одно дѣйствующее лицо,—выдумали, что онъ (Барклай-де-Толли) измѣнникъ... и сдѣлаютъ только то, что потомъ, устыдившись своего ложнаго нареканія, изъ измѣнниковъ сдѣлаютъ вдругъ героемъ или геніемъ, что еще будетъ несправедливѣе. Онъ честный и очень аккуратный нѣмецъ». Это коротко и ясно—можетъ быть, даже слишкомъ коротко и ясно—и настоящая характеристика Барклая-де-Толли на основаніи болѣе тщательнаго изученія остается, повидимому, еще впереди.

За то другой изъ монументальныхъ вождей, тотъ, котораго сразу отмѣтилъ народный голосъ, требуя передачи ему, излюбленному, предводительства, слишкомъ долго остававшагося, по мнѣнію народа, въ рукахъ у «аккуратнаго нѣмца», какъ выражается теперь нашъ авторъ,—за то этотъ другой вождь и предварительно изученъ и художественно воспроизведенъ имъ такъ, какъ едва-ли кому-нибудь удалось его воспроизвесть до сихъ поръ. Между тѣмъ, наши «патріоты» остались далеко недовольны и характеристикою Кутузова.

Гр. Л. Н. Толстой, разумѣется, не оставляетъ и его на театральныхъ подмосткахъ. Онъ, конечно, не скрываетъ и его слабыхъ, даже мелкихъ сторонъ. «Неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли?—спрашиваетъ нашъ авторъ по отношенію къ Аустерлицу.—Неужели изъ-за придворныхъ и личныхъ соображеній должно рисковать десятками тысячъ?» Но этотъ же самый «лукавый царедворецъ», какъ можно-бы было

назвать его устами Пушкина, очищается отъ всякаго житейскаго сора и дрязга въ горнилѣ народнаго духа, разгадать который оказалось по силамъ его практическому, не въ будничномъ только смыслѣ, уму. «На Бородинскомъ полѣ Кутузовъ сидѣлъ, понуривъ сѣдую голову... онъ зналъ... что руководить сотнями тысячъ человѣкъ нельзя одному человѣку... и что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго... а неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этой силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти... Кутузовъ былъ доволенъ успѣхомъ дня сверхъ ожиданія... Благоразумный Барклай, видя толпы отбѣгающихъ раненыхъ и разстроенные зады арміи рѣшилъ, что сраженіе проиграно и съ этимъ извѣстіемъ прислалъ къ главнокомандующему своего любимца... «Какъ вы... какъ вы смѣете?—закричалъ Кутузовъ Вольцогену.—Извольте ѣхать къ генералу Барклаю и передать ему на завтра мое намѣреніе атаковать непріятеля... Непріятель побѣжденъ и завтра погонимъ его изъ священной земли русской...» Смыслъ его словъ сообщился повсюду, потому что то, что сказалъ Кутузовъ, вытекало не изъ хитрыхъ соображеній, а изъ чувства, которое лежало въ душѣ фельдмаршала такъ-же, какъ и въ душѣ каждаго русскаго человѣка».

А вслѣдъ затѣмъ оказалось, что атаковать Наполеона нельзя, что не пробилъ еще часъ изгнанія его изъ священной земли русской, и самому Кутузову временно пришлось перейти въ роль Барклая-де-Толли. Во время совѣта въ Филяхъ Бенигсенъ спросилъ: «оставить-ли безъ боя *священную* и древнюю столицу Россіи, или защищать ее?» Послѣдовало долгое и общее молчаніе.

«*Священную, древнюю столицу Россіи*»,—вдругъ заговорилъ Кутузовъ, сердитымъ голосомъ повторяя слова Бенигсена и этимъ указывая на фальшивую ноту этихъ словъ... Между тѣмъ онъ самъ еще такъ недавно говорилъ о *священной* землѣ русской, и въ устахъ его это прилагательное не заключало въ себѣ ничего фальшиваго. «Вопросъ этотъ,—продолжалъ онъ въ Филяхъ,—не

имѣетъ смысла для русскаго человѣка... Вопросъ—военный. Вопросъ слѣдующій: выгоднѣе-ли рисковать потерею арміи и Москвы, принявъ сраженье, или отдать Москву безъ сраженья...» Отдать съ тѣмъ, чтобъ потомъ, какъ предвидѣлъ Кутузовъ, тѣмъ вѣрнѣе погнать непріятеля изъ земли русской. Внимательною свидѣтельницею военнаго совѣта авторъ сдѣлалъ, совсѣмъ по своему, невидимо пріютившуюся въ избѣ на печи крестьянскую дѣвочку. «Малаша видѣла, что оба злились, и держала сторону дѣдушки». Ея здоровое дѣтское чутье подсказало ей, что Кутузовъ правъ, что тотъ сухой нѣмецъ просто дразнилъ его на своемъ ломаномъ языкѣ... Мастерское, и своемъ собственномъ—чисто Толстовскомъ родѣ—внесеніе въ историческую картину этой умной дѣтской головки, какъ-бы отражающей въ себѣ здравый смыслъ русскаго народа, выразителемъ котораго сдѣлался вскорѣ такіе вѣрно понявшій *дѣдушку Кутузова*, впослѣдствіи и самъ ставшій *дѣдушкою*—Крыловъ.

«Въ 12 и 13 годахъ Кутузова,—говоритъ авторъ,—прямо обвиняли за ошибки. Государь былъ недоволенъ имъ. И въ исторіи, написанной недавно по высочайшему повелѣнію, сказано, что Кутузовъ былъ хитрый придворный лжецъ, боявшійся имени Наполеона и своими ошибками подъ Краснымъ и подъ Березиной лишившій русскія войска славы полной побѣды надъ французами. Такова судьба не великихъ людей, не *grand homme*, которыхъ не признаетъ русскій умъ... Между тѣмъ трудно себѣ представить историческое лицо, дѣятельность котораго такъ неизмѣнно постоянно была-бы направлена къ одной и той-же цѣли. Трудно вообразить себѣ цѣль болѣе достойную и *болѣе совпадающую съ волею всего народа*... Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрятъ съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству... Онъ вообще не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ». Въ этомъ—его прямая противоположность Растопчину, въ этомъ Кутузовъ чисто-русскій человѣкъ, хотя и онъ, какъ Растопчинъ, переписывался по-фран-

цузски даже съ женою. «Начиная съ Бородинскаго сраженія, съ котораго начался его разладъ съ окружающимъ, — продолжаетъ нашъ авторъ, все болѣе и болѣе восторгающійся своимъ нетеатральнымъ героемъ,—Кутузовъ одинъ говорилъ, что *Бородинское сраженіе есть побѣда*. Онъ одинъ сказалъ, что *потеря Москвы не есть потеря Россіи*. Онъ въ отвѣтъ Лористону на предложенія о мирѣ отвѣчалъ: *мира не можетъ быть, потому что такова воля народа*; онъ одинъ во время отступленія французовъ говорилъ, что всѣ наши маневры не нужны, что все сдѣлается само собою лучше, чѣмъ мы того желаемъ... И онъ одинъ, этотъ придворный человѣкъ, какъ намъ изображаютъ его (и какимъ онъ дѣйствительно былъ, но не потерявъ способности быть и совершенно другимъ—въ ростъ событіямъ—человѣкомъ), въ Вильнѣ, тѣмъ заслуживая немилость государя, онъ говорилъ, что *дальнѣйшая война за границей вредна и безполезна*». Онъ видѣлъ весь смыслъ войны — въ одной *оборонѣ* отъ вражескаго нашествія, и въ этомъ опять въ немъ сказался духъ русскаго народа, котораго всѣ даже наступательныя дѣйствія первоначально вытекали изъ той-же *обороны*, изъ необходимости упрочить ее разъ навсегда [1]).

До какой степени живъ былъ въ Кутузовѣ русскій духъ, какъ онъ и каждый солдатъ понимали другъ друга, это всего лучше выказывается у нашего автора въ слѣдующей сценѣ.

«Кутузовъ долго внимательно глядѣлъ на двухъ плѣнныхъ французскихъ солдатъ съ болячками на лицѣ, а потомъ замѣтилъ русскаго солдата, который, смѣясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорилъ ему...» Тутъ ему указываютъ на взятыя французскія знамена... «Нагни, нагни ему голову-то, — сказалъ онъ солдату, державшему французскаго орла и нечаянно опустившему его передъ знаменемъ Преображенцевъ... — Пониже, пониже, такъ-то вотъ!..» И вдругъ голосъ и выраженіе лица его перемѣнились: пересталъ говорить

[1]) Въ сущности, оборонительною была и наша послѣдняя Восточная война.

главнокомандующій, а заговорилъ простой старый человѣкъ... «Я знаю, трудно вамъ, да что-же дѣлать, потерпите, недолго осталось... Вамъ трудно, да все-же вы дома, а они, видите, до чего они дошли?.. хуже нищихъ послѣднихъ. Пока они были сильны, мы себя не жалѣли, а теперь ихъ и пожалѣть можно. Тоже и они люди».— Въ упорныхъ, почтительно-недоумѣвающихъ, устремленныхъ на него взглядахъ, онъ читалъ сочувствіе своимъ словамъ: лицо его становилось все свѣтлѣе и свѣтлѣе отъ старческой кроткой улыбки, звѣздами морщившейся въ углахъ губъ и глазъ...

«А и то сказать, кто-же ихъ къ намъ звалъ? По дѣломъ имъ!» — вдругъ сказалъ онъ, поднявъ голову. И махнувъ нагайкой, онъ галопомъ, въ первый разъ во всю кампанію, поѣхалъ прочь отъ радостно хохотавшихъ и ревѣвшихъ ура! солдатъ.

Это соединеніе искренней, вовсе не дѣланной, собственной доброты съ тонкимъ, даже хитрымъ расчетомъ подѣйствовать со всѣхъ разъ сколько нужно, ни больше, ни меньше, на настроеніе войска — какая вѣрная, мѣтко подмѣченная въ русскомъ человѣкѣ черта!

Неужели и это значитъ унижать, сводить съ высоты? Нѣтъ, это значитъ съ подмостокъ переносить на настоящую, естественную высоту,—ту, на которую никто изъ нашихъ «патріотовъ», оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ, еще никогда не ставилъ Кутузова. Но можетъ быть нашъ авторъ погрѣшилъ тутъ избыткомъ своего особеннаго патріотизма, раздѣляемаго имъ съ цѣлою школою патріотовъ, такъ сказать, «народной масти», — и въ этомъ-то именно и оказался склоннымъ къ «предвзятымъ идеямъ и системамъ по отношенію къ своему народу и къ своей исторіи», какъ выразился Тургеневъ? Нѣтъ, авторъ «Наканунѣ» едва-ли станетъ отрицать, что Кутузовъ въ 1812 г., совершенно какъ его болгаринъ Инсаровъ, былъ дѣйствительно силенъ тѣмъ, что «каждый мужикъ, каждый нищій въ Россіи хотѣлъ того-же, чего и онъ». Также мало сталъ-бы Тургеневъ отрицать и то, что главная наша сила (*notre fort*, какъ выразились-бы у насъ

въ 1812 г.) заключается въ способности *къ оборонѣ*, а равно и то, что болѣе справедливыя войны—это именно войны оборонительныя.

Возвращаясь къ *такъ называемымъ* (хотя-бы и искреннимъ) «патріотамъ», замѣтимъ, что они остались недовольны даже Бородинскою битвой у гр. Л. Н. Толстого. Она, по ихъ мнѣнію, выставлена у него «безъ дѣйствующихъ лицъ» [1]. Она и въ самомъ дѣлѣ обошлась у него безъ «героевъ», такъ долго, на зло нашему народному духу, царившихъ у насъ въ подражательные періоды нашей литературы,—какъ безъ «героевъ» же обошлись и Севастопольскіе разсказы нашего автора, тѣ разсказы, героемъ которыхъ, по его выраженію, была *правда*. Не этотъ-ли герой замѣняетъ у него и Наполеона, и нашихъ дѣятелей «портретной галлереи» 1812 г.?

«Противно тому, что неизмѣнно совершалось во всѣхъ прежнихъ сраженіяхъ,—говоритъ нашъ авторъ,—вмѣсто ожидаемаго извѣстія о бѣгствѣ непріятеля, стройныя массы войскъ возвращались *оттуда* (т.-е. къ Наполеону) разстроенными, испуганными толпами... Dites au roi de Naples,—строго сказалъ Наполеонъ,—qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon échiquier... Наполеонъ испытывалъ тяжелое чувство, подобное тому, которое испытываетъ всегда счастливый игрокъ, безумно кидавшій свои деньги, всегда выигрывавшій, и именно тогда, когда онъ разсчиталъ всѣ случайности игры, чувствующій, что чѣмъ болѣе обдуманъ его ходъ, тѣмъ вѣрнѣе онъ проигрываетъ... Одинъ изъ генераловъ, подъѣхавшихъ къ Наполеону, позволилъ себѣ предложить ему ввести въ дѣло старую гвардію... «A huit cent lieux de France je ne ferai pas démolir ma garde». Но нашъ авторъ спѣшитъ *по своему* объяснить такую осторожность зна-

---

[1] Въ своей статьѣ «Нѣсколько словъ по поводу книги «Война и Миръ» Л. Н. Толстой могъ однако же привести мнѣніе о ней Н. Н. Муравьева-Карскаго, что «онъ никогда не читалъ болѣе вѣрнаго описанія сраженія и что онъ своимъ опытомъ убѣдился въ томъ, какъ невозможно исполненіе распоряженій главнокомандующаго во время сраженія».

менитаго полководца. Онъ говоритъ: «Не Наполеонъ не далъ своей гвардіи, потому что онъ не захотѣлъ этого, но этого нельзя было сдѣлать... потому что упавшій духъ войска не позволялъ этого... Всѣ испытывали одинаковое чувство ужаса передъ тѣмъ врагомъ, который, потерявъ половину войска, стоялъ такъ-же грозно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія. Нравственная сила французской атакующей арміи была истощена... Не та побѣда, которая опредѣляется подхваченными кусками матеріи на палкахъ, называемыхъ знаменами, а побѣда нравственная была одержана русскими подъ Бородинымъ [1]).

«... Послѣ даннаго толчка, французское войско могло еще докатиться до Москвы, но тамъ безъ новыхъ усилій со стороны русскаго войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью отъ смертельной, нанесенной въ Бородинѣ раны».

Неужели эта «правда» нашего автора такъ слабо удовлетворяетъ патріотическому чувству, что попрежнему надо еще прибѣгать къ «лжи возвышающему обману?»

Съ тѣмъ-же самымъ правдивымъ его реализмомъ описывается у него и взятіе Москвы—все проникнуто предчувствіемъ-предвидѣніемъ послѣдствій этого *grand triomphe*. «Вотъ она лежитъ у ногъ моихъ.—говоритъ самодовольный до великодушничанья Наполеонъ,—и я поощряю ее... На древнихъ памятникахъ варварства и деспотизма я напишу великія слова справедливости и милосердія... Я скажу депутаціи...» Но депутаціи не было... Не знали, какъ объявить императору, что Москва пуста, не ставя его въ страшное, называемое французами *ridicule*, положеніе... «Moscou déserte! quel événement invraisemblable!—говорилъ онъ самъ съ собою.—Le coup de théâtre avait raté...»

Въ этомъ нашъ авторъ совершенно напоминаетъ Пуш-

---

[1]) *Подобнаго* рода побѣды доставались русскому войску и въ послѣднюю отечественную войну среди самаго періода нашихъ *неудачъ*.

кина, у котораго недоставало только сатирической струи, пробѣгающей у гр. Л. Н. Толстого сквозь драматизмъ положенія. Кто не знаетъ этихъ чудныхъ стиховъ поэта:

Напрасно ждалъ Наполеонъ,
Послѣднимъ счастьемъ упоенный,
Москвы колѣнопреклоненной
Съ ключами стараго Кремля:
Нѣтъ, не пошла Москва моя
Къ нему съ повинной головою,
Не праздникъ, не пріемный даръ —
Она готовила пожаръ
Нетерпѣливому герою!

Впрочемъ, собственно *пожаръ* показался реалисту гр. Толстому слишкомъ *театральнымъ* въ своей подготовленности, для того, чтобы онъ могъ повѣрить этому пожару, т.-е. его *подготовленности*. Отъ отвѣтственности за этотъ пожаръ, какъ извѣстно, впослѣдствіи открещивался самъ любитель театральности Растопчинъ, которому многіе «патріоты» наоборотъ вмѣняли его въ заслугу. Отрицаніе предумышленнаго пожара Москвы нашимъ авторомъ, конечно, ставится ему въ вину тѣми-же патріотами. Онъ, можетъ-быть, и не опровергъ этого пожара, такъ что дѣло остается еще неразгаданнымъ. Но едва-ли какой-нибудь *crime de lèze-nation* заключается въ слѣдующихъ его соображеніяхъ. «Москва сожжена жителями, это правда, но не тѣми жителями, которые оставались въ ней, а тѣми жителями, которые выѣхали изъ нея... Москва, занятая непріятелемъ, не осталась цѣла, какъ Берлинъ, Вѣна и другіе города только вслѣдствіе того, что жители ея не подносили хлѣбъ-соль и ключи французамъ и выѣхали изъ нея». По параллели между нашей Москвой (хотя-бы она и *сама загорѣлась*, какъ можетъ загорѣться всякій, брошенный жителями городъ), параллель между ней и нѣмецкими мѣстами пораженія проводится у нашего автора еще далѣе. «По степени пораженія австрійскихъ войскъ, Австрія лишается своихъ правъ и увеличиваются права и силы Франціи. Побѣда французовъ подъ Іеной и Ауерштед-

томъ уничтожается самостоятельное существованіе Пруссіи. Но вдругъ въ 1812 г. французами одержана побѣда надъ Москвой. Москва взята и вслѣдъ затѣмъ, безъ новыхъ сраженій, не Россія перестала существовать, а перестала существовать 600-тысячная армія, потомъ Наполеоновская Франція...» И все это окончательно разъясняется нашимъ авторомъ просто, совсѣмъ уже просто. «Выигранное сраженіе не приносило обычныхъ результатовъ, потому что *мужики Карпъ и Власъ*, которые послѣ выступленія французовъ пріѣхали въ Москву съ подводами грабить городъ и вообще не выказывали личнаго геройскихъ свойствъ, и все безчисленное множество такихъ мужиковъ *не везли сына съ Москву за хорошія деньги, которыя имъ предлагали, а жгли его*». Все это, конечно, настолько-же не величаво, не *grand*, какъ и дальнѣйшая характеристика *мужиком* расправы Руси съ врагомъ. «Наполеонъ съ самого того времени, какъ въ правильной позѣ фехтованія остановился въ Москвѣ, увидалъ поднятую надъ собою дубину, и не переставалъ жаловаться на то, что война велась противно всѣмъ правиламъ... И благо тому народу, который не какъ французы въ 1814 году, отсалютовавъ по всѣмъ правиламъ искусства и перевернувъ шпагу эфесомъ, граціозно и учтиво, передастъ ее великодушному побѣдителю, а который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣнится презрѣніемъ и жалостью». Все это очень грубо, жестоко, но въ сущности тутъ все-же болѣе человѣчности, чѣмъ во многихъ условіяхъ и требованіяхъ той *благовоспитанной* воинственности, которая завелась еще со временъ многопрославленнаго рыцарства. Дѣло въ томъ, что нетраціозно-убійственною дубиной валяютъ врага *до тѣхъ поръ, пока*... пока валять его не сдѣлается лишнимъ... Всякое дальнѣйшее проявленіе военной ловкости и стоянье за военную честь, все казовос, отзываю-

щееся безцѣльнымъ турниромъ, отпадаетъ сразу, потому что, по мужицкому русскому взгляду—война только печальное, скверное, но иной разъ вполнѣ неизбѣжное *средство*, а вовсе не *цѣль*, не своего рода *искусство ради искусства*. «Русскіе, умиравшіе на половину,—продолжаетъ нашъ авторъ,—сдѣлали все, что можно сдѣлать и должно было сдѣлать для достиженія достойной народа цѣли, и не виноваты въ томъ, что другіе русскіе люди, сидѣвшіе въ теплыхъ комнатахъ, предполагали сдѣлать то, что было невозможно». (Но что требовалось ихъ псевдо-классико-рыцарскими понятіями о *grand*, объ *honneur* и *prestige*). Генераламъ, *въ особенности не русскимъ* (остроумно прибавляетъ нашъ авторъ, не разъ подтрунивающій надъ особымъ «патріотизмомъ» именно не русскихъ людей въ Россійской имперіи), генераламъ, желавшимъ отличиться, удивить кого-то, забрать въ плѣнъ для чего-то какого-нибудь герцога или короля—генераламъ этимъ казалось теперь, *когда всякое сраженіе было гадко и безсмысленно*, имъ казалось, что теперь-то самое время давать сраженія и побѣждать кого-то». Квинтъ-эссенціей этого генеральскаго направленія являются у нашего автора слова гр. Милорадовича: «дарю вамъ, ребята, эту колонну», — слова, сказанныя въ томъ-же «патріотическомъ духѣ» нѣмецкихъ россіянъ (хотя Милорадовичъ былъ и славянскаго происхожденія). Кутузовъ никогда-бы не сказалъ этихъ словъ, — онъ, такъ долго дававшій дѣйствовать первобытной дубинѣ — съ тѣмъ, чтобы сама она и опустилась въ свое время. И въ этомъ онъ былъ истымъ сыномъ народа, заставляющаго даже грубыхъ богатырей тяготиться «напрасною кровью».

Въ этомъ, мнѣ кажется, опять едва-ли можно видѣть у нашего автора «предвзятые взгляды и системы». Всего менѣе могъ-бы ихъ тутъ увидѣть самъ Тургеневъ; ему стоило-бы лишь вспомнить своего Касьяна съ Красивой мечи: «кровь, святое дѣло кровь» и т. д. [1]).

[1]) См. часть I, стр. 5.

Авторъ «Записокъ Охотника» не мало вывелъ и самъ въ высшей степени человѣчныхъ представителей такъ называемой у гр. Л. Н. Толстого «роевой силы». Но онъ могъ быть не согласенъ съ послѣднимъ въ ея историческомъ значеніи — въ томъ, что собственно она-то и вывезла насъ въ 1812 году, предводимая тѣмъ единственнымъ, понимавшимъ ее вождемъ, вся сила котораго и заключалась собственно въ этомъ пониманіи?

Можно, пожалуй, не соглашаться съ Л. Н. Толстымъ въ самомъ его опредѣленіи *роевой силы*. «Есть двѣ стороны жизни въ каждомъ человѣкѣ, — говоритъ онъ, — жизнь личная, которая тѣмъ болѣе свободна, чѣмъ отвлеченнѣе ея интересы, и жизнь стихійная, *роевая*, гдѣ человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы». Можно замѣтить ему, что онъ самъ далеко не всегда усматриваетъ въ человѣческой массѣ такую просто-физическую стихійность. Можно болѣе соглашаться съ нимъ, когда самъ-же онъ говоритъ о совпаденіи *произволовъ* всѣхъ людей, участвующихъ «въ міровыхъ событіяхъ». — Всѣ эти люди, конечно, *всякіе*, дробные люди, не поднимающіеся надъ однимъ *общимъ* уровнемъ; а между тѣмъ признаетъ-же нашъ авторъ за каждымъ изъ нихъ *произволъ*. И всѣ безчисленные Карпы и Власы, хотя-бы самые не казистые и подчасъ даже безобразные въ нравственномъ смыслѣ, дѣйствовали не безъ произвола, т.-е. не безъ *сознательной воли*, когда жгли свое сѣно вмѣсто того, чтобы выгодно его сбывать французамъ.

Сказавъ о стремленіи своихъ Карповъ и Власовъ къ поживѣ на развалинахъ Москвы, нашъ авторъ обнаружилъ полнѣйшую неохоту сколько-нибудь идеализировать и ту силу, которая, по его мнѣнію, вывезла насъ. И въ другихъ случаяхъ онъ вовсе не прячетъ тѣхъ проявленій грубости, всякихъ «звѣринскихъ» обычаевъ и даже «скотскихъ» поползновеній (употребляю безцеремонныя приказательныя лѣтописца Нестора), которыхъ, конечно, найдется не мало въ «роевой силѣ». «До смерти убилъ—хозяйку убилъ!.. ѣхать проспалась. Дѣло женское... Не погуби ты меня съ малыми дѣтьми». Такъ всенародно

жается злодѣй самодуръ Ѳерапонтовъ.—И тотъ-же Ѳерапонтовъ тутъ-же оказывается не просто и только звѣремъ, но и участникомъ въ великомъ народномъ порывѣ къ жертвамъ: «тащи все, ребята, не доставайся дьяволамъ... Рѣшилась Россія!.. самъ запалю. Рѣшилась!..» И онъ совершаетъ подвигъ, приписываемый Растопчину и оспариваемый у него, какъ мы знаемъ, гр. Л. Н. Толстымъ.

Нашъ авторъ не скрываетъ и того, что «ежели казаки не поймали Наполеона, то спасло его то же, что губило французовъ: добыча, на которую, оставляя людей, бросались казаки». Вовсе не припрятанъ у гр. Л. Н. Толстого и «Тихонъ пластунъ, пристрѣливающій негожающихъ плѣнныхъ французовъ».

Съ другой стороны онъ охотно останавливается и на мягкихъ, гуманныхъ чертахъ французовъ, т.-е. *роевой силы* того самаго народа, котораго *Napoléon le grand* съ его боязнію *ridicule* такъ для него отвратителенъ. «Faut être humain, sommes tous mortels» говоритъ у него простой французскій солдатъ, родящійся этимъ взглядомъ съ любимцемъ нашего автора, Платономъ Каратаевымъ».

Какой прелестный *genre*, но genre не во вкусѣ фламандскихъ, а согрѣтый теплой идеальной струей—оказывается у гр. Л. Н. Толстого въ сценѣ между Каратаевымъ и французомъ, пришедшимъ къ нему за заказанною ему рубашкой. Французъ сначала не совсѣмъ доволенъ работой Платона. «Что-жъ, соколикъ, вѣдь это не швальня,—отвѣчаетъ тотъ,—и струмента настоящаго нѣтъ, а сказано: безъ снасти и вша не убьешь...» «C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste»... Пьеръ видѣлъ, что Платонъ не хотѣлъ понимать того, что говорилъ французъ... «На что ему остатки? Намъ подверточки-то важныя-бы вышли. Ну, да Богъ съ нимъ». И Каратаевъ вдругъ съ измѣнившимся грустнымъ лицомъ досталъ изъ-за пазухи свертокъ обрѣзковъ и, не глядя на него, подалъ французу... «Эхма... ма»! Французъ поглядѣлъ на полотно, задумался, взглянулъ вопросительно на Пьера, и какъ-будто взглядъ Пьера что-то сказалъ ему:

«Platoche, dites donc, Platoche,—gardez pour vous»,—сказалъ онъ, подавая обрѣзки, повернулся и ушелъ... «Вотъ люди ты... говорятъ—нехристи, а тоже душа есть. То-то старички говаривали: потная рука таровата, сухая неподатлива. Самъ голый, а вотъ отдалъ-же»...

Мораль этой картинки не та-ли, что «потныя руки» всѣхъ странъ готовы протянуться другъ къ другу, что народы, откинувъ все то «искусственное, лишнее», надъ чѣмъ такъ задумывался Пьеръ, преотлично могли-бы уживаться въ мирѣ? Эта-ли точка зрѣнія можетъ быть названа «предвзятою», отзывающеюся «пристрастіемъ къ своему народу» и «несвободною»?

Со значеніемъ Платона Каратаева въ жизни Пьера мы уже отчасти знакомы. Это воплощеніе мысли, что «сопрягать надо», выводитъ его изъ его безплодныхъ Соломоновскихъ думъ о «суетѣ суетъ—всяческой суетѣ».

«Э, соколикъ, не тужи... часъ терпѣть, а вѣкъ жить. Вотъ такъ-то, милый мой. А живемъ тутъ, слава Богу, обиды нѣтъ (это въ плѣну-то!). Тѣ же люди, и худые и добрые есть»... На жалобы Пьера на то, что его схватили—судили безъ всякаго основанія, Каратаевъ въ духѣ прадѣдовскаго опыта замѣчаетъ ему: «гдѣ судъ, тамъ и неправда».—На вопросъ Пьера: «что-жъ тебѣ не скучно здѣсь»? Платонъ отвѣчаетъ: «Какъ не скучно, соколикъ... Москва, она городамъ мать! Какъ не скучать на это смотрѣть. Да червь капусту гложе, а самъ прежде того пропадае... Я говорю не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ». Т.-е. онъ говоритъ тѣмъ *судомъ Божьимъ*, который совпадаетъ съ *судомъ народнымъ*, сказавшимся въ постоянно расходуемыхъ Платономъ, какъ собственность, *пословицахъ* (въ одной изъ нихъ говорится не даромъ, что на пословицу да на правду—суда нѣтъ),—въ этихъ изреченіяхъ народныхъ, «которыя, по замѣчанію автора, кажутся столь незначительными взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда онѣ сказаны кстати».

Мы знаемъ уже, какъ пожалѣлъ тотъ-же Каратаевъ о томъ, что Пьеръ выросъ внѣ семьи, что у него «не

было родителей, въ особенности матери»... «Жена для совѣта, тещa для привѣта, а нѣтъ милѣй родной матушки»... — говоритъ Каратаевъ. Но Пьеръ выросъ не только внѣ семьи, онъ выросъ и внѣ всякой общественной почвы, той почвы, которая чувствуется подъ Каратаевымъ, какъ это слышно въ самыхъ его пословицахъ, во всѣхъ его взглядахъ и думахъ, въ которыхъ живо еще воспитательное начало *общины*, совсѣмъ исчезнувшее для нашего барства съ его вовсе не воспитательнымъ началомъ *служилости*,—моральный изъянъ, не легко поправимый и всею космополитическою книжною мудростью—при соблазнахъ, представляемыхъ высшими ступенями служилой лѣстницы. Мысль о томъ, что «сопрягать надо», давшаяся такъ не сразу Пьеру при *барской* его образованности,—мысль эта, какъ что-то совсѣмъ не необыкновенное, давно вошла въ плоть и кровь Каратаева и утѣшала его среди всѣхъ его житейскихъ невзгодъ. Разсказавъ о томъ, какъ онъ поѣхалъ въ чужую рощу за лѣсомъ (не безъ вліянія представленій объ *общемъ добрѣ*), какъ его потомъ сѣкли, судили и отдали въ солдаты, Каратаевъ утѣшительно философствуетъ: «думали: горе, анъ радость! Брату-бы идти, кабы не мой грѣхъ. А у брата самъ-пятъ ребятъ, а у меня, гляди, одна солдатка осталась... Рокъ головы ищетъ, а мы все судимъ... то не хорошо, то не ладно»... Употребляя всѣ старанья утѣшить ему незнакомаго, попавшаго въ бѣду, барина, онъ ссылается и на то, что непрочность счастья *общая* человѣческая участь: «наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ, тянешь—надулось, а вытащишь—ничего нѣту»... «Отъ сумы, да отъ тюрьмы никогда не отказывайся», научаетъ онъ одного изъ тѣхъ, которыхъ только совершенная исключительность обстоятельствъ заставляетъ испытать на собственной кожѣ этотъ выводъ народнаго опыта. «Положи, Боже, камушкомъ, подними калачикомъ». «Легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся», весело пошучиваетъ Каратаевъ въ плѣну. Съ другой-же стороны въ немъ сказывается и свойственное нашему народу увлеченіе, такъ сказать, поэзіею страданья, это

своего рода умѣніе радоваться доставшейся и на *мою* грѣшную долю чашѣ общаго, неисчерпаемаго и во вѣки вѣчные, горя. Такое восторженное настроеніе слышится въ разсказѣ Каратаева о невинно пострадавшемъ купцѣ. «Не самый разсказъ этотъ, но таинственный смыслъ его, та восторженная радость, которая сіяла на лицѣ Каратаева... это-то смутно и радостно наполняло душу Пьера»... Каратаевъ, повидимому, счелъ-бы себя заѣдающимъ чужой вѣкъ, если-бы на долю его досталась какая-нибудь особенно счастливая, завидная для множества ему подобныхъ доля. «Жизнь его, какъ онъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ».

Авторъ, заставивъ своего Пьера подъ впечатлѣніемъ Каратаева сбросить съ себя все «искусственное и лишнее», увѣряетъ насъ, что нѣчто подобное совершилось сперва въ плѣну и съ самимъ Каратаевымъ: «обросшій бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя все напущенное на него чуждое, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому народному складу». Это совершенно понятно: русскій человѣкъ и не скидывая солдатской амуниціи способенъ сохранять свой человѣчный крестьянскій складъ или, лучше сказать, надѣвая на себя амуницію, не напускать на себя вмѣстѣ съ нею почти ничего, чуждаго его природному складу [1]). И въ Пьерѣ, несмотря на его воспитаніе внѣ семьи подъ вліяніемъ эмигранта-аббата, а потомъ иностранныхъ книжекъ, уцѣлѣлъ русскій человѣкъ, и вліянію на него Каратаева именно и содѣйствовало то, что въ самомъ Пьерѣ, какъ мы уже слышали, «было то неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному человѣческому, ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра».

---

[1]) Это вполнѣ обнаружилось въ послѣднюю ужаснѣйшую изъ войнъ, среди которой русскій человѣкъ, скромно совершая свой солдатскій подвигъ, оставался вполнѣ *человѣкомъ*—сколько бы ни клеветали на него умышленно и неумышленно.

Скажутъ, что въ этомъ опять — *пристрастіе* автора къ своему народу? Но развѣ взглядъ этотъ не оправдывается — ну, хотя-бы господствующимъ направленіемъ самой русской литературы — съ тѣхъ поръ, какъ она была выведена Пушкинымъ и Гоголемъ на стезю простоты, правды и ненависти ко всякой фальши и аффектаціи, ко всему напускному и дѣланному, такъ долго, правда, надъ ней тяготѣвшему во времена подражательности, но за то и сброшенному такъ легко и рѣшительно и, разумѣется, разъ навсегда.

Сомнительное пожиманіе плечами со стороны всѣхъ тѣхъ, кого такъ мѣтко объединилъ Тургеневъ въ своемъ Потугинѣ, вызываетъ, конечно, слѣдующая параллель между взглядами Пьера и Вилларскаго. «Присутствіе и замѣчанія Вилларскаго, постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталость отъ Европы, невѣжество Россіи, только возвышали радость Пьера. Тамъ, гдѣ Вилларскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайно могучую силу жизненности, ту силу, которая, въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа»,—народа, вызывающаго у нашего автора слѣдующее замѣчаніе иностранца: «C'est un sacrilège que de faire la guerre à un peuple, comme le vôtre... Вы, пострадавшіе столько отъ французовъ, вы даже злобы не имѣете противъ нихъ».

Ужъ не въ этомъ-ли наконецъ та Ахиллесова пятка нашего автора, которую усмотрѣлъ у него Тургеневъ? (хотя мы вовсе не считаемъ доказаннымъ мнѣнія, будто Потугинъ—это онъ самъ). Несомнѣнно, что Л. Н. Толстой попадаетъ иной разъ въ тонъ со столь немилыми для Потугина славянофилами, этими людьми буквы *буки*. Правда, что онъ вмѣстѣ съ ними, можетъ быть, слишкомъ односторонне останавливается на нашемъ народномъ *смиреньи* и вообще на преобладающей *смирности* нашего типа, хотя вмѣстѣ съ ними способенъ усматривать и перерожденіе этого достоинства въ положительный недостатокъ. Но вѣдь и Тургеневъ въ своихъ личностяхъ изъ народа преимущественно выводитъ тотъ же *смирный*

типъ. Проявленія народнаго *хищнаго типа* собраны у Достоевскаго въ его «Мертвомъ домѣ»;—но вѣдь и сквозь эту самую *хищность* порою проглядываютъ черты того же смирнаго по природѣ типа. Онъ особенно дорогъ гр. Л. Н. Толстому по его совершенной противоположности тому типу, котораго главнымъ представителемъ является у него Наполеонъ, — невозможный, по его взгляду, на русской почвѣ.

Нашему автору, какъ и Николаю Ростову, просто противенъ «самодовольный Бонапартъ съ своей бѣлой ручкой», когда онъ въ Тильзитѣ прикладывалъ ею орденъ къ груди русскаго солдата. «Для чего же оторванныя руки, ноги, убитые люди?» Автору противно слѣпое преклоненье передъ этимъ «счастливымъ отъ несчастья другихъ человѣкомъ», то увлеченіе добровольнымъ рабствіемъ, до какого онъ доводилъ своихъ окружающихъ. «При Нѣманѣ на всѣхъ лицахъ было одно общее выраженіе восторга и преданности къ человѣку въ сѣромъ сюртукѣ, стоявшему на горѣ... Наполеонъ положилъ трубу на спину подбѣжавшаго счастливаго пажа... Польскій полковникъ попросилъ позволенія переплыть со своими уланами черезъ рѣку... Адъютантъ сказалъ, что вѣроятно, императоръ не будетъ недоволенъ... Они гордились тѣмъ, что плывутъ и тонутъ подъ взглядами человѣка, для котораго не ново было убѣжденіе въ томъ, что присутствіе его на всѣхъ концахъ міра одинаково... повергаетъ людей въ безумное самозабвеніе». Авторъ доходитъ до большаго еще негодованія, рисуя намъ другую картину: «во время бѣгства, несмотря на именованіе другъ друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, всѣ они чувствовали, что они жалкіе и гадкіе люди, надѣлавшіе много зла... И несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся объ арміи, они думали только каждый о себѣ и о томъ, какъ-бы поскорѣе уйти и спастись»... «C'est grand!» говорятъ историки, и тогда уже нѣтъ ни хорошаго, ни дурного, а есть grand и не grand. Grand — хорошо; не grand — дурно. ...Grand есть свойство, по ихъ понятіямъ, ка-

каких-то особенных животных, называемых героями. И Наполеонъ, убираясь въ теплой шубѣ домой отъ гибнущихъ не только товарищей, но людей, имъ приведенныхъ сюда, чувствуетъ que c'est grand, и душа его спокойна... И весь міръ 50 лѣтъ повторяетъ: Sublime, grand! Napoléon le grand! И никому въ голову не придетъ, что признаніе величія, неизмѣримаго мѣрой хорошаго и дурного, есть только признаніе своей ничтожности и неизмѣримой малости... Но для насъ, съ данной намъ Христомъ мѣрой хорошаго и дурного, нѣтъ неизмѣримаго. *И нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды*».

Наполеонъ, по мнѣнію нашего автора, на всей высотѣ ложнаго своего величія «до конца жизни своей не могъ понимать ни добра, ни красоты, ни истины, ни значенія своихъ поступковъ»... Гр. Л. Н. Толстой остается, очевидно, подъ впечатлѣніемъ письма Наполеона въ Парижъ съ Бородинскаго поля о томъ, что «le champ de bataille a été superbe»,—superbe потому, что на полѣ брани было 50,000 труповъ. Онъ не скрываетъ однако-жъ, что съ мѣста своего изгнанія, придя въ себя отъ того славолюбиваго чада, которымъ привыкъ онъ дышать, тотъ же Наполеонъ писалъ: «у меня былъ-бы *мой конгрессъ* и *мой священный союзъ*. Эти идеи у меня похитили. Въ собраніи властелиновъ міра мы бы обсуждали наши интересы семейнымъ образомъ... Европа обратилась-бы скоро въ одинъ народъ, и каждый, путешествуя всюду, вездѣ оставался-бы въ общемъ отечествѣ. Я бы добился свободнаго для всѣхъ плаванія по всѣмъ рѣкамъ, общности морей и наконецъ сведенія большихъ постоянныхъ армій на степень простой стражи государей... Вернувшись во Францію, я объявилъ-бы границы ея неподвижными, всякую будущую войну чисто оборонительною, всякое будущее приращеніе — противнымъ интересамъ націи (antinational)». Да, но нашъ авторъ, очевидно, не вѣритъ этимъ въ своемъ родѣ Манилювскимъ думамъ льва, лишившагося когтей. Общечеловѣческія благодѣянія, разносимыя на остріѣ завоева-

тельнаго меча, справедливо представляются ему подозрительными...

Но авторъ, повидимому, не задумался надъ словами своего Пьера: «теперь война противъ Наполеона. Если бы это была война за свободу... я бы первый поступилъ въ военную службу, но помогать Англіи и Австріи... это нехорошо». Правда, по мнѣнію Пьера, это нехорошо потому, что Англіи и Австріи помогали «противъ величайшаго человѣка въ мірѣ» и онъ, конечно, хватилъ черезъ край, назвавъ «величайшимъ человѣкомъ» Наполеона. Но Пьеръ приводитъ свои основанія на то, чтобы считать Наполеона великимъ. «Бурбоны, — говоритъ онъ,—бѣжали отъ революціи, предоставивъ народъ анархіи... Наполеонъ великъ, потому что онъ сталъ выше революціи, подавилъ ея злоупотребленія, удержавъ все хорошее: и *равенство гражданъ*, и *свободу слова и печати*, и только потому пріобрѣлъ власть»...

Равенство гражданъ, свобода слова — развѣ это не носитъ на себѣ печати «добра, простоты и правды», той печати, которою, по взгляду нашего автора, отличается истинное величіе? И можно-ли назвать добрымъ, простымъ и правдивымъ то, что отстоявшій свое отечество и, какъ говорили тогда, «освободившій Европу» народъ — самъ оставался и послѣ того подъ ярмомъ крѣпостного права? И было развѣ добро, простота и правда въ томъ, что когда освободительная война смѣнилась конгрессами, тогда въ Россіи наступила ужасающая реакція, а для всей Европы началась полоса той свободобоязни, при которой даже права султана надъ христіанами стали представляться законными?..

Не даромъ нашъ авторъ, согласно съ Кутузовымъ, самъ находитъ совсѣмъ неблагопріятнымъ перенесенье войны за предѣлы Россіи... Могъ-ли Наполеонъ, предоставленный самому себѣ, счесть наконецъ утоленною свою жажду завоеваній — это, конечно, вопросъ, какъ вопросъ и то, насколько установленные имъ мирные порядки подходили-бы къ тѣмъ благодѣтельскимъ мечтамъ, которыми онъ себя ублажалъ на островѣ св. Елены? Но

несомнѣнно и неоспоримо то, что порядки, водворившіеся въ Россіи и въ Европѣ вслѣдъ за сверженіемъ Наполеона, никого не облагодѣтельствовали. При видѣ этихъ порядковъ могли только отъ удовольствія потирать себѣ руки Меттерниховская Австрія и Веллингтоновская Англія, особенно когда передъ ними открылось зрѣлище той человѣческой гекатомбы, которая такъ вольготно принесена была турками предъ кумиромъ европейскаго status quo [1]).

Коря Наполеона, нашъ авторъ, очевидно, признаетъ начало *нравственной отвѣтственности*, котораго нельзя изгнать изъ исторіи. Водворивъ въ ней одинъ «механизмъ», пришлось-бы отказаться отъ лучшихъ человѣческихъ требованій. Между тѣмъ мѣстами гр. Л. Н. Толстой становится близокъ къ тому, упоминая о какомъ-то «приведеніи исторіи къ ея дифференціалу» и «намекая на то, что людьми управляетъ только ихъ натура» и какой-то не то древне-классическій, не то даже индѣйскій фатумъ. Мы уже видѣли, что играющая у автора такую огромную роль «роевая сила» является у него нравственно не свободною: «тутъ,—говоритъ онъ,—человѣкъ неизбѣжно исполняетъ предписанные ему законы». Но мѣстами гр. Л. Н. Толстой доходитъ даже до того, что не признаетъ вообще возможности сознательнаго стремленія къ общественному благу. «Для человѣка, не одержимаго страстью,—говоритъ онъ, — *bien public* никогда неизвѣстно; но человѣкъ, совершающій преступленіе, всегда вѣрно знаетъ, въ чемъ состоитъ это благо». Тоесть, какъ можно догадываться по другимъ подходящимъ фразамъ автора, такой человѣкъ *воображаетъ* себя знающимъ это благо и имъ-же, этимъ-же благомъ, оправдываетъ свое преступленіе. Въ этомъ смыслѣ, по крайней мѣрѣ, авторъ говоритъ про Наполеона: «онъ, предназна-

---

[1]) Мы никакъ не можемъ согласиться съ Н. Н. Страховымъ, что въ обновленіи Пьера «олицетворено обновленіе всей Россіи», такъ какъ послѣ событій 1812—1815 г. не только для Пьера, но будто бы и для нея «начался новый лучшій періодъ». (Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, стр. 347).

ченный Провидѣніемъ на печальную несвободную роль палача народовъ, увѣрялъ себя (на св. Еленѣ), что цѣль его поступковъ была благо народа, и что онъ могъ руководить судьбами милліоновъ и путемъ власти дѣлать благодѣянія». Но всего этого еще мало; авторъ наконецъ утверждаетъ: «только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды; и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью». Но если такъ, то авторъ превзошелъ своего кн. Андрея. Тотъ, какъ мы видѣли, одно время думалъ, что животная жизнь—есть самая счастливая жизнь. У автора-же выходитъ, что животная жизнь есть и самая разумная жизнь [1]). Но у кн. Андрея, какъ мы знаемъ, это былъ только временный процессъ мысли, психологически объясняемый тѣмъ озлобленіемъ задѣтаго барскаго самолюбія, которое и разрѣшилось у него замаскировывающимъ Weltschmerz'омъ особаго индѣйствующаго покроя. Ну, а у нашего автора откуда эта несвоевременная философія?

Она-то и составляетъ у него въ самомъ дѣлѣ то, въ чемъ онъ оказывается, по выраженію Тургенева, «несвободнымъ». Но въ этомъ видѣ его «несвободы» рѣшительно незамѣтенъ слѣдъ тѣхъ «предвзятыхъ идей и системъ», которыя «пристрастны къ своему народу и къ своей исторіи», и подъ которыми, кажется, Тургеневъ разрмѣетъ «предвзятые взгляды» и «системы» *славянофильства*.

У славянофиловъ есть свои «парадоксы»—напримѣръ, знаменитый ихъ парадоксъ о «гніеніи Запада» [2]), достойный, по своей содержательности, стать наряду съ парадоксомъ Прудона, que la propriété c'est le vol и со старымъ парадоксомъ Руссо о «вредѣ просвѣщенія». Славянофильскій парадоксъ приводитъ къ пересмотру многаго и очень многаго въ настоящемъ состояніи Запада въ

---

[1]) Вотъ на это, кажется намъ, не обращено вниманія Н. Н. Страховымъ.

[2]) Никогда впрочемъ въ этой грубой формѣ ими невысказанный.

смыслѣ текста: «по плодамъ познавайте дерево»,—къ пересмотру, потребность котораго сказалась и въ самой западной Европѣ, и въ Америкѣ, у нѣкоторыхъ горячихъ умовъ, изреченіями весьма недалекими отъ парадокса славянофиловъ. Парадоксъ Прудона въ свою очередь приводитъ къ пересмотру «историческихъ основъ» такъ называемой «собственности» на Западѣ, *собственности*, съ правами которой несовмѣстнымъ представлялось гамъ (начиная съ Лагарпа) освобожденье крестьянъ съ землею. Такъ и парадоксъ Руссо приводилъ въ свое время, приводитъ и будетъ еще приводить всѣхъ, неспособныхъ успокоиться съ Гетевскимъ Вагнеромъ, къ провѣркѣ достигнутыхъ пока результатовъ европейской образованности и оцѣнкѣ этихъ результатовъ безъ маниловскаго сентиментализма и легковѣрія. Все это, стало быть, парадоксы, дающіе толчокъ мысли, т.-е. парадоксы производительные. Совершенно не то у гр. Л. Н. Толстого: его парадоксальничанье на избитую со временъ брамаизма фаталистическую тему, которое, чтобы быть совершенно послѣдовательнымъ, должно привести насъ вспять къ душеспасительному стоянью на одной ногѣ и устремленію взгляда на одну точку [1]).

Вотъ это безпричинное парадоксальничанье, такъ сказать, изъ любви къ искусству дѣйствительно претитъ лучшимъ сторонамъ человѣческой природы, сказывающимся у нашего автора съ такою увлекательною силою хотя-бы, напримѣръ, въ слѣдующей, рисуемой имъ картинѣ: «надъ всѣмъ полемъ, прежде столь весело краснымъ, съ блескомъ штыковъ и дымами въ утреннемъ солнцѣ, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и сталъ накрапывать дождикъ на убитыхъ, на раненыхъ, на испуганныхъ и на изнуренныхъ, и на сомнѣвающихся

---

[1]) Въ своихъ объясненіяхъ къ «Войнѣ и Миру» въ «Русскомъ Архивѣ» 1868 г. гр. Толстой приводитъ немало оговорокъ, которыя, должно быть, особенно подѣйствовали на П. Н. Страхова, утверждающаго, что вопросъ объ отношеніи свободы къ необходимости рѣшенъ Л. Н. Толстымъ безупречно-

людей. Какъ будто онъ говорилъ: «довольно, довольно, люди. Перестаньте, опомнитесь... Что вы дѣлаете?.. Зачѣмъ, для кого мнѣ убивать и быть убитому?.. Дѣлайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта къ вечеру одинаково созрѣла въ душѣ каждаго». Но развѣ мысль эта — хотя-бы и возникшая первоначально изъ чувства, чувства, ставшаго наконецъ опредѣленнымъ и яснымъ какъ *мысль* — есть произведеніе животно-безсознательной жизни?

Нѣтъ, оттого, именно оттого, что, несмотря на всѣ успѣхи цивилизаціи, еще слабо въ человѣческомъ мірѣ *сознаніе*. — долго, долго еще будетъ литься кровь. Если цивилизованный міръ въ эпоху конгрессовъ равнодушно смотрѣлъ на человѣческую гекатомбу, принесенную въ Турціи, то при этомъ нельзя было утѣшать себя даже тѣмъ, что это послѣдняя гекатомба. Увы, гекатомба эта должна была повториться — такъ какъ всѣ средства и орудія цивилизаціи, доставшіяся человѣку такъ дорого, правятъ еще старую службу грубымъ инстинктамъ взаимнаго недовѣрія и выглядыванія другъ у друга добычи. Да, гекатомба эта должна была повториться, и, чтобы положить конецъ этимъ жертвамъ политическому Молоху, снова должна была пролиться *кровь* — начаться новая война, страшная, жесточайшая, но за то въ самомъ дѣлѣ освободительная и обновительная война, война, повидимому пролагающая стезю къ прочному миру въ будущемъ. И народъ, которому должно было вести такую войну, поражая даже крѣпкіе нервы «видавшаго виды» просвѣщеннаго міра побѣдоноснымъ мученичествомъ своихъ сыновъ, — долженъ-бы отпраздновать послѣ такой войны и собственное свое обновленіе, и обновленіе той «европейской семьи народовъ», о которой такъ театрально мечталъ изгнанникъ св. Елены. И все это должно совершиться просто, безъ театральности — и послѣ этого не должна-бы уже, разумѣется, возродиться эпоха конгрессовъ съ ея послѣдствіями...

VI [1]).

Замыселъ и отрывки романа «Декабристы». — «Семейное счастье». — «Анна Каренина».

Послѣ «Войны и Мира» публика, какъ извѣстно, ожидала «Декабристовъ». Типъ одного изъ нихъ дѣйствительно былъ уже какъ-бы преднамѣченъ въ будущемъ въ лицѣ Пьера. Еще болѣе ясными намеками на ожидаемый романъ представлялся многимъ Николенька Болконскій съ его вѣщимъ сномъ и его мечтою о подражаніи «Муціи Сцеволѣ».

Между тѣмъ, ожиданія такъ ожиданіями и остались. Только отрывки изъ «Декабристовъ» появились уже гораздо позже, въ сборникѣ, изданномъ, кажется, въ пользу Литературнаго Фонда, а затѣмъ были перепечатаны въ послѣднемъ полномъ собраніи сочиненій нашего автора съ примѣчаніемъ, изъ котораго видно, что первый набросокъ предшествовалъ даже «Войнѣ и Миру». «Стараясь возсоздать время декабристовъ, поясняется тутъ далѣе, авторъ невольно переходитъ мыслью къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно предъ нимъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать: семья, воспитаніе, общественныя условія, и проч.

---

[1]) Изъ университетскихъ лекцій 1886 г. съ дополненіями.

избранныхъ имъ лицъ, наконецъ, онъ остановился на времени войны съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Въ концѣ этого романа, прямо называется въ томъ-же примѣчаніи, видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 г. Впослѣдствіи авторъ, прибавлено еще къ этому, вновь принимался за «Декабристовъ» и написалъ два другія, печатаемыя теперь, начала... Таково происхожденіе предлагаемыхъ отрывковъ романа, которому, повидимому, не суждено быть напи-анными».

Мы полагаемъ, что какъ авторъ, такъ и публика ничего-бы не потеряли, если-бы и вышеупомянутые отрывки остались ненапечатанными. Если по именамъ возвращающагося въ Москву старика — Петръ, а жены его — Наталья, читатели и могли на первыхъ порахъ обрадоваться встрѣчѣ со старыми знакомыми Пьеромъ Безухимъ и бывшей невѣстою князя Андрея, то вскорѣ имъ пришлось убѣдиться, что, на самомъ дѣлѣ, это совершенно другіе люди—какіе-то Лабазовы, что самыя отношенія къ нимъ автора вовсе уже не прежнія, теплыя, а какія-то совершенно иныя; они же, эти лица, судя по тому, что онъ успѣлъ о нихъ разсказать, даже и не особенно интересны. Чѣмъ-то, совсѣмъ даже не Толстовскимъ, и вовсе непривлекательнымъ отзывается самый приступъ, заключающій въ себѣ легковѣсно насмѣшливую характеристику нашего возрожденія, времени, когда было то-то и то-то, по мнѣнію автора, повидимому, только пустое и ни къ чему не ведущее. «Это,—какъ онъ говоритъ, между прочимъ, — то время, когда со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, въ Россіи, какъ грибы, выростали великіе люди — полководцы, администраторы, экономисты, писатели, ораторы и просто великіе люди безъ особаго призванія и цѣли». То-есть это было на самомъ дѣлѣ время, ознаменованное при всей примѣшавшейся тутъ, мишурѣ, нѣкоторыми именами, великихъ,—по выраженію Тургенева,—«не забудетъ потомство».

Это, на самомъ дѣлѣ, было то время, о которомъ такъ тепло напомнилъ нашему автору одинъ изъ лучшихъ его цѣнителей, преждевременно угасшій М. С. Громека, сказавъ: «года вашей молодости были временемъ духовнаго развитія Россіи. Тогда было много людей, быть-можетъ, неумѣло, но все-же горячо и искренно стремящихся къ истинѣ и добру». [1]) Чего ради угодно было гр. Толстому отнестись къ этому времени хихикающимъ тономъ Глумова, этого, мы полагаемъ, не растолковалъ-бы и самъ Глумовъ. «Тогда,—подсмѣивается нашъ авторъ, — писали, читали, говорили проекты, все хотѣли исправить, уничтожить, перемѣнить, и всѣ россіяне, какъ одинъ человѣкъ, находились въ неописанномъ восторгѣ. Состояніе, два раза повторившееся для Россіи въ XIX столѣтіи: въ 1-й разъ, когда въ 12 г. мы отшлепали Наполеона I, а во-второй разъ, когда въ 56 году насъ отшлепалъ Наполеонъ III. Великое, незабвенное время возрожденія русскаго народа!» Мы полагаемъ, что если великій русскій писатель и могъ обмолвиться подобными строками, то не грѣхъ-бы было ему не допускать ихъ напечатанія, хотя-бы даже въ сборникѣ, изданномъ съ благотворительною цѣлью, т.-е. съ прямымъ расчетомъ на его славное имя. Допускать-же перепечатку подобныхъ строкъ въ полномъ собраніи своихъ сочиненій онъ могъ лишь во имя того, оригинально имъ понимаемаго, «непротивленія злу», съ которымъ мы еще встрѣтимся въ послѣднихъ его сочиненіяхъ. Но отвернемся отъ этого печальнаго приключенія и обратимся къ тому, что вполнѣ достойно геніальнаго автора.

Вмѣсто ожидаемыхъ «Декабристовъ», появился большой романъ подъ заглавіемъ «*Анна Каренина*». Но, прежде чѣмъ приступить къ разбору этого произведенія, коснемся, въ нѣсколькихъ словахъ, болѣе ранняго романа нашего автора: «*Семейное счастье*» (1859 г.), гдѣ онъ отчасти уже намѣтилъ то, что впослѣдствіи развилъ въ

---

[1]) Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого. Критическій этюдъ М. С. Громека. Москва, 1885 г., стр. 211.

Анны Карениной». Тутъ чуть было не совершилось то, что вполнѣ совершилось въ этомъ послѣднемъ романѣ— семейное счастье чуть было не рушилось навсегда. Впрочемъ, что касается Анны Карениной, то въ ея семейной жизни собственно счастья и не было. Содержаніе «Семейнаго счастья» очень просто: молодая дѣвушка, оставшаяся сиротой, подпадаетъ подъ обаяніе своего опекуна (человѣка уже не совсѣмъ молодого), — вслѣдствіе того уже, что онъ единственный взрослый мужчина, бывающій у нихъ въ домѣ, и начинаетъ чувствовать къ нему особенную привязанность. Разница лѣтъ не имѣетъ тутъ особеннаго значенія, потому что онъ свѣжъ и молодъ душой, исполненъ энергіи и жажды дѣятельности. Она привязывается къ нему до того, что рѣшается соединить свою судьбу съ его судьбою. Онъ также сильно привязанъ къ ней, сознаетъ себя не износившимся, молодымъ душою, а потому и думаетъ, что, женясь на ней, не заѣстъ чужого вѣка.

Первое время все идетъ отлично, но это продолжается только до тѣхъ поръ, пока они не переѣзжаютъ въ столицу. Тутъ уже со всею яркостью сказывается и береть свое какъ разница лѣтъ, такъ и разница ихъ натуръ, ихъ умственнаго и нравственнаго развитія. Онъ — человѣкъ вполнѣ живой, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ оказалась вдругъ подвижною она по пріѣздѣ въ Петербургъ. Онъ издавна жилъ интересами общественными,— для нея все ограничивалось сферой исключительно семейной. Семейное чувство не связано у нея ни съ какою общественною идеею, хотя подъ первыми впечатлѣніями выкидающаго ее семейнаго счастья она и становится склонна къ благотворительности; между семьей и обществомъ не существуетъ для нея никакого моста. Все въ ней уходитъ на одну любовь къ мужу, и, пожалуй, какъ уже сказано, на благотворительность, да еще на чтеніе, какъ возвышенный комфортъ.

Какъ-бы ни была сильна привязанность къ человѣку, но коль скоро онъ становится главнымъ интересомъ въ жизни, онъ можетъ и надоѣсть, въ особенности, если онъ

таковъ, какимъ былъ герой даннаго разсказа, т.-е. хотя и энергичный, и дѣятельный, но уже не молодой, не способный уже чувствовать жажду жизни ради жизни, ту жажду, которая вдругъ со стихійной силой пробуждается въ ней; отсюда непрочность семейнаго счастья при отсутствіи высшаго начала въ семьѣ. Существуетъ мнѣніе, что высшее образованіе отвлекаетъ женщинъ отъ семьи. Романъ нашъ скорѣе доказываетъ, можетъ быть, и помимо воли автора, прямо противное. Для того, чтобы семейное счастье, основанное на чувствѣ любви между членами семьи, могло сохраниться на долгое время, нужно, чтобы это чувство не было сосредоточено только на одной семьѣ, чтобы семейное гнѣздо не было, такъ сказать, только птичьимъ гнѣздомъ. Чтобы это счастье было дѣйствительно, мать должна быть въ силахъ заботиться не только о матеріальномъ благосостояніи подрастающаго поколѣнія, но и слѣдить за его духовнымъ ростомъ, сознательно вводить его въ болѣе широкій кругъ общественныхъ отношеній. Вотъ тема, быть можетъ, и непроизвольно затрогиваемая гр. Толстымъ какъ въ «Семейномъ счастьи», такъ и въ «Аннѣ Карениной». Въ «Семейномъ счастьи» отъ нарушенья его спасаетъ, такъ сказать, сама судьба. Смѣлое, слишкомъ южное обращеніе съ Машей итальянскаго Донъ-Жуана вдругъ обдастъ ее ужасомъ и останавливаетъ ее какъ разъ во-время. Романъ такимъ образомъ разыгрывается мирно, душевно-благополучно, такъ что Ан. Григорьевъ имѣлъ полное право сказать: «это произведеніе такое глубокое, простое и высоко поэтическое, съ отсутствіемъ всякой эффектности, съ прямымъ и неломаннымъ постановленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство».

Перейдемъ къ «Аннѣ Карениной». Характеризуя Левина, одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ этого романа, гр. Толстой приводитъ, между прочимъ, его воззрѣніе на семейную жизнь.

«Несмотря на то, что Левинъ полагалъ, что онъ имѣетъ самыя точныя понятія о семейной жизни, онъ, какъ и

всѣ мужчины, представлять себѣ семейную жизнь только какъ наслажденіе любви, которой ничто не должно препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы. Онъ долженъ былъ, по его понятію, *работать свою работу и отдыхать отъ нея въ счастьи любви*. Она-же должна была, по его понятію, «*быть любима и только*». «Но онъ, какъ и всѣ мужчины, забывалъ, что и *ей надо работать*». Онъ вспоминалъ объ этомъ только тогда, когда случались семейныя сцены; ему приходило въ голову, что виною этихъ сценъ была безвыходность ея положенія, такъ какъ эти «бури въ стаканѣ воды» (которыя несравненно болѣе отравляютъ жизнь, чѣмъ бури дѣйствительныя) происходятъ отъ ревности, а ревность въ свою очередь является слѣдствіемъ того, что все сосредоточено на немъ одномъ, что ничто другое ее не интересовало, да и не могло интересовать въ силу ея воспитанія, тѣхъ воззрѣній, среди которыхъ она выросла. Левину смутно приходило въ голову, что виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и привольное».

Онъ начиналъ-было думать объ этомъ, но не останавливался на этой мысли, потому что свыкся съ подобнымъ положеніемъ женщины въ семьѣ съ дѣтства. «...Кромѣ интереса къ дому (это было у нея), кромѣ своего туалета и кромѣ broderie anglaise у нея не было серьезныхъ интересовъ: ни интереса къ его дѣлу, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкѣ, въ которой она довольно была сильна, ни къ чтенію». Въ музыкѣ была она сильна, но и только... Страстно полюбить музыку, увлечься ею она не могла, это совсѣмъ и не входило въ то воспитаніе, которое она получила, совершенно не соотвѣтствовало понятію «comme il faut», которому она должна была удовлетворять. «Она ничего не дѣлала и, казалось, совершенно была удовлетворена». Но это только казалось—домашнія сцены, капризы и вспышки ревности доказывали противное, хотя она и сама, конечно, не сознавала, чего ей не достаетъ. «...Онъ не понималъ еще, что она вила гнѣздо и готовилась къ тому періоду, когда она будетъ носить, кормить

и воспитывать дѣтей». Да, гнѣздо, которое она вила, не предполагало въ будущемъ витія гнѣзда въ болѣе широкомъ смыслѣ, да и можно-ли допустить въ ней воспитательную способность, — въ общественномъ смыслѣ этого слова?

Въ отношеніяхъ Левина и Китти взаимная неудовлетворенность проявляется въ незначительныхъ вспышкахъ, въ мелкихъ непріятностяхъ. Въ семействѣ Каренина дѣло не ограничивается этимъ, во-первыхъ, потому что личность Анны является несравненно крупнѣе и значительнѣе личности Китти, а во-вторыхъ, потому что и Каренинъ былъ вовсе не то, что Левинъ. Въ силу рѣзкой противоположности характеровъ, которая сказывалась въ Аннѣ и ея мужѣ, столкновенія между ними должны были принять наконецъ рѣшительный оборотъ. Она—вся огонь, вся жизнь, онъ, наоборотъ, сухъ и холоденъ, хотя и дѣятеленъ, но дѣятеленъ въ смыслѣ формальнаго, бюрократическаго труда. Самый выходъ замужъ за Каренина былъ со стороны Анны громадною ошибкою не потому только, что онъ былъ гораздо старше ея. Будь въ ней самой, кромѣ жажды жизни, болѣе вдумчивости въ жизнь—и она-бы нашла исходъ въ любви къ сыну, въ наблюденіи за его постепеннымъ развитіемъ, въ заботахъ о пробужденіи въ немъ высшихъ нравственныхъ основъ. Но въ ней самой никакой высшей идеей не направлялась та страстная жажда жизни, которая и натолкнула ее на роковую дорогу стихійной страсти и довела до самоубійства. Уже послѣ того, какъ она думала найти «другое счастье», счастье помимо семьи, и поняла, что оно неполно, она стала искать выхода въ любви къ сыну, но это было уже слишкомъ поздно, ея положеніе стало таково, что спасти ее ничто уже не могло. Каренинъ однажды сказалъ ей: «Ты вышла замужъ за человѣка, который на 20 лѣтъ старше тебя. Ты вышла замужъ безъ любви или не зная любви». Съ его стороны, конечно, также была ошибка, объясняемая какъ и у нея недостаткомъ настоящаго воспитанія. «Алексѣй Александровичъ росъ сиротой. Ихъ было два брата. Отца они не

помнили, мать умерла, когда Алексѣю Александровичу было десять лѣтъ. Состояніе было маленькое. Дядя Каренина, важный чиновникъ и когда-то любимецъ покойнаго императора, воспиталъ ихъ (внушивъ имъ при этомъ, что имъ, какъ людямъ бѣднымъ, нужно прежде всего составить себѣ положеніе)». «Окончивъ курсъ въ гимназіи и университетѣ съ медалями, Алексѣй Александровичъ съ помощью дяди сейчасъ сталъ на видную служебную дорогу и съ той поры *исключительно отдался служебному честолюбію*. Ни въ гимназіи, ни въ университетѣ, ни послѣ на службѣ, Алексѣй Александровичъ не завязывалъ *ни съ кѣмъ дружескихъ отношеній*». Такимъ образомъ, сердечная область вовсе не существовала для него. «Братъ... умеръ скоро послѣ женитьбы Алексѣя Александровича. Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хотя не молодого уже человѣка, но молодого губернатора со своею племянницею и поставила его въ такое положеніе, что онъ долженъ былъ или высказаться, или уѣхать изъ города». Т.-е. онъ началъ бывать такъ часто, что въ городѣ уже начали говорить объ этомъ, и ему дали понять, что онъ долженъ жениться, такъ какъ Анна уже до извѣстной степени скомпрометирована этимъ. «Онъ сдѣлалъ предложеніе и отдалъ невѣстѣ и женѣ все то чувство, на которое былъ способенъ». Такимъ образомъ мы видимъ, что сердце не особенно было въ немъ развито, и бракъ его былъ, какъ выразился-бы Достоевскій, «случайнымъ», т.-е. долженъ былъ стать основаніемъ для столько-же случайной семьи. По природѣ Анна являлась яркой ему противоположностью: она жила исключительно чувствомъ, но она была столь-же мало воспитана, какъ и онъ, и такое сходство съ нимъ оказалось столь-же пагубнымъ, какъ и несходство.

Алексѣй Александровичъ со своей вѣчной холодностью и разсудительностью тѣмъ болѣе, повидимому, заставлялъ ее изливать свой душевный пылъ на сына. Она, въ самомъ дѣлѣ, такъ восторженно любовалась имъ даже въ своихъ разсказахъ о немъ; она какъ бы чуяла въ немъ

своего рода талисманъ, который долженъ предохранять ее отъ бѣдъ, но и этотъ талисманъ не спасъ—потому, что она видѣла въ своемъ мальчикѣ только милую, живую игрушку, которую должно беречь отъ простуды, заботиться о томъ, чтобы онъ былъ доволенъ и веселъ, а не видѣла въ немъ будущаго человѣка. И ея отношенія къ сыну также были отношеніями птицы, которая свила себѣ гнѣздо и вся дѣятельность которой ограничивается кормленіемъ птенчиковъ и сбереженіемъ ихъ отъ холода. Понятно, что при такихъ отношеніяхъ къ сыну она не могла вся уйти на него,—и вотъ ея пылъ душевный вскорѣ переносится на посланнаго ей какимъ-то злымъ рокомъ Вронскаго. Въ немъ не было особеннаго внутренняго содержанія, но этого тутъ и не требовалось. Авторъ рисуетъ намъ въ лицѣ Вронскаго болѣе усовершенствованное изданіе своихъ «двухъ гусаровъ».

Вотъ портретъ героя Анны въ краткихъ, но мѣткихъ чертахъ: «жизнь Вронскаго тѣмъ была особенно счастлива, что у него былъ сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ все, что должно и не должно дѣлать... Правила эти несомнѣнно опредѣляли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій и можно оскорблять» и т. д. Однажды Вронскому пришло желаніе пристроиться къ одному изъ пріѣзжихъ принцевъ, которому надо было узнать Петербургъ и даже его трущобы. Присматриваясь къ принцу, Вронскій невольно узнавалъ въ своемъ спутникѣ свой собственный портретъ; то, «что Вронскій видѣлъ въ этомъ зеркалѣ, не льстило его самолюбію. Это былъ очень глупый, и очень самоувѣренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человѣкъ—и больше ничего».

Но авторъ неожиданно даетъ намъ почувствовать, что въ самомъ Вронскомъ было однако что-то иное, не притупленное и не заглохшее, чего, можетъ быть, онъ и самъ въ себѣ не подозрѣвалъ, но что пробудилось уже слишкомъ поздно и поправить дѣла уже не могло.

Алексѣй Александровичъ, какъ человѣкъ служащій и занимающій высокій постъ, слѣдовалъ кодексу законовъ, существующихъ для людей его положенія; Вронскій слѣдовалъ тому кодексу правилъ, который назначенъ для «свѣтскихъ людей». Между ними было то сходство, что для того и для другого эти правила являлись чисто внѣшними, такими, которымъ они должны слѣдовать, потому что этого требовало ихъ положеніе, а не потому, чтобы воззрѣнія, входящія въ эти кодексы, дѣйствительно были ихъ воззрѣніями, вытекали изъ ихъ собственнаго міросозерцанія. Для Каренина формально имѣло всегда большое значеніе и религіозное начало; онъ долженъ признавать религію, долженъ быть человѣкомъ вѣрующимъ—*этого требуетъ его положеніе*. Вронскій, какъ человѣкъ, къ карьерѣ не стремящійся, и кромѣ того вполнѣ «свой» въ великосвѣтской сферѣ, не ощущалъ прямой необходимости казаться человѣкомъ религіознымъ; но и онъ исполнялъ религіозныя формальности потому, что это принято. Какъ вдругъ, совершенно неожиданно для обоихъ, въ томъ и другомъ пробуждается и дѣйствительное религіозное чувство. Гр. Толстой не разъ, въ разныхъ своихъ произведеніяхъ, показываетъ намъ подобное внезапное пробужденіе въ человѣкѣ того или другого чувства, и не подозрѣваемаго въ себѣ тѣмъ, въ комъ оно пробуждается; едва ли не главное мастерство гр. Толстого именно въ этомъ и состоитъ.

Что касается Вронскаго, то сознаніе какого-то недовольства собою какъ будто пробудилось въ немъ еще тогда, когда онъ сопутствовалъ иностранному принцу, который, какъ мы видѣли, не считалъ унизительнымъ для себя заглядывать всюду, даже въ самыя грязныя трущобы Петербурга, на томъ, разумѣется, основаніи, что онъ такъ высоко поставленъ, что упасть со своего пьедестала не можетъ ни въ какомъ случаѣ. Какъ мы уже видѣли, Вронскій узналъ въ немъ свой портретъ и долженъ былъ признаться, что этотъ портретъ не очень красивъ. До тѣхъ поръ воззрѣнія Вронскаго укладывались въ слѣдующія рамки: «въ его петербургскомъ мірѣ

всѣ люди подраздѣлялись на два совершенно противоположные сорта. Одинъ низшій сортъ: пошлые, глупые и, главное, смѣшные люди, которые вѣруютъ въ то, что мужу надо жить съ женою, съ которой онъ обвѣнчанъ, что надо воспитывать дѣтей, зарабатывать свой хлѣбъ, платить долги и разныя, тому подобныя, глупости. Это былъ сортъ людей старомодныхъ и смѣшныхъ». (Къ нимъ долженъ былъ принадлежать по своему общественному положенію и Алексѣй Александровичъ). «Но былъ и другой сортъ людей, настоящихъ, къ которому они всѣ принадлежали, въ которомъ надо быть, главное, элегантнымъ, красивымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться всякой страсти, не краснѣя, и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться». Все это давно знакомые намъ признаки того comme il faut, съ которымъ насъ познакомилъ авторъ еще въ своей «Юности». Къ кругу comme il faut принадлежалъ и самъ Вронскій; когда его maman узнала объ его отношеніяхъ къ Аннѣ, узнала, что та хороша и принадлежитъ къ большому свѣту, слѣдовательно, не можетъ компрометировать Вронскаго, она не нашла рѣшительно ничего предосудительнаго во всемъ этомъ, можетъ быть, отчасти, отъ того, что и права не имѣла разсуждать иначе, такъ какъ и сама жила прежде тоже довольно широкою жизнью. Такимъ образомъ Вронскій получилъ санкцію и отъ своей матери, зная въ то же время, что его отношенія къ Аннѣ не противорѣчатъ свѣтскимъ правиламъ. Основываясь на этомъ, онъ далъ полную волю своему чувству, «хотя и могъ бы сдержать его», какъ говоритъ гр. Толстой. Когда въ Москвѣ Вронскому представляются двѣ перспективы: съ Китти и съ Анной, онъ выбираетъ послѣднюю, такъ какъ близость съ Анной, пользующейся видимымъ положеніемъ въ свѣтѣ, уваженіемъ общества, привлекающей къ себѣ массы поклонниковъ и жертвующей для него всѣмъ, несравненно болѣе льстило его самолюбію, чѣмъ женитьба на хорошенькой, но мало замѣтной еще въ великосвѣтскомъ кругу Китти.

Пушкинская Татьяна отлично поняла именно эту

струнку въ Онѣгинѣ и, при послѣднемъ свиданіи съ нимъ уже послѣ своего выхода замужъ за стараго генерала, указала Онѣгину на то, что ему нужна ея любовь именно теперь, потому что это можетъ льстить его самолюбію. Онѣгинъ и Вронскій въ этомъ отношеніи дѣйствовали подъ вліяніемъ одного и того же мотива. Кончилось тѣмъ, что, какъ говоритъ гр. Толстой, «Вронскій смотрѣлъ на Анну, какъ смотритъ человѣкъ на сорванный имъ и завядшій цвѣтокъ, въ которомъ онъ съ трудомъ узнаетъ красоту, за которую онъ погубилъ и сорвалъ его». «Но если бы Вронскій слѣдовалъ вполнѣ свѣтскимъ правиламъ, то съ той минуты, когда онъ взглянулъ на Анну, какъ на сорванный и утратившій для него всю свою прелесть цвѣтокъ, онъ долженъ бы былъ его бросить. По правиламъ большого свѣта не полагалось человѣку питать и то чувство, которое подсказывало Вронскому, что у него есть какое-то внутреннее обязательство по отношенію къ Аннѣ, которое заставляло его считать себя связаннымъ съ нею; въ этомъ отношеніи онъ не походилъ на другихъ людей его круга и, по всей вѣроятности, самъ не подозрѣвалъ въ себѣ этой особенности» [1]).

Во время болѣзни Анны происходитъ нѣчто чудесное. Если бы это написалъ кто-нибудь другой, то этому нельзя бы было повѣрить, но Л. Н. Толстой описалъ и это такъ, что нельзя не признать тутъ глубокой жизненной правды. Дѣло происходитъ такимъ образомъ. Каренинъ ѣдетъ въ Москву хлопотать о разводѣ; получивъ извѣстіе о томъ, что жена умираетъ, онъ спѣшитъ къ

---

[1]) Въ прошломъ году появилась курьезная брошюрка нѣкоего кн. Кемскаго, въ которой Каренинъ изображенъ человѣкомъ «крупнымъ» съ «плодотворными замыслами въ головѣ», а Вронскій однимъ изъ тѣхъ, которые «въ тяжелыя годины ложныхъ смутъ на Руси неизмѣримо были и будутъ полезнѣе тѣхъ безчисленныхъ «брехуновъ», которые наводнили собою все, начиная отъ камеръ мировыхъ судей и кончая университетскими каѳедрами». Но еще курьезнѣе, что за «развѣнчаніе» Каренина и Вронскаго, какъ и за развѣнчаніе comme il faut приходится тутъ отвѣчать не самому гр. Толстому, а его рановременно умершему даровитому критику, М. С. Громекѣ. Кн. Кемскій считаетъ нужнымъ «клятвенно завѣрить», что ни одинъ швейцаръ не пустилъ бы его въ великосвѣтскіе покои». (Анна Каренина подъ ножомъ критики кн. Кемскаго, Спб. 1885 г.).

ней въ надеждѣ, что она умретъ и своею смертью устранитъ всѣ непріятныя хлопоты. Онъ находитъ Анну въ бреду, сквозь который сказывается и не бредъ: «Не удивляйся на меня,—говоритъ она.—Я все та же. Но во мнѣ есть другая, я ее боюсь, она полюбила того, и я хотѣла возненавидѣть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся... Но это все скоро кончится. Одно мнѣ нужно,—ты прости меня, прости совсѣмъ. Я ужасна, но мнѣ няня говорила, св. мученица, какъ ее звали? Она хуже была. И я поѣду въ Римъ, тамъ пустыня, и тогда я никому не буду мѣшать, только Сережу возьми и дѣвочку...»

Но тутъ же находился человѣкъ, который отъ отчаянія и стыда закрылъ себѣ лицо руками, хотя по правиламъ свѣта этого и не полагалось. Анна потребовала, чтобы Алексѣй Александровичъ открылъ ему лицо. «Открой лицо, смотри на него. Онъ святой,—сказала она Вронскому.—Алексѣй Александровичъ, открой ему лицо. Я хочу его видѣть...» «Каренинъ взялъ руки Вронскаго и отвелъ ихъ отъ лица, ужаснаго по выраженію страданія и стыда, которые были на немъ». «Подай ему руку. Прости его». Каренинъ подалъ ему руку, не удерживая слезъ, которыя лились изъ его глазъ. Сцена эта напоминаетъ другую: между кн. Андреемъ и Анатолемъ Курагинымъ, съ тою разницею, что тамъ страданія физическія, тутъ страданія чисто нравственныя и кромѣ того присутствіе третьяго лица, которое и требуетъ примиренія.

«Каренинъ вдругъ почувствовалъ, что то, что онъ считалъ душевнымъ разстройствомъ, напротивъ—блаженное состояніе души, давшее ему вдругъ новое, никогда не испытанное имъ счастье». Онъ считалъ это разстройствомъ, ибо самъ не предполагалъ въ себѣ сердца. Онъ не думалъ, что тотъ христіанскій законъ, которому онъ всю жизнь свою хотѣлъ слѣдовать, предписываетъ ему прощать и любить своихъ враговъ.

Онъ не зналъ этого, потому что считалъ себя слѣ-

дующимъ этому христіанскому закону, но не слѣдовалъ ему на самомъ дѣлѣ.

«Я желалъ ея смерти,—разсуждаетъ далѣе самъ Карениннъ,—но я увидѣлъ ее и простилъ. И счастье прощенія открыло мнѣ мою обязанность. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берутъ кафтанъ, и молю Бога только о томъ, чтобы Онъ не отнялъ у меня счастья прощенія». Въ человѣкѣ, занимающемъ видный оффиціальный постъ, вдругъ пробуждается христіанское юродство; онъ сознаетъ, что онъ счастливъ именно тѣмъ, что можетъ «подставить другую щеку».

«Вронскій не понималъ А. А., но онъ чувствовалъ, что это было что-то высшее и даже недоступное ему въ его міровоззрѣніи». Онъ чувствовалъ, что онъ не способенъ бы былъ поступить такимъ образомъ. За то, подъ вліяніемъ всего этого, Вронскій пытался покончить съ собой и хотя остался живъ, но это обстоятельство не прошло для него безслѣдно; и въ немъ пробудилось что-то высшее, не полагавшееся по правиламъ свѣта. Въ Карениннѣ, употребляя выраженіе Достоевскаго, совершилось «*обрѣтеніе самого себя*». «Онъ не обдумалъ этой случайности,—говоритъ гр. Толстой,—онъ до этого дня свиданія съ умирающею женщиною не зналъ своего сердца. Онъ у постели больной жены въ первый разъ въ жизни отдался тому чувству усиленнаго состраданія, которое въ немъ вызвали страданія другихъ людей и котораго онъ прежде стыдился, какъ вредной слабости». Такимъ образомъ, вспышки подобнаго состоянія бывали у него и прежде, тутъ же чувство захватило его всего. Гр. Толстой утверждаетъ даже, что Карениннъ болѣе всего любилъ новорожденную, хотя правила того кодекса законовъ, которому онъ до сихъ поръ слѣдовалъ, всего менѣе допускали это.

«Болѣе всего онъ любилъ маленькую дѣвочку... Но тѣмъ болѣе проходило времени, тѣмъ яснѣе онъ видѣлъ, что какъ ни естественно теперь для него это положеніе, но его не допустятъ оставаться въ немъ. Если бы Анна

умерла, было бы лучше и для нея, и для него; всѣ счеты были бы покончены разомъ и примиреніе съ памятью покойной, вѣроятно, не вызвало бы протеста даже со стороны тѣхъ, съ точки зрѣнія которыхъ примиреніе съ нею при жизни являлось смѣшнымъ, а пожалуй и безнравственнымъ».

Къ Карениныхъ заѣзжаетъ кн. Тверская, которая знала все ранѣе и не только знала, но содѣйствовала Аннѣ и Вронскому, доставляя имъ случай встрѣчаться у нея въ домѣ; но дѣло въ томъ, что кн. Тверская—не Анна въ томъ смыслѣ, что она не такъ пряма, какъ послѣдняя. Ея сочувствіе къ Аннѣ продолжалось только до тѣхъ поръ, пока все было прилично, т.-е. пока дѣло не стало явнымъ, но теперь княгиня находила уже все неприличнымъ и едва сдерживала улыбку. Она явилась, такимъ образомъ, первымъ лицомъ, поколебавшимъ въ Карениной то прощающее настроеніе, которому онъ отдался было съ такою радостью. «Кн. Тверская представлялась ему олицетвореніемъ той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью въ глазахъ свѣта и мѣшала ему отдаться своему чувству любви и прощенія». Но не одна кн. Тверская дѣйствуетъ въ этомъ направленіи. Есть тутъ еще гр. Лидія Ивановна—женщина пожилая и религіозная, которая сострадаетъ ему и, пользуясь его несчастіемъ, хочетъ сблизить его со Христомъ. Мы уже знаемъ, что христіанство пробудилось у него въ душѣ само собою безъ участія какой бы то ни было графини, но ей хочется сблизить его со *своимъ* Христомъ, не такимъ, каковъ Онъ въ Евангеліи, но какимъ создала она Его сама въ своемъ міросозерцаніи, примѣняя Его къ собственнымъ вкусамъ и обстоятельствамъ. Ей не повезло въ семейной жизни и это обстоятельство и было причиной того, что она отдалась религіи, но своей особенной, поддѣльной религіи. Ея Христосъ былъ суровый, требовательный Христосъ; не любви, не всепрощенія требовалъ Онъ, и подставлять другую щеку не входило въ религіозныя правила гр. Лидіи Ивановны. Съ ея точки зрѣнія, любовь Каренина

къ маленькой, ни въ чемъ неповинной дѣвочкѣ не могла быть допущена.

Но спрашивается, если бы на Каренина не подѣйствовали кн. Тверская и граф. Лидія Ивановна, т.-е. если бы онъ простилъ Анну и согласился остаться съ нею и забыть прошлое, поправилось ли бы этимъ положеніе Анны? Мы знаемъ, что Анна уѣхала отъ него и чувствовала себя «*непростительно* счастливою», ибо это счастье было куплено цѣною разлуки съ сыномъ; но если бы сынъ былъ отданъ ей, значило ли бы это возвратить ей сына? Авторъ всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ романа показываетъ, что это «не возвратило бы ей сына». «Анна,—говоритъ Л. Н. Толстой,—чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости жизни... Воспоминаніе обо всемъ, что случилось съ нею послѣ болѣзни: примиреніе съ мужемъ, разрывъ, извѣстіе о ранѣ Вронскаго, его появленіе, приготовленіе къ разводу, отъѣздъ изъ дома мужа, прощанье съ сыномъ, все это казалось ей горячечнымъ сномъ, отъ котораго она проснулась одна съ Вронскимъ за границей... Воспоминаніе о злѣ, причиненномъ мужу, возбуждало въ ней чувство, похожее на отвращеніе и подобное тому, какое испытывалъ бы тонувшій человѣкъ, оторвавшій отъ себя вцѣпившагося въ него человѣка...»

Ну, а сынъ? Могла-ли она и его также оторвать отъ себя? Нѣтъ, но въ сущности она оторвала и его, оторвала безвозвратно.

Каковы были отношенія Анны къ дѣвочкѣ, авторъ даетъ почувствовать въ сценѣ свиданія Анны съ Дарьей Александровной Облонской, которая, несмотря на то, что компрометировала себя своимъ визитомъ къ Аннѣ, все-таки поѣхала къ ней, когда та, по возвращеніи въ Россію, жила съ Вронскимъ въ его деревнѣ. По дорогѣ Долли размышляетъ о томъ, что дѣйствительно не лучше-ли положеніе Анны сравнительно съ ея собственнымъ. Ей представляется ея неприглядная жизнь, натянутыя отношенія къ мужу, вѣчная возня съ дѣтьми, вѣчныя заботы, словомъ, вся та сѣрая, далеко не поэтическая,

обстановка, среди которой она жила, и думалось ей, не поучиться-ли у Анны и не зажить-ли иначе? Она находитъ Анну цвѣтущею, красивою, веселою, окруженною всѣмъ обаяніемъ молодости и счастья; она замѣчаетъ въ ней только одну особенность, которой прежде въ Аннѣ не было: Анна постоянно жмурится, какъ-бы желая чего-то не видѣть или отогнать отъ себя какую-то тяжелую неотвязную мысль. Долли попросила позволенія провести себя въ дѣтскую и замѣтила, что Анна рѣдко заглядываетъ туда: «Долли поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенокъ не сжились вмѣстѣ и что посѣщеніе матерью было дѣло необычное».

«Удивительнѣе-же всего было то, что, на вопросъ о томъ, сколько у него зубовъ, Анна ошиблась и совсѣмъ не знала про два послѣдніе зуба». Долли поняла, что «Анна не мать своей дѣвочкѣ, что Сережа попрежнему остается ея единственнымъ ребенкомъ, но поняла также и то, что эта любовь была не настолько сильна, чтобы заставить и бросить все и ѣхать къ сыну, что другое чувство пересиливало въ ней эту привязанность». Анна, говоря съ Долли, только что не хочетъ сказать, что она жмурится оттого, что любитъ два существа—Вронскаго и Сережу, но знаетъ въ то же время, что соединить ихъ вмѣстѣ она не можетъ, что хотя-бы мужъ и отдалъ ей сына, она все равно не можетъ взять его себѣ, не можетъ быть съ нимъ, не вытѣснивъ прежде изъ своего сердца любовь къ Вронскому или, по крайней мѣрѣ, не разставшись съ нимъ, потому что въ головкѣ Сережи, уже не дѣтской, а отроческой, возникла-бы цѣлая масса вопросовъ, на которые ему нельзя-бы было дать отвѣта, но которые продолжали-бы его мучить. Анна говорила, что чувства ея къ сыну и Вронскому были равны; можетъ быть, это дѣйствительно было такъ, и, вѣроятно, именно вслѣдствіе этого и выхода не было «Я получу согласіе, — отвѣчала она Долли, когда та завела-было разговоръ о томъ, какъ-бы имъ выйти изъ ихъ положенія,—а сынъ... сынъ? Вѣдь они не отдадутъ мнѣ его. Вѣдь онъ вырастетъ, презирая меня, у отца, котораго я

бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоихъ больше себя, два существа—Сережу и Алексѣя... Только эти два существа я люблю, и одно исключаетъ другое. Я не могу ихъ соединить, а это лишь одно нужно. А если этого нѣтъ, то все равно. Все, все равно.. Ты не презирай меня. Я не стою презрѣнія. Я... несчастна». Да. сынъ, котораго она любила, въ которомъ видѣла когда-то оберегъ отъ всего, сталъ для нея невозможенъ; въ силу этого она и не любила дѣвочку, которая являлась какою-то преградой между нею и сыномъ. Долли ѣхала къ Аннѣ, чтобы вознаградить себя поэзіею ея жизни за прозу собственнаго положенія, но эта поэзія стала для нея невыносима на другой-же день, и она поторопилась домой. Анна знала, говоритъ Л. Н. Толстой, что теперь, съ отъѣздомъ Долли, никто уже не растревожитъ въ ея душѣ тѣ чувства, которыя поднялись въ ней при этомъ свиданіи; но она все-таки знала, что это была лучшая часть ея души и что эта часть ея души быстро заростала въ той жизни, которую она вела. Быстро заростала та часть ея души, въ которой была затаена ея любовь къ сыну. Гр. Толстой показываетъ намъ, какъ трудно рѣшаются подобные жизненные вопросы. Въ романѣ Авдѣева «Подводный камень», гдѣ дѣйствующія лица находятся въ подобномъ-же положеніи, все дѣло рѣшается очень легко; легко рѣшала ихъ и наша тогдашняя критика, но Л. Н. Толстой глубже заглядываетъ въ душу человѣка. Онъ дастъ намъ заглянуть и въ душу мальчика: «Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ Сережа видѣлъ въ послѣдній разъ свою мать. Съ того времени онъ никогда не слыхалъ болѣе про нее». (Она было ворвалась къ нему, но пробыла всего нѣсколько минутъ, боясь, что ее тутъ застанутъ). Чтобы окончательно изгладить изъ его памяти всякое воспоминаніе о матери, гр. Лидія научила всѣхъ окружающихъ говорить ему, что мать умерла, но Сережа не вѣрилъ этому.

Между тѣмъ, онъ былъ отданъ въ школу, узналъ и полюбилъ товарищей: «Тѣ мечты и воспоминанія о матери, которыя послѣ свиданія съ нею сдѣлали его боль-

нымъ, теперь уже не занимали его. Когда онѣ приходили, онъ старательно отгонялъ ихъ отъ себя, считая ихъ постыдными и свойственными только дѣвочкамъ, а не мальчику и товарищу». Онъ думалъ найти исходъ своему чувству къ матери въ дружбѣ съ товарищами, утѣшая себя тѣмъ, что это не сентиментально и достойно мальчика. «Онъ зналъ, что между отцомъ и матерью была ссора, разлучившая ихъ, зналъ, что ему суждено оставаться съ отцомъ, и старался привыкнуть къ этой мысли». Какъ онъ зналъ это? Богъ вѣдаетъ: должно быть, дѣтское чутье подсказало. Какъ глубоко трогало это его дѣтское сердце, доказываетъ сцена съ дядей — Облонскимъ. Увидѣвъ Сережу, Облонскій обратился къ нему съ вопросомъ: «А ты помнишь мать?» — «Нѣтъ, — отвѣчалъ мальчикъ, — не помню... Оставьте меня! Помню, не помню... Какое мнѣ дѣло? Зачѣмъ мнѣ помнить? оставьте меня въ покоѣ», — обратился онъ уже не къ гувернеру, а ко всему свѣту. Оставьте меня! Оставьте меня! Какое вамъ дѣло до того, что я брошенъ — сильнѣе выразить сознаніе своей сиротливости едва-ли возможно. Но не такимъ-же ли сиротою былъ-бы Сережа, если-бы даже и остался съ матерью? Не стоялъ-ли бы вѣчнымъ разлучникомъ между ними этотъ кто-то чужой?

Посмотримъ теперь, чего достигла Анна. Пожертвовавъ однимъ изъ тѣхъ двоихъ, кого она такъ любила, нашла-ли она счастье или, по крайней мѣрѣ, дала-ли его тому, ради котораго отреклась отъ сына? Отдавъ ему сама слишкомъ много, она и отъ него требовала того-же; живя только любовью къ нему, привязавъ свою жизнь къ нему одному, она хотѣла, чтобы и у него не было также иныхъ привязанностей и интересовъ, кромѣ нея и заботъ о ней; она ревновала его даже къ занятіямъ. Анна сама чувствовала, что одною любовью жить нельзя, но сознавала въ то же время, что поправить дѣло и поставить жизнь на иныя основанія слишкомъ поздно. «Для нея весь онъ со всѣми его привычками, мыслями, желаніями... было одно — любовь и эта любовь, по ея чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной. Любовь эта

уменьшилась; слѣдовательно, по ея разсужденію, онъ долженъ былъ часть любви перенести на другихъ или на другую женщину, и она ревновала». Любовь въ сущности совсѣмъ не уменьшилась; онъ только искалъ дѣятельности, сознавая, что одной любовью жить нельзя, чувствуя, что уйти весь въ одно чувство онъ не можетъ. Положеніе, какъ ея, такъ и его, становилось невыносимымъ. Онъ чувствовалъ, что не въ силахъ болѣе удовлетворить ея требованіямъ, она-же не могла выйти изъ-подъ вліянія мысли, какою цѣною купила его, и хотѣла, чтобы и онъ дорогой цѣной заплатилъ ей за ея жертву ради него. Въ разговорѣ съ нею онъ положительно долженъ былъ взвѣшивать каждое слово, рискуя иначе возбудить ея ревность и заставить ее мучить какъ себя, такъ и его.

Такъ, напримѣръ, онъ самъ однажды въ откровенную минуту сказалъ ей, что его мать такъ мало понимаетъ его, что позволила себѣ уговаривать его жениться на кн. Сорокиной. По ея мнѣнію, это прямо значило, что онъ хочетъ ухватиться за первый удобный случай, чтобы выйти изъ своего тяжелаго положенія. Сцена, описываемая тутъ гр. Толстымъ, могла бы показаться даже мелодраматическою въ передачѣ другого лица, но не представляется таковою, если читать послѣдовательно весь романъ—такъ глубоко и такъ умѣло ведется тутъ авторомъ психическій анализъ его героевъ.

Измученная различными сомнѣніями и подозрѣніями, Анна ѣдетъ на желѣзную дорогу, по которой уѣхалъ Вронскій:—что она будетъ тамъ дѣлать, Анна и сама не знаетъ. Когда она проѣзжаетъ по московскимъ улицамъ, то все, встрѣчающееся ей на пути, наводитъ ее на ея собственныя мысли: «Да, о чемъ я о послѣднемъ такъ хорошо думала? Тютькинъ coiffeur? Нѣтъ, не то. Да, про то, что, говорятъ, борьба за существованіе и ненависть одно, что связываетъ людей. Нѣтъ, вы напрасно ѣдете,—мысленно обратилась она къ компаніи въ колескѣ четверней, которая, очевидно, ѣхала веселиться за городъ,—и собака, которую вы везете съ собой, не поможетъ вамъ. *Отъ себя не уйдете...*» Ей ка-

жется, что никто отъ себя не уйдетъ, потому что сама она отъ себя уйти не можетъ... «Да, нищая съ ребенкомъ,—продолжаетъ она размышлять:—Она думаетъ, что жалко ее. Развѣ всѣ мы не брошены на свѣтъ затѣмъ только, чтобы ненавидѣть другъ друга и потому мучить себя и другихъ? Гимназисты идутъ, смѣются. Сережа?—вспомнила она: — я тоже думала, что любила его и умилялась надъ своею нѣжностью. А жила же я безъ него, промѣняла же его на другую любовь и не жаловалась на этотъ промѣнъ, пока удовлетворялась той любовью». И она съ отвращеніемъ вспомнила про то, что называла «той любовью». Вотъ въ такомъ-то перепутанномъ настроеніи получаетъ она отвѣтъ на свою телеграмму къ Вронскому, отвѣтъ не довольно ясный, который, въ соединеніи съ ея собственнымъ душевнымъ состояніемъ, и заставляетъ ее, наконецъ, положить голову на рельсы. Она ѣхала сюда безъ опредѣленнаго намѣренія покончить съ собою именно такъ, но какъ бы то ни было, не тутъ, такъ какъ-нибудь иначе, тотъ, или другой родъ смерти приходилось избрать: другого выхода ей не представлялось.

Послѣ смерти Анны Алексѣй Александровичъ и Вронскій дѣйствуютъ подъ вліяніемъ того чувства, которое сказалось въ нихъ во время ея болѣзни. Каренинъ пріѣзжаетъ на похороны къ Аннѣ и беретъ безпріютную дѣвочку къ себѣ; Вронскій ѣдетъ добровольцемъ въ Сербію. Если эпиграфомъ къ «Аннѣ Карениной» послужило: «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ», то Алексѣю Александровичу и Вронскому можно бы было воскликнуть: «ты побѣдилъ, Галилеянинъ!»

VII.

Левинъ и самопризнанія гр. Л. Н. Толстого [1]).

Къ другому роману, который ведется Л. Н. Толстымъ параллельно съ выше разобраннымъ,—роману между Китти и Левинымъ, мы возвращаться не будемъ, а обратимся къ личности *Левина*. На Левинѣ гр. Толстой останавливается съ любовью, и онъ часто высказываетъ то, что думаетъ самъ гр. Л. Н. Толстой. Въ той части «*Анны Карениной*», которая не была напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ», отъ лица Левина говорится то, что мы встрѣчаемъ и въ личной исповѣди автора. Но тѣмъ не менѣе въ Левинѣ есть и черты, которыя обнаруживаютъ въ немъ московскаго барича, а въ самомъ гр. Л. Н. Толстомъ этого нѣтъ, слѣдовательно, вполнѣ субъективнымъ лицомъ Левина назвать нельзя. Достоевскій, характеризуя Левина, называетъ его философствованія и колебанія «праздношатайствомъ». Вообще сужденія Достоевскаго объ «*Аннѣ Карениной*» распадаются на двѣ части: къ самому роману онъ относится въ высшей степени благопріятно, но въ то же время совершенно выдѣляетъ изъ него Левина и разсматриваетъ его какъ нѣчто особенное, не имѣющее связи со всѣмъ остальнымъ. И дѣйствительно, Левинъ со своей практической философіей не представляетъ связи съ романомъ, но въ немъ есть нѣчто, сближающее его съ Анной—это его умствованія, которыя чуть было не довели его до того, до чего дошла она, хотя его, конечно, руководили иные мотивы. Подобно тому, какъ Анна жмурилась, стараясь отогнать отъ себя неотвязныя мысли, такъ же приходилось «жмуриться» и Левину, чтобы забыть мучившіе

[1]) Изъ тѣхъ же университетскихъ лекцій 1882 г. со включеніемъ большой части статьи, напечатанной въ «Новомъ Времени» 1877 г. по появленіи въ свѣтъ послѣдней части «Анны Карениной».

его неразрѣшимые вопросы. Но какъ ей, такъ и ему это вовсе не помогало. Мучительные вопросы по прежнему не оставляли его въ покоѣ и по прежнему оставались недоступными уму. А между тѣмъ, только ихъ рѣшеніе и было для него важно, только эти вопросы и имѣли для него цѣну; все остальное въ сравненіи съ ними не стоило ничего, и, если ихъ нельзя рѣшить, то и жить не стоитъ. Вотъ въ чемъ онъ выразитель взглядовъ самого гр. Толстого. Оба думали было, что они нашли рѣшеніе этихъ вопросовъ въ народѣ, въ его вѣрѣ, въ его «правдѣ» и успокоились на этомъ. Но оказывается, что это имъ только показалось...

Посмотримъ, что говоритъ объ этомъ произведеніи Ѳ. М. Достоевскій [1]). Онъ приводитъ свой разговоръ, повидимому, съ г. Гончаровымъ, который высказалъ по поводу «*Анны Карениной*», что это вещь неслыханная, что не только у насъ, но что и во всѣхъ европейскихъ литературахъ «за всѣ послѣдніе годы и далеко раньше того» не было произведенія, которое можно бы было поставить съ нею рядомъ. Отправляясь отъ этого разговора съ Гончаровымъ, Достоевскій говоритъ, что сущность «Анны Карениной», главный интересъ этого романа состоитъ въ томъ взглядѣ, который проводится тутъ авторомъ «на виновность и преступность человѣческую». Вопросъ этотъ рѣшается русскимъ авторомъ совсѣмъ не такъ, какъ рѣшали его до сихъ поръ писатели иностранные. «Въ Европѣ,—говоритъ Достоевскій,—этотъ вопросъ повсемѣстно рѣшается двоякимъ образомъ. Первое рѣшеніе состоитъ въ слѣдующемъ: законъ данъ, написанъ, формулованъ, составлялся тысячелѣтіями. Зло и добро тамъ опредѣлено и взвѣшено, размѣры и степени опредѣлялись историческими мудрецами человѣчества, неустанной работой надъ душой человѣчества и высшей научной разработкой надъ степенью единительной силы человѣчества въ общежитіи. Этому выработанному кодексу повелѣвается слѣдовать слѣпо. Уклоненіе отъ того

[1]) «Дневникъ писателя», іюль и августъ 1877 года. Глава вторая.

или другого правила этого кодекса влечетъ за собой наказаніе. Другой взглядъ состоитъ въ томъ, что этотъ кодексъ никуда не годится и что уклоненіе отъ него есть не преступленіе, а протестъ, проявленіе воли. Съ точки зрѣнія этого направленія, такъ какъ общество вообще устроено ненормально, то и нельзя спрашивать съ единицъ людскихъ за послѣдствія. Стало быть, преступникъ безотвѣтственъ, и преступленія пока не существуетъ». Такимъ образомъ, чтобы покончить съ преступленіями, нужно переустроить общество; но такъ какъ лѣчить существующій порядокъ вещей долго и безнадежно, то слѣдуетъ разрушить все общество, уничтожить все старое и затѣмъ начать все новое на иныхъ началахъ, еще неизвѣстныхъ, но которыя все же не могутъ быть хуже теперешняго порядка, напротивъ, заключаютъ въ себѣ много шансовъ успѣха. Главная надежда возлагается на науку. И такъ, вотъ это второе рѣшеніе: «будутъ будущаго муравейника, а пока зальютъ міръ кровью». Другихъ рѣшеній о виновности и преступности людской западно-европейскій міръ не представляетъ. «Во взглядѣ же русскаго автора, — говоритъ Достоевскій,—на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейникъ, никакое торжество четвертаго сословія, никакое уничтоженіе бѣдности, никакая организація труда не спасутъ человѣчество отъ ненормальности, а слѣдственно и отъ виновности, и отъ преступности». «Гр. Толстой огромной психологической разработкой человѣческой души доказываетъ, что зло таится въ человѣчествѣ гораздо глубже, чѣмъ предполагаютъ лѣкаря и соціалисты, что корень его лежитъ не въ томъ или другомъ устройствѣ общества, а въ душѣ человѣка, въ его «я» и что исходъ нужно искать не въ переустройствѣ общества или государства, но въ обновленіи самого человѣчества, во введеніи въ сердце человѣчества принципа любви и всепрощенія». «Онъ, говоритъ Достоевскій,—геніально начѣтъ, поэтомъ въ геніальной сценѣ романа еще въ предпослѣдней части его, въ сценѣ смертельной болѣзни

героини романа, когда преступники и враги вдругъ преображаются въ существа высшія, въ братьевъ, все простившихъ другъ другу, въ существа, которыя сами взаимнымъ всепрощеніемъ сняли съ себя ложь, вину и преступность, и тѣмъ разомъ сами оправдали себя съ полнымъ сознаніемъ, что получили право на то». Въ рѣшеніи этого вопроса Толстой и Достоевскій сошлись вполнѣ. Но Левинъ никакъ не укладывался въ голову Ѳедора Михайловича. Въ личности Левина Достоевскій находилъ много субъективнаго и такого, къ чему самъ сочувственно относиться не могъ. И дѣйствительно, между взглядами Левина и взглядами самого гр. Толстого есть несомнѣнное сродство. Левинъ, главнымъ образомъ, противополагается *Кознышеву*, при чемъ Кознышевъ представляется ищущимъ связи съ народомъ теоретически, Левинъ же практически. Онъ является сначала у гр. Толстого тѣмъ, имъ излюбленнымъ, типомъ культурнаго человѣка, который хочетъ вырваться изъ своей среды, ищетъ обновленія у народа. Но Левинъ не бросаетъ своего прямого дѣла, своихъ обязанностей хозяина, не проводитъ время въ однихъ исканіяхъ, но, напротивъ, берется за дѣло и дѣлаетъ даже, пожалуй, больше, чѣмъ нужно—вотъ его разница отъ другихъ типовъ того же рода. На-ряду съ нимъ ставится его сводный братъ, Кознышевъ—теоретикъ, который ставитъ народъ на пьедесталъ, но, въ сущности, не знаетъ его. Сопоставленіе этихъ двухъ лицъ проводится гр. Толстымъ весьма послѣдовательно, при чемъ Левину отдается преимущество. «Для Левина,—говоритъ Толстой.—деревня была мѣсто жизни, т.-е. радости, страданій, труда; для Сергѣя Ивановича деревня была, съ одной стороны, отдыхъ отъ труда, съ другой, полезное противоядіе испорченности, которое онъ принималъ съ удовольствіемъ...» Такъ что, собственно говоря, Сергѣй Ивановичъ и является представителемъ прежняго типа, а Левинъ выдѣляется своими особенными чертами. «Отношеніе Сергѣя Ивановича къ народу нѣсколько коробило Левина, для котораго народъ былъ только главный учи-

стиях въ общемъ трудѣ; несмотря на все уваженіе и какую-то кровную любовь къ мужику, онъ, иногда приходившій въ восхищеніе отъ силы, кротости, справедливости этихъ людей, очень часто... приходилъ въ озлобленіе на народъ за его безпечность, неряшливость, пьянство, ложь...»

«Онъ любилъ и не любилъ народъ такъ же, какъ вообще людей... Но любить или не любить народъ, какъ что-то особенное, онъ не могъ, потому что не только жилъ съ народомъ, не только всѣ его интересы были связаны съ народомъ, но онъ считалъ и самого себя частью народа... И не могъ противопоставлять себя народу». Онъ пришелъ къ тому заключенію, что надо дѣлать то, что дѣлаетъ народъ, т.-е. работать въ полѣ, и Левинъ дѣйствительно работалъ въ прямомъ смыслѣ этого слова, а не такъ, какъ старичокъ декабристъ у Некрасова. Но, спрашивается, требуетъ ли этого народъ? Кознышевъ, желая подорвать теорію Левина, задѣть его за живое, говоритъ, что выполнять черную работу не трудно, когда знаешь, что, придя домой, найдешь хорошій, сытный столъ и полный отдыхъ и что въ силу этого между его трудомъ и трудомъ мужика, который питается какой-нибудь тюрей, громадная разница. Чтобы окончательно провести свое, Левинъ наѣдается мужицкой тюри и чувствуетъ себя необыкновенно хорошо. Это напоминаетъ Пьера, который съѣдаетъ съ солдатами ихъ кавардачокъ и тоже удивительно счастливъ, полагая, что этимъ онъ сближается съ народомъ. Но Левинъ откровенно сознается, что онъ желаетъ сблизиться съ народомъ и исполняетъ черную работу для себя, а не ради народа: его обижало мнѣніе, составленное народомъ о барахъ, что они ничего не дѣлаютъ, и вотъ онъ ради опроверженія этого мнѣнія и принялся за работу.

Такимъ образомъ онъ объясняетъ все чисто личными мотивами. Кознышевъ возражаетъ ему, что этой теоріей личнаго счастья всего объяснять нельзя, что вѣдь работалъ же онъ для крестьянъ въ смыслѣ освобожденія ихъ. Левинъ отвѣчаетъ, что онъ работалъ тутъ, потому что

ему хотѣлось сбросить съ себя ярмо, которое его тяготило. (Вспомнимъ кн. Андрея). Левинъ идетъ даже далѣе: онъ сознается, что кое-что обременительное для совѣсти еще остается и хотя «считать передѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда чувствуетъ несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя *вполнѣ правымъ*, онъ хотя прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь *будетъ еще больше работать и еще меньше будетъ позволять себѣ роскоши*». Онъ полагаетъ, что если будетъ жить скромнѣе, то вина его передъ народомъ уменьшится. Но спрашивается, если онъ будетъ позволять себѣ менѣе роскоши, то куда употребитъ онъ свои средства, которыя въ такомъ случаѣ будутъ оставаться у него еще въ большемъ количествѣ, а если онъ ограничится только тѣмъ, что будетъ жить скромнѣе и прятать свои избытки, то будетъ ли отъ этого легче народу?

Допустимъ затѣмъ, что онъ будетъ трудиться и работать въ такой же мѣрѣ, какъ мужики; вѣдь этимъ уменьшится заработокъ мужика; спрашивается, будетъ ли отъ этого легче народу?

Замѣчательно, что Левинъ разсуждаетъ еще и такъ: «Мнѣ все-таки досадно и обидно видѣть это со всѣхъ сторонъ совершающееся обѣдненіе дворянства, къ которому я принадлежу, и, несмотря на сліяніе сословій, *очень радъ, что принадлежу... и обнищаніе не вслѣдствіе роскоши, это бы ничего*; прожить по-барски,—это дворянское дѣло, это только дворяне умѣютъ». Такимъ образомъ онъ, несмотря на то, что работаетъ вмѣстѣ съ мужикомъ, все же является представителемъ все той же comme il faut'ности: на то и дворяне, чтобы умѣть пожить роскошно.

«Теперь мужики около насъ скупаютъ земли. Мнѣ не обидно. *Баринъ ничего не дѣлаетъ, мужикъ работаетъ и вытѣсняетъ праздкаго человѣка*. Такъ должно быть». (Теорія труда для барина такъ же, какъ и для мужика). Но «тутъ арендаторъ полякъ купилъ за полцѣны у барыни,

которая живетъ въ Ниццѣ, чудесное имѣніе. Тутъ отдаютъ землю въ аренду за рубль десятину земли, которая стоитъ 10 рублей. Это обидно».

Но почему же эти арендаторы разоряютъ баръ?—опять потому, что баре «ничего не дѣлаютъ», а живутъ въ Ниццѣ или гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ Европы, но вѣдь это и есть ихъ «барское дѣло»? Левинъ тутъ не договариваетъ: народъ для него важенъ по отношенію къ нему самому: онъ заимствуется у народа, а о самомъ народѣ не думаетъ,—на то у него теорія личнаго счастья.

Въ романѣ есть эпизодическое лицо—Весловскій. Онъ нравился Левину, говоритъ гр. Толстой, «своимъ хорошимъ воспитаніемъ, отличнымъ выговоромъ на французскомъ и англійскомъ языкахъ и тѣмъ, что онъ *былъ человѣкъ его міра*». Послѣ этого трудно не согласиться съ мнѣніемъ Достоевскаго, который говоритъ: «Левинъ любитъ себя называть народомъ, но это баричъ, московскій баричъ средне-высшаго круга, историкомъ котораго и былъ по преимуществу гр. Л. Толстой». Несмотря на всѣ его теоріи, на всю его дѣятельность, говоритъ Достоевскій, въ немъ «остается оттѣнокъ чего-то, что можно назвать *праздношатайствомъ*, тѣмъ самымъ праздношатайствомъ физическимъ и духовнымъ, которое, какъ онъ ни крѣпись, а все же досталось ему по наслѣдству и которое ужъ, конечно, видитъ во всякомъ баричѣ народъ, благо не нашими глазами смотритъ». Въ силу чего же позволяется Левину выражать взгляды самого автора, несомнѣнно его взгляды, потому что они повторяются въ послѣднихъ, чисто субъективныхъ произведеніяхъ графа Толстого?

Но въ воззрѣніяхъ Левина совершается какъ бы переворотъ. Сначала онъ относился къ Кознышеву съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, но впослѣдствіи самъ Левинъ говоритъ, что онъ завидуетъ брату, потому что братъ лучше его, такъ какъ онъ живетъ не для себя, а «жизнь его подчинена долгу». По отношенію къ религіи Левинъ таковъ, какъ и всѣ люди его круга. Гр. Толстой сообщаетъ намъ, что въ ихъ кругу религія не только

признается, но даже считается необходимою принадлежностью comme il faut'ности; конечно, это религіозность чисто формальная, не только неспособная дать почву для истинной вѣры, а, напротивъ, скорѣе подрывающая ее. Подъ вліяніемъ воспитанія, а также и книгъ, прочитанныхъ имъ безъ разбора и безъ критическаго отношенія къ нимъ, Левинъ былъ сбитъ съ религіозной почвы. Онъ желалъ возвратить себѣ религіозныя основы теоретически, но это ему не удается и онъ мучится постоянными сомнѣніями. Это такъ волнуетъ его, что, дѣлая предложеніе Китти, онъ считаетъ необходимымъ сообщить ей, что онъ человѣкъ невѣрующій. Но извѣстно, что Китти приняла это заявленіе довольно равнодушно, ее гораздо болѣе обезпокоило другое его признаніе, которое онъ также считаетъ своимъ долгомъ сдѣлать ей, т.-е. что онъ любитъ ее не первую.

Но самъ Левинъ не можетъ примириться со своимъ невѣріемъ; исканіе религіи сказывается въ немъ по прежнему. «Пожалуй онъ и былъ убѣжденъ,—говоритъ Толстой,—что объясненія, даваемыя религіей, несправедливы, но онъ не былъ убѣжденъ, чтобы тѣ вопросы, на которые религія давала объясненія, были праздные вопросы». То, что даетъ наука, отвѣчаетъ, по его мнѣнію, на вопросы побочные; но вопросы, которые издавна ставятся человѣчествомъ, которые болѣе всего тревожатъ его, вопросы: откуда я, и куда, и зачѣмъ я, существенные для всѣхъ, не рѣшены цивилизаціей, между тѣмъ, отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ рѣшеніе того, какъ нужно жить? Онъ видитъ нормальнаго человѣка въ братѣ и завидуетъ ему, но, въ то же время, у него возникаетъ вопросъ: есть ли смыслъ въ жизни не для себя? Теорія личнаго счастья, такъ логично проводимая имъ, въ сущности не удовлетворяетъ его; онъ не можетъ остановиться на ней. Все, даваемое наукой, все доступное кажется ему не важнымъ, все же недоступное пріобрѣтаетъ въ его глазахъ все болѣе и болѣе важности и наконецъ онъ приходитъ къ тому заключенію, что безъ рѣшенія этихъ основныхъ вопросовъ не стоитъ и жить.

Къ рѣшенію мучительныхъ вопросовъ Левинъ приходитъ совершенно случайно: его наводитъ на это рѣшеніе мужикъ Ѳедоръ, съ которымъ онъ разговорился по поводу земли, отдаваемой имъ внаймы. Левинъ спросилъ, не возьметъ ли землю на будущій годъ Платонъ, богатый и хорошій мужикъ...—Цѣна дорога, Платону не выручить, Константинъ Дмитріевичъ,—отвѣчалъ мужикъ...—Да какъ же Кирилловъ выручаетъ?—Митюхѣ, Константинъ Дмитріевичъ, какъ не выручить! Этотъ нажметъ, да свое выберетъ. Онъ крестьянина не пожалѣетъ, а дядя Фоканычъ (такъ онъ зоветъ старика Платона) развѣ станетъ драть шкуру съ человѣка? Гдѣ въ долгъ, гдѣ и спуститъ. Анъ и не доберетъ. Тоже человѣкомъ.—Да зачѣмъ же онъ будетъ спускать?—Да такъ, значитъ—люди разные; одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, а Фоканычъ правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнитъ.—Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ?—почти вскрикнулъ Левинъ.

Онъ въ первый разъ догадался, что «можно жить почеловѣчески и можно жить по-Божью; неясныя, но значительныя мысли толпою какъ будто бы вырвались откуда-то изъ заперти и, всѣ стремясь къ одной цѣли, закружились въ его головѣ, ослѣпляя его своимъ свѣтомъ». Мысли эти приходятъ къ такому выводу: «если добро имѣетъ причину, оно уже не добро; если оно имѣетъ послѣдствіе — награду, оно тоже не добро. Стало быть добро внѣ цѣпи причинъ и слѣдствій». А это приводитъ Левина еще къ такому заключенію: «разумъ открылъ борьбу за существованіе и законъ, требующій того, чтобы душить всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это неразумно».

Не будемъ останавливаться на томъ, дѣйствительно ли законъ душенія всѣхъ вытекаетъ изъ *разума*, или-же у автора тутъ нѣкоторое смѣшеніе понятій, приводящее къ тому, что онъ говоритъ: *разумъ* — тамъ, гдѣ-бы слѣ-

довало сказать: *разсудокъ* [1]). Не подлежитъ сомнѣнію, что добро можетъ быть выкидываемо за бортъ даже при высокой степени развитія умственнаго, и что, напротивъ того, простой здравый смыслъ и непосредственное чувство могутъ служить вполнѣ достаточною опорою для добра въ душѣ совершенно неразвитого человѣка. Мы имѣли возможность самымъ наглядымъ образомъ убѣдиться въ этомъ по политическимъ событіямъ 70-хъ годовъ. Но авторъ относится къ нимъ совершенно не такъ, какъ можно-бы ожидать на основаніи его-же теоріи, заимствованной у здраваго смысла и человѣческаго чувства простого народа. Дѣло въ томъ, что теорія такъ и остается у него *теоріей*—головнымъ добромъ, тогда какъ у народа она вмѣстѣ съ тѣмъ и *практика*—живое, непосредственное добро. Но просвѣщающійся отъ народа Левинъ рѣшительно не умѣетъ этого понять. Заходитъ рѣчь о стремленіи добровольцевъ въ Сербію. Увлекаясь этимъ стремленіемъ, Сергѣй Ивановичъ напрасно старается растолковать Левину всю разумность его. «Убиваютъ братьевъ, единокровныхъ и единовѣрцевъ,—говоритъ онъ.—Ну, положимъ, даже не братьевъ, не единовѣрцевъ, а просто дѣтей, женщинъ, стариковъ, чувство возмущается, и русскіе люди бѣгутъ, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себѣ, что ты бы шелъ по улицѣ и увидалъ-бы, что пьяные бьютъ женщину или ребенка; я думаю, ты не сталъ-бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человѣку, а ты бы бросился на него и защитилъ-бы обижаемаго». — Но не убилъ-бы,—сказалъ Левинъ.—«Нѣтъ, ты бы убилъ».—Я не знаю. Если-бы я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но впередъ сказать я не могу. И такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть.

Въ этихъ словахъ—весь Левинъ, съ чего-то вдругъ вообразившій себя ученикомъ народа!

---

[1] На это очень убѣдительно указалъ М. С. Громека въ своей прекрасной книгѣ по поводу «Анны Карениной».

Вскорѣ послѣ того его жена съ ребенкомъ пошла въ [illegible], и на небѣ появились всѣ признаки близкой грозы. Одна мысль о томъ, что ихъ можетъ промочить дождемъ, устремила его на помощь къ нимъ съ пледомъ и зонтикомъ. Это, конечно, чувство непосредственное. Знай онъ, что его жена можетъ быть ограблена или что ей вообще грозитъ грубая сила, онъ бы бросился ей на помощь, если-бы даже, упорствуя въ своей теоріи, онъ и сталъ увѣрять, что не сдѣлалъ-бы этого, но на дѣлѣ, разумѣется, сдѣлалъ-бы. Да, онъ бросился-бы на помощь своимъ и не съ зонтикомъ, а съ револьверомъ, и, конечно, не задумался-бы даже убить насильника. Это было-бы опять непосредственное чувство. А вся непосредственность тутъ въ томъ, что это—его жена, его ребенокъ, что это *близкія* ему существа, которыя, и отсутствуя, всегда передъ нимъ, такъ что, слѣдя за ними мыслью и воображеніемъ, онъ какъ-бы самъ переживаетъ все то, что переживаютъ они. Такъ непосредственно относиться къ какимъ-то теряющимъ что-то тамъ далеко славянамъ Левинъ не въ состояніи. Народъ-же, напротивъ того, въ состояніи. Господа Левины никакъ не могутъ этого понять и самоувѣренно утверждаютъ, что въ народѣ этого нѣтъ и быть не можетъ. Они рады, по ихъ словамъ, что и «кромѣ ихъ есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями славянами. Напрасно ихъ увѣряютъ, что народъ интересуется даже не братьями славянами, а просто людьми, что онъ, такъ глубоко извѣдавшій горе, до крайности чутокъ къ *чужому горю*, что хранитъ эту чуткость и называется у него *жить по-Божью*, а лишиться этой чуткости, «интересоваться только Россіей», т.-е. на повѣрку, только своею хатой, что это и называется *жить для брюха*. А гг. Левины самоувѣренно утверждаютъ, будто народу «сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло въ церкви, ну, они вынули по копѣйкѣ и дали. А на что,—они сами не знаютъ». Недавнимъ ученикамъ народа, стало быть, кажется, что народъ даетъ туно ради спасенья *своей души*, т.-е. ради небесной награды. Но на что-же, въ такомъ случаѣ,

было имъ увѣрять, будто они выучились у того-же народа, что если добро имѣетъ слѣдствіе, *награду*, оно уже не добро? Видно, они попрежнему считаютъ въ самомъ дѣлѣ *неразумнымъ* любить другого, т.-е. *чужого*, того, съ кѣмъ они непосредственно ничѣмъ не связаны, если имъ никакъ не вѣрится, что народъ, въ самомъ дѣлѣ, представляетъ себѣ такъ живо чужую бѣду за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ! То головное, теоретическое добро, дальше котораго не идутъ они, и внушаетъ имъ самоувѣренное резонерство, что «народъ жертвуетъ и готовъ жертвовать для своей души, а не для убійства». (Такъ называютъ они войну). Въ сущности эгоисты, они готовы приписать и народу благоразумное благодушничанье во имя общаго мира, мира, несмотря ни на что, т.-е. мирволенья чему-бы то ни было, только-бы не замутить голубиной своей чистоты и кротости, т.-е. своего покоелюбія. Втягиваясь по горло въ готовую облобызать весь міръ маниловщину, способную даже и въ волкѣ усмотрѣть овцу, только-бы не понадобилось того, что безмятежная, т.-е. праздно себялюбивая ихъ душа называетъ «убійствомъ и мщеніемъ», они не умѣютъ понять, что въ народѣ можно, пожалуй, найти всевозможные типы, только не типъ Манилова. Напрасно думаютъ ихъ надоумить: «Я не миръ, а мечъ принесъ»,—говоритъ Христосъ. Это евангельское мѣсто, просто, какъ «будто бы самую понятную вещь», приводитъ Левину Сергѣй Ивановичъ, не зная, вѣроятно, что это то самое мѣсто, «которое всегда болѣе всего смущало Левина». Между тѣмъ, народъ, къ которому, соскучившись у философовъ, вздумалъ онъ поступить на выучку, можетъ быть, вовсе не зная этого текста, т.-е. не прислушавшись къ нему въ церкви, вполнѣ проникнутъ его внутреннимъ духомъ, духомъ борьбы за добро. Нѣтъ, напрасно гг. Левины воображаютъ себя спустившимися до неразумной народной мудрости. Въ сущности, ихъ попрежнему тянетъ и будетъ тянуть на сторону благоразумныхъ тестюшекъ, различныхъ князей Щербатскихъ. Вѣдь изъ поддакиванья отцу своей супруги Левинъ и сталъ, въ виду нашихъ

добровольцевъ, благодушествовать на тему, что «война есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говорю уже христіанинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство»; вслѣдъ-же затѣмъ и благоразумничать на ту тему, что «въ восьмидесятимилліонномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію...» Вѣдь это столь-же глубокомысленно, какъ и утвержденіе тестя-князя, что «войну объявили Иванъ Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна съ мадамъ Шталь». Левины и князья Щербатскіе, очевидно, одного поля ягода. Имъ нужно только, чтобы не промокли ихъ Китти и Долли, чтобы можно было безпрепятственно совершать каждогодно путешествіе въ Ниццу или Карлсбадъ, ничѣмъ особенно не волнуясь и отгораживаясь отъ назойливо наступающихъ міровыхъ событій увѣреніемъ себя и другихъ, что это только праздныя затѣи какихъ-то политиканствующихъ графинь или карманные расчеты газетчиковъ, знающихъ, что «какъ только война, то имъ вдвое дохода». По мнѣнію Левиныхъ и Щербатскихъ, самое простое и легкое дѣло было-бы положить конецъ всѣмъ этимъ глупымъ проказамъ: стоитъ лишь объявить: «кто проповѣдуетъ войну—въ особый, передовой легіонъ и на штурмъ, въ атаку—впереди всѣхъ!»

Такова политика этихъ господъ. Но хороши и ихъ свѣдѣнія въ отечественной исторіи (хотя Левинъ учился гдѣ-то и читалъ не мало). Они остановились себѣ на преданіи о призывѣ варяговъ и построили на немъ такую философію русской исторіи въ лицахъ: «Княжите и владѣйте нами. Мы радостно обѣщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя, но не мы судимъ и рѣшаемъ». Левины и Щербатскіе точно никогда не читали, что пришлось-же народу «самому «судить и рѣшать», напримѣръ, при нашествіи на Москву Тохтамыша, когда въ ней не было ни лицъ

ни великаго князя, ни митрополита. Точно имъ никогда не разсказывали о томъ «судящемъ и рѣшающемъ» настроеніи народа, которое выразилось устами архіепископа Вассіана въ его посланіи къ Ивану III, во время его бездѣйствія во главѣ русской рати передъ ратью Ахмата. Точно будто-бы они никогда не слыхали о Смутномъ времени, конецъ которому положилъ именно «судящій и рѣшающій» голосъ всего народа, сумѣвшаго и выгнать врага, забравшагося въ самый Кремль, и спасти отъ него только-что избраннаго, по прекращеніи стараго царскаго рода, царя-юношу. Не зная или не желая знать всего этого, они пожимаютъ плечами, когда кто-нибудь, въ родѣ Сергѣя Ивановича, имъ увѣряетъ: «сознаніе своихъ судебъ всегда есть въ народѣ, и въ такія минуты, какъ нынѣшнія, оно выясняется ему». А все дѣло въ томъ, что эти «нынѣшнія минуты», вполнѣ существуя для народа, вовсе не существуютъ для нихъ, гг. Левиныхъ и Щербатскихъ. Они ни за что не хотятъ признать этихъ «нынѣшнихъ минутъ», потому что внутренно чувствуютъ себя застигнутыми ими врасплохъ. Но при этомъ они рѣшаются увѣрять, будто и для народа эти минуты не существуютъ. Съ больной головы на здоровую! Въ подкрѣпленіе Левину выставленъ у гр. Толстого старикъ пчельникъ, который присутствуетъ при спорѣ о войнѣ за христіанъ, «съ высоты своего роста глядя на господъ, очевидно, ничего не понимая и не желая понимать». На вопросъ Левина, что онъ объ этомъ думаетъ, онъ отвѣчаетъ въ такомъ смыслѣ, что «не ихъ ума это дѣло».

А что если этотъ старикъ пчельникъ посматриваетъ на всю эту мудрствующую компанію съ высоты не только своего роста, но и своего здраваго смысла? Что если онъ разсуждаетъ такъ: «стану я тутъ съ вами время терять! хоть вы и заговариваете и даже работаете съ мужикомъ, а вы все-таки—баре!»

Вспомнимъ, какъ глубоко былъ возмущенъ маниловскимъ барствомъ Левина тотъ, кто такъ высоко, однако, ставилъ «Анну Каренину»—Ѳ. М. Достоевскій. Вспомнимъ, что онъ въ «Дневникѣ писателя» представилъ себѣ

такую сцену. Стоитъ Левинъ съ ружьемъ и со штыкомъ, а въ двухъ шагахъ отъ него турокъ сладострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него въ рукахъ. Семилѣтняя сестренка мальчика кричитъ и какъ безумная бросается вырвать его у турка. И вотъ Левинъ стоитъ въ раздумьѣ и колеблется:

«Не знаю, что сдѣлать. Я ничего не чувствую. Я самъ народъ. Непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть».

«Нѣтъ, серьезно, что бы онъ сдѣлалъ послѣ всего того, что намъ высказали? Ну, какъ-бы не освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчасъ-же изъ рукъ злодѣя турка?

Да, вырвать, но вѣдь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?

— Ну, и толкни!

— Толкни! А какъ онъ не захочетъ отдать болѣе ребенка и выхватитъ саблю? Вѣдь придется, можетъ быть, убить турку?

— Ну, и убей!—Нѣтъ, какъ можно убить! Нѣтъ, нельзя убить турку. Нѣтъ, ужь пусть лучше онъ выколетъ глазки ребенку и замучаетъ его, а я уйду къ Китти».

Дѣло въ томъ, что человѣчность Достоевскаго была безхитростная человѣчность русскаго народа.

Припомнимъ эпизодъ изъ жизни народнаго героя Ильи Муромца. Собрался Илья къ пасхальной заутренѣ въ Кіевъ, а отецъ, благословляя его въ путь, говоритъ ему: «не помысли зломъ на татарина, не убей въ чистомъ полѣ христіанина». Илья ѣдетъ съ твердымъ намѣреніемъ исполнить завѣтъ отца. Подъѣзжаетъ къ Чернигову и видитъ, что городъ облегла со всѣхъ сторонъ сила татарская. Жители города каются, причащаются—съ жизнью прощаются. Жаль стало Ильѣ черниговцевъ, и онъ нарушилъ отцовскій завѣтъ. Понялъ богатырь, что менѣе грѣха истребить татаръ насильниковъ, чѣмъ спокойно имъ предоставить убивать и мучить черниговскихъ мужиковъ: онъ понялъ, что не помѣшать насилію все равно

что участвовать въ немъ. Словомъ, богатырь выполнилъ *духъ* отцовскаго завѣта, хотя и не соблюлъ его *буквы*. А Левинъ, говорящій, что онъ «тоже народъ», выдастъ за то же насиліе чисто оборонительное по отношенію къ ближнимъ, т.-е. самое законное употребленіе силы. Всякая война, даже прямо освободительная, для него только месть.

Онъ сопоставляетъ движеніе въ пользу славянъ съ революціей и коммуной на томъ основаніи, что то и другое имѣетъ своимъ мотивомъ «око за око» и «зубъ за зубъ». Но вѣдь въ славянскомъ движеніи «ока за око» не было, а было только стремленіе вырвать угнетеннаго изъ рукъ угнетателя. Революція-же съ терроромъ соединена именно съ местью. Тутъ одна логика: меня гнули въ бараній рогъ, и я буду гнуть, меня казнили, и я буду казнить. Гр. Толстой увѣряетъ, что то, что проповѣдуетъ Кознышевъ, т.-е. стремленіе изъять славянъ изъ рукъ турокъ, есть «гордость ума»; онъ не замѣчаетъ, что эта гордость ума присуща Левину болѣе чѣмъ кому-либо, потому что, протестуя противъ общаго единодушнаго движенія въ пользу славянъ, онъ хочетъ стать особнякомъ, хочетъ выдѣлиться изъ массы. Левинъ, какъ и многіе герои гр. Толстого, старается оставить свою среду и примкнуть къ народу, но ему, какъ и всѣмъ остальнымъ, это не удается: онъ слишкомъ гордъ для того.

Мы видѣли уже выше, что Сергѣй Ивановичъ приводитъ Левину: «Я не миръ, а мечъ принесъ». Это мѣсто изъ Евангелія всегда смущало Левина. Но вѣдь для избѣжанія такихъ смущающихъ текстовъ есть весьма простое средство — вычеркнуть то, что не нравится, или измѣнить, какъ это и сдѣлалъ самъ гр. Толстой въ своемъ сводѣ Евангелія. Исповѣдь, предпосланная этому труду, является замѣчательнымъ произведеніемъ по глубинѣ психологическаго анализа. Процессъ внутренняго броженія, происходившій въ Левинѣ, разсказывается здѣсь авторомъ прямо отъ своего лица [1]). Оцѣнка недостатковъ того,

---

[1]) Все это воспроизведено, какъ извѣстно, въ послѣднихъ главахъ этюда М. С. «Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого». Москва. 1885 г.

что дастъ раціонализмъ, сдѣланная имъ тутъ, блестяща. Мы видимъ, какъ на основаніи того, что онъ усомнился въ силахъ раціонализма, онъ чуть-было не пришелъ, (какъ и Левинъ) къ самоубійству. «Но вѣдь, если-бы всѣ стали заниматься этимъ вопросомъ, — разсуждаетъ гр. Толстой,—и всѣ бы должны были прійти къ самоубійству?» Только авторъ возражаетъ на это, что рѣшеніемъ этого вопроса занимаются лишь люди его класса,—другіе чужды тому. Но чѣмъ-же живутъ тѣ, которые чужды этимъ сомнѣніямъ? Гр. Толстой отвѣчаетъ, что они живутъ вѣрою. Онъ усомнился въ силахъ умственнаго развитія личности и пришелъ къ необходимости того, чѣмъ живутъ массы,—т.-е. къ необходимости вѣры. Но совпасть съ массой, съ народомъ вполнѣ гр. Толстой не можетъ: ему все-таки нужно остаться Л. Н. Толстымъ. И вотъ начинается его личная работа надъ основою вѣры—Евангеліемъ, и появляется перифразъ Евангелія, т.-е. собственно того, что ему понравилось тамъ. Этому предшествуетъ особое предисловіе, въ которомъ гр. Толстой говоритъ, что перечелъ Евангеліе и пришелъ къ тому заключенію, что Евангелія до сихъ поръ никто не понималъ, что искаженія его начались будто-бы уже со временъ древнѣйшихъ. То, что существуетъ теперь въ видѣ ученія вѣры, представляетъ изъ себя зарытую въ мѣшкѣ жемчужину, которую онъ, гр. Толстой, будто-бы первый нашелъ и передаетъ человѣчеству. Затѣмъ сообщается перифразъ Евангелій во вкусѣ гр. Толстого. Чѣмъ собственно руководился авторъ, изъ какой точки зрѣнія исходилъ онъ,—трудно рѣшить. Сперва кажется, что онъ хотѣлъ уничтожить все чудесное, такъ какъ онъ въ своемъ перифразѣ совершенно опустилъ: Кану Галилейскую, Воскресеніе Лазаря и самое Воскресеніе Христа, но въ то же время у него уцѣлѣлъ разсказъ объ исцѣленіи разслабленнаго. Во всѣхъ другихъ случаяхъ исцѣленій у гр. Толстого говорится, что І. Христосъ «пользовалъ больныхъ». Когда идетъ рѣчь о крещеніи Іоанновомъ, то употребляется выраженіе: «Іоаннъ купалъ въ рѣкѣ». Это, собственно говоря, нѣсколько опошленная точка зрѣ-

нія Ренана, который, признавая во всей глубинѣ и во всей высотѣ ученіе Христово, отвергаетъ все чудесное; но гр. Толстой не говоритъ, что онъ присоединяется къ тому, или другому готовому ученію, не признается, что онъ въ этомъ отношеніи только послѣдователь раціоналистической школы, а выдаетъ это за свое личное толкованіе. Дѣйствительно, у него много и *своего*.

Вотъ примѣръ—пересказъ чуда умноженія хлѣбовъ. «Чѣмъ накормить весь этотъ народъ? Между народомъ были такіе, у которыхъ ничего не было, а были такіе, у которыхъ было взято хлѣба и рыбы. «Дайте весь хлѣбъ, что у васъ есть». Онъ взялъ хлѣбъ, отдалъ ученикамъ, а тѣ отдали другимъ и другіе стали то же дѣлать. И всѣ ѣли изъ *чужого*, и всѣ не съѣли того, что было, и всѣ были довольны». «Такъ вотъ дѣлайте: не то нужно, чтобы себѣ каждому добывать пищу, а нужно то, что велитъ духъ въ человѣкѣ, т.-е. отдавать другимъ, что есть». Тутъ такимъ образомъ не только внѣшнее, но и внутреннее измѣненіе сравнительно съ Евангеліемъ, гдѣ не сказано, что не нужно зарабатывать себѣ хлѣбъ, а говорится вообще о дѣлежѣ съ другими. Въ чудѣ умноженія хлѣбовъ гр. Толстой хочетъ видѣть указаніе на то, что хлѣба всегда и всѣмъ достанетъ, лишь-бы только никто не забиралъ себѣ слишкомъ много. Но вотъ другое чудо—исцѣленіе слѣпорожденнаго, переданное гр. Толстымъ такъ, что не разобрать, какъ понималъ его авторъ—буквально или въ переносномъ смыслѣ. Народное выраженіе «*темный*», одинаково пригодное какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ, очень пригодилось въ этомъ случаѣ гр. Толстому. «И по дорогѣ увидалъ Іисусъ человѣка «темнаго» отъ рожденія. И Іисусъ открылъ темному ученіе о томъ, что онъ сынъ Бога, и, познавъ это ученіе, темный позналь свѣтъ. И тѣ, которые прежде знали человѣка этого, не узнали его. Онъ былъ похожъ на прежняго, но сталъ другимъ человѣкомъ».

А изъ нѣкоторыхъ подробностей того же перифраза слѣдуетъ, что это чудо какъ будто надо понимать и бук-

[illegible]. Но [illegible] бы то ни было, мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что въ приведенныхъ пересказахъ сохраняется «духъ» евангельскій. Читая же другіе пересказы, мы встрѣтимъ между ними и такіе, въ которыхъ находятся коренныя искаженія. Вотъ примѣръ: «Пока онъ сидѣлъ у православнаго, пришла женщина городская: она была невѣрная—принесла стклянку съ духами. Тотъ, кто считаетъ себя православнымъ, тотъ и не будетъ дѣлать дѣлъ любви. А кто считаетъ себя невѣрнымъ, тотъ и будетъ дѣлать дѣла любви». Не будемъ останавливаться на томъ, что эта стклянoчка съ духами напоминаетъ Стефана Яворскаго съ его «зонтиками» въ извѣстномъ словѣ на Пятидесятницу, а обратимъ вниманіе на то, что тутъ женщина названа «невѣрною» и что Іисусъ Христосъ говоритъ ей: «Прощена тебѣ вся твоя «*неправда*», т.-е. неправда вѣры, неправда пониманія. Но въ Евангеліи она названа не «невѣрною», а «*грѣшницею*» и ей прощаются именно грѣхи ея—за то, «что она возлюбила много» тою высокою и чистою любовью, ради которой забыта была вся ея грѣшная любовь. Трудно рѣшить, во имя чего гр. Толстой счелъ нужнымъ изгнать изъ Евангелія грѣшницъ, въ общеніи съ которыми обвиняли Христа фарисеи: какое право имѣетъ гр. Толстой быть въ данномъ случаѣ, такъ сказать, *приличнѣе* Евангелія? Перейдемъ теперь къ его перифразу молитвы Господней: «Отецъ нашъ безначальный и безконечный, какъ небо. Пусть будетъ свято только твое существо, пусть будетъ власть только твоя, такъ, чтобы воля твоя совершалась безначально и безконечно на землѣ. Дай *мнѣ* пищу жизни въ настоящемъ. *Ошибки мои* прежнія загладь и сотри, такъ же какъ я заглаживаю и стираю всѣ ошибки братьевъ моихъ [1]. Чтобы я не попалъ въ соблазнъ, избавь меня отъ зла, потому что твоя власть и сила, и твое рѣшеніе».

[1] Въ текстѣ, приводимомъ въ статьѣ г. Гусева «Л. Н. Толстой, его исповѣдь и [illegible] вѣра» это читается иначе: «и да не скрываютъ отъ насъ истинной [illegible] ошибки и заблужденія прошедшаго» — что, разумѣется, еще далѣе отъ Евангелія. См. Православное Обозрѣніе 1883 г. май — іюнь, стр. 327).

О молитвѣ этой очень много было писано тѣми, которые соорудили, по выраженію гр. Толстого, «мѣшокъ», и они, думается, гораздо вѣрнѣе и глубже понимали и толковали ту жемчужину, открытіе которой гр. Толстой присвоиваетъ исключительно себѣ. «Дай *мнѣ* пищу жизни» говорится у него, но вѣдь въ Евангеліи сказано: «хлѣбъ *нашъ* насущный даждь *намъ*», а не *мнѣ*, при чемъ этимъ словомъ прямо указывается на то, что не слѣдуетъ молиться только о себѣ. Какое право, спрашивается, имѣлъ гр. Толстой замѣнить слово «намъ» словомъ «мнѣ», внося этимъ существенное измѣненіе не только въ текстъ, но и въ самый духъ Евангелія? Тѣ, которые соорудили «мѣшокъ», налегали на слово «намъ», но гр. Толстой, любящій употреблять слово «*я*» въ именительномъ падежѣ, употребилъ въ этомъ случаѣ то же личное мѣстоименіе и въ дательномъ. Затѣмъ также существенное измѣненіе и искаженіе заключается и въ словѣ «ошибки»; въ Евангеліи употреблено выраженіе «долгъ» (грѣхъ), которое гораздо сильнѣе слова «ошибка», ибо обозначаетъ виновность и отвѣтственность.

Характеренъ также текстъ о церкви. «Сказалъ Ему Симонъ Петръ: «по моему, твое ученіе въ томъ, что ты избранный сынъ Бога жизни. Ты учишь тому, что Богъ есть жизнь въ человѣкѣ». Іисусъ: «Не плотское разсужденіе и не я своими словами открылъ тебѣ это, а Богъ, отецъ мой, открылъ тебѣ это. И на этомъ основывается то собраніе избранныхъ людей, для которыхъ нѣтъ смерти». Въ Евангеліи же сказано: «на томъ камнѣ созижду церковь мою и врата адовы не одолѣютъ ея». Христосъ не принималъ церкви въ смыслѣ какого-то исключительнаго кружка. Взглядъ гр. Толстого отзывается ученіемъ духоборцевъ. Но дѣло въ томъ, что онъ не хочетъ прямо сказать: «я принадлежу къ сектантамъ или къ раціоналистамъ», онъ хочетъ увѣрить, что «жемчужину» открылъ только онъ.

Что касается того разсказа объ Апостолѣ Петрѣ, гдѣ передается лишь *фактъ*, то гр. Толстой допускаетъ объясненія, которыя только отнимаютъ силу у факта, кратко

передаваемаго Евангеліемъ: «И пошелъ Петръ со двора и заплакалъ горько. Онъ плакалъ о томъ, что не могъ подняться духомъ такъ, чтобы не впасть въ соблазнъ. Онъ палъ въ одинъ соблазнъ борьбы, когда началъ защищать Іисуса, и въ другой соблазнъ страха передъ смертью, когда отрекся отъ Іисуса».

Не сильнѣе ли простыя слова Евангелія: «и изшедъ вонъ, плакася горько»? Вѣдь ясно о чемъ онъ плакалъ. Есть много такихъ чертъ въ Евангеліи, которыя сильны своей сжатостью и тѣмъ, что никакихъ объясненій къ нимъ нѣтъ. Много такихъ чертъ вычеркнуто гр. Толстымъ, и тѣмъ болѣе странно это съ его стороны, что достаточно, казалось бы, быть художникомъ, чтобы рука не поднялась на нихъ. Такъ, напримѣръ, имъ вычеркнуты слова Христа, сказанныя Имъ пришедшимъ за Нимъ: «Кого ищете?—Азъ есмь». Или Его обращеніе съ крестa къ Божьей матери и апостолу Іоанну со словами, дышащими такой любовью и желаніемъ утѣшить: «жено, се сынъ твой!» и затѣмъ, обращаясь къ Іоанну: «се мати твоя». Но этотъ пропускъ понятенъ съ точки зрѣнія гр. Толстого, который въ своемъ перифразѣ Евангелія не признаетъ вообще родства плотскаго, а только духовное, исходя изъ словъ самого Христа по поводу того, что кто любитъ Его, тотъ отречется отъ отца и отъ матери и пойдетъ за нимъ. Но вѣдь Тотъ, кто сказалъ это, не могъ быть, какъ люди бываютъ, сухимъ односторонним теоретикомъ. Онъ по просьбѣ матери совершилъ чудо въ Канѣ. Онъ и на крестѣ оставался любящимъ сыномъ. Вотъ черты дѣйствительно *богочеловѣческія*.

Гр. Толстой хочетъ выставить божественнаго основателя христіанства новаторомъ, вполнѣ отдѣляющимъ свое ученіе отъ древняго іудейскаго закона, противопоставляющимъ его этому послѣднему.

«Я учу васъ исполненію одной воли отца и въ моемъ ученіи не можетъ быть противорѣчія. А вашъ писанный законъ Моисея весь исполненъ противорѣчій». Развѣ Христосъ говоритъ это гдѣ-нибудь, развѣ Онъ отрываетъ Свое ученіе отъ Ветхаго Завѣта? Авторъ называетъ

Евангелію свои собственныя, личныя черты, свое собственное стремленіе къ отщепенству. Но есть одно мѣсто у гр Толстого, гдѣ онъ обмолвился и своими же словами разбилъ все свое ученіе. Это перифразъ тѣхъ негодующихъ словъ Христа, гдѣ Онъ говоритъ: «вы отца вашего дьявола есте и похоти отца вашего хощете творити; той человѣкоубійца бѣ искони и въ истинѣ не стоитъ... яко ложь есть и отецъ лжи». Вотъ какъ передаетъ эти слова гр. Толстой: «Если онъ что говоритъ, дьяволъ, то онъ говоритъ «свое» ложное», а не «общее» всѣмъ, и онъ отецъ лжи», т.-е. онъ отецъ лжи, потому что говоритъ *свое*, а не *общее*. Въ этомъ одиночномъ — зло, ложь,—правда же въ *общемъ*». Это слѣдовало бы гр. Толстому отнести къ себѣ самому. Онъ-то вѣдь и думаетъ, что ложь въ «общемъ», если хочетъ создать свою «личную» вѣру. Странно, что такая гордыня личности соединяется у него съ проповѣдью любви, съ глаголомъ *сопрягать*, который слышался еще Пьеру. Почему же этотъ глаголъ *сопрягать* не признается имъ, когда заходитъ рѣчь о религіи, почему тутъ онъ остается *особнякомъ*? Не сказывается ли тутъ и въ немъ то барское начало, которое онъ такъ преслѣдуетъ въ своихъ произведеніяхъ?

Г. Леонтьевъ въ своей брошюрѣ [1]), гдѣ любовь къ Богу сводится на боязнь Его, а любовь къ ближнимъ производится отъ страха Божьяго, ставитъ Толстого и Достоевскаго на одну доску по отношенію къ религіозному вопросу. Оставляя въ сторонѣ инквизиторскія воззрѣнія автора на христіанство, нельзя согласиться и съ тѣмъ, будто Толстой и Достоевскій одно и то же. Различіе между ними громадное: у Толстого несомнѣнная претензія быть новаторомъ, создать свое христіанство; христіанство же Достоевскаго есть христіанство апостольское,

---

[1]) «Наши новые христіане—Л. Н. Толстой и Ѳ. М. Достоевскій». М. 1880 г. Любопытную оцѣнку религіозныхъ воззрѣній Л. Н. Толстого можно найти въ статьяхъ І. Гусева въ «Православномъ Обозрѣніи» 1886 г., гдѣ приведено множество цитатъ изъ послѣднихъ сочиненій гр. Толстого, которыми и можно пользоваться. Тутъ уже гр. Толстой вовсе не смѣшивается съ Достоевскимъ.

свободное только отъ тѣхъ наслоеній, которыя созданы силу повлiявшихъ потомъ на Византію государственныхъ условій стараго языческаго Рима. Достоевскій проникаетъ сквозь эту кору язычески-государственныхъ наслоеній и стоитъ за церковь апостольскую. Онъ стремится къ тому, что̀ выражено въ словахъ литургіи: «возлюбимъ другъ друга, да единомыслiемъ исповѣмы». Гр. Толстому сильное развитіе личнаго начала помѣшало остановиться на началѣ соборномъ. Достоевскій, проповѣдуя братскую любовь и взаимную помощь, признавалъ и рѣшеніе сообща основныхъ вопросовъ вѣры. Въ Толстомъ самая готовность отрѣшиться отъ матерьяльныхъ благъ связана со стремленіемъ благъ хотя и духовныхъ, но все-таки личныхъ, и то же личное начало сказалось у него и въ видѣ религіознаго отщепенства.

Личное начало долго играло важную роль на Западѣ, но оно уже отжило свой вѣкъ: на очереди опять начало соборное. Это начало *наше*, но оно будетъ опять *вселенскимъ*.

Мы вѣримъ, что будущее принадлежитъ ему.

VIII.

ДВѢНАДЦАТЫЙ ТОМЪ

сочиненій гр. Л. Н. Толстого [1].

Произведенія Толстого поразительны тою искренностью и серьезностью, съ которою въ нихъ совершается дѣло художества... Всякій предметъ, за который онъ берется, онъ стремится проникнуть насквозь...

Н. Страховъ.

Таковъ отзывъ критика, ранѣе другихъ останавливавшагося съ особенною любовью и изощреннымъ вниманіемъ на произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Оправдывается ли этотъ отзывъ недавно вышедшимъ XII т. сочиненій геніальнаго писателя?

Встрѣча этого тома была тѣмъ болѣе задушевная, что въ немъ разсчитывали найти хотя нѣкоторую часть того, что̀ ходило давно по рукамъ, но не могло, разумѣется, достаться каждому. Кое-что изъ этого дѣйствительно тутъ и оказалось. Тутъ-же соединены въ одно мѣсто извѣстные народные разсказы гр. Толстого. Тутъ-же, наконецъ, и такой перлъ художественнаго реализма, какъ «Смерть Ивана Ильича».

---

[1] Напечатано было въ газетѣ «Новости» 10 іюня 1886 г. Перепечатывается здѣсь съ дополненіями и нѣкоторыми измѣненіями.

Въ публикѣ какъ-то особенно много говорятъ объ этомъ послѣднемъ разсказѣ. Многіе находятъ, что кое-что въ немъ черезчуръ уже натурально, но, все-таки, читаютъ, читаютъ даже вслухъ, нѣкоторые, говорятъ, конфузясь, но все-же не рѣшаясь что-либо пропустить.

Другіе опять находятъ, что самое конфузное мѣсто есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самое сердечное мѣсто въ цѣломъ разсказѣ. Въ самомъ дѣлѣ вѣдь крайній реализмъ въ воспроизведеніи извѣстныхъ подробностей болѣзни Ивана Ильича выкупается свѣтлою личностью кухоннаго мужика Герасима, составляющаго единственный теплый лучъ въ этомъ холодномъ, въ этомъ пустомъ, исключительно комфортабельномъ царствѣ. Становится, въ самомъ дѣлѣ, конфузно—только не за эту усовершенствованную, но все-же невыносимую для больного, извѣстнаго рода мебель, а за всю его обстановку, за отсутствіе вокругъ него *души*, такъ нежданно-негаданно сказавшейся только у кухоннаго мужика съ его непріятнымъ, но такъ радушно исполняемымъ дѣломъ. Конфузно за жену и дѣтей больного, а потомъ и мертваго, конфузно за родныхъ и знакомыхъ, формально освѣдомляющихся о немъ, и столь-же формально дѣлающихъ визиты его мертвому тѣлу, конфузно, наконецъ, за него самого, пожинающаго именно то, что посѣялъ. Преждевременная смерть отъ случайной болѣзни человѣка, стремившагося въ жизни къ карьерѣ и комфорту и ни къ чему иному, вотъ вѣдь и все незатѣйливое содержаніе этого разсказа, отъ котораго вы, однако, не можете оторваться, который въ васъ оставляетъ такое глубокое впечатлѣніе.

Что въ свѣтѣ—лишь пустота и душевная тьма, а настоящее содержаніе и внутренній свѣтъ—у народа, это и прежде выставлялось на всѣ лады Л. Н. Толстымъ. Вѣдь и его народные разсказы приходится понимать такъ, что они должны только не дать заглохнуть въ народѣ тому добру, которое въ немъ уже есть, намъ-же, интеллигенціи, выставить на показъ то добро, котораго въ насъ еще нѣтъ. Если все это писано *про* мужиковъ, то писано не только *для* мужиковъ, но также, и даже

по-преимуществу, *для насъ*. Такъ несомнѣнно смотритъ на свои разсказы Л. Н. Толстой. Но если и въ самомъ дѣлѣ многому можемъ тутъ поучиться и мы, то все-ли тутъ будетъ на пользу—какъ намъ, такъ и народу; все-ли такъ-же признаетъ, все-ли приметъ къ сердцу народъ, всему-ли прямо повѣритъ, какъ вѣрится всегда всему искреннему и задушевному, или-же подчасъ покачаетъ головой и спроситъ въ раздумьѣ: «что́ за мудреный такой проявился баринъ»?

Вотъ, напримѣръ, звучитъ тутъ во многихъ разсказахъ нота «непротивленія злу», какъ понимаетъ это графъ Толстой, т.-е. въ смыслѣ: «не дѣйствуй противъ насилія насиліемъ-же». А что, какъ да кто-нибудь изъ народа спроситъ: ну, а коли, примѣрно, при мнѣ захотятъ кого-нибудь убить, а я его у нихъ отобью,—развѣ въ томъ будетъ грѣхъ? И въ пѣснѣ вѣдь не всегда только въ грѣшномъ смыслѣ молвится: «не дашь добромъ, такъ силомъ возьму». Не давалъ калика добромъ Ильѣ Муромцу свою палицу, такъ Илья ее силой отнялъ, чтобы она не пропадала у калики безъ пользы, да и пошелъ съ этой палицей на Идолище поганое, а отдавая ее назадъ каликѣ, ему же еще и наставленье прочелъ. «впередъ такъ не дѣлай,—не оставляй крещеныхъ на жертву татарамъ». У народа есть свои основанія на то, чтобы оборону слабаго отъ сильнаго силою-же не считать *насиліемъ*. Вотъ когда кого-нибудь бьютъ,—скажетъ всякій дѣйствительно простой, не мудрствующій человѣкъ,—такъ это *насиліе*; а вырвать того, кого бьютъ, у того, кто бьетъ, хотя бы при этомъ и досталось бьющему, это только *сила*, прямая и Богу угодная сила. Одинаково съ народомъ думалъ и старорусскій князь, тотъ «добрый страдалецъ за русскую землю», который внушалъ своимъ дѣтямъ: «вдову и сироту оправдите сами и не вдавайте сильнымъ погубити человѣка». Такимъ образомъ только обороною отъ *насилія*, т.-е. вполнѣ законнымъ, святымъ проявленіемъ *силы* представляется тутъ *судъ*, къ которому, какъ, разумѣется, и къ изгнанію торжниковъ изъ храма вервіемъ, вполнѣ несочувственно отно-

ится Л. Н. Толстой [1]). Но столь же поучительную справку могла бы доставить и древняя лѣтопись по вопросу смежному—о *войнѣ* въ томъ ея оборонительномъ смыслѣ, котораго, какъ и какой-либо обороны силою, не хочетъ признавать гр. Толстой. Вспомнимъ приводимый въ Ипатьевской Лѣтописи подъ 1103 г. разговоръ дружины съ Владиміромъ Мономахомъ: «Яко не годно нынѣ весенѣ,—говорила дружина,—ити, хочемъ погубити смерды крестьяны и ролью (пашню) имъ». «Дивно ми, дружино,—отвѣчалъ Мономахъ, отстаивая необходимость похода хотя бы весною,—оже лошади жалуете, ею же ореть, а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати смердъ, а, пріѣхавъ, Половчинъ ударить и стрѣлою, а лошадь его поиметь, а въ село его ѣхавъ, поиметь жену его, и дѣти его, и все его имѣнье,—то лошади жаль, а самого его не жаль ли?» Понятно, что къ такимъ чисто оборонительнымъ походамъ противъ половцевъ и церковь относилась совершенно иначе, чѣмъ къ войнамъ князей между собою. Эти послѣднія осуждала она безусловно, даже внушая князьямъ, цѣловавшимъ другимъ князьямъ крестъ на томъ, чтобы помогать имъ, что лучше нарушить крестное цѣлованіе, чѣмъ помогать въ такомъ дѣлѣ, какъ пролитіе крови. Напротивъ, на войну съ насильниками татарами изъ-за свободы та же церковь смотрѣла иначе и къ падшимъ въ подобной войнѣ справедливо относила текстъ: «болыпи сея любве никто же имать, да кто душу свою положитъ за други своя».

Только для гр. Толстого «непротивленіе злу», т.-е. готовность перенесть личную обиду (о чемъ лишь и говорится въ Евангеліи), становится огульнымъ отказомъ ближнему во всякой защитѣ его отъ чего бы и кого бы то ни было. Такимъ образомъ, у него выходитъ прямое мирволенье всякому злу, и, не довольствуясь подставле-

[1] Онъ отвергаетъ, какъ извѣстно, не только карающій уголовный, но и вознаградительный гражданскій судъ. Между тѣмъ Мономахъ по-христіански отказалъ собственно противъ жестокостей суда уголовнаго, отвергая смертную казнь, «кровопролитную кровь — и это сочувственно духу народному.

ніемъ «своей щеки» (какъ оно въ Евангеліи), онъ готовъ своимъ безучастіемъ подставлять подъ удары и шею, и грудь, и даже малыхъ дѣтей ближняго. Мы знаемъ, что Л. Н. Толстой отрекся и отъ обороны своихъ собственныхъ дѣтей—*на словахъ*, разумѣется. Мы никогда не повѣримъ, чтобы такъ оно могло у него выйти и *на дѣлѣ*. Напрасно въ письмѣ къ N N, въ отвѣтъ на приведенный ему примѣръ, онъ съ невозмутимѣйшимъ упрямствомъ отвѣчаетъ: «если бы пришелъ зулу, чтобы изжарить моихъ дѣтей, то одно, что я могу сдѣлать, это постараться внушить зулу, что это ему невыгодно и не хорошо,—внушить, покоряясь ему по силѣ, тѣмъ болѣе, что мнѣ нѣтъ расчета съ зулу бороться. Или онъ одолѣетъ меня и еще больше дѣтей моихъ изжарить, или я одолѣю и дѣти мои завтра заболѣютъ въ мученіяхъ худшихъ и умрутъ отъ болѣзни». Мы не продолжаемъ выписывать эту странную софистику, которая даже и не умна, потому что ею предполагается возможность совладать съ непосредственнымъ чувствомъ, въ данномъ случаѣ самымъ святымъ и законнымъ. Чтобы все высказать—мы даже не вѣримъ искренности автора, когда онъ систематически играетъ словами, подмѣняя *насиліемъ—силу*. Думаемъ, что, упрямясь, онъ все же понимаетъ свой, разсчитанный на несообразительность ближняго, фокусъ-покусъ.

Въ настоящемъ томѣ есть нѣсколько такъ-называемыхъ «народныхъ легендъ», очень таки не чуждыхъ того недалекаго книжнаго мудрствованія, которое, къ сожалѣнію, еще съ византійскихъ временъ прививалось къ народу, но, къ счастью, окончательно не привилось къ нему. Въ одной изъ такихъ легендъ у Л. Н. Толстого крестникъ оказывается виноватымъ передъ своимъ крестнымъ отцомъ въ томъ, что, забравшись въ заповѣдную комнату на стоящій въ ней тронъ и взявъ въ руки приставленный къ трону жезлъ, увидалъ передъ собою «весь міръ и все, что въ міру люди дѣлаютъ. Увидалъ онъ и свою мать, какъ въ избу къ ней влѣзаетъ разбойникъ, чтобы убить ее. Не сдержался крестникъ, какъ пуститъ

жезломъ въ разбойника, прямо въ високъ ему попалъ, убилъ на мѣстѣ. «Но крестникъ понялъ, что это—великій грѣхъ, когда потомъ увидалъ свою мать и услыхалъ я голосъ: «лучше бы меня тогда разбойникъ убилъ, не надѣлала бы я столько грѣховъ», и когда вслѣдъ затѣмъ услыхалъ про разбойника: «этотъ человѣкъ девять душъ загубилъ; ему-бы надо самому свои грѣхи выкупать,—а ты его убилъ, всѣ грѣхи его на себя снялъ». (Стр. 505—506).

Кое-кто изъ народа могъ-бы замѣтить на это: а принималъ-же Илья Муромецъ на себя чужой грѣхъ, когда было нужно. И тутъ-бы, не задумавшись, принялъ, потому что не снесло бы его сердце ретивое видѣть, какъ его родимую матушку на глазахъ у него убиваютъ. Да вѣдь никто изъ народа не сдѣлалъ-бы никогда и того, на что умудрился Л. Н. Толстой въ своемъ «Евангеліи»: не поднялась бы ни у кого изъ народа рука, чтобы зачеркнуть слова Распятаго къ матери: «жено, се сынъ твой». Дѣло въ томъ, что, по доктринѣ графа Льва Николаевича, оно, можетъ быть, такъ и выходитъ, что Спаситель міра въ такую минуту не можетъ заботиться о своей матери. А народъ въ своихъ духовныхъ стихахъ выставляетъ Христа до конца любящимъ сыномъ. Народъ не доктринеръ, и онъ правъ. Народъ тутъ, конечно, ближе къ прямому духу Евангелія.

Что касается «непротивленія злу», то Л. Н. Толстой въ своей «Свѣчкѣ» (стр. 51—65) самъ не выдерживаетъ этой точки зрѣнія и не выдерживаетъ совершенно не нужнымъ образомъ. Нѣкоторые изъ мужиковъ собираются тутъ убить злого приказчика, заставляющаго ихъ работать даже на Пасхѣ. Но нашелся мужикъ, который, работая въ полѣ, также и праздновалъ: прилѣпилъ себѣ къ сохѣ свѣчку и пѣлъ стихи воскресные. «Побѣдилъ онъ меня», сказалъ, умилившись, приказчикъ; но потомъ поѣхалъ, а лошадь у него испугалась и бросилась на частоколъ. Пропоролъ себѣ брюхо, свалился на земь. На что такой несчастный случай послѣ того, какъ онъ умилился? Но дѣло въ томъ, что это вовсе даже не случай.

Мужики, бывало, желали, «чтобъ у него пузо лопнуло и утроба вытекла». Желаніе ихъ и сбывается съ силою *заговора;* народъ, читая разсказъ, такъ это по своему и поймете. Значитъ, они воспротивились злу *силою* и достигли своего. Но зачѣмъ-же, когда приказчикъ уже умилился? [1])

Вполнѣ выдержанъ, но вовсе не простъ, а исполненъ «мудрствованія лукаваго» одинъ изъ «лубочныхъ» разсказовъ: «Два брата и золото». (Стр. 113—115). Одинъ изъ братьевъ, наткнувшись на золото, взялъ да опрометью отъ него ускакалъ; другой же разсуждалъ такимъ образомъ: «Въ золотѣ грѣха нѣтъ. Грѣхъ въ человѣкѣ. Золотомъ можно зло сдѣлать, можно и добро сдѣлать... Мы теперь служимъ людямъ, но служба наша малая, по нашей малой силѣ, а съ этимъ золотомъ мы можемъ больше служить людямъ». Вотъ онъ и взялъ да на это золото построилъ пріютъ для вдовъ и сиротъ, больницу для хворыхъ и убогихъ, домъ для странниковъ и нищихъ, а остальныя 3,000 золотыхъ монетъ ввѣрилъ тремъ старцамъ для раздачи бѣднымъ. Но явившійся ему ангелъ грозно поглядѣлъ на него и сказалъ: «Одинъ прыжокъ брата твоего стоитъ дороже всѣхъ тѣхъ дѣлъ, которыя ты сдѣлалъ золотомъ твоимъ», и тогда обличила благотворителя совѣсть его, и понялъ онъ, что не для Бога дѣлалъ дѣла свои». Между тѣмъ въ разсказѣ вовсе не видно, чтобы онъ дѣлалъ ихъ изъ тщеславія. Онъ дѣлалъ ихъ несомнѣнно для ближняго, дѣлалъ съ любовью, а не самъ ли Л. Н. Толстой озаглавилъ одинъ изъ своихъ дѣйствительно прекрасныхъ разсказовъ: «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ»? (Стр. 91—105).

---

[1]) Въ недавно опять отдѣльно изданномъ томѣ же разсказѣ дѣло кончается значительно иначе. Приказчикъ «сталъ тосковать и не сталъ ни до чего дохотить. Все дома сидитъ. ...Пріѣхалъ Петровками баринъ. Нынче позоветъ — приказчикъ боленъ, говорятъ; завтра позоветъ, боленъ. Дозналъ баринъ, что пьянствуетъ, ссадилъ его съ приказчиковъ...» Послѣ этого онъ «еще больше заскучалъ, обовшивѣлъ весь, что было пропилъ. . И году не прожилъ послѣ того. Отъ вина и померъ».—Стало быть, онъ и тутъ наказанъ—хотя и болѣе нравственнымъ, чѣмъ физическимъ образомъ. Но тутъ-то и становится ясно, что въ сущности онъ совѣсть не смирился и не умилился духомъ, т.-е. что не на всякаго подѣйствуешь кротостью.

Но народъ и тутъ можетъ сослаться на любимаго богатыря своего—стараго казака Илью. Поѣхалъ Илья Муромецъ въ ту дорожку, гдѣ, какъ сулила надпись, богату быть, и, вернувшись къ росстанямъ, подновилъ надпись: «въ ту дорожку ѣздилъ, богатъ не былъ». Между тѣмъ онъ и не думалъ ускакать отъ оказавшагося на этой дорогѣ золота. Напротивъ, онъ взялъ и выстроилъ на него церкви соборныя, но при этомъ не подумалъ даже и о своей душѣ, а сказалъ: «чье было имѣнье, за того пускай идетъ».

Прекрасенъ у Л. Н. Толстого разсказъ о двухъ старикахъ (стр. 65—91). Онъ, дѣйствительно, производитъ впечатлѣніе здоровое. Одинъ старикъ дошелъ до Іерусалима, а другого задержала случайная по пути остановка у людей, которымъ надо было помочь. Между тѣмъ, дошедшій до святой земли старикъ увидалъ своего отставшаго спутника у гроба Господня и потомъ лишь узналъ, что это было видѣніе, указывавшее на то, что можно побывать тамъ не тѣломъ, а духомъ. «Пойдешь за моремъ Христа искать, а въ самомъ себѣ потеряешь»,—вотъ выводъ отставшаго, рѣшившагося употребить свои путевыя деньги на помощь ближнему. И авторъ, какъ видите, позволилъ ему не побрезгать для пользы ближняго деньгами.

Но графъ Толстой все-же не любитъ денегъ. Его радикальную къ нимъ нелюбовь мы понять готовы. Она мастерски у него проявилась въ «сказкѣ объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьяхъ» (стр. 123—155). Сказка эта—его сочиненія, но въ духѣ настоящихъ народныхъ сказокъ на ту-же тему. Основа сохранена вполнѣ та же: старшіе братья—умники, а меньшой—по ихнему дурачокъ, на самомъ-же дѣлѣ онъ ихъ умнѣе, и они имъ брезгуютъ понапрасну. Готовность дурачка все отдать, одинаковая жалость его и «къ косорукой побирушкѣ», и къ царской дочери,—все это въ сказкѣ совсѣмъ по-народному. Взглядъ Ивана, будто солдаты только на то, чтобы «пѣсни играть да дѣвокъ тѣшить», а денежки—это только «бѣлыя игрушки, чтобы ребятишкамъ тѣшиться»,—приклад-

ложить уже нашему графу, но выражень въ томъ-же чисто-народномъ сказочномъ вкусѣ. Только сообразительный читатель и изъ народа, дочитавъ сказку до конца и добравшись до заключающейся въ ней морали, пожалуй, скажетъ: когда-то еще Семены-воины всѣ поймутъ, что, обративъ они въ солдатъ хоть весь свой народъ, а все побѣда, рано или поздно, можетъ достаться какому-нибудь, съ еще большимъ совершенствомъ вооруженному, сосѣднему царству. Когда-то еще и Тарасы-брюханы всѣ поймутъ, что, сколько-бы денегъ ни лежало у нихъ въ сундукахъ и сколько-бы ни взыскивали они затѣмъ и съ лаптей, и съ опучъ, и съ прохода, и съ проѣзда, а все у купца денегъ еще болѣе, и купецъ этотъ, хоть они его высылай и на самую границу, рано-ли, поздно-ли, всѣ ихъ денежки къ себѣ перетянетъ. Точно будтобы—заключитъ тотъ-же сообразительный читатель—такъ и взялъ уже вездѣ верхъ Иванушка-дурачокъ, у котораго въ царствѣ «денегъ ни у кого не было, жили—работали, сами кормились и людей добрыхъ кормили», а старому дьяволу жить стало трудно, такъ какъ у него «нѣтъ ничего кромѣ денегъ, работать неохота, а ради Христа нельзя ему взять». Когда-то еще всѣхъ на подобный ладъ переубѣдишь, да перенастроишь, а вѣдь самъ-же гр. Толстой говоритъ, что можно дѣйствовать только убѣжденіемъ, такъ что нельзя даже взять съ Сидора или съ Карпа по денежкѣ на какой-нибудь необходимый для общества мостъ, не разубѣдивъ ихъ предварительно въ томъ, что хотя этотъ мостъ и безъ нихъ состроится, могутъ-же все равно и они по этому самому мосту ходить [1]).

---

[1]) «Если отказавшіеся (т.-е. отъ участія въ сборѣ на мостъ), — говоритъ гр. Толстой,—имѣли въ виду воспользоваться трудомъ другихъ, то и принужденіе ихъ къ жертвамъ будетъ только наказаніемъ за ихъ умыселъ, и умыселъ ихъ, совершенно бездоказательный (вѣроятно — не доказанный?), будетъ наказанъ прежде приведенія его въ исполненіе; но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ принужденіе къ участію въ нежелательномъ дѣлѣ не можетъ быть для нихъ благомъ». Да, *для нихъ* — а общее благо деревни? Такъ оно, пожалуй, и не осуществится при злой волѣ отдѣльныхъ себялюбцевъ. Думаю, что г. Скаби-

Убѣдился-же гр. Левъ Николаевичъ на опытѣ, что «нельзя убѣдить мать, что она дѣлаетъ дурное, продавая свою дочь» (стр. 219). Ну, значитъ, по его-же теоріи и надо пока предоставлять матерямъ продавать своихъ дочерей! Тѣмъ паче, конечно, придется предоставить всѣмъ тѣмъ, которые не убѣдились еще, что денежки—это только блестящія штучки ребятишкамъ играть, пользоваться этими штучками въ совершенно иномъ смыслѣ. Еще мудренѣе, я думаю, запретить человѣческому сердцу дѣлать на эти самыя штучки добро ближнему. Самъ вѣдь Иванушка-дурачокъ въ настоящей народной сказкѣ, добывъ себѣ за свои подвиги золотого песку, не ускакалъ отъ него безъ оглядки, а только не взялъ его себѣ и отдалъ другимъ.

Между тѣмъ нашъ графъ, ради своей образцовой нелюбви къ деньгамъ и ко всему, что́ помощью ихъ дѣлается, представляетъ намъ и своеобразное толкованіе извѣстнаго евангельскаго событія. «Вспомните,—говоритъ онъ,—Закхея, начальника мытарей. Вспомните, какъ онъ отъ того, что былъ малъ ростомъ, влѣзъ на дерево смотрѣть Христа и, когда Христосъ объявилъ, что идетъ къ нему, какъ онъ, понявъ одно, что учитель не хвалитъ богатства, кубаремъ соскочилъ съ дерева, побѣжалъ домой и устроилъ угощенье. И какъ только вошелъ Христосъ, такъ первымъ дѣломъ Закхей объявилъ, что половину имѣнія дастъ нищимъ, а кого обидѣлъ, тому вчетверо отдастъ. И вспомните, какъ мы всѣ, читая евангеліе, низко цѣнимъ этого Закхея, невольно съ презрѣніемъ смотримъ на эту половину имѣнія и четвертное вознагражденіе» (стр. 171—172). Но съ чего-же это взялъ гр. Толстой, что *всѣ* мы относимся такъ къ бѣдному Закхею? Многіе, можетъ быть, напротивъ того, разсуж

[illegible] (въ «Новостяхъ») имѣлъ полное право напомнить гр. Толстому басню дѣдушки Крылова:

А я бы повару иному
Велѣлъ на стѣнкѣ зарубить,
Чтобъ тамъ рѣчей не тратить по пустому,
Гдѣ надо власть употребить.

даютъ, что сказалъ-же самъ Христосъ пришедшему къ нему богатому юношѣ, что если онъ хочетъ достичь совершенства, пусть все имѣніе свое раздастъ бѣднымъ (не сказалъ: убѣги отъ имѣнія, а сказалъ: раздай бѣднымъ). Другіе, можетъ быть, вспомнятъ книгу Дѣяній Апостольскихъ: «у вѣрующихъ было одно сердце и одна душа... Не было между ними никого бѣднаго, ибо всѣ владѣльцы помѣстьевъ и домовъ, продавая оные, приносили цѣну проданнаго и полагали къ ногамъ апостоловъ и каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду». (Гл. IV, ст. 32, 34 и 35 по переводу Библейскаго общества). Значитъ, именно, *продавали*, а апостолы раздавали вырученное. Или, можетъ быть, гр. Толстой относитъ уже къ первоначальнымъ временамъ апостольскимъ происхожденіе того, по его выраженію, «вонючаго мѣшка», въ который была запрятана *евангельская жемчужина*, впервые вытащенная оттуда на свѣтъ только имъ, Л. Н. Толстымъ? Но если такъ, то вѣдь, пожалуй, окажется, что и въ словахъ богатому юношѣ «раздай нищимъ» заключается опять таки не «жемчужина», а только скрывающій ее «мѣшокъ».

Обрѣтеніе этой жемчужины не кѣмъ инымъ, какъ нашимъ авторомъ, вообще, любопытно. Самъ онъ не безъ остроумія замѣчаетъ на счетъ позитивизма, что съ точки зрѣнія его въ жизни человѣчества представляются только два періода: «метафизическій, продолжавшійся отъ начала міра до Конта, и настоящій періодъ единой истинной науки—позитивной, начавшійся съ Конта» (стр. 287). Но вѣдь точно также можно замѣтить, что съ точки зрѣнія Л. Н. Толстого и въ исторіи христіанства—два періода: періодъ подложнаго христіанства или «вонючаго мѣшка», продолжающійся отъ апостольскихъ временъ до гр. Л. Н. Толстого, и настоящій періодъ—единаго ,истиннаго христіанства, начавшійся съ гр. Л. Н. Толстого.

Вотъ съ высоты своего «единаго истиннаго христіанства» онъ и разсуждаетъ: «что, если-бъ московскіе Закхеи сдѣлали то-же, что онъ? Вѣдь собрался-бы не одинъ

миллиард. Ну, и что-же-бы было? Ничего: еще-бы больше грѣху, если-бъ задумали раздавать эти деньги бѣднымъ. Денегъ не нужно» (стр. 172). Но московскіе Закхеи не сдѣлали того-же, что евангельскій Закхей. Нашему автору, когда онъ было увлекся мыслью о раздачѣ бѣднымъ денегъ, удалось собрать въ пользу ихъ всего 37 р., но и тѣ.—увѣряетъ онъ,—было очень мудрено раздать съ толкомъ. Признаться, намъ, въ свою очередь, очень мудрено повѣрить этому. Мы думаемъ даже, что съ московскихъ Закхеевъ можно было собрать гораздо болѣе. Но сколько бы ни было собрано съ нихъ, мы увѣрены, что многіе изъ той молодежи, къ которой, при посѣщеніи ею почтенныхъ пріютовъ, приласкался гр. Толстой, сумѣли-бы съ толкомъ раздать собранное. Но это нимало не подрываетъ того замѣчанія, которое слышалъ нашъ авторъ отъ извѣстнаго Сютаева. Оно сводится къ тому, что одна раздача бѣднымъ денегъ *недостаточна*, и это совершенно вѣрно. «Разберемъ ихъ по себѣ,—сказалъ онъ Л. Н. Толстому про московскихъ бѣдныхъ.—Я не богатъ, а ойчусь двоихъ возьму... Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдемъ вмѣстѣ; онъ будетъ видѣть, какъ я работаю, будетъ учиться, какъ жить, и за чашку вмѣстѣ за однимъ столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня услышитъ и отъ тебя. Вотъ это милостыня, а то эта ваша община совсѣмъ пустая» (стр. 246). Пустою, т.-е. далеко не достигающею цѣли представилась ему великосвѣтская складчина на бѣдныхъ. Но Сютаевъ свое понятіе объ общинѣ «не пустой» вынесъ, въ самомъ дѣлѣ, *изъ общины*.

Да, онъ живетъ въ ней и съ ней, и въ этомъ-то большое его преимущество. Только гр. Л. Н. Толстой остается особнякомъ на какомъ-то духовномъ столпѣ. А религіозное особничество, какъ и всякое другое, къ добру не приводитъ.

Въ XII части есть у нашего автора настоящіе перлы,—это тѣ, которые достались ему отъ самого Христа и первоначальной апостольской общины. Къ сожалѣнію, нашъ авторъ хранитъ ихъ въ какомъ-то своемъ особомъ

«мѣникѣ», можетъ быть, и совершенно чистомъ, но все-же отдающимъ затхлостью.

Чистыми евангельскими перлами представляются намъ у Л. Н. Толстого слова: «Гладкихъ, жирующихъ и самодовольныхъ мыслителей и художниковъ не бываетъ. Духовная дѣятельность и выраженіе ея, дѣйствительно нужныя для другихъ, есть самое тяжелое призваніе человѣка—крестъ, какъ выражено въ Евангеліи. И единственный несомнѣнный признакъ присутствія призванія есть самоотверженіе, есть жертва собой для проявленія вложенной въ человѣка на пользу другимъ людямъ силы. Безъ мукъ не рождается и духовный плодъ» (стр. 326) [1].

Но совершенно другимъ духомъ вѣетъ отъ увѣренія гр. Толстого, будто Евангеліе сводится только на то, что «учитъ людей не дѣлать глупостей». Какимъ-то разсудочнымъ холодомъ несетъ у него отъ такихъ разсужденій: «Христосъ говоритъ: не сердись, не считай никого ниже себя,—это глупо. Будешь сердиться, обижать людей—тебѣ-же будетъ хуже. Еще говоритъ: за зло не плати złомъ, а то зло вернется на тебя еще злѣе, чѣмъ прежде... И еще говоритъ: не считай людей чужими только потому, что они живутъ въ другой землѣ, чѣмъ ты, и говорятъ другимъ языкомъ. Если будешь считать ихъ врагами, и они будутъ считать тебя врагомъ,—тебѣ же будетъ хуже. И такъ, не дѣлай всѣхъ этихъ глупостей, и тебѣ будетъ лучше» (стр. 386). Но вѣдь въ Евангеліи мы вовсе не находимъ такого сведенія всего на свою собственную особу, съ ея хотя-бы и настоящими, внутренними, но все-же *личными* интересами и выгодами. Не даромъ-же и въ молитвѣ Господней мѣстоимѣніе перваго лица употребляется только *во множественномъ числѣ*.

---

[1] Намъ странно было встрѣтить въ статьѣ г. Слонимскаго (въ «Вѣстникѣ Европы» за августъ настоящаго года) утвержденіе: «Г. Орестъ Миллеръ не находитъ ничего христіанскаго въ принципахъ Л. Н. Толстого». Читателю, надѣемся, ясно, что мы находимъ у нашего автора много христіанскаго. Не станемъ оспаривать, что во многомъ мы дѣйствительно возмущаемся у него «внутреннею фальшью». Но, напримѣръ, въ главѣ о *пристыи* мы вовсе не видимъ фальши и считаемъ ее написанною въ чисто христіанскомъ духѣ.

Что Тотъ, чьи слова часто такъ искажаются Л. Н. Толстымъ, вовсе не проводилъ принципа эгоистическаго покоелюбія, это видно и изъ Его словъ Петру, не мирившемуся съ мыслью объ Его крестной смерти: «отойди отъ меня, сатана», и изъ проклятія Имъ смоковницы (т.-е. съ ея, такъ-сказать, лицѣ—безплодности вообще) и въ изгнаніи торжниковъ изъ храма, и въ обозваніи книжниковъ и фарисеевъ гробами повапленными, или лицемѣрами [1]). Гр. Толстой въ своемъ письмѣ къ NN рѣшился замѣтить, что Тотъ, кто называлъ себя Сыномъ человѣческимъ, «чуть было самъ не подпалъ соблазну противленія злу». Чтобы быть послѣдовательнымъ, гр. Толстому пришлось-бы прямо сказать: не разъ подпадалъ такому соблазну (до такого упрека договорился-же В. Фрей въ одномъ изъ своихъ писемъ къ гр. Толстому, разумѣя именно изгнаніе торжниковъ и проклятіе смоковницы). Левъ Николаевичъ прямо увѣряетъ, что, если-бы и не было Христа, онъ-бы самъ, гр. Толстой, открылъ истину непротивленія злу. Да онъ и въ самомъ дѣлѣ самъ открылъ эту «истину»—истину стоянія сложа руки передъ возмутительнѣйшими проявленіями насилія. Христіанство подобной «истины» въ самомъ дѣлѣ не знаетъ. Не зная ее, оно не запрещаетъ негодовать и даже гнѣваться святымъ гнѣвомъ. Мы не думаемъ только, чтобы подобнымъ гнѣвомъ можно было объяснить въ томъ-же письмѣ Л. Н. Толстого къ NN замѣчаніе про И. С. Аксакова и Вл. С. Соловьева, что «передъ этими людьми не надо метать бисеръ», что отношеніе къ нимъ, которое надо стараться въ себѣ выработать, — такое-же, какъ отношеніе къ развращенному, пьяному ухарю». «То же надо сказать и о фразѣ, начинающейся словами: «мы были-бы хуже Аксаковыхъ и Соловьевыхъ»... Вотъ это—въ самомъ дѣлѣ не по-христіански...

Мы вполнѣ сочувствуемъ тому жару, съ какимъ Л. Н. Толстой говоритъ: «пора опомниться и оглянуться на себя. Вѣдь мы ничто иное, какъ книжники и фарисеи, сѣвшіе

[1]) Не все это справедливо указано г. Гусевымъ.

на сѣдалище Моисея и взявшіе ключи отъ царства небеснаго, и сами не входящіе и другихъ не впускающіе. Вѣдь мы—жрецы науки и искусства — самые дрянные обманщики, имѣющіе на наше положеніе гораздо меньше правъ, чѣмъ самые хитрые и развратные жрецы» (стр. 328). Намъ кажется только—пусть не сердятся на насъ безусловные обожатели графа Л. Н. Толстого—что такая характеристика могла-бы быть составлена и на основаніи многаго у самого геніальнаго автора, многаго и въ этой самой XII части его сочиненій.

Онъ въ ней, это правда, самымъ убійственнымъ образомъ выставляетъ различныя, смѣняющіяся системы, какъ разнаго рода ловкіе способы оправданія нами самихъ себя, излюбленныхъ нами порядковъ. «Недавно царствовала въ ученомъ, образованномъ мірѣ,—говоритъ онъ,—философія духа, по которой выходило, что все, что существуетъ, то разумно; что нѣтъ ни зла, ни добра, и что бороться со зломъ человѣку не нужно, [1]) а нужно проявлять только духъ: кому на военной службѣ, кому на судѣ, кому на скрипкѣ... Выводы эти сводились къ тому, что все разумно, все хорошо, ни въ чемъ никто не виновенъ». (Это, разумѣется, Гегеліанство). Но вотъ является весьма плохой англійскій публицистъ... Онъ придумываетъ мнимый законъ несоразмѣрнаго съ средствами питанія увеличенія населенія... Выводы, прямо вытекающіе изъ этой теоріи, были слѣдующіе: бѣдственное положеніе рабочихъ людей таково по неизмѣнному, не зависящему отъ людей закону, и если кто виноватъ въ этомъ, такъ это сами голодные рабочіе: зачѣмъ они дураки родятся, когда знаютъ, что нечего имъ будетъ ѣсть. (Теорія Мальтуса) [2]) Новѣйшая-же теорія, по опредѣленію нашего автора, состоитъ въ томъ, что «все человѣчество есть неумирающій организмъ, люди—частицы органовъ, имѣющія каждая свое

---

[1]) Но вѣдь и по ученію Л. Н. Толстого противиться злу, т.-е. бороться со зломъ не нужно.

[2]) Только нашему автору уже замѣчено было (кажется въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» г. Михайловскимъ), что несостоятельность этой теоріи доказана была еще до него, да и несостоятельнѣе, чѣмъ у него.

специальное призваніе для служенія цѣлому... Клѣточки, сливаясь въ организмъ, раздѣляютъ между собою труды для борьбы за существованіе цѣлаго организма... То-же происходитъ и въ человѣчествѣ, и въ человѣческихъ обществахъ... Чтобы найти законъ жизни человѣка, нужно изучать законы жизни и развитія организмовъ. Стоитъ только разсматривать человѣческое общество, какъ предметъ наблюденія, и можно утѣшить себя мыслью, что моя дѣятельность, какая-бы она ни была, есть функціональная дѣятельность организма человѣчества, а потому и рѣчи даже не можетъ быть о томъ — справедливо-ли то, что я, пользуясь трудами другихъ, дѣлаю только то, что мнѣ пріятно, какъ и не можетъ быть рѣчи о томъ,— справедливо-ли раздробленіе труда между мозговой клѣточкой и мускульной. Какъ-же не допустить такой прекрасной теоріи, чтобы послѣ можно было навсегда спрятать совѣсть въ карманъ!!.» (Стр. 280—286). Во всемъ этомъ, разумѣется, много правды, какъ и въ томъ, что «наука вся пристроилась къ богатымъ классамъ» (стр. 308). Нельзя также не поблагодарить автора и за слѣдующее его замѣчаніе: «Человѣчество никогда не жило безъ науки о томъ, въ чемъ назначеніе и благо людей; правда, что наука о благѣ людей для поверхностнаго наблюденія кажется различной: у буддистовъ, браминовъ, евреевъ, христіанъ, конфуціанцевъ, тунистовъ; но все-таки, гдѣ мы знаемъ людей, вышедшихъ изъ дикаго состоянія, мы находимъ эту науку; и вдругъ оказывается, что люди нашего времени рѣшили, что эта-то самая наука, до сихъ поръ бывшая руководительницей всѣхъ человѣческихъ знаній, что она-то и мѣшаетъ всему» (стр. 318). Нашъ авторъ съ этимъ не согласенъ, онъ справедливо хочетъ вернуться къ старой «наукѣ наукъ», потому что онъ не въ состояніи «прятать совѣсть въ карманъ».

Но что-же считаетъ онъ самъ *настоящимъ благомъ*, что-же велитъ ему дѣлать его чуткая совѣсть для блага другихъ людей?

Не признавая обыкновеннаго раздѣленія труда и придавая мало цѣны исключительно умственному труду, онъ

требуетъ отъ себя, какъ и отъ другихъ, непремѣнно труда физическаго. И вотъ онъ шьетъ себѣ самъ сапоги, работаетъ въ полѣ и т. д. [1]). Но что, если вспомнить при этомъ его-же слова: «люди дѣлаютъ то, на что другіе и не думаютъ заявлять требованія, и требуютъ, чтобы ихъ кормили за это». (Стр. 295). Правда, гр. Левъ Николаевичъ не требуетъ, чтобы его кормили за его трудъ сапожника или пахаря (ему есть чѣмъ кормиться помимо этого труда); но едва-ли другіе заявляютъ требованіе на его сапожничій или пахарскій трудъ. Мы думаемъ даже, что если-бы многіе послѣдовали его примѣру, то какъ сапожники, такъ и пахари по профессіи могли-бы усмотрѣть въ этомъ «одинъ только захватъ чужого труда сильнымъ», противъ чего возстаетъ онъ-же самъ (на стр. 296). Вышло, такимъ образомъ, по пословицѣ: чему посмѣешься, тому и поработаешь. Конечно, пока одинъ только гр. Толстой сапожничаетъ и пахарствуетъ, рабочій людъ можетъ снисходительно на это смотрѣть, какъ на пока безобидную барскую блажь. Внимательно вчитываясь въ то, что говоритъ онъ о физическомъ трудѣ, мы поняли только, что трудъ этотъ ему пріятенъ (именно, ***пріятенъ***), что онъ освѣжаетъ ему голову для новой умственной работы и, вообще, доставляетъ ему удовольствіе, что трудъ этотъ несомнѣнно ему здоровъ, что при такомъ трудѣ ему наконецъ не совѣстно передъ народомъ, привыкшимъ глядѣть на баръ, какъ на ничего не дѣлающихъ. Но намъ невольно припоминаются въ старомъ романѣ самого-же Л. Н. Толстого слова Маши о крестьянахъ и барахъ: «мнѣ вдругъ совѣстно стало, что они трудятся, а мнѣ такъ хорошо».—«Не кокетничайте этимъ, мой другъ, это дѣло свято,—отвѣчаетъ ей будущій ея мужъ.—Избави насъ Богъ щеголять этимъ» [2]). Намъ невольно хочется обратить эти слова къ самому гр. Толстому. Когда онъ насъ увѣряетъ, что жить въ комфортѣ, это своего рода мученичество, что любой дворникъ съ

---

[1]) По слухамъ, недавно складывалъ печку для бѣдной вдовы.

[2]) «Семейное Счастье», гл. 3.

большимъ удовольствіемъ подметаетъ снѣгъ — мы только пожимаемъ плечами. Точно также, когда онъ насъ увѣряетъ, что можно подолгу не мѣнять бѣлья, то мы не можемъ согласиться, чтобы это было здорово, но мы готовы допустить, что это можетъ доставлять особое удовольствіе гр. Льву Николаевичу, такъ какъ de gustibus non est disputandum. Но мы рѣшительно не думаемъ, чтобы въ томъ случаѣ, если-бы не одному гр. Толстому, но и многимъ захотѣлось пріучить себя быть неопрятными, имъ за это сказали спасибо ихъ прачки, развѣ они ихъ всѣхъ обезпечатъ помимо какого-либо труда. Но есть много людей, которые не приняли-бы такого обезпеченія, которыхъ все требованіе: «работы! работы!» Вообще при всемъ нашемъ вниманіи мы рѣшительно не могли у нашего автора вычитать, какое-же облегченіе отъ его физическаго труда будетъ для рабочаго люда? Вотъ онъ, напримѣръ, трудится въ потѣ лица надъ своимъ полемъ. Допустимъ, что вмѣстѣ съ нимъ будутъ трудиться и его жена, и его дѣти. Хватитъ-ли ихъ собственнаго труда на *все* ихъ поле? Конечно, нѣтъ. Дѣло, казалось-бы, просто: чего не смогутъ они, то можно предоставить чужому труду, труду наемному,—предоставить за хорошую плату, плату, соотвѣтственную тягости труда, испытанной нанимателемъ на самомъ себѣ. Но вѣдь по ученію графа Толстого нанимать никого нельзя, платить за что-бы то ни было—грѣхъ, самыя деньги — чортова злая выдумка.

Изъ такого затруднительнаго положенія одинъ только выходъ. Надо вспомнить легенду Л. Н. Толстого о «зернѣ съ куриное яйцо». «Такое зерно водилось тогда, когда земля вольная была. Своей земли не знали. Своимъ только труды свои называли» (стр. 482). Нашъ авторъ, чтобы быть вполнѣ послѣдовательнымъ и искреннимъ, чтобы все договорить до конца, долженъ отсюда вывести примѣненіе къ своему землевладѣльческому положенію. Отсюда вѣдь слѣдуетъ, что онъ можетъ назвать своимъ лишь столько изъ своей земли, сколько сможетъ онъ обработать со своею семьею. Все остальное, на что не хва-

титъ ихъ собственнаго труда, онъ не можетъ не признать «вольной землей», не можетъ не пустить на эту землю настоящаго рабочаго люда, пустить, неизбѣжно, даромъ, пустить во имя того ихъ труда, которымъ и придется имъ обратить эту вольную землю—въ свою. Тогда онъ будетъ, въ самомъ дѣлѣ, послѣдователенъ, все договоритъ до конца. Мы утверждаемъ только, что, договаривая все до конца, онъ долженъ неизбѣжно придти къ такому выводу, а не заглядываемъ въ его частную жизнь, не касаемся вопроса: расходится ли у него со словомъ дѣло или нѣтъ? На замѣчаніе, кѣмъ-то уже и сдѣланное, что полному соотвѣтствію дѣла со словомъ могутъ мѣшать семейныя отношенія, мы отвѣтимъ только, что не оспариваемъ трудности борьбы съ ними и даже не требуемъ непремѣнной побѣды въ такой борьбѣ. Мы думаемъ только, что хвататься въ такомъ трудномъ положеніи за спасительный принципъ «непротивленія злу», это значило бы подавать новый поводъ къ сомнѣніямъ въ вѣрности такого принципа. Ждать отъ нашего автора строгой логики мы особенно въ правѣ потому, что въ послѣднее время онъ въ сущности руководствуется именно разсудкомъ, а не сердцемъ, потому что онъ вовсе не мистикъ (какъ накленали на него нѣкоторые иностранные критики).

Да, мы желали бы отъ нашего автора только строгой послѣдовательности выводовъ. Думаемъ, что, дождавшись ея хотя бы только въ видѣ признанія того, что *должно бы быть*, и народъ увидѣлъ бы тутъ прокъ, а пока, глядя, какъ графъ въ полѣ трудится, трудится, допустимъ, и со всею своею семьею, народъ имѣлъ-бы полное право повторять съ Сютаевымъ: «эта ваша община—совсѣмъ пустая».

Мы слышали, впрочемъ, будто кто-то изъ народа уже и сказалъ: «умнѣющій человѣкъ нашъ графъ, а юродствуетъ». Но едва-ли кто изъ народа прибавитъ, что это «юродство—Христа ради».

Юродствомъ ради Христа представлялось въ свое время искреннее, изъ братской любви вытекающее, опасеніе

чѣмъ-либо возвышаться надъ ближними и при этомъ рѣшимость, отказываясь даже отъ собственнаго ума, во имя разума Христова громко изобличать неправду, на какихъ бы высяхъ она ни проявлялась. Гдѣ этого нѣтъ, тамъ юродство, или обманъ, или какое-то особенное искусство для искусства.

Такимъ же обманомъ—часто и самообманомъ—или же искусствомъ для искусства легко становится и подвижничество со всякими видами самообузданія и упражненія своей воли. Такъ и физическій трудъ Л. Н. Толстого, его хожденіе въ лаптяхъ, лишеніе имъ себя всякихъ удобствъ въ жизни, пока мы не убѣдимся въ прямой отъ этого пользѣ для общества, т.-е. для его работящихъ и въ то же время обездоленныхъ, должны представляться намъ болѣе буддійскими, чѣмъ христіанскими подвигами. Какъ при чтеніи нѣкоторыхъ произведеній средневѣковой повѣствовательной литературы, такъ и при чтеніи самопризнаній гр. Л. Н. Толстого и слушаніи разсказовъ о немъ, намъ невольно приходили на умъ слова апостола Павла: «аще языки человѣческими глаголю, и ангельскими, любве же не имамъ, быхъ яко мѣдь звѣняща или кимвалъ звяцаяй. И аще имамъ пророчество и вѣмъ тайны вся и всѣ разумѣ, и аще имамъ всю вѣру, яко и горы преставляти, любве же не имамъ, ничто же есмь. И аще раздамъ вся имѣнія моя и аще предамъ тѣло мое, во еже сожещи е, любве же не имамъ, никая польза ми есть» [1]).

Этого-то великаго апостола языковъ Л. Н. Толстой обзываетъ «большимъ охотникомъ до учительства». Не обращаясь къ нашему автору съ текстомъ: «врачу, исцѣлися самъ», мы позволяемъ себѣ думать, что такое учительство, какъ заключающееся въ только-что приведенныхъ словахъ о любви, есть и въ настоящее время если не единое, то главное на потребу. Дѣло и теперь не въ сожженіи себя самого или своихъ денегъ (на послѣднее логически какъ бы готовъ Л. Н. Толстой), а въ настоящемъ употребленіи какъ себя, такъ и ихъ на пря-

[1]) I Посл. къ Коринѳянамъ, гл. XIII, ст. 1—3.

мую пользу ближнему. Полагаемъ, что, не мудрствуя лукаво, слѣдовало бы прямо возсоздать духъ и строй первоначальной христіанской общины. Этотъ духъ и этотъ строй не могли быть распространены на весь міръ—вслѣдствіе той примѣси «кесарева» къ «Божьему», которая стала неизбѣжнымъ слѣдствіемъ объявленія христіанства государственнымъ исповѣданіемъ. Относительно этой примѣси остается только согласиться съ тѣмъ, что говоритъ нашъ авторъ въ исторической части своего, впрочемъ недоразвитаго и недодуманнаго, трактата о церкви и государствѣ. Вслѣдствіе вѣрно имъ намѣченныхъ, хотя только намѣченныхъ причинъ, чисто христіанскій духъ и строй перестали господствовать и въ самой христіанской общинѣ. Но онъ долженъ же снова возобладать въ ней—въ настоящей церкви, въ мірѣ-народѣ церковномъ—и мало-по-малу сообщиться и окружающему міру. Дѣло, такимъ образомъ, вовсе не въ *новомъ*, а въ *старомъ* Евангеліи.

Просимъ какъ самого Л. Н. Толстого, такъ и его почитателей, простить насъ, если что-либо въ нашихъ словахъ покажется ему и имъ жесткимъ. Умѣряя свои слова, мы бы лишили ихъ прямоты и откровенности. Л. Н. Толстого считаемъ мы, какъ и всѣ, нашею народною славою. Мы, какъ и всѣ, ждемъ отъ него свѣта. Отсюда и опасеніе за этотъ свѣтъ на основаніи имъ же приводимаго текста: «аще око твое лукаво будетъ, все тѣло твое темно будетъ, аще убо свѣтъ, иже въ тебѣ, тьма есть, то тьма кольми!» Или же, передавая это собственными словами Л. Н. Толстого: «если глазъ твой теменъ, то все тѣло будетъ во тьмѣ, если же свѣтъ твоего сердца теменъ, то и вся душа твоя будетъ во тьмѣ». Куда мы пойдемъ, къ кому обратимся, если текстъ этотъ можно будетъ примѣнить къ нашимъ лучшимъ людямъ? [1]).

---

[1]) Не касаемся отдѣльно той печальной теоріи, которая все болѣе и болѣе обнаруживалась у нашего автора по вопросу о женскомъ образованіи, — считая достаточнымъ то, что сказано у насъ выше — по поводу «Семейнаго Счастья» и «Анны Карениной».

ОГЛАВЛЕНІЕ

стр.
ПРЕДИСЛОВІЕ . . . . . 1.

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

1. «Обыкновенная исторія». 3
2. «Обломовъ». 12
3. «Обрывъ» 22

А. Ѳ. ПИСЕМСКІЙ.

(въ связи съ нѣкоторыми другими изъ современныхъ писателей).

1. Народные очерки.—Романы семейнаго содержанія.—«Тысяча душъ». 35
2. «Взбаламученное море» и «Въ водоворотѣ»—въ связи съ другими произведеніями на тѣ же темы.—«Мѣщане». «Масоны». 52

М. Е. САЛТЫКОВЪ (Щедринъ).

1. «Губернскіе очерки».—«Сатиры въ прозѣ». «Невинные разсказы». 73
2. «Признаки времени».—«Письма о провинціи».—«Дневникъ провинціала въ Петербургѣ».—«Господа Ташкентцы».—«Исторія одного города» 98
3. «Помпадуры и помпадурши».—«Благонамѣренныя рѣчи».—«Въ области умѣренности и акуратности» 119

ОГЛАВЛЕНІЕ

стр.

6. Разсказы и очерки новѣйшей поры.—«Дворянская хандра».—«Круглый годъ».—«Убѣжище Монрепо» 145
7. «Господа Головлевы». 162
8. «За рубежомъ».—«Письма къ тетенькѣ».—Современная идиллія».—«Пошехонскіе разсказы». 188

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ.

1. «Дѣтство». «Отрочество» и «Юность».—Очерки и разсказы первой поры. 225
2. «Казаки». 257
3. Кавказскіе разсказы.—Очерки Севастополя. 273
4. Очерки изъ народной жизни.—«Поликушка».—Статьи о народномъ образованіи 284
5. Хроника «Война и міръ».
   1. Общій взглядъ на построеніе хроники.—Мужскіе типы Ростовыхъ и Болконскихъ. 304
   2. Пьеръ и женскіе типы. 328
   3. Часть историческая и «роевая сила». 352
6. Замыселъ и отрывки романа «Декабристы». — «Семейное счастье».—«Анна Каренина». 379
7. Взглядъ и самопризнанія гр. Л. Н. Толстого. 409
8. Двѣнадцатый томъ сочиненій гр. Л. Н. Толстого. 423

---

11. 1903 г.
Акт РК-3324

ВЕЛИКІЕ РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

ВЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ, ОДНОТОМНЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ

Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ ПОЛНЫЯ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ:

А. С. ПУШКИНА

въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. Н. Краснова. Съ жизнеописан. поэта, портретами и рисунк., относящимися къ его жизни, и съ 35 отд. картинами худ. И. В. Симакова. Ц. въ одномъ изящн. коленк. переплетѣ и въ футлярѣ 3 р.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

въ 2-хъ томахъ (въ одной книгѣ). Подъ редакціей В. В. Чуйко. Съ портр. поэта, его біографіей и 41 отд. карт. худ. В. А. Полякова. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

Н. В. ГОГОЛЯ

въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. В. Быкова. Съ жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, относящимися къ его жизни, и съ 32 отдѣльными картинами худ. В. А. Табурина. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

В. А. ЖУКОВСКАГО

въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. Н. Краснова. Съ жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, относящимися къ его жизни, и съ 32 отдѣльными картинами художниковъ: И. П. Гурьева, В. Каульбаха, А. Лиценъ-Мейера и др. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

В. Г. БѢЛИНСКАГО

въ одномъ томѣ, подъ редакціей Н. Д. Носкова. Съ жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, относящимися къ его жизни, и пр. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

М. Н. ЗАГОСКИНА

въ одномъ томѣ, подъ редакціей М. Н. Никольскаго. Съ жизнеописаніемъ писателя, составленнымъ П. В. Быковымъ, портретами и рисунками, относящимися къ его жизни, и съ 3-ю отдѣльными картинами художника В. Н. Михайлова-Сѣвернаго. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

СВОБОДНОЕ ЗНАНІЕ

Собраніе общедоступныхъ очерковъ, статей и лекцій русскихъ ученыхъ, подъ редакціей проф. Э. Д. Гримма, проф. Н. А. Котляревскаго, прив.-доц. В. Н. Сперанскаго и проф. В. М. Шимкевича.

Названіе изданія — «СВОБОДНОЕ ЗНАНІЕ» — ясно опредѣляетъ его характеръ, значеніе, цѣли, и въ этомъ названіи намѣчена его программа.

Предпринимая настоящее собраніе, мы имѣемъ въ виду посильно удовлетворить запросъ на научныя знанія со стороны русскаго общества — изданіемъ ряда самостоятельныхъ книжекъ, касающихся вопросовъ, непосредственно интересующихъ всѣхъ и каждаго по разнымъ отраслямъ знанія, въ обработкѣ извѣстныхъ, преимущественно русскихъ ученыхъ и писателей. Строгая научность при доступномъ изложеніи, небольшой объемъ при возможно широкой, всесторонней обработкѣ предмета — таковы отличательныя черты, которыя мы намѣрены придать означенному изданію.

Редакторы и издатели.

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

Будущее человѣчества съ точки зрѣнія натуралиста В. М. Шимкевича, проф. Спб. университета. Съ 11 рисунками. Ц. 30 коп.

Кровь, изъ чего она состоитъ и для чего она нужна животному организму. А. С. Догеля, проф. Спб. университета. Съ 13 рисунками. Ц. 25 коп.

Исторія литературы, какъ наука. В. В. Сиповскаго, прив.-доц. Спб. университета. Изд. 2-е. Ц. 20 коп.

Разиновщина, какъ соціологическое и психологическое явленіе народной жизни Н. Н. Ѳирсова, проф. Казанскаго университета. Съ 3 портр. Ц. 30 коп.

Что такое инстинктъ и почему даже у многихъ зоологовъ о немъ существуетъ весьма смутное представленіе? Владиміра Вагнера, д-ра зоологіи. Съ 15 рис. Ц. 30 коп.

Помѣси и ублюдки. В. М. Шимкевича, проф. Спб. унив. Ц. 30 коп.

Строеніе и жизнь мелкихъ частицъ (клѣтокъ) тѣла человѣка и животныхъ. А. С. Догеля, проф. Спб. университ. Съ 17 рис. Ц. 30 коп.

Паденіе абсолютизма въ Западной Европѣ. Историческіе очерки Е. В. Тарле. Часть первая. Ц. 1 р. 50 к.

Нравственная личность женщины при современномъ общественномъ строѣ. Проф. Каз. университ. Е. Будде. Ц. 30 к.

Почему не говорятъ животныя? Къ вопросу о происхожденіи языка. Проф. А. Л. Погодина. Ц. 60 к.

Отцы и дѣти. Зоологическій очеркъ В. М. Шимкевича, проф. Спб. ун-та. Съ 16 рис. 40 стр. Ц. 30 коп.

Пугачевщина. Опытъ соціолого-психологической характеристики, Н. Н. Ѳирсова, проф. Казанск. ун-та. Съ рис. 185 стр. Ц. 1 р.

Психологія краснорѣчія. Д-ра мед. В. Ларіонова, прив.-доц. ун-та [illegible] Владиміра. Съ рис. Ц. 30 к.

Духовная полиція въ Россіи. М. А. Рейс[illegible] Спб. ун-та. 107 стр. Ц. 75 к.

Политическія воззрѣнія Ипполита Тэна [illegible] Гримма, проф. Спб. ун-та. 86 стр. Ц. 60 к.

Органы защиты организма отъ самоотравленія. А. С. Догеля, проф. Спб. ун-та. Съ 12 рис. 47 стр. Ц. [illegible] к.

Уродства и происхожденіе видовъ. В. М. Шимкевича, проф. Спб. ун-та. Съ 47 рис. 106 стр. Ц. 75 к.

Императоръ Александръ I и его душевная драма. Историко-психологическій этюдъ Н. Н. Ѳирсова, [illegible] Казанск. ун-та. Ц. 35 к.

Какъ освобождаются животныя изъ подъ власти среды. В. И. Граціанова, ассистента [illegible] Импер. Москов. ун-та. Съ рисунками. Ц. 35 к.

О правѣ на существованіе. Соціально-философскіе этюды Н. Н. Новгородцева, проф. Москов. ун-та, и Е. А. Покровскаго, проф. Спб. ун-та. Ц. 45 к.

Раздражимость и органы чувствъ у растеній. В. Арциховскаго, проф. Политехнич. [illegible] Новгородцевъ. Съ 37 рис. Ц. 60 к.

ИЗДАНІЯ Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

ПЕТРОГРАДЪ И МОСКВА

ВЕЛИКІЕ РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

ВЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ, ОДНОТОМНЫХЪ ИЗДАНІЯХЪ

Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ ПОЛНЫЯ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ:

А. С. ПУШКИНА

въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. Н. Краснова. Съ жизнеописан. поэта, портретами и рисунк., относящимися къ его жизни, и съ 35 отд. картинами худ. И. В. Симакова. Ц. въ одномъ изящн. коленк. переплетѣ и въ футлярѣ 3 р.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

въ 2-хъ томахъ (въ одной книгѣ). Подъ редакціей В. В. Чуйко. Съ портр. поэта, его біографіей и 41 отд. карт. худ. В. А. Полякова. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

Н. В. ГОГОЛЯ

въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. В. Быкова. Съ жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, относящимися къ его жизни, и съ [illegible] отдѣльными картинами худ. В. А. Табурина. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

[illegible]УКОВСКАГО

[illegible]нова. Съ жизнеописаніемъ [illegible] его жизни, и съ 32 [illegible] Каульбаха, А. [illegible] [illegible]лярѣ 3 р.

[illegible]

въ одномъ томѣ, подъ редакціей [illegible] жизнеописаніемъ писателя, портретами, рисунками, от[illegible] къ его жизни, и пр. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ ф[illegible] 3 р.

М. Н. ЗАГОСКИНА

въ одномъ томѣ, подъ редакціей М. Н. Никольскаго. Съ жизнеописаніемъ писателя, составленнымъ П. В. Быковымъ, портетами и рисунками, относящимися къ его жизни, и съ 3-ю отдѣльными картинами художника В. Н. Михайлова-Сѣвернаго. Ц. въ изящн. коленк. перепл. и въ футлярѣ 3 р.

131
3-2

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

БЕНЕДИКТОВЪ. Полное собраніе стихотвореній, въ 2-хъ томахъ подъ редакціей Я. П. Полонскаго. Второе посмертное изданіе съ біографіей и портр. автора. Ц. 2 р. 50 к., въ изящн. коленк. переплетѣ 3 р

ГНѢДИЧЪ. Полное собраніе сочиненій, въ 6-ти томахъ. Съ портретомъ автора и критико-біографическимъ очеркомъ, составленнымъ Н. Минскимъ (Н. М. Виленкинымъ). Ц. 1 р. 50 к., въ переплетѣ 2 р. 25 к.

ДАЛЬ (К закъ Луганскій). Собраніе сочиненій, въ 10-ти томахъ. 1-е посмертное полное изданіе, свѣренное и просмотрѣнное по рукописямъ автора. Съ портретомъ В. П. Даля, критико-біографическимъ очеркомъ, составленнымъ П. В. Мельниковымъ (Андреемъ Печерскимъ) и автобіограф. запиской. Цѣна въ 10-ти изящныхъ переплетахъ 12 руб.

ЛАЖЕЧНИКОВЪ. Полное собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Первое посмертное полное изданіе. Съ портретомъ автора, факсимиле и біографіей, составл. С. А. Венгеровымъ. Ц 12 р., въ переплетѣ 15 р.

МЕЛЬНИКОВЪ (Андрей Печерскій). Полное собраніе сочиненій. въ 7-ми томахъ. 2-е посмертное полное изданіе, съ критико-біографическимъ очеркомъ А. Измайлова, съ 1 портретомъ. Болѣе 3,000 стр. текста. Ц. 14 руб., въ изящныхъ переплетахъ 18 руб.

ПИСЕМСКІЙ. Полное собраніе сочиненій, въ 8-ми томахъ. 3-е посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ автора, съ критико-біографическими очерками В. Зимнскаго и П. Анненкова, съ нѣсколькими портретами и автографомъ писателя. Болѣе 7,000 страницъ текста. Ц. 15 р., въ 8 изящн. пер. 20 р.

ПРЕОСВЯЩ. ИННОКЕНТІЙ Архіепископъ Херсонскій и Таврическій. Собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Съ портрет. святителя и его біографіей. Ц. 8 р., въ перепл. 12 руб.

СТАХѢЕВЪ. Собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Съ біографіей М. Никольскаго, критическимъ этюдомъ П. В. Быкова и портретами автора. Цѣна 9 руб., въ переплетѣ 12 р.

ГЕЙНЕ. Полное собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Въ переводѣ русскихъ писателей подъ редакціей П. В. Быкова. Съ портретомъ Гейне, критико-біографическимъ очеркомъ, составл. В. В. Чуйко и многочисленными иллюстраціями художниковъ: проф.: Шумана, І. Грота, К. Бауера и др. Ц. 9 р., въ переплетѣ 12 рублей.

ЛЕССИНГЪ. Собраніе сочиненій, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей П. Н Полевого, съ біографіей и портретомъ автора. 5 томовъ. Ц. 5 р., въ переплетахъ 6 р. 50 к.

МИЦКЕВИЧЪ. Собраніе сочиненій, въ 4-хъ томахъ съ иллюстраціями. Подъ редакціей П. Н. Полевого. Ц. 4 р., въ 2 изящныхъ коленкоровыхъ переплетахъ 5 р. 50 к.

СМАЙЛЬСЪ. Собраніе сочиненій, въ 6-ти томахъ. Подъ редакціей М. Н Никольскаго. Съ біографіей и портретомъ автора. Ц. 4 р. 50 к., въ переплетѣ 6 руб.

ПЕТРОГРАДЪ
1) Гостиный Дворъ, 13 и 2) Невскій пр., 13

МОСКВА
1) Кузнецкій Мостъ, 12 и 2) Тверская ул., 22

Типографія Т-ва М. О. Вольфъ Петроградъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5—7.

PG
3011
M52
t.2

Miller, Orest Fedorovich
Russkie pisateli posle Gogolia Izd. 6

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

ГПБ Русский фонд
131
3-2